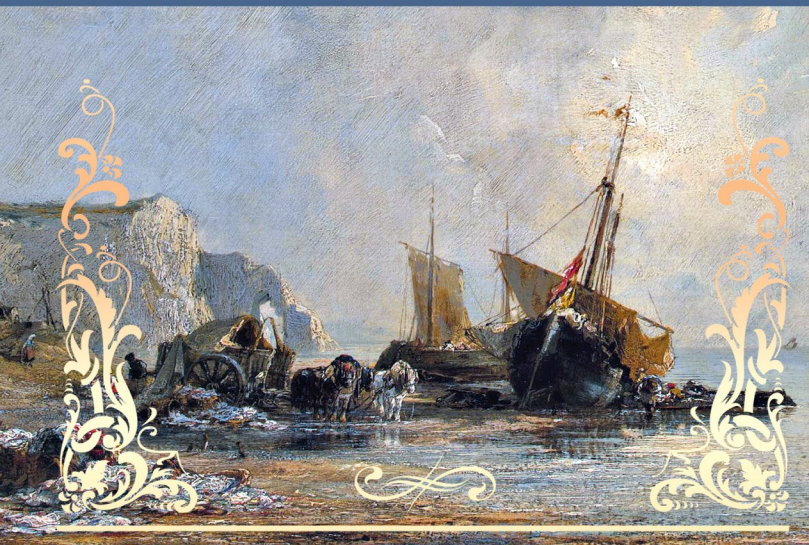
100 великих романов

Виктор ГЮГО

ТРУЖЕНИКИ МОРЯ



Труженики моря
Виктор Мари Гюго

Аннотация
Виктор Гюго. Труженики моря
Удел человека
Ла-Маншский архипелаг
I. Стихийные бедствия прошлого
II. Гернсей
III. Гернсей. Продолжение
IV. Травы
V. Козни моря
VI. Скалы
VII. И побережье и океан
VIII. Порт Сен-Пьер
IX. Джерсей, Ориньи, Серк
X. История. Предания. Религия
XI. Разбойники и святые былых времен
XII. Местные особенности
XIII. Труды цивилизации на архипелаге
XIV. Другие особенности
XV. Старина и обломки старины. Обычаи, законы и нравы
XVI. Продолжение перечня особенностей
XVII. Совместимость крайностей

XVIII. Убежище
XIX
XX. Homo edax
XXI. Могущество камнеломов
XXII. Добросердечие островитян
Часть первая. Сьер Клюбен
Книга первая. Как создается дурная слава
I. Слово, написанное на белой странице
II. «Дом за околицей»
III. «Твоей жене, когда ты женишься»
IV. Неприязнь
V. Другие подозрительные черты Жильята
VI. Голландский ботик
VII. В жилище духов – жилец-духовидец
VIII
Книга вторая. Месс Летьери
I. Бурная жизнь и спокойная совесть
II. К чему он питал пристрастие
III. Старый морской язык
IV. Человек уязвим в том, что он любит
Книга третья. Дюранда и Дерюшетта
I. Щебетанье и дым
II. Извечная история утопии
III. Рантен
IV. Продолжение истории утопии
V. «Чертова посудина»

VI. К Летьери приходит слава
VII. Общий крестный и общая святая
VIII. Песенка «Славный Данди»
IX. Человек, разгадавший Рантена
X. Рассказы о дальнем плавании
XI. Несколько слов о возможных женихах
XII. Особенности характера Летьери
XIII. Красоте свойственна беспечность
Книга четвертая. Волынка
I. Первые блики зари или пожара
II. Шаг за шагом в неизвестное
III. Песенка «Славный Данди» находит отклик за холмом
IV
V. Заслуженный успех всегда ненавистен
VI. Потерпевшие кораблекрушение, по счастью, встречаются с парусником
VII. Любитель прогулок, по счастью, встречается с рыбаком
Книга пятая. Револьвер
I. Беседа в «Гостинице Жана»
II. Клюбен замечает кого-то
III. Клюбен что-то относит и ничего не приносит
IV. Пленмон
V. Разорители гнезд

VI
VII. Ночные покупатели и таинственный продавец
VIII. Карамболь красным и черным шаром
IX. Полезные сведения для тех, кто ждет или боится писем из-за моря
Книга шестая. Пьяный рулевой и трезвый капитан
I. Дуврские скалы
II. Нежданно-негаданно – бутылка коньяка
III. Прерванная беседа
IV. Глава, в которой обнаруживаются все качества капитана Клюбена
V. Восхищение Клюбеном достигает предела
VI. Глубь бездны освещена
VII. Неожиданное вмешивается
Книга седьмая. Задавать вопросы книге – неосторожность
I. Жемчужина на дне бездны
II. На западном берегу Гернсея все повергнуты в изумление
III. Не искушайте Библию
Часть вторая. Жильят-Лукавец
Книга первая. Риф
I. Место, куда нелегко добраться и откуда трудно выбраться

II. Законченность разрушения
III. Цела, но в опасности
IV. Первое знакомство с окрестностями
V. О тайном сотрудничестве стихий
VI. Стойло для коня
VII. Комната для путешественника
VIII. Importunaeque volucres
IX. Как заставить служить себе риф
X. Кузница
XI. Открытие
XII. В подводном дворце
XIII. Что там видишь и что угадываешь
Книга вторая. Тяжкий труд
I. Находчивость того, кто во всем нуждается
II. Каким образом Шекспир может встретиться с Эсхилом
III. Мастерское творение Жильята приходит на помощь мастерскому творению Летьери
IV. Sub re
V. Sub umbra
VI. Жильят ставит ботик в боевую позицию
VII. В опасности
VIII. Скорее осложнение, чем развязка
IX. Успех завоеван и тут же утрачен
X. Море предупреждает
XI. Имеющий уши да слышит

Книга третья. Битва
I. Крайности соприкасаются, противоположности сходятся
II. Ветры с открытого моря
III. Объяснения шума, к которому прислушивался Жильят
IV. Turba, turrna
V. Жильят делает выбор
VI. Поединок
Книга четвертая. Тайники рифа
I. Не один Жильят голоден
II. Чудовище
III. Еще одна форма битвы в бездне
IV. Ничто не скроется, ничто не пропадет
V. Между шестью дюймами и двумя футами хватит места для смерти
VI. De profundis ad altum
VII. Неведомое слышит
Часть третья. Дерюшетта
Книга первая. Ночь и луна
I. Портовый колокол
II. Снова портовый колокол
Книга вторая. Деспотизм благодарности
I. И радость и горе
II. Сундучок
Книга третья. Отплытие «Кашмира»

I. У маленького залива, возле самой церкви
II. Отчаяние перед лицом отчаяния
III. Предусмотрительность того, кто жертвует собой
IV. «Твоей жене, когда ты женишься»
V. Великая могила

Аннотация

Роман был написан Виктором Гюго (1802—1885) на одном из островов Ла-Маншского архипелага, где писатель провел в изгнании девятнадцать лет. На «Тружеников моря» Гюго смотрел как на завершающую часть трилогии, где изображается борьба человека против трех враждебных ему сил: стихии суеверий («Собор Парижской Богоматери»), социальной стихии («Отверженные») и, наконец, стихии природы.

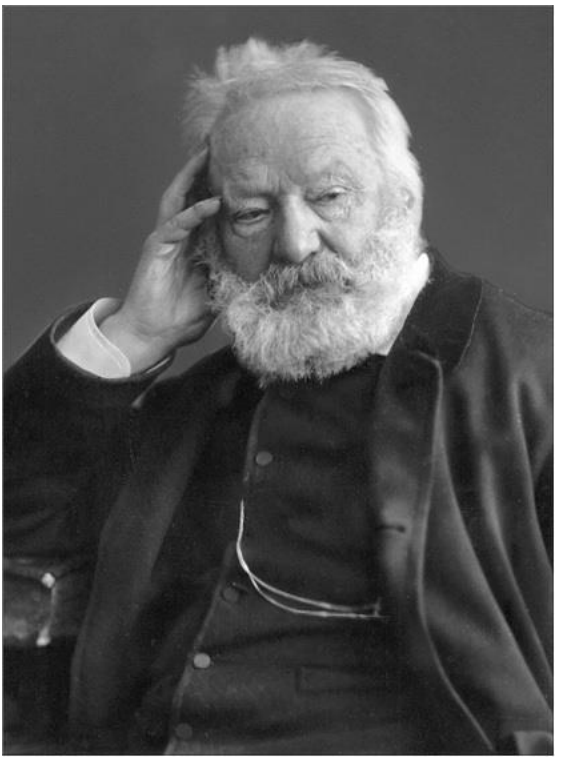
Сюжет навеян впечатлениями от быта островитян и неповторимой красоты окружающего остров моря. По словам Мориса Тореза, со страниц этой книги «доносится бешеный рев морских волн. Главный герой Жильят – тоже «отверженный», но с отважной душой и чистым сердцем. Он бросает дерзкий вызов стихиям и один, среди неслыханных трудностей и бесчисленных опасностей, совершает свой подвиг.

Виктор Гюго
Труженики моря

Посвящаю эту книгу гостеприимным и свободолюбивым скалам, уголку древней земли нормандской, заселенному маленьким и гордым приморским народом, суровому, но радушному острову Гернсею, моему нынешнему убежищу – быть может, моей будущей могиле.

В.Г.

Удел человека



Роман Виктора Гюго (1802–1885) «Труженики моря» образует с двумя его романами из девяти нечто вроде трилогии. Упрощенно: тема «Собора Парижской Богоматери» — это человек и цивилизация, тема «Отверженных» — человек и общество, а «Тружеников моря» — человек и природа, точнее, безличная стихия и прародительница всего живого — море. Соответственно, и человек здесь, для обострения романтической антитезы, моряк. А это особая порода людей, поскольку даже простой матрос или промысловый рыбак обязан уметь делать все, имея дело с такой грозной и капризной стихией. В романе Гюго это Жильят, и целиком посвященная его трудовому подвигу вторая часть «Тружеников моря» — самая напряженная, драматичная и интересная часть этой книги.

Гюго успел хорошо познакомиться с образом жизни нормандских «поморов» за девятнадцать лет жизни в изгнании на островах архипелага в Ла-Манше, который англичане зовут Английским каналом, а сам Гюго в романе назвал «Эгейским морем Запада». Уже одно это говорит о нацеленности писателя на создание нового мифа и творческом соперничестве с творениями эллинов — древнейших мореходов, поэтов и философов,

понимавших, что такое судьба, Рок и удел человека, но знавших также, что такое героизм и демократия. Последнее обстоятельство не могло не импонировать романтику-политэмигранту и убежденному республиканцу Гюго, давно распрощавшемуся с роялистскими взглядами и аристократическими симпатиями. «Будущее принадлежит двум типам людей — человеку мысли и человеку труда. В сущности, оба они составляют одно целое: ибо мыслить — это значит трудиться» — так считал Гюго. Отсюда и название «Труженики», что не могло не импонировать уже широким слоям советских читателей и сделалось слоганом газетных передовиц: «труженики полей» и т. п.

Экономическая первая и мелодраматическая третья части романа совершенно литературны, а вот вторая вполне тянет на миф, живописуя поединок героя-одиночки с титаническими силами природы. Почти как в сказке: разоренный судовладелец обещает отдать дочь замуж за смельчака, который сумеет справиться с невыполнимой задачей — снять и доставить двигатель колесного парохода, выброшенного штормом на торчащие из моря две скалы, как на опоры, подобно пролету моста из ниоткуда в никуда. Внизу кипящие

буруны, искусно припрятанная лодчонка героя, два месяца каторжного труда, добыча скудного пропитания, ночлег под открытым небом на вершине скалы и самодельная кузница в ее нише — жуть, да и только! Еще и былинный поединок героя с исчадием моря — жутким осьминогом. Но, подобно другому моряку — упорному труженику и изобретательному умельцу Робинзону Крузо, — Жильят выходит победителем в борьбе с грозными силами стихии.

В романе рассказывается о подвиге, но также о поражении победителя, по собственной воле оставшегося без вознаграждения, которое ему и не нужно, по большому счету. Он герой, пожизненный труженик и победитель — и ему этого достаточно. Великодушно уступив невесту другому, он провожает взглядом судно счастливых новобрачных и позволяет морю поглотить себя во время прилива — как бы сливается со стихией и растворяется в ней, погибая. Гюго заканчивает так: «Осталось только море».

Сами собой приходят на ум два похожих сюжета двух нобелевских лауреатов по литературе — «Старик и море» Хемингуэя и «Миф о Сизифе» Камю. «Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следу-

ет представлять себе счастливым», — говорится в философской притче экзистенциалиста Камю. Третий нобелевский лауреат, Бунин, подводя итог своей жизни, писал: «Мне кажется, что я, как художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто подобное тому, что сказал, умирая, Бернар». Последними словами этого капитана яхты и друга Мопассана были: «Думаю, что я был хороший моряк».

Такая вот эстафета и переклички, читатель…

Игорь Клех

> Религия, общество, природа – вот три силы, с которыми ведет борьбу человек. Он ведет борьбу со всеми тремя, но все три необходимы ему: человеку должно верить – отсюда храм, должно созидать – отсюда город, должно существовать – отсюда плуг и корабль. Решая тройную задачу, он вступает в тройной поединок. И это – тройное свидетельство непостижимой сложности бытия. Перед человеком стоит препятствие, воплощенное в суеверие, воплощенное в предрассудок и воплощенное в стихию. Тройственное

ананке[1] правит нами: *ананке* догматов, *ананке* законов, *ананке* слепой материи. В *Соборе Парижской Богоматери* автор возвестил о первом, в *Отверженных* указал на второе, в этой книге он говорит о третьем.

К трем предопределениям, тяготеющим над нами, присоединяется внутреннее предопределение, верховное *ананке* – сердце человеческое.

Отвиль-Хауз, март 1866 г.

---

[1] Примечания: 1
Ананке (ΑΝΑΓΚΗ) — рок, судьба *(греч.).*

Ла-Маншский архипелаг

I. Стихийные бедствия прошлого

Атлантический океан подтачивает наши берега. Под натиском полярного течения меняется наше скалистое западное побережье. Гранитная стена на взморье — от Сен-Валери-на-Сомме до Ингувиля — подрыта; обрушиваются огромные глыбы, вода перекатывает горы валунов, заваливает камнями и затягивает песком наши гавани, заносит устья наших рек. Ежедневно отрывается и исчезает в волнах клочок нормандской земли. Титаническая работа, затихающая ныне, некогда внушала ужас. Лишь огромный волнорез — Финистер обуздывал море. По провалу между Шербургом и Брестом легко судить о мощи северного прилива, о неистовой силе, разрушавшей берег.

Залив в Ла-Манше образовался за счет земли французской, и произошло это в доисторические времена. Однако дата последнего набега океана на наше побережье известна. В 709 году, за шестьдесят лет до восшествия на престол Карла I, море одним ударом откололо от Франции Джерсей. Кроме Джерсея, видны и гористые берега земель, затопленных еще раньше. Вершины, выходящие

из воды, — острова. Называются они Норманд-ским архипелагом.

Там расселился трудолюбивый человеческий муравейник.

Вслед за работой моря, сотворившей пустыню, началась работа человека, сотворившая народ.

II. Гернсей

Гранит на юге, песок на севере; здесь — крутизна, там — дюны; покатая равнина с волнистой грядой холмов, вздыбленные скалы; бахрома этого зеленого, собранного в складки покрывала, — морская пена; то тут, то там вдоль берега осыпавшийся вал, на нем несколько орудий, башня с бойницами; у самого моря — крепостная стена с амбразурами и лестницами, ее заносит песок и бьет в нее волна, теперь ей грозит только эта осада; мельницы, обезглавленные бурями; в Валле, в Виль-о-Руа, в порту Сен-Пьер, близ Тортваля крылья иных еще вертятся; в скалистых бухтах — якорные стоянки; в дюнах — стада; без устали рыскают овчарки и сторожевые псы погонщиков скота; одноколки городских торговцев, подскакивая, мчатся по ухабистым дорогам; нередко встретишь черные дома: на западном побережье их просмаливают, предохраняя от дождей; петухи, куры, навозные кучи; повсюду циклопические стены; стояли они прежде и в старинной гавани, их огромные гранитные глыбы, могучие столбы, тяжелые цепи изумляли взор; теперь, к сожалению, все это уничтожено; фер-

мы в раме вековых деревьев; поля, обнесенные каменной оградой по пояс высотой, словно исчертили равнину сложным шахматным узором, лачуги, сложенные из гранита, — настоящие казематы; хижины эти устояли бы под градом ядер; кое-где в глуши новое зданьице с колоколом на крыше — школа; два-три ручья в низинах; дубы и вязы; самой природой взлелеянная лилия Гернсея — таких нигде больше не найти в весеннюю страду — плуги с восьмеркой лошадей; перед домами объемистые стога на каменных тумбах, стоящих кольцом; заросли дикого терновника и рядом подстриженные тисовые деревца, фигурные кусты, вычурные вазы — сады в старинном французском стиле вперемежку с фруктовыми садами и с огородами; изысканные цветы за тыном крестьянской усадьбы; рододендроны среди картофельной ботвы; на траве сушатся побуревшие водоросли; кладбища без крестов; там в лунном свете каждый надгробный камень кажется призраком, Белой дамой; на горизонте десяток готических колоколен; старые церкви, новые догматы: протестантские обряды уживаются с католической архитектурой; в песках и на мысах сумрачная кельтская загадка, воплощенная в различные формы: менгиры, пельваны, длинные

камни, камни волшебные, камни качающиеся, звенящие камни, каменные галереи, кромлехи, дольмены; всевозможные памятники истории; после друидов — католические священники, после католических — протестантские; живы легенды о том, как на вершину, где стоит замок архангела Михаила, низвергся Люцифер, как на другую вершину, на мысе Дикар — Икар; цветы цветут и летом и зимою. Таков Гернсей.

III. Гернсей. Продолжение

Тучная, плодородная земля, полная соков. Лучших пастбищ не найти. Отменная пшеница, породистые коровы. Телки с выгонов Сен-Пьер-дю-Буа не уступают премированным овцам с Конфоланского плоскогорья. Сельскохозяйственные общества Франции и Англии отмечают премиями продукты нив и пажитей Гернсея. К услугам сельского хозяйства множество дорог; превосходная сеть путей сообщения наполняет жизнью весь остров. Дороги там отличные. У одного перекрестка лежит на земле плоский камень, на нем высится крест. Готье де ла Сальт, старейший бальи Гернсея, назначенный в 1284 году и открывший список бальи, был повешен за неправый суд. На том месте, где бальи в последний раз преклонил колени, где он в последний раз молился, и стоит этот крест, называемый «Крестом бальи».

В бухтах и заливах, у якорных стоянок море пестрит большими буями, похожими на размалеванные сахарные головы; они покачиваются на волнах, и в глазах рябит от красной и белой клетки, черных и желтых полос, от зеленых,

синих, оранжевых крапинок, ромбов и разводов. Порой доносится однообразное пение матросов, тянущих судно бечевой.

Довольный вид не только у рыбаков: у садовников и земледельцев тоже. Почва, насыщенная прахом каменных пород, могуча; ил и водоросли сдабривают ее солями; вот причина невероятной плодоносности; все растет на глазах; всюду магнолии, мирты, лавры, олеандры, голубые гортензии; фуксии цветут пышным цветом; аркадами встает трехлистная вербена, стеною высится герань; апельсиновые и лимонные деревья зеленеют под открытым небом, в теплицах созревает виноград, и он бесподобен, камелии — словно деревья; в садах алоэ вышиною с дом. Нет на свете роскошней, нет сказочней той растительности, что заслоняет и украшает фасады прелестных вилл и коттеджей острова.

Но не все побережье Гернсея пленяет взоры, в иных местах остров просто страшен. Западная его сторона оголена шквалами. Там высокий прибой, гам штормы, обмелевшие бухты, залатанные лодки, поля под паром, пустоши, лачуги, порой деревушка с шаткими и убогими домами, тощие стада, просоленная низкорослая трава — угрюмая картина безысходной нищеты.

Ли-У — пустынный остров, высящийся поодаль и доступный лишь во время отлива. Он зарос кустарником, изрыт норами. У кроликов острова Ли-У развито чувство времени. Они выходят из своих тайников только в часы прилива. Они издеваются над человеком. Друг океан защищает их. В таких великих братских союзах воплощена сама природа.

Если заняться раскопками наносной земли в Вазонской бухте, то там найдешь деревья. Под таинственной толщей песка погребен лес.

Рыбаки западной части Гернсея, иссеченной ветрами, вышколены океаном, они искусные лоцманы. Море близ островов Ла-Манша необычно. Неподалеку Канкальская бухта — тот уголок земного шара, где бывает самый высокий прилив.

IV. Травы

Трава на Гернсее — обыкновенная трава, только она чуть побогаче, чем везде; гернсейские пастбища под стать лугам близ Клюжа или Жеменоса. Вы тут найдете, как в любом другом месте, овсяницу и мятлик, но здесь больше костеря с веретеновидными колосками, канареечника, полевицы, из которой делается зеленая краска, желтого лупина, бухарника с ворсистым стеблем, благоухающего желтоцветника, дрожащих кукушкиных слезок, куреслепа, диких злаков; здесь лисохвост — его колос похож на крошечную булаву, куга — из ее стеблей плетут корзины, песочный овсец — он укрепляет зыбучие пески. И все? Нет. Тут встретишь и песью траву — ее цветы свертываются клубочком, и дикое просо, а по словам некоторых здешних агрономов, и бородач. Скерды, листья которых похожи на листья одуванчиков, показывают время, а сибирская заячья капустка предвещает погоду. Трава как трава, но все же такой травы вы нигде не найдете, ибо это трава архипелага; ведь она растет на граните и поливают ее волны океана.

А теперь вообразите целый мир насекомых,

и прелестных и уродливых, они ползают среди былинок и порхают над ними: в траве — длинноногие, длинноусые жуки долгоносики, муравьи, пасущие своих кормилиц — травяных тлей, кузнечики, букашка, что зовется «божьей коровкой», и листоед, что зовется «чертовой тварью»; на траве и в воздухе — стрекозы, наездники, осы, бронзовики, бархатистые шмели, ажурнокрылые мухи, осы с красным брюшком, жужжащие шершни, — вообразите все это, и вы получите представление о сказочном зрелище, которое созерцает на гребне горы близ Жербура или Фермен-Бэя июньским полднем энтомолог, склонный к мечтательности, и склонный к естествознанию поэт.

И вдруг в нежно-зеленой мураве мелькнет перед вами квадратная плита, а на ней две выгравированные буквы: *W. D.,* что означает *War Department,* то есть Военное ведомство. Так и должно быть. Цивилизации следует проявить себя. Иначе здесь была бы настоящая глушь. Отправьтесь на рейнские берега, отыщите подобный нетронутый уголок; вам почудится, что вы попали в храм, так торжественно величав в иных местах пейзаж; невольно на ум приходит, что этот край особенно возлюбил господь; углубитесь

в горы, туда, где вы найдете приют уединения и где безмолвен лес, изберите хотя бы Андернах и его окрестности, посетите сумрачное, словно застывшее Лаахское озеро, почти легендарное, — так мало о нем известно; нигде не найти столь царственного спокойствия, бытие вселенной отражено здесь во всем своем священном бесстрастии; повсюду полная невозмутимость, нерушимый порядок великого беспорядка природы; вы идете умиленный среди этого безлюдья, оно полно неги, как вешняя пора, оно печально, как дни осени; ступайте наугад, не останавливайтесь у развалин монастыря, растворитесь в безмолвии оврагов, волнующем душу, в пении птиц, шелесте листвы; пейте прямо из горсти родниковую воду, бродите, размышляйте, отдайтесь забвению; вот перед вами хижина, она стоит на краю селенья, затерянного среди деревьев; уютный домик утопает в зелени, увит плющом и душистыми цветами, в нем звенят детские голоса, смех, вы подходите ближе, и на древнем камне древней стены, застланной ярким рубищем светотени, под названием селенья — *Лидеербрейциг,* вы читаете: *2-я рота 22-го запасного батальона.*

Вы думали, что находитесь в деревушке, а попали в полк. Таков уж человек.

V. Козни моря

Оверфол — читай «гиблое место» — явление обычное на западном берегу Гернсея. Берег этот искусно изрезан волнами. Говорят, ночью на вершине предательских утесов появляется сверхъестественное сияние, что подтверждают и бывалые мореходы: оно то предостерегает, то сбивает с пути. Смелые и легковерные моряки различают под водой легендарную голотурию — эту крапиву, растущую на дне морей и в преисподней: стоит до нее дотронуться, как руку опалит пламя. Такое местное название, как, например, Тентаже (от галльского Тен-Тажель), свидетельствует о том, что тут дело не обходится бег дьявола. Эсташ, он же Уэйс, намекает на него в старинных своих виршах.

Лукавый тут забушевал.
И за волной взметнулся вал.
Покрыла небо туча злая;
Ни тьме конца, ни морю края.

Ла-Манш так же непокорен ныне, как во времена Тьюдрига, Умбрафеля, Черного Амонду и

рыцаря Эмира Лидо, укрывавшегося на острове Груа, близ Кемперле. В здешних краях море устраивает представления, которых следует остерегаться. Компас у нормандских островов выкидывает удивительные фокусы; бывает, например, так: буря надвигается с юго-востока, потом наступает затишье, полное затишье; вы облегченно вздыхаете; порою так проходит час; вдруг — ураган, но не с юго-востока, а с севера, он налетал с кормы, теперь налетает с носа; буря идет в обратном направлении. Только опытный лоцман, морской волк, успеет переставить паруса в затишье, пока меняется ветер, а иначе несдобровать: судно терпит крушение и тонет.

В бытность свою на Гернсее Рибероль, окончивший жизнь в Бразилии, урывками записывал события дня. Вот листок из его дневника: «*1 января*. Новогодний гостинец: буря. Судно, прибывшее из Портрие, вчера пошло ко дну прямо против крепости. *2 января*. Близ Рокена затонул трехмачтовый корабль шел из Америки. Семеро погибло. Двадцать одна душа спасена. *3 января*. Почтовое судно не прибыло. *4 января. Буря* продолжается… *14 января.* Ливень. Во время обвала погиб человек. *15 января.* Непогода. «Тауну» не удалось отчалить. *22 января.* Внезапный шторм.

На западном берегу пять несчастных случаев. *24 января.* Буря не унимается. Отовсюду вести о кораблекрушениях».

В этих краях океан почти никогда не утихает. Вот почему тревожный голос поэта древности Ли-Уар-Эна, этого Иеремии морей, доносит до нас через века вопли чаек и неумолчный грохот шторма.

Но не буря всего страшнее для судов в водах архипелага; шторм неистовствует, и его неистовство предостерегает. Судно сейчас же возвращается в порт или ложится в дрейф, моряки спешат убрать верхние паруса; если ветер крепчает, все паруса берут на гитовы, и из беды можно выпутаться. Величайшие опасности в этих водах — опасности невидимые, постоянно подстерегающие, и они тем неотвратимей, чем лучше погода. При встрече с ними прибегают к особому маневру. Моряки западного Гернсея отлично выполняют этот маневр, который можно было бы назвать предотвращающим. Им ведомы, как никому, три опасности, которые грозят им в часы затишья: «западня», «плешина» и «водокруть». Западня — это подводное течение, плешина — мель, водокруть — водоворот, ямина, воронка из подводных скал, колодец на дне морском.

VI. Скалы

Побережье Ла-Маншского архипелага почти пустынно. Острова живописны, но трудно и страшно к ним подступиться. В Ла-Манше, — он сродни Средиземному морю, — волна резка и неистова, бурлив прибой. Оттого-то затейливо выдолблены скалы на взморье и глубоко подмыт берег.

Плывешь вдоль острова, и чередой встают перед тобою обманчивые видения. Скала то и дело старается тебя одурачить. Где гнездятся химеры? В самом граните. Невиданное зрелище. Огромные каменные жабы вылезли из воды, конечно, чтобы глотнуть воздуха; у горизонта куда-то торопятся, склонив головы, исполинские монахини, и застывшие складки их покрывал легли по ветру; короли в каменных коронах, восседая на массивных престолах, обдаваемых морской пеной, предаются размышлениям; какие-то существа, вросшие в скалу, простирают руки, виднеются их вытянутые пальцы. И все это лишь бесформенные береговые скалы. Приближаешься. Пред тобой нет ничего. Камню свойственны такие превращения. Вот крепость, вот разва-

лины храма, вот скопище лачуг и обветшалых стен — настоящие руины вымершего города. Но ни города, ни храма, ни крепости и в помине нет: это утесы. Подплываешь или удаляешься, идешь по течению или огибаешь берег — скалы меняют облик; даже в калейдоскопе так быстро не рассыпается узор; одни образы рассеиваются, другие возникают; перспектива подшучивает над нами. Вон та глыба — треножник; да нет же, это лев, нет — ангел, и вот он взмахнул крылами; а теперь это человек, читающий книгу. Ничто так не изменчиво, как облака, но еще изменчивее очертания скал.

Они поражают величием, но не красотою. Порой в них есть даже что-то болезненное и отталкивающее. Скалы покрыты наростами, опухолями, нарывами, синяками, шишками, бородавками. Горы — горбы на земном шаре. Г-жа де Сталь, услышав, как Шатобриан, который был сутуловат, бранил Альпы, сказала: «В нем говорит зависть горбуна». Величественные линии, величественное спокойствие природы, морская гладь, силуэты гор, мрак лесов, небесная лазурь — все сочетается с каким-то не-удержим распадом, неотделимым от гармонии. Красоте даны одни линии, уродству — другие. У иных

бывает улыбка, у иных — оскал зубов. Непрерывно изменяются скалы и облака. Форма облака, плывущего по небу, расплывчата; форма скалы, стоящей неподвижно, непостоянна. Ужас первобытного хаоса оставил след на вселенной. Рубцами покрыты великолепные творения. Безобразное иногда ошеломляет, примешиваясь к прекрасному и как бы восставая против порядка вещей. Подчас облако искажается гримасой. Подчас небо паясничает. В ломаных линиях волны, листвы, скал чудятся карикатурные образы. Там царит уродство. Нигде не найти правильного абриса. Во всем — величие, но нет чистоты рисунка. Вглядитесь в облака: какие только фигуры там не возникают, с чем только не находишь в них сходства, какие только лица не мерещатся. Но поищите греческий профиль. Калибана вы найдете, а Венеру никогда; Парфенон вы не увидите. Зато порою, в вечерний час, громадная туча, плитой опустившаяся на облачные столбы и окруженная глыбами тумана, темнеет на бледном, сумеречном небе гигантским чудовищным кромлехом.

VII. И побережье и океан

На Гернсее хутора монументальны. Иной раз у самой дороги, будто декорация, встает стена, а в ней пробиты ворота и калитка. Время выдолбило в косяках и арках ворот глубокие впадины, там пускают ростки споры полевого мха, там нередко вспугнешь спящую летучую мышь. Под сенью деревьев — древние, но живучие деревушки. Соборной стариной веет от хижин. В стене каменной лачуги, на пути в Уби, — ниша, в ней обрубок колонны с датой: 1405 год. На фасаде другой, ближе к Бальморалю, изваяние герба из камня, как на крестьянских домах Эрнани и Австригары. Куда ни взглянешь, всюду на фермах окна в косую решетку, лестничные башенки и лепные арки эпохи Возрождения. У каждой двери гранитный приступок, с которого всадники садились на коней.

Иные хибарки были прежде баркасами; корпус опрокинутого судна, установленного на столбах и балках, — готовая крыша. Корабль трюмом вверх — храм; храм куполом вниз — судно; перевернутый молитвенный дом укрощает морскую волну.

В бесплодных приходах западного Гернсея,

среди невозделанных земель, обычный колодец с белым каменным навесом приводит на память гробницу арабского святого. Вместо ворот в изгороди, окружающей поле, просверленное бревно на каменном стержне; по известным приметам узнают плетни, на которые по ночам садятся верхом гномы и морские духи.

Склоны оврагов заросли папоротником, вьюнком, остролистом с багряными ягодами, розовым шиповником, шиповником белым, шотландской бузиной, бирючиной и растением с длинными гофрированными листьями, которые называются воротничками Генриха IV. Среди трав на приволье разрастается кипрей — излюбленная пища ослов, благозвучно и деликатно именуемая в ботанике «онагровым кипреем». Повсюду кустарник, грабовая поросль, «зеленокудрая дубрава», густая чаща, где щебечет целый мир пернатых, подстерегаемый миром пресмыкающихся; дрозды, коноплянки, малиновки, сойки, стремглав проносятся арденские иволги, кружат стаи скворцов; тут и зеленушка, и щегол, и пикардийская галка, и краснолапая ворона. Попадаются ужи.

Маленькие водопады, отведенные в желоба, через деревянные полусгнившие стенки которых пробиваются капли, приводят в движение

мельницы, шумящие меж деревьев. Кое-где во дворах ферм еще увидишь старинную давильню для приготовления сидра и выдолбленный каменный круг, в котором вертелось колесо, мявшее яблоки. Скотина пьет из корыт, похожих на саркофаги. Быть может, какой-нибудь кельтский король истлел в такой вот гранитной гробнице, а теперь из нее мирно тянет воду юноноокая корова. Поползни и трясогузки дружной ватагой грабят зерно, засыпанное курам.

Все побережье выцвело. Ветер треплет траву, опаленную солнцем. На некоторых церквах — ряса из плюща до самой колокольни. В иных местах на пустошах, заросших вереском, торчит скала, на ее макушке — лачуга. Пристаней нет, поэтому суда вытаскивают на сушу, огромные камни служат им подпорками. Паруса на горизонте кажутся не то изжелта-красными, не то шафраннорозовыми, но не белыми. С подветренной стороны деревья в опушке из лишайников; даже камни, точно для самозащиты, закутались в плотный и густой мох. Шорохи, ветерок, шелест листьев, внезапный взлет морской птицы, несущей в клюве серебристую рыбешку, уйма пестрых бабочек, все новых с каждым временем года; полнозвучная разноголосица среди гулких

скал. На воле по целине носятся невзнузданные кони. Они то катаются по траве, то скачут, то стоят как вкопанные, глядя на волны, беспрерывно набегающие из морских просторов, и гривы их полощутся по ветру. В мае вокруг ветхих сельских и рыбацких домиков целые заросли левкоев, а в июне стеною стоит цветущая сирень.

Разрушаются в дюнах батареи. Пушки молчат, и это на пользу крестьянам; на амбразурах сушатся рыболовные снасти, меж четырех стен развалившегося блокгауза пасется осел; коза, привязанная к колышку, щиплет испанский газон и синий чертополох. Смеются полуголые дети. На тропинках нарисованы клетки — здесь дети играют в «котел».

Под вечер, когда заходящее солнце низко стелет свои багряные лучи, по дорогам в ложбинах не спеша возвращаются с пастбищ коровы. Они останавливаются под негодующий лай овчарок, покусывая ветки живай изгороди, зеленеющей по обе стороны дороги. Пустынные мысы западного побережья уходят волнистой грядой в море; кое-где на них покачиваются одинокие тамариндовые деревца. Меркнущее небо сквозит между каменными глыбами гигантских стен на вершинах холмов, и кажутся они зубцами черно-

го кружева. Слушая шум ветра в этом безлюдье, начинаешь ощущать, как беспредельна даль.

VIII. Порт Сен-Пьер

Порт Сен-Пьер, главный город Гернсея, был прежде застроен деревянными домами с резьбой, вывезенными из Сен-Мало. На Большой улице и доныне цел красивый каменный дом XVI века.

Порт Сен-Пьер — вольная гавань. Город спускается ярусами по долинам и холмам, — они теснятся в художественном беспорядке вокруг Старой гавани и словно зажаты в кулаке великана. Овраги превращены в улицы; лестницы сокращают путь. По крутым этим улицам галопом сбегают и взбираются сильные англо-норманд-ские лошади, запряженные в экипажи.

На площади, под открытым небом, прямо на мостовой сидят торговки, поливаемые зимним ливнем, а в нескольких шагах высится бронзовая статуя какого-то принца. На Джерсее за год выпадает двенадцать дюймов осадков, а на Гернсее — десять. Рыботорговцы в большем почете, чем огородники: в рыбных рядах обширного крытого рынка — мраморные столы, на них во всем своем великолепии красуется гернсейский улов, а он иной раз достоин удивления.

Общественной библиотеки нет и в помине. Есть

техническое и литературное общество. Есть колеж. Церкви на каждом шагу. Как только церковь построена, она предлагается на утверждение «господам членам совета». По улицам нередко проезжают телеги, груженные стрельчатыми оконными рамами, — дар такой-то церкви от такого-то плотника.

Есть суд. Судьи в лиловых мантиях громогласно выносят приговоры. В прошлом веке мясникам не дозволялось продавать ни фунта говядины или баранины, пока судейские не брали свою долю.

Бесчисленные сектантские молельни соперничают с официальной церковью. Зайдите в такую молельню, и вы услышите, как крестьянин поясняет собравшимся, что такое несторианство, то есть рассказывает о неуловимом различии между матерью Христовой и божьей матерью, или же поучает, что бог-отец всемогущ, а сын его — лишь подобие всемогущества; все это очень напоминает абелярову ересь. Здесь полно католиков ирландцев, весьма нетерпимых, поэтому на теологических дискуссиях знаками препинания подчас служат увесистые удары истинно христианского кулака.

Воскресное безделье — закон. По воскресеньям разрешается все, кроме стакана пива. Если бы в

«святой день субботний» вас одолела жажда, вы просто привели бы в негодование почтеннейшего Амоса Шика с Гайстрит — обладателя патента на торговлю элем и сидром. Закон воскресенья: пой. но не пей. Лишь в молитве произносится «господи». Вообще же говорится «милостивец». God[2] заменяется словом good[3]. Молоденькая француженка, учительница пансиона, воскликнула, поднимая упавшие ножницы: «Ах, господи!» — и ее выгнали за то, что она «всуе упомянула имя божье». Здесь еще веет духом Библии, а не Евангелия.

Есть в городе и театр. На захолустной улице видишь калитку, через нее входишь в какую-то прихожую — таков подъезд. По архитектуре театр смахивает на сарай. Сатана здесь не в почете, и живется ему неважно. Напротив театра — еще одна резиденция для той же персоны: тюрьма.

На северном холме в Касл Карей (ошибка: надо было бы говорить Карей Касл) собрана ценнейшая коллекция картин, и все больше кисти испанских мастеров. Если бы она принадлежала обществу, там был бы настоящий

---

[2] Примечания: 2
Бог *(англ.).*

[3] Примечания: 3
Добрый *(англ).*

музей. В некоторых аристократических домах сохранились любопытнейшие образчики узорных голландских изразцов, украшавших камин в домике царя Петра в Саардаме, и редкостная фаянсовая облицовка стен, что по-португальски зовется *azulejos;* эти изысканные фаянсовые изделия — произведения старинного искусства, ныне восстановленного и усовершенствованного благодаря людям, подобным доктору Лассалю, фабрикам вроде фабрики Премьер и живописцам по керамике — мастерам Дейку и Деверсу.

Шоссе д'Антен Джерсея именуется Краснобульонской улицей. Сен-Жерменское предместье Гернсея называется Роэ. Здесь много красивых прямых улиц, повсюду сады, дома утопают в зелени. В порту Сен-Пьер столько же деревьев, сколько крыш; гнезд больше, чем домов, и больше птичьего гомона, чем уличного шума. Предместье Роэ внушительно, как аристократические кварталы Лондона, все в нем — белизна и опрятность.

Пересеките овраг, перейдите Миль-стрит, сверните в проход, зияющий, будто расщелина, меж двумя высокими домами, поднимитесь по узкой и длинной извилистой лестнице с шаткими ступенями — и вот вы в настоящем бедуинском

селении: ветхие домишки, немощеные улички в рытвинах, обгорелые чердаки, обвалившиеся стены, заброшенное жилье без окон и дверей, заросшее бурьяном, балки, загородившие улицу, развалины, вставшие на пути; то тут, то там жилая лачуга, голые дети, бледные женщины; можно подумать, что вы попали в Заачу.

В порту Сен-Пьер часовщик зовется часовником, оценщик на торгах зовется аукционером, маляр — живописцем, штукатур — замазчиком, мозольный оператор — мозольщиком, повар — кухарем, в дверь не стучатся, а «ударяют». Некая г-жа Пескот именует себя «агентка-таможенщица и корабельная поставщица». Брадобрей сообщил в своей цирюльне о смерти Веллингтона в таких словах: «Начальник солдатни преставился».

Женщины ходят из дома в дом, перепродавая всякую мелочь, купленную в лавках и на рынках; заниматься этим ремеслом называется по-здешнему «коробейничать». Коробейницы очень бедны и с превеликим трудом выручают несколько дублей в день. Вот как говорила одна из них: «Ну и повезло мне: за неделю целых семь су отложила на черный день». Мой приятель как-то подарил такой коробейнице пять франков; она сказала: «Благодарю вас, сударь, теперь-то я

закуплю товар оптом».

В мае месяце в порту появляются яхты; рейд кишит увеселительными судами; почти все они оснащены, как шхуны, а на некоторых паровые машины. Иной владелец тратит на яхту сто тысяч франков в месяц.

Крикет процветает, а бокс сходит на нет. Широко распространены общества трезвости, что, надо заметить, весьма полезно. Они устраивают процессии и несут свои хоругви с чисто масонской торжественностью, это приводит в умиление даже кабатчиков. Сами трактирщицы, прислуживая пьяницам, говорят: «Опрокиньте стаканчик, и довольно. Нечего дуть бутылками».

Островитяне красивы, здоровы и добродушны. Городская тюрьма нередко пустует. На Рождество тюремщик, если есть арестанты, устраивает для них праздник, по-семейному.

Местные архитектурные вкусы незыблемы; порт Сен-Пьер верен королеве, Библии и опускным окнам; летом мужчины купаются голыми, купаться в белье неприлично, оно подчеркивает наготу.

Здешние мамаши — мастерицы наряжать детей: нет ничего милее этих изящных детских костюмчиков! По улицам дети ходят одни — тро-

гательная и отрадная доверчивость. Ребятишки постарше ведут за руку малышей.

Гернсей подражает парижским модам. Правда, не во всем. Иногда родство с Англией сказывается в любви к пунцовому и ярко-синему цветам. И все же мы подслушали, как одна местная портниха, противница алого и кубового цвета, наставляя гернсейскую модницу, сделала претонкое замечание: «Вот цвет анютиных глазок я нахожу вполне приличным и вполне дамским цветом».

Гернсейские корабельных дел мастера славятся; верфи забиты парусниками, стоящими на ремонте. Суда вытаскивают на сушу под звуки флейты. «От флейтиста проку больше, чем от иного работника», — говорят мастера плотничьего дела.

В порту Сен-Пьер, как в Дьеппе, есть свой Полле и, как в Лондоне, — свой Стренд. Человек светский не выйдет на улицу с папкой или бумагами под мышкой, зато в субботу самолично отправляется с корзинкой на рынок. В честь некоей коронованной особы, посетившей порт Сен-Пьер проездом, была воздвигнута башня. Людей хоронят в черте города. По обеим сторонам Школьной улицы тянутся два кладбища. Могильный памятник, поставленный в феврале 1610 года, стал

частью ограды.

Иврез, сквер с изумрудным газоном и купами деревьев, не уступит живописнейшим уголкам Елисейских полей в Париже, но тут в придачу море. На красиво убранных витринах магазина «Аркады» читаешь широковещательную рекламу: «Здесь продаются духи, одобренные 6-м артиллерийским полком».

По городу во всех направлениях снуют тележки, нагруженные бочками с пивом или мешками с каменным углем. То и дело наталкиваешься на такие объявления: «Здесь по-прежнему отпускается во временное пользование племенной бык». «Здесь по самой высокой цене покупаются лоскутья, свинец, стекло, кости». «Здесь продается молодой круглый отборный картофель». «Продаются подпорки для гороха, несколько тонн овсяной соломы для сечки, полный комплект аглицких дверных приборов для гостиной, а также откормленный боров. Обращаться: ферма «Моя услада. Сен-Жак». «Продается хорошая свежая мякина, желтая морковь сотнями и исправная французская клистирная трубка. Обращаться на мельницу, что у лестницы Сент-Андре». «Здесь воспрещается потрошить рыбу и сваливать отбросы». «Продается дойная ослица»

и т. д. и т. д.

IX. Джерсей, Ориньи, Серк

Острова Ла-Манша — это частицы Франции, упавшие в море и подобранные Англией. Вот почему трудно определить национальность островитян. Джерсейцы и гернсейцы сделались англичанами, конечно, не без своего ведома, но они, сами того не ведая, — французы. Впрочем, если б они и знали об этом, то пожелали бы забыть, что отчасти и доказывает тот французский язык, на котором они говорят.

Архипелаг состоит из четырех островов: двух больших — Джерсея и Гернсея, и двух малых — Ориньи и Серка, не считая Ортаха, Каскэ, Эрма, Жет-У и других мелких островов. Население этой древней Галлии охотно наделяет названия островов и рифов звуком у. Близ Ориньи — Бюр-У, близ Серка — Брек-У, близ Гернсея — Ли-У и Жет-У, близ Джерсея — Экре-У, близ Гранвилля — Пир-У. Есть также мыс Уг, залив Уг, Яблоновый Уг и Умэ. Есть остров Шузей, подводный камень Шуас и т. д. *Hou,* этот достопримечательный корень древнего языка, встречается повсюду: *houe* — волна, *huee* — гиканье, *hure* — кабанья голова, *hourque* — голландское парусное судно, *houre* — старинное

название эшафота, *houx* — терновник, *houperon* — акула, *hurlemenl* — рычание, *hulottt, chouette* — сова, сыч (отсюда слово *chouan* — шуан) и т. д.; он звучит в двух словах, выражающих бесконечность, — *unda и unde*[4]. Он чувствуется в двух словах, выражающих сомнение, — ou и oú[5].

Серк равен половине Ориньи, Ориньи — четверти Гернсея, Гернсей — двум третям Джерсея. А сам остров Джерсей по величине — Лондон. На Францию пошло бы две тысячи семьсот Джерсеев. Весьма сведущий агроном-практик Шарасеп подсчитал, что если бы пашни во Франции так же хорошо обрабатывались, как на Джерсее, то они прокормили бы двести семьдесят миллионов человек, всю Европу. Серк, самый маленький из четырех островов, всех красивей; Джерсей всех больше и всех привлекательней, а суровый и живописный Гернсей сходен и с тем и с другим. На Серке есть серебряный рудник, но он не разрабатывается, ибо добыча незначительна. На Джерсее пятьдесят тысяч жителей; на Гернсее тридцать тысяч; на Ориньи четыре тысячи пятьсот; на Серке шестьсот; на Ли-У один человек.

---

[4] Примечания: 4
Unda — волна; unde — откуда *(лат.).*

[5] Примечания: 5
Ou — или; oú — где *(фр.).*

С острова на остров, с Ориньи на Гернсей, а с Гернсея на Джерсей — шаг шагнуть в семимильных сапогах. Пролив между Гернсеем и Эрмом называется «Малой улицей», а между Эрмом и Серком — «Большой улицей». Ближайший выступ французского материка — мыс Фламанвиль. Из Шербурга до Гернсея доносятся пушечные залпы, а в Шербург с Гернсея раскаты грома.

Грозы в Ла-Маншском архипелаге, как мы говорили, ужасны. Архипелаги — царство ветров. Каждый пролив меж островами становится поддувальным мехом. Это закон, полезный для тех, кто на суше, и вредный для тех, кто в море. Ветер уносит миазмы и приносит кораблекрушения. Закон этот действует на нормандских островах, как и на других архипелагах. Холера едва коснулась Гернсея и Джерсея. Зато в Средние века на Гернсее свирепствовала такая лютая чума, что бальи сжег все архивы, дабы пресечь заразу.

Во Франции эти острова зачастую называют «английскими островами», а в Англии — «нормандскими островами». Ла-Маншские острова чеканят свою монету, но только медную. Еще сохранилась римская дорога, которая вела из Кутанса на Джерсей.

В 709 году, как мы уже говорили, океан оторвал

Джерсей от Франции. Волны поглотили двенадцать приходов. Дворянские семьи, живущие ныне в Нормандии, все еще сеньоры этих приходов, но собственность, на которую они имеют «священное право», канула в воду; со священными правами это частенько случается.

X. История. Предания. Религия

Все шесть исконных гернсейских приходов принадлежали одному сеньору — виконту Котантенскому Неелю, сраженному в битве при Дюнах в 1047 году. Тогда, по словам Дюмарсе, на островах Ла-Манша был вулкан. Дата появления двенадцати приходов на Джерсее запечатлена в Черной книге кутанского кафедрального собора. Сеньор Брикбека носил титул гернсейского барона. Ориньи был ленным владением Генриха Мастера. Джерсей был дважды под игом разбойников — Цезаря и Роллона.

Возглас «аро» — призыв к герцогу (Ах, Роллон!), если только слово это не происходит от саксонского *haran* — «кричать». Возглас «аро» повторяют трижды, коленопреклоненно, на проезжей дороге, и все, кто его слышит, бросают работу до той поры, пока справедливость не будет восстановлена.

До Роллона, герцога нормандцев, владычествовал на архипелаге Саломон, король бретонцев. Поэтому на Джерсее многое от Нормандии, а на Гернсее — от Бретани. Природа там отражает историю: на Джерсее больше лугов, на Гернсее

больше скал; Джерсей зеленее, Гернсей суровее.

Дворянство обороняло архипелаг. На Ориньи от владений графа Эссекского остались развалины, Эссекский замок. На Джерсее сохранился замок Монторгейль, а на Гернсее — замок Корнэ. Замок Корнэ был построен на скале Хольм, то есть Шлем. Та же метафоричность в названии островов Каскэ — Каски. Корнэ был осажден пикардийским пиратом Эсташем, а Монторгейль — Дюгескленом. Крепости, подобно женщинам, любят похвалиться тем, кто домогался победы над ними, если он — знаменитость.

Некий папа в XV веке объявил Джерсей и Гернсей нейтральными. Но он имел в виду войну, а не раскол. Кальвинизм, который проповедовал на Джерсее Пьер Морис, а на Гернсее Никола Бодуэн, проник на Нормандский архипелаг в 1563 году. Он там процветал, как и ученье Лютера, но ныне и то и другое притесняется методическим учением, а это нарост на протестантстве, которому принадлежит будущее Англии.

Подробность, достойная внимания: церквей на архипелаге тьма, храмы на каждом шагу. Перед этим бледнеет даже набожность католиков; в каком-нибудь уголке джерсейской или гернсейской земли насчитаешь часовен больше, чем

в любом, равном по величине, уголке земли испанской или итальянской. Часовни методистов, методистов-догматиков, методистов объединенных, методистов независимых, баптистов, пресвитерианцев, мелленаров, квакеров, библейских христиан, плимутских братьев, свободно верующих и т. д., не считая англиканской епископальной церкви и римско-католической. На Джерсее есть даже мормонская часовня. Библии ортодоксальные узнаются по тому, что Сатана там пишется с маленькой буквы. И поделом ему.

Кстати о Сатане: здесь ненавистен Вольтер. Имя Вольтера стало, видимо, одним из обозначений Сатаны. Стоит завести речь о Вольтере, и все раздоры прекращаются, мормон приходит к согласию с англиканином, все секты дышат общей ненавистью; гнев порождает единомыслие. Анафема Вольтеру — точка пересечения всех разновидностей протестантства. Примечательно, что католики ругают Вольтера, а протестанты его клянут. Женева перещеголяла Рим. И у проклятий есть своя восходящая гамма. Ни Калас, ни Сирвен, ни красноречивые страницы, написанные Вольтером против драгонад, роли не играют. Вольтер отрицал догматы, вот в чем суть. Он взял под защиту протестантов, но оскорбил проте-

стантство. Ортодоксальные протестанты платят ему неблагодарностью. Однажды в Сент-Элье кто-то задумал выступить публично с призывом к сбору пожертвований и был предупрежден, что сбор сорвется, если будет упомянуто имя Вольтера. Пока не умолкнет голос прошлого, Вольтера будут отвергать. Чего только о нем не говорят! Ему отказывают в гениальности, в таланте, в уме На старости лет его оскорбляли, над ним надругались после смерти. Ему суждено вечно возбуждать споры. В этом слава его. Да и можно ли говорить о Вольтере хладнокровно и беспристрастно? Когда человек выше своих современников, когда он — воплощение прогресса, ему приходится иметь дело не с критикой, а с ненавистью.

XI. Разбойники и святые былых времен

Цикладские острова образуют круг; острова Ла-Маншского архипелага — треугольник. Когда смотришь на карту нормандских островов, — а карта изображает то, что человек видит с высоты птичьего полета, — на ней выступает треугольный отрезок морской поверхности; вершины его: остров Ориньи, отмечающий северный угол треугольника, Гернсей — западный его угол и Джерсей — южный. Вокруг каждого из трех островов-патриархов целый выводок островков. Близ Ориньи — Бюр-У, Ортах и Каскэ; близ Гернсея — Эрм, Жет-У и Ли-У; Джерсей развернулся в сторону Франции дугой Сент-Обенской бухты, и к ней, будто два роя пчел к улью, в синеве вод, сливающейся с лазурью небес, устремляются две разбросанные, но четкие группы островков — Греле и Менкье. В центре архипелага словно перемычка между Гернсеем и Джерсеем лежит островок Серк, а рядом с ним — Бек-У и Козий остров. Сравнение Цикладских островов с нормандскими, несомненно, поразило бы последова-

телей мистико-мифологического учения времен Реставрации, которые, следуя за Экштейном, стали приверженцами де Местра; они усмотрели бы тут символический смысл: округлый эллинский архипелаг, *ore rotundo;* Ла-Маншский архипелаг — заостренный, причудливый, коварный, резко очерченный; там — все умиротворяет, здесь — все настораживает; недаром там Греция, а здесь Нормандия.

Некогда, в доисторические времена, ламаншские острова были островами-хищниками. Первые островитяне, вероятно, принадлежали к первобытным людям с недоразвитой нижней челюстью, останки которых находят близ Мулен-Гиньон. Полгода они питались рыбой и ракушками, полгода дарами моря. Они грабили родные берега, и это было источником их существования. Они признавали лишь два времени года: «время рыбной ловли» и «время кораблекрушений»; так, гренландцы называют лето «охотой на оленя», а зиму — «охотой на тюленя». Все эти острова, позднее ставшие нормандскими, были покрыты зарослями репейника, колючего кустарника, норами зверей и логовищами пиратов. «Крысиное и разбойничье царство» — по яркому определению одного древнего летописца-остро-

витянина. Настала пора римского владычества, но римляне немного сделали для внедрения честности: распиная на кресте пиратов, они все же отмечали «Фуриналии» — праздник воров. Праздник этот до сих пор справляется у нас в некоторых деревнях 25 июля, а в городах — круглый год.

Джерсей, Серк и Гернсей назывались некогда Анж, Сарж и Бисарж. Ориньи именовался — Реданэ, а быть может, и Танэ. Легенда гласит, что на Крысином острове, *insula rattorum,* от скрещения кроликов-самцов и крыс-самок появилась на свет морская свинка, *Turkey cony*[6]. Если верить Фюретьеру, аббату из Шаливуа, упрекавшему Лафонтена в том, что тот не отличает бревна от срубленного дерева, Франция долго не замечала Ориньи у своего побережья. Правда, Ориньи занимает в истории Нормандии весьма скромное место. Рабле, однако, знал Нормандский архипелаг, ибо он упоминает Эрм и Серк, который именует островом Сер. Он пишет: «Заверяю вас, что земли здешние подобны островам Сер и Эрм, меж Бретанью и Англией, что лицезрел я некогда…» (издание 1558 года, Лион, с. 423).

Острова Каскэ — роковое место кораблекруше-

---

[6] Примечания: 6
Турецкий кролик *(англ.).*

ний. Лет двести тому назад англичане вылавливали там пушки со дна морского. Одна из них, покрытая устрицами и раковинами, хранится в Валоньском музее. Эрм — это eremos, пустынь. Святой Тугдуаль, друг св. Сансона, проводил там дни свои в молитвах, как св. Маглуар на острове Серк. Легенда о подвижниках, живших на этих скалистых островах, создала ореол вокруг архипелага. Элье молился на Джерсее, а Маркуф среди утесов Кальвадоса. В те времена отшельник Эпархий, совершавший свой подвиг в ангулемских пещерах, стал уже святым Сибардом, а анахорет Кресцентий, живя в непроходимой чаще Тревских лесов, низверг храм Дианы, неотступно взирая на него целых пять лет. На Серке находилось убежище Святого Маглуара, его *jonad naomk*, там-то он и сочинил псалом на День всех святых, переделанный Сантейлем: *Coelo quos eadem gloria consecrat*[7]. Оттуда же он забрасывал саксов камнями, когда появление их разбойничьих кораблей дважды помешало его молитвенному экстазу. Вносил тревогу в жизнь архипелага в ту пору и кацик кельтской колонии, амваридур. Иногда Маглуар пускался вплавь на Гернсей

---

[7] Примечания: 7
Которых посвящает небу та же слава *(лат.).*

потолковать с гернсейским мактиерном Ниву, который слыл пророком. Однажды Маглуар, свершив чудо, дал обет не есть рыбы. Кроме того, дабы не поощрять дурные нравы даже среди собак и не наводить монахов на греховные помыслы, он изгнал с острова Серк всех сук; закон этот в силе и ныне. Вообще св. Маглуар оказал архипелагу множество услуг. Он отправился на Джерсей образумить местных жителей, у которых велся пагубный обычай рядиться на святках в шкуры разных животных в честь Митры. Святой Маглуар искоренил эти нечестивые забавы. Его останки были похищены монахами монастыря Леон-де-Динан в годы правления Номиноэ, вассала Карла Лысого. Все эти факты документально подтверждены болландистами в *Житии св. Маркульфа* и в истории церкви аббата Тригана. У Виктриса Руанского, друга Мартина Турского, был свой грот на Серке; этому острову в XI веке принадлежало Монтебургское аббатство. В наши дни Серк — феод, ставший недвижимой собственностью сорока бывших арендаторов.

XII. Местные особенности

На каждом острове своя монета, свое наречие, свои правители и свои предубеждения. Джерсейцы боятся француза-землевладельца: а вдруг ему вздумается купить весь остров! На Джерсее иностранцам воспрещается покупать землю, а на Гернсее разрешается. Зато на острове Джерсей не так строго соблюдают религиозные обряды, как на Гернсее, и по воскресеньям джерсейцам живется гораздо привольнее, чем гернсейцам. В порту Сен-Пьер Библии придерживаются строже, чем в Сент-Элье. Покупка земельных угодий на Гернсее — предприятие сложное и даже связана с некоторым риском, особенно для несведущего иностранца: покупатель в течение двадцати лет отвечает приобретенным имуществом за то деловое и финансовое положение продавца, каким оно было в день подписания купчей.

Еще большую неразбериху порождает разница в денежной системе и системе мер и весов. Шиллинг — старинный французский аскален или шелен — стоит двадцать пять су в Англии, двадцать шесть су на Джерсее и двадцать четыре су на Гернсее. «Палата мер и весов королевы» тоже

с капризами: гернсейский фунт отличается от фунта джерсейского, а джерсейский — от английского. На Гернсее поля измеряются квадратными рутами, а руты першами. На Джерсее меры другие. На Гернсее в ходу только французские деньги, а названия им дают английские. Франк именуется «десятипенсовиком». Несоответствие во всем доходит до того, что на архипелаге женщин больше, чем мужчин: на пять мужчин — шесть женщин.

У Гернсея много наименований, и некоторые из них археологической давности; для ученых он — «Гранозия», для верноподданных — «Малая Англия». И правда, его очертания напоминают Англию; Серк может сойти за Ирландию, но только Ирландию с восточной стороны. В гернсейских водах насчитывается до двухсот видов скорлупчатых и до сорока видов губок. Некогда римляне посвятили Гернсей Сатурну, а кельты — божеству Гвину; от этой перемены остров ничего не выиграл, ибо Гвин, как и Сатурн, — пожиратель детей. На острове действует старинный французский судебник от 1331 года, который называется *Судная грамота;* Джерсей, в свою очередь, обладает тремя-четырьмя скрижалями нормандского законодательства, судом по делам наследства, ве-

дающим недвижимым имуществом, уголовным судом под названием «Катель», судом долговым — он же является торговым трибуналом, и «субботним судом» — судом исправительной полиции. Гернсей вывозит уксус, скот и фрукты, но особенно оживленно он распродает себя: основная статья его дохода — гипс и гранит, на Гернсее триста пять нежилых домов. Почему? Ответ, хотя бы о некоторых, найдется в одной из глав этой книги. Русские, побывавшие на Джерсее в начале нашего века, оставили по себе добрую память, джерсейский конь — помесь нормандской и донской лошади — превосходный быстроногий скакун, выносливый и в упряжи. Он мог бы нести Танкреда и мчать Мазепу.

В XVII веке разыгралась гражданская война между Гернсеем и замком Корнэ, ибо замок Корнэ держал сторону Стюартов, а Гернсей — Кромвеля. Представьте себе, что остров Сен-Луи в Париже вдруг объявил бы войну Ормской набережной! На Джерсее существуют две партии, партия Розы и партия Лавра — виги и тори в уменьшенном виде. Социальные перегородки, обособленность, иерархия, касты — по вкусу островитянам архипелага, метко названного Неведомой Нормандией. Гернсейцы, в частности, такие поклонники островов,

что понаделали островков и среди населения; на вершине этого маленького социального строя — шестьдесят семейств, *sixty;* эти «шестьдесят» живут особняком; пониже — сорок семейств, *forty,* составляют другую группу, столь же отгородившуюся от всех и вся; вокруг — народ. Власть же, одновременно местная и английская, представлена в десяти приходах десятью приходскими священниками, двадцатью коннетаблями, ста шестьюдесятью старшинами, королевским судом с прокурором и контрольной палатой, парламентом, именуемым «штатами», двенадцатью судьями, которые именуются «судейками», бальи, называемым «бальифом», — *balnivus el cozonator,* говоря языком старинных хартий. Законом служит обычное нормандское право. Прокурор назначается королевским повелением, бальи — грамотой; существенное различие с точки зрения англичан. Кроме бальи, который вершит дела мирские, есть декан, который разрешает дела духовные, и губернатор, который управляет делами военного ведомства. Подробности о других должностных лицах указаны в «Списке высших чинов на острове».

XIII. Труды цивилизации на архипелаге

Джерсей — седьмой по значению английский порт. В 1845 году на Ла-Маншском архипелаге насчитывалось четыреста сорок кораблей вместимостью в сорок две тысячи тонн; ежегодно тысяча двести шестьдесят пять судов различных стран, и в их числе сто сорок два парохода ввозили шестьдесят тысяч тонн и вывозили пятьдесят четыре тысячи тонн. За последующие двадцать лет цифры эти более чем утроились.

Бумажные деньги имеют широкое хождение на островах, что приносит изрядную пользу. На Джерсее кто хочет, тот и выпускает банковые билеты, и если билеты без задержки оплачиваются наличными деньгами, то открывается новый банк. Банковский билет архипелага неизменно оценивается в фунт стерлингов. В тот день, когда англо-нормандцы уразумеют выгодность процентного банкового билета, он, без сомнения, войдет в их обиход, и любопытно будет наблюдать, как на нормандских островах претворится в жизнь то, что в Европе — утопия. В этом уголке

земли произойдет тогда финансовый переворот в миниатюре.

Живой, здравый ум, смекалка, расторопность — характерные черты джерсейцев, которые при желании стали бы отменными французами. Сообразительности и здравомыслия у гернсейцев не меньше, но они тяжелее на подъем.

Это жизнеспособный и мужественный народ, просвещенный более, чем принято думать; немало в нем открываешь своеобразного. В здешних краях выходит несколько газет на английском и французском языках: шесть на Джерсее, четыре на Гернсее, — превосходные газеты большого формата. К этому властно, неудержимо влечет англичанина сама его природа. Представьте себе необитаемый остров. Робинзон, попав туда, на следующий же день становится издателем газеты, а Пятница — ее подписчиком.

Наконец — объявления. Объявлений бездна, их расклеивают в неограниченном количестве. Прямо под открытым небом афиши всех цветов и размеров, прописные буквы, виньетки, надписи и рисунки. На стенах гернсейских домов изображается шестифутовый верзила с колоколом в руке: он бьет в набат, привлекая внимание публики к объявлению. Сейчас на Гернсее реклам

больше, чем во всей Франции.

Печатное слово — источник жизни, жизни умственной, что и приводит к неожиданным последствиям: чтение уравнивает людей и придает достоинство их манере держаться. Иной раз по дороге в Сент-Элье или в порт Сен-Пьер заговоришь со спутником; он одет опрятно, на нем наглухо застегнутый сюртук, белоснежный воротничок; он заводит беседу о Джоне Брауне, осведомляется о Гарибальди. Кто же он? Священник? Отнюдь нет, погонщик волов. Некий современный писатель приезжает на Джерсей, заходит в бакалейную лавку[8] и там в хорошо обставленной гостиной, примыкающей к магазину, видит собрание своих сочинений в переплете за стеклами большого и поместительного книжного шкафа, увенчанного бюстом Гомера.

---

[8] Примечания: 8
Шарль Аспле, Бересфорд-стрит. — *Примеч. автора.*

XIV. Другие особенности

Острова Ла-Манша живут по-братски, однако любят и подтрунить друг над другом. Остров Ориньи в подчинении у Гернсея; порой это его сердит: ему хотелось бы переманить бальи и сделать Гернсей своим подначальным. Гернсей же, ничуть не гневаясь, дает отпор насмешливой песенкой:

Прячься, Пьер, прячься, Жан,
Гернсей даст взбучку вам.

Островитяне — дети моря, их шутки порой солоны, но не оскорбительны; тот, кто приписывает им грубость, не знает их. Сомневаемся, что между Гернсеем и Джерсеем происходил следующий пресловутый диалог: «Ты просто осел». Реплика: «А ты жаба». Нормандский архипелаг не способен на такие любезности. Мы не допускаем, чтобы Вадий и Триссотен могли воплотиться в океанские острова.

Впрочем, и Ориньи имеет относительное значение. Для островов Каскэ — Ориньи это Лондон. Дочка сторожа с Угерского маяка, уроженка островов Каскэ, попала на Ориньи, когда ей ис-

полнилось двадцать лет. Ее ошеломила городская сутолока, и она стала проситься домой, в скалы. Ей еще не приводилось видеть быков. А заметив лошадь, она воскликнула: «Ну и здоровенная собака!»

На нормандских островах люди смолоду старики — не на самом деле, а по традиции. Вот разговор двух встречных: «А ведь умер тот старичок, который каждый день здесь проходил». — «Сколько же ему было лет?» — «Да верных тридцать шесть».

Женщины островной Нормандии, в упрек или в похвалу им будь это сказано, не из покладистых. Двум служанкам в доме трудно ужиться. Они ни за что не уступят друг другу. Поэтому в хозяйстве неполадки, неурядица, все идет вкривь и вкось. Служанки не позаботятся о хозяине, хотя неприязни к нему не питают. Хозяин выпутывается сам, как умеет. В 1852 году, после государственного переворота, некая французская семья, поселившаяся на Джерсее, взяла в услужение кухарку родом из Сен-Брелада и горничную родом из Булей Бэя. Как-то декабрьским утром хозяин дома проснулся на рассвете и обнаружил, что дверь, выходившая на проезжую дорогу, открыта настежь, а служанок и след простыл. Женщины не

поладили, перессорились, собрали ночью пожитки и, по-видимому, не без основания считая, что их труды оплачены, разошлись в разные стороны, бросив спящих хозяев и открытый дом. Одна сказала другой: «Не могу жить с пьянчужкой», — на что другая ответила: «Не могу жить с воровкой».

«Гляди в оба на десять» — вот старинная местная поговорка. Что она означает? А то, что если вы нанимаете батрака или служанку, то не спускайте глаз с их десяти пальцев. Это совет скряги-хозяина, продиктованный исконным недоверием к исконной лени. Дидро рассказывает, что как-то — он жил тогда в Голландии — к нему явились вставлять стекло пять мастеровых: один тащил новое стекло, другой замазку, третий ведро с водой, четвертый лопаточку, пятый тряпку. Потрудившись впятером два дня, они вставили стекло.

Такая нерадивость, надо заметить, — наследие Средневековья, она порождена крепостной неволей и подобна вялости креолов, порожденной рабством; этот порок, общий для всех народов, в наше время под влиянием прогресса уже повсюду исчезает, а на ламаншских островах — быть может, скорее, чем где-либо. И трудолюбие, без которого немыслима безукоризненная честность,

становится законом этих деятельных островных общин.

На архипелаге сохранились пережитки старины. Вот пример: «Протокол заседания ленного суда, имевшего место в Сент-Уэнском приходе, в доме господина Мальзара, в понедельник 22 мая 1854 года, в полдень. Председательствовал сенешал, по правую руку коего сидел прево, по левую же — судебный пристав. На заседании присутствовал благородный кавалер, сеньор Морвиля и других владений, от коего находится в ленной зависимости часть прихода. Сенешал потребовал от прево присяги, сказав ему нижеследующее: «Клянитесь верой во всемогущего бога неукоснительно и честно выполнять возложенные на вас обязанности прево ленного суда в Морвильском владении и блюсти права сеньора». И означенный прево, возведя руку и отвесив поклон сеньору Морвиля, изрек: «Клянемся в том».

Говорят на Нормандском архипелаге своеобразно. Слово «приход» произносится «преход». Говорят: «Болесть в ногу вступила». Спросишь: «Как живете?» — ответят: «скриплю»; «ни шатко ни валко»; «как сыр в масле», а не: «плохо, так себе, хорошо»; «кручиниться» — вместо грустить; «разить» — дурно пахнуть; «нахозяйничать» —

принести ущерб; «убираться» — прибрать в комнатах, мыть посуду. Лохань, частенько полная помоев, — «ваза». Про пьяного говорят, что он «в хмельниках». Промокнуть — «отсыреть». Впасть в хандру — «заблажить». Девушка — «проказница». Передник — «занавеска», скатерть — «столешник», платье — «одежина», карман — «мешочек», сундук — «укладка», кочан капусты — «головка», шкаф — «платяник», гроб — «смертный ларь», подарки — «гостинцы», шоссе — «укат», маска — «личина», пилюли — «катышки». Вместо скоро говорят — «погодя». Если рынок небогат, подвозу мало, говорят: «рыба и овощи в редкости». Судиться, строить, путешествовать, жить широко, принимать гостей, давать балы — «деньги переводить» (в Бельгии и французской Голландии — «расточать»). «Знатный» — одно из самых распространенных слов местного диалекта. Все, что удается, — идет «знатно». Кухарка приносит с рынка «знатную тушку баранины». Откормленная утка — «знатная уточка», жирный гусь — «знатный гусак». В общепринятом судейском лексиконе тоже свой привкус. Судебное дело, прошенье, законопроект «солят» в канцелярии. Отец, выдавая дочь замуж, не обязан больше заботиться о ней, «раз она под

прикрытием мужа».

По нормандским обычаям, беременная, но незамужняя женщина всенародно оглашает имя отца своего ребенка. Случается, что она хитрит и выбирает отца повыгодней. Обычай этот имеет свои неприятные стороны.

Старожилы архипелага, пожалуй, и неповинны в том французском языке, на котором они разговаривают.

Мы уже упоминали, что лет пятнадцать тому назад на Джерсее поселилось много французов (между прочим, здесь никто не мог понять, отчего они покинули родину, некоторые звали их «взбунтовавшимися господами»). Одного из эмигрантов посетил старик — учитель французского языка, эльзасец, давно проживавший, как он сообщил, в здешних краях. Он пришел с женой. Учитель не очень одобрительно отзывался о нормандско-французском говоре, то есть о ламаншском наречии. Вошел он с такими словами:

— Весьма трудно научать их французский. Тут свой местный наречение.

— Как так наречение?

— Ну да, местный наречение.

— А! Наречие?

— Ну да, наречение.

Учитель продолжал жаловаться на «местный наречение». Жена сделала ему какое-то замечание. Он обернулся и сказал ей:

— Не устраивайте брачный сцена.

XV. Старина и обломки старины. Обычаи, законы и нравы

Надо сказать, что в наше время на каждом нормандском острове есть колеж и многочисленные школы, есть превосходные преподаватели — и французы, и гернсейцы, и джерсейцы.

Местное наречие, на которое нападал учитель эльзасец, — настоящий язык, вполне заслуживающий внимания. Наречие это полноценно, очень богато, своеобразно и бросает не яркий, но верный свет на истоки французского языка. Есть здесь и свои ученые лингвисты, среди них Метивье — тот, что перевел на гернсейское наречие Библию, — такой же знаток кельтско-нормандского языка, как аббат Элисагарей — испано-баскского.

На острове Гернсее сохранились часовенка VIII века с каменной крышей, а у кладбищенских ворот галльская статуя VI века. Нечто удивительное, единственное в своем роде. Есть и еще нечто единственное в своем роде, — это потомок герцога Роллона, весьма достойный джентльмен и мирный обыватель архипелага. Он снисходит до того, что называет королеву Викторию кузиной.

Происхождение его от Роллона, говорят, доказано, и тут нет ничего невероятного.

На островах дорожат родовыми гербами. Однажды мы слышали, как некая дама, г-жа М., осыпала упреками род г-жи Д.: «Они присвоили наши гербарии и украсили ими свои гробницы».

Крестьянин говорит «мои предки».

Цветок лилии — излюбленный цветок на островах. Англия, не брезгуя, подбирает то, что выходит из моды во Франции. Лилии красуются почти во всех палисадниках.

Неравные браки — здесь тема щекотливая. Не знаю хорошо, где именно, кажется, на Ориньи, наследник древнего рода виноторговцев вступил в неравный брак с дочерью безродного шапочника; негодование было всеобщим, островок в один голос порицал недостойного сына, а некая весьма уважаемая дама воскликнула: «Ну не горькая ли это чаша для родителей?» Перед этим бледнеет трагическое негодование пфальцской принцессы, упрекавшей кузину, вступившую в брак с принцем Тенгри, за то, что она «опустилась до какого-то Монморанси».

Стоит вам хоть раз пройти под руку с женщиной, и весь Гернсей заговорит о том, что вы помолвлены. Новобрачная всю неделю после

свадьбы выходит из дома только в церковь. Недолгое заточение служит приправой к медовому месяцу. Впрочем, некоторая стыдливость тут вполне уместна. Бракосочетание требует до того мало формальностей, что подчас о нем никто и не знает. Каэнь слышал на острове Джерсей такой разговор между престарелой мамашей и сорокалетней дочкой: «Почему ты не выходишь за Стивенса?» — «Вам, значит, хочется, матушка, чтобы я второй раз за него вышла?» — «Как так?» — «Да мы уж месяца четыре как обвенчаны».

Гернсейский суд в октябре 1863 года приговорил некую девицу к полутора месяцам тюремного заключения «за непослушание отцу».

XVI. Продолжение перечня особенностей

На островах Ла-Манша пока еще красуются только две статуи: на Гернсее статуя «принца-супруга», а на Джерсее статуя «Золотого короля», — ей дали это название, но никому не ведомо, чью именно особу она увековечила. Она стоит на Главной площади в Сент-Элье. Хоть она и безыменная, а все же статуя, и это льстит самолюбию обывателя: вдруг она и на самом деле воздвигнута в честь какой-нибудь знаменитости! Ничто столь медленно не выходит из недр земли, как статуя, а иной раз ничто столь быстро не вырастает. Если это не дуб, значит — гриб. Шекспир все еще пребывает в ожидании своей статуи в Англии, а Беккариа — в Италии, зато г-н Дюпен, по-видимому, скоро дождется своей статуи во Франции. Велико пристрастие к почестям, публично воздаваемым людям, прославившим отчизну: в Лондоне, например, волнение, восхищение, сожаление толпы, облеченной в траур, возрастали раз от разу на трех похоронах: Веллингтона, Пальмерстона и боксера Тома Сайерса.

На Джерсее есть «Холм висельников», чего нет на Гернсее. Лет шестьдесят тому назад на Джерсее был повешен человек, укравший из ящика стола двенадцать су; правда, в Англии тогда же повесили тринадцатилетнего мальчика, стащившего пирожок, а во Франции гильотинировали безвинного Лезюрка. Вот она, смертная казнь, во всей своей красе!

Ныне Джерсей, более передовой, чем Лондон, не потерпит виселицы. Смертная казнь там негласно упразднена.

В тюрьмах учинен строжайший надзор за чтением. Узнику дозволено читать только Библию. В 1830 году французу по фамилии Беас, приговоренному к повешению, разрешили читать трагедии Вольтера. Теперь не потерпели бы такого безобразия. Предпоследний смертный приговор на Гернсее вынесен Беасу, Тапнеру — последний, и да будет он последним.

До 1825 года гернсейский бальи получал те же тридцать турских ливров ежегодно, что и во времена Эдуарда III, то есть около пятидесяти франков. Теперь он получает триста фунтов стерлингов. На Джерсее королевский суд называется «толчеей». Женщина, участница процесса, называется «актрисой». На Гернсее в ходу наказание

плетьми; на Джерсее осужденного запирают в железную клетку. Мощи святых высмеивают, зато обожествляют старые сапоги Карла II. Их благоговейно хранят в Сент-Уэнском замке. Десятинный сбор до сих пор в силе. Бродишь по городу и наталкиваешься на склады сборщиков десятины. Сбор окороками, кажется, упразднен, но сбор курами производится неукоснительно. Пишущий эти строки ежегодно жертвует английской королеве две курицы.

Размер налога устанавливается несколько необычно: он взимается со всего капитала плательщика — действительного и предполагаемого, — и помеха эта отпугивает от острова людей богатых. Так, г-н Ротшильд, живи он на Гернсее в хорошеньком коттедже, купленном тысяч за двадцать франков, платил бы ежегодно миллион пятьсот тысяч франков налога. Нужно прибавить, что если бы он жил на острове всего лишь пять месяцев в году, то не платил бы ничего. Только шестой месяц угрожает карману.

Весне здесь нет конца. Бывает и зима, бывает, конечно, и лето, но все тут в меру: ни сенегальского зноя, ни сибирских морозов. Острова Ла-Манша заменяют Англии Иерские острова. Сюда посылают на поправку слабогрудых сынов Альбиона.

Наконец, гернсейские приходы, например, Сен-Мартенский, слывут «Малой Ниццей». Ни Тампэ, ни Жемнос, ни Валь Сюзон не превзойдут долину Во на Джерсее и долину Тальбо на Гернсее. Побываешь на южных склонах островов, и покажется, что нет на свете края зеленее, теплее и красочней, чем Нормандский архипелаг. Тут все словно создано для изысканного общества. На этих маленьких островках есть свой «большой свет». Звучит французская речь, как мы уже упоминали, но в салонах услышишь, например, такую фразу: «На их шляпке розан». А вообще болтовня эта — само очарование.

Джерсей в восторге от генерала Дона, а Гернсей в восторге от генерала Дойля. Оба были генералами на островах в начале века. На Джерсее есть Дон-стрит, на Гернсее — Дойль-род. Кроме того, гернсейцы соорудили в честь своего генерала огромный обелиск, который высится над морем и виден даже с островов Каскэ, а джерсейцы преподнесли своему любимцу кромлех. Этот кромлех стоял на холме близ Сент-Элье, там, где ныне находится форт Регент. Генерал Дон соблаговолил принять подношение, приказал разобрать кромлех по камню, отправить на берег, погрузить на фрегат и вывезти. А ведь этот памятник был

поистине чудом ламаншских островов — единственный на всем архипелаге круглый кромлех; он видывал киммерийцев, сохранивших воспоминание о Тубал-Каине, подобно эскимосам, хранящим воспоминания о Пробишере; видывал кельтов, объем мозга которых, сравнительно с объемом мозга современного человека, можно выразить соотношением тринадцати к восемнадцати; видывал он диковинные деревянные башни, остовы которых попадаются при раскопках и заставляют нас колебаться между этимологией слова *domjio,* по дю Канжу, и *domi-junctae*[9], по Барлейкуру; видывал кремневые палицы и топоры друидов; видывал гигантские изображения Тетатеса, сплетенные из ивняка; он был древнее римской стены, он запечатлел четыре тысячи лет истории; ночью в лунном свете моряки издалека замечали этот огромный каменный венец на высоком скалистом берегу Джерсея. А ныне он грудой обломков валяется в глухом углу какого-нибудь Йоркшира.

---

[9] Примечания: 9

Domjio и domi-junctae — сокращенное или искаженное начертание латинского domus juncta — прилегающий, смежный дом, — легшего в основу французского слова donjon — главная башня феодального замка.

XVII. Совместимость крайностей

На архипелаге еще в силе право первородства, в силе десятинный сбор, и деление на приходы, и права сеньоров, и сам сеньор — владыка лена и владыка замка; в силе еще возглас «аро»: «после обычной молитвы, открывающей судебное заседание, в присутствии господ присяжных, состоялся разбор дела между дворянином Николаем и мелешским сеньором Годфреем по поводу возгласа «аро». (Джерсей, 1864 год.) В силе турский ливр и ввод во владение по праву наследования, и вывод из владения, и право отчуждения лена, и ленная зависимость, и право выкупа родового имения; жива сама старина. Друг друга величают: «государь мой». Есть бальи, есть сенешалы, сотники, двадцатники, старшины. В Сент-Совере сохранилась двадцатина, в Сент-Уэне — сбор с урожая фруктов. Ежегодно коннетабли объезжают приходы и намечают места для прокладки проселочных дорог. Во главе их виконт «с королевской першей в руке». До полудня по-прежнему отведен час для молитвы. Рождество, Пасха, Иванов и Михайлов дни — узаконенные сроки платежей. Недвижимое имущество не продают,

а «вручают». Можно услышать такой диалог в зале судебного заседания: «Судья! Тот ли это день и час, здесь ли указанное место разбирательства дел, о коих сообщалось ленным и поместным судом?» — «Да». — «Аминь». — «Аминь». Законом предусматривается случай, «когда мужик вздумал бы отрицать, что данный ему надел входит в родовое владение сеньора». Существует «право сеньора на случайные доходы, найденные клады, на поборы с жениха и невесты и т. д.». Существует «право, по которому сеньор располагает чужим имуществом в качестве охранителя его, доколе не явится законный его владелец». Существуют вызов в суд для подтвердительного свидетельства, свидетельского показания, и двойного свидетельского показания, тяжбы, ввод во владение леном, вольные поместья, королевское право на доходы с вакантных епископств.

Подлинное Средневековье, скажете вы: нет, подлинная свобода. Приезжайте, живите, существуйте. Идите куда угодно, делайте что угодно и будьте кем угодно. Никто не вправе узнавать вашу фамилию. Вы верующий? Проповедуйте свою веру. Есть у вас знамя своих убеждений? Поднимите его. Где? Да среди улицы. Оно белое? Пусть так. Синее? Отлично. Красное? Хороший

цвет. Вам угодно обличать власть имущих? Говорите с любой уличной тумбы. Хотите открыто объединиться в союз? Объединяйтесь. Сколько же человек? Да сколько вам вздумается. Количество их ограничено? Никаких ограничений. Вам хочется собрать народ? Пожалуйста! Где? На площади. А если я ополчусь против королевской власти? Нас это не касается. А если мне вздумается расклеивать объявления? Стены к вашим услугам. Думайте, говорите, пишите, печатайте, произносите речи — все это дело ваше.

Все слушать и все читать — значит все говорить и все писать. Следовательно, полная независимость слова и печати. Если хотите, будьте издателем; если хотите, будьте проповедником; если можете, будьте первосвященником. Становитесь папой, это в вашей власти. Только придумайте вероисповедание. Откройте нового бога и будьте его пророком. Никто этому не удивится. Если встретится надобность, полисмены окажут вам содействие. Помех не существует. Свобода во всем — величественная картина! Люди обсуждают решение суда. Они отчитывают священника и судят судью. В газетах печатают: «Вчера суд вынес несправедливый приговор». К возможной судебной ошибке, как это ни удиви-

тельно, снисхождений нет. Тут все имеют право оспаривать и человеческие законы и небесные откровения. Трудно представить себе большую независимость личности. Каждый сам себе хозяин — не по закону, а согласно нравам и обычаям. И это право быть себе хозяином непоколебимо и настолько вошло в жизнь, что его, так сказать, уже и не замечают. Оно всем доступно; оно незаметно, неразличимо и необходимо, как воздух. В то же время все «лояльны». Обыватели здесь из тщеславия желают быть верноподданными. Вообще же царит и правит XIX век. Он врывается во все окна и двери уцелевшего Средневековья. Старинное нормандское законодательство кое-где пронизали лучи свободы; все ветхое здание озарено светом. Не найти края, где так неустойчивы пережитки старины. От истории — старозаветность архипелага; просвещение и промышленность делают его современным. Здоровое дыхание народа избавляет его от косности. Однако это ничуть не мешает процветать какому-нибудь сеньору из Мелеша. Феодальный строй на бумаге, на деле — республика. Явление неповторимое.

Один-единственный изъян есть в этой свободе, и о нем мы уже говорили. В Англии есть тиран.

И этот английский тиран — тезка кредитора Дон-Жуана — Воскресенье. Англичане — народ, создавший поговорку: *Time is money*[10]; тиран Воскресенье сокращает деловую неделю до шести дней, то есть отнимает у англичан седьмую часть их капитала. И сопротивляться ему невозможно. Воскресенье царствует в силу обычаев и нравов, а эти деспоты сильнее всех законов. Наследный принц Воскресенья, короля Англии, — сплин. Право Воскресенья наводить скуку. Оно закрывает мастерские, лаборатории, библиотеки, музеи, театры, чуть ли не сады и леса. Впрочем, повторяем: английское воскресенье не так гнетет Джерсей, как Гернсей. Если на Гернсее трактирщица француженка нальет в воскресенье стакан пива прохожему, то получит две недели тюремного заключения. Когда политический изгнанник, чтобы прокормить жену и детей, сапожничает по воскресеньям, ему приходится затворять ставни: если услышат постукивание молотка — оштрафуют. Как-то в воскресенье художник, только что приехавший из Парижа, зарисовывал, стоя у дороги, дерево; сотник, окликнув его, приказал немедленно прекратить «эго безобразие»

---

[10] Примечания: 10
Время — деньги *(англ.).*

и лишь из милости не посадил в «каталажку». Саутгемптонский цирюльник побрил в воскресенье какого-то прохожего и заплатил казне три фунта стерлингов. Все это вполне понятно, ибо сам Господь Бог в этот день предается отдыху.

И, однако, счастлив народ, свободный шесть дней в неделю. Если воскресенье — синоним рабства, то мы знаем нации, у которых на неделе семь воскресений.

Рано или поздно, но и эти оковы спадут. Конечно, ортодоксальный дух живуч. Конечно, процесс, возбужденный, например, против епископа Коленсо, — веское тому доказательство. Но подумайте, сколько прошла Англия по пути к свободе с тех времен, когда был предан суду Элиот, осмелившийся сказать, что на солнце существует жизнь.

Но и для предрассудков наступает осень, тогда они отмирают. Это час заката монархий. Час этот пробил.

Цивилизация Нормандского архипелага идет вперед, и ее не остановить; цивилизация самобытная, что отнюдь не мешает людям проявлять радушие и терпимость. В XVII веке на ней отразилась английская революция, а в XIX — французская. Дважды она была глубоко потрясена

веянием независимости.

Впрочем, все архипелаги — вольные края. В этом сказывается таинственное воздействие моря и ветра.

XVIII. Убежище

Укротили свой нрав некогда грозные острова Ла-Манша. Рифы, опасные встарь, — ныне убежища. Край бедствий превратился в место спасения. К этим берегам пристает тот, кто избежал опасности. Сюда стекаются потерпевшие крушение — кто в час бури, а кто в час государственного переворота. Людей этих, морехода и изгнанника, обдавали пеной волны разных морей, но они отогреваются рядом в лучах здешнего ласкового солнца. Молодой Шатобриан, бедный, одинокий, безвестный, лишенный отчизны, как-то сидел на камне старинной гернсейской набережной. Пожилая женщина спросила его: «Не помочь ли вам, мой друг?» Какую отраду, какое неизъяснимое умиротворение испытывает француз-изгнанник, услышав на нормандских островах речь своих соплеменников! В ней воплощена самобытность нашего народа, в ней слышится и говор наших провинций, и возгласы наших гаваней, и песенки наших улиц и полей. *Reminiscitur Argos*[11]. При Людовике XIV в древнюю нормандскую

---

[11] Примечания: 11
Вспоминается Аргос *(лат.).*

народность влилось, и не без пользы, немало настоящих французов, безукоризненно владевших родной речью; отмена Нантского эдикта возродила французский язык на архипелаге. Французы, покинувшие Францию, предпочитают влачить дни свои на Ла-Маншском архипелаге, а не в ином месте; в томленье ожидания они строят воздушные замки среди скал; туда их манит родной язык; этим объясняется их выбор. Маркиз де Ривьер, которому Карл X однажды сказал; «Кстати, я забыл сообщить тебе, что я сделал тебя герцогом», проливал слезы умиления, глядя на джерсейские яблони, и предпочитал Пьер-род в Сент-Элье лондонской Оксфорд-стрит. На Пьер-род жил и герцог Анвильский, он же Роган и Ларошфуко. Однажды герцог Анвильский пригласил врача из Сент-Элье, чтобы посоветоваться с ним о своем здоровье, а заодно и о здоровье своей собаки, старой охотничьей таксы. Герцог попросил врача джерсейца выписать рецепт для таксы. Пес и не думал хворать — вельможа просто забавлялся. Врач назначил лекарство. На другой день герцог получил от него такой счет;

«За два врачебных совета:
1. Господину герцогу – один луидор.

2. Его собаке – десять луидоров».

Самою судьбою было предназначено островам Ла-Манша стать убежищем. Какие только люди, гонимые роком, не находили здесь пристанища, начиная с Карла II, когда он бежал от Кромвеля, и кончая герцогом Беррийским, которому суждено было встретиться с Лувелем! Два тысячелетия назад сюда вторгся Цезарь, обреченный на гибель от руки Брута. С XVII века эти острова в братских отношениях со всем миром и славятся гостеприимством. Нелицеприятность — свойство всех убежищ. Островитяне — роялисты, но они не отвергают побежденную республику; они гугеноты, но не отвергают гонимый католицизм. Более того, из любезности к нему, они тоже ненавидят Вольтера, о чем мы уже упоминали. И так как, по мнению многих, а в том числе и государственной церкви, возненавидеть врагов своего ближнего — значит возлюбить его, то католицизм, должно быть, считает, что он весьма любим на островах Ла-Манша.

Пришелец, избежавший гибели, нашедший здесь временное прибежище, не ведая, что готовит ему судьба, порою испытывает глубокую подавленность, ибо даже воздух в этих пустын-

ных местах как будто полон отчаяния, но вдруг он чувствует ласковое мимолетное дуновение и оживает. Что это? Слово ли, звук ли, вздох ли, — нечто неуловимое. Но этого достаточно. Кто из нас не знает, как могущественно воздействие такого «нечто»!

Лет десять — двенадцать тому назад француз, недавно поселившийся на Гернсее, одиноко бродил по пескам западного побережья; ему было горестно, тоскливо; он думал об утраченной родине. По Парижу можно прогуливаться, по Гернсею — бродят. Зловещим казался ему остров. Туман висел плотной завесой, берег гудел под ударами волн, море швыряло на скалы громады пенистых валов, чернело враждебное небо. А ведь была весна, но, правда, у весны иное, суровое имя на море: «равноденствие». То пора ураганов, а не зефиров; и памятен майский день, когда морская пена под напором ветра взлетела футов на двадцать выше сигнальной мачты на самой верхней площадке замка Корнэ. У француза-изгнанника было такое ощущение, будто он в Англии: он не знал ни слова по-английски; старый, разодранный ветром английский флаг развевался над полуразрушенной башней в конце оголенного мыса; две-три хижины стояли вблизи, а вдаль

уходили пески, пустоши, заросли вереска и колючего терновника; кое-где виднелись угловатые очертания низких батарей с широкими амбразурами; камни, обтесанные человеком, наводили такое же уныние, как скалы, обглоданные морем; француз чувствовал, что им овладевает глубокая скорбь, предвестница тоски по отчизне; он слушал, он смотрел — нигде ни просвета; бакланы в поисках добычи, бег облаков; весь горизонт в свинцовых тучах; необъятное сумрачно-серое полотнище, свисающее с зенита, призрак сплина в саване бурь; ни луча надежды, ни родной души; француз задумался, все мрачнее становилось у него на сердце; но вот он поднял голову, — из приоткрывшейся двери хижины до него донесся звонкий, чистый, нежный голос; то был детский голос, и он выводил по-французски:

Скорей в поля, скорей в леса.
Скорей навстречу милой!

XIX

Не все, что на архипелаге напоминает Францию, отрадно. Мой знакомый, гуляя в воскресенье по прекрасному острову Серк, услышал куплет старинного гугенотского гимна, — его весьма торжественно и по-кальвинистски сурово распевал хор верующих во дворе какой-то фермы:

Источают смрад, смрад, смрад
Все ученья мира.
Лишь Исус мой свят, свят, свят,
Источает миро.

Грустно до боли становится при мысли, что под слова этого гимна люди шли на смерть в Севеннах. В куплете столько комизма, что он вызывает невольную улыбку, а ведь он трагичен. Над ним смеются; над ним должно плакать. Боссюэ, один из сорока французских академиков, слушая его, кричал: «Убей! Убей!»

Впрочем, для религиозного фанатизма, отвратительного, когда он гонитель, трогательного и величественного, когда он гонимый, гимн, звучащий вовне, — ничто. Фанатики внемлют

другому, властному и суровому гимну, который таинственно звучит в них самих, заглушая все слова. Религиозный фанатизм придавал нечто возвышенное даже смешному, и, какими бы ни были поэтические и прозаические творения его жрецов, он преображает и эту прозу и эту поэзию могучей и сокровенной гармонией веры. Он искупает уродливые слова величием принятых на себя испытаний и перенесенных мук. Недостаток поэтичности он восполняет чувством. Пусть пошлы рассказы о мученике, но в этом ли суть, если сам мученик исполнен благородства?

XX. Homo edax[12]

Время идет, и очертания острова меняются. Остров — творение океана. Вечна материя, но не форма ее. Смерть постоянно преображает все сущее, даже памятники, созданные природой, даже гранит. Все меняет форму, даже бесформенное. То, что создано морем, рушится, как все остальное.

Море воздвигает, море и уничтожает.

За полторы тысячи лет только между устьем Эльбы и устьем Рейна из двадцати трех островов затонуло семь. Попробуйте найти их в морской пучине. В XIII веке море создало Зюдерзее; в XV веке оно потопило двадцать два селения и вырыло бухту Бьер-Бош; в XVI веке оно поглотило Торум и неожиданно создало Долартский залив. Сто лет назад перед новым Бурдо, что ныне лепится на обрыве нормандского побережья, еще можно было различить под водой колокольню древнего Бурдо, затопленного морем. Люди говорят, что в Экре-У во время отлива иногда видны деревья подводного друидического леса, затонувшего в VIII веке. Некогда Гернсей прилегал к Эрму,

---

[12] Примечания: 12
Человек-разрушитель *(лат.)*.

Эрм — к Серку, Серк — к Джерсею, а Джерсей — к Франции. Через пролив меж Францией и Джерсеем мог перепрыгнуть и ребенок. Когда епископ Кутанский отправлялся на Джерсей, в пролив бросали вязанку хвороста, дабы епископ не промочил ног.

Море строит и сносит, и человек помогает морю, но не в созидании, а в уничтожении.

Неустанно крошат все зубы времени, и неустанней всего — кирка человека. Человек — грызун. Он все переделывает, все изменяет то к лучшему, то к худшему. Тут искажает, там преображает. Легенда о Роландовой пещере не так фантастична, как кажется; вся природа в шрамах от ран, нанесенных ей человеком. На божественном творении следы труда человеческого. Как будто долг человека завершить то, что начато не им. Он приспособляет мироздание к нуждам человечества. Вот в чем его деятельность. У него хватает на это дерзости, можно даже сказать — безбожия. Участие его в такой работе порою оскорбительно. Тот, кто обречен на смерть, чья короткая жизнь лишь постепенное умирание, посягает на вечность. Человек пытается обуздать изменчивую природу во всех ее проявлениях, и стихию, жаждущую сомкнуться с другой стихией, и беспредельные

силы морских пучин и недр земных. Он говорит им: «Ни с места!» Ему так удобно, и вселенная должна смириться. Ведь он хозяин вселенной. Он распоряжается в ней по своему усмотрению. Вселенная — материя первичная. Мир, творенье божье, — канва для человека.

Со всех сторон встают перед человеком преграды, но его ничто не останавливает. Он натиском берет все рубежи. Невозможное — предел, всегда отступающий перед ним.

Геологическая формация, основание которой — окаменевший ил всемирного потопа, а вершина — вечные снега, для человека просто стена, он пробивает ее и идет дальше. Он разрубает перешеек, буравит вулкан, обтачивает скалу, долбит горные породы, дробит на мелкие куски утес. Некогда он трудился для какого-нибудь Ксеркса; ныне он не так глуп и трудится для самого себя. Он поумнел, и это называется прогрессом. Человек работает, устраивая свой дом, а дом его — земля. Он передвигает, перемещает, упраздняет, сносит, отбрасывает, крушит, роет, копает, ломает, взрывает, крошит, стирает с лица земли одно, истребляет другое и, разрушая, создает новое. Никаких колебаний ни перед чем: ни перед толщей земной, ни перед горным кряжем, ни

перед силой материи, излучающей свет, ни перед величием природы. Когда громады мироздания в пределах его досягаемости, он пробивает в них брешь. Человека искушает возможность низвергнуть часть творений божьих, он с молотом в руках идет на приступ необъятного. Быть может, грядущее увидит разрушенные Альпы. Подчинись же, земля, своему муравью!

Ребенок, ломая игрушку, как будто ищет в ней душу. Так и человек как будто ищет душу земли.

Но не стоит преувеличивать наше могущество: что бы ни предпринял человек, общие черты мироздания неизменны; космос от него не зависит. Ему подчинены частности, а не целое. И да будет так. Ибо вселенная в руках провидения. Там управляют законы, нам не подвластные. То, что делает человек, не выходит за пределы земной поверхности. Человек прикрывает или обнажает землю; вырубая леса, он сбрасывает с нее одеяние. Но замедлить вращение земного шара вокруг своей оси, ускорить движение земного шара вокруг солнца, прибавить или отнять одну туазу из семиста восемнадцати тысяч миль пути, который ежедневно делает земля по своей орбите, изменить время равноденствия, не дать упасть капле дождя — невозможно. Что выше нас,

то выше нас. Человек может изменить климат, но не время года. Заставьте-ка луну двигаться не по эклиптике!

Мечтатели, и среди них люди знаменитые, мечтали установить на земле вечную весну. Две крайности, лето и зима, происходят от наклонного положения земной оси по отношению к плоскости эклиптики, о которой мы только что сказали. Стоит только выпрямить ось земли, и времена года исчезнут. Что может быть проще! Вбейте на полюсе кол до самого центра земли, привяжите к нему цепь, подыщите поодаль от нашей планеты точку опоры, отправьте туда десять миллиардов упряжек по десяти миллиардов лошадей в каждой; они натянут цепь, земная ось выпрямится — вот вам и вожделенная весна. Сразу видно, что это дело пустячное.

Однако поищем рай в другом. Весна хороша, но свобода и справедливость много лучше. Рай — нечто духовное, а не вещественное.

От нас зависит стать свободными и справедливыми.

Душевный покой мы обретаем внутри себя. Лишь в нас самих заключена наша вечная весна.

XXI. Могущество камнеломов

Гернсей — треугольник. Королева островов-треугольников — Сицилия. Она принадлежала Нептуну, и каждый из ее трех мысов некогда был посвящен одному острию Нептунова трезубца. На трех ее мысах стояло по храму: в честь правого зубца — Декстры, среднего — Дубии и левого — Синистры. Декстра был символом рек, Синистра — морей, Дубия — дождей. Что бы ни говорил фараон Псаметих, угрожая Тразидею, царю Агригента, «сделать Сицилию круглой, как диск», человек не в силах переделать острова-треугольники, они сохранят три своих скалистых мыса до тех пор, пока потоп, их создавший, вновь их не разрушит. В Сицилии мыс Пелор вечно будет обращен к Италии, мыс Пахинум — к Греции, а мыс Лилибе — к Африке; и на Гернсее Анкресский выступ вечно будет на севере, Пленмонский — на юго-западе, а Жербурский — на юго-востоке.

Но все же остров Гернсей разрушается. Хорош гернсейский гранит, покупайте! Береговые скалы идут с торгов. Жители распродают остров в розницу. Причудливый Чертов утес недавно сбыли за несколько фунтов стерлингов; когда

истощится огромная каменоломня Виль-Бодю, работы перенесут в другое место.

В Англии большой спрос на гернсейский камень. Только для постройки плотины на Темзе потребуется двести тысяч тонн. Верноподданные, дорожа прочностью королевских памятников, весьма сожалеют, что пьедестал бронзовой статуи принца Альберта сделан из чизерингского гранита, а не из добротного гернсейского камня. И берега Гернсея осыпаются под ударами кирки. За какие-нибудь четыре года в порту Сен-Пьер на глазах жителей улицы Фалю исчезла целая гора.

В Америке происходит то же, что и в Европе. Вальпараисо собирается продавать с молотка промышленникам свою красу и славу — холмы, которым он обязан названием Райской долины.

Гернсеец-старожил не узнает своего острова. Он вправе сказать: «Мою родину подменили». Так говорил Веллингтон о Ватерлоо — своей второй родине. Прибавьте, что на Гернсее, где некогда говорили по-французски, теперь говорят по-английски, а это тоже разрушение.

До 1805 года Гернсей как бы делился на два острова. Морской проток пересекал его от края до края, от восточной Кревельской гряды до гряды западной. Он соединялся на западе с морем про-

тив Фрекье и двух Со-Рокье; бухты, образованные им, довольно глубоко вдавались в сушу, — одна из них доходила даже до Сальтерна, и этот морской рукав назывался Бре-дю-Валль.

У Сен-Сансона в прошлом веке по обеим сторонам океанской улицы еще стояли на причале суда. Улица была неширокая, извилистая. Подобно голландцам, осушившим Гарлемский залив и превратившим его в безобразную равнину, гернсейцы засыпали Бре-дю-Валль, и ныне это луг. Океанскую улицу они превратили в тупик; тупик этот и есть порт Сен-Сансон.

XXII. Добросердечие островитян

Увидеть Нормандский архипелаг — значит полюбить его; жить там — значит проникнуться к нему уважением.

Благородный островной народ мал числом, но велик душою. Его душа — душа моря. Жители островов Ла-Манша — люди своеобразные. К «большой земле» они относятся с чувством превосходства и смотрят свысока на англичан, которые порой готовы обдать презрением «три-четыре цветочных горшка в луже соленой воды». Джерсей и Гернсей в долгу не остаются: «Мы — нормандцы, и мы — завоеватели Англии». Это забавно, но и достойно восхищения.

Наступит день, когда Париж введет в моду поездки на ламаншские острова и обогатит их, они этого заслуживают. С известностью к ним придет и процветание, и оно будет расти с каждым днем. Своеобразная прелесть архипелага — в сочетании климата, созданного для праздности, с населением, созданным для труда. Это — идиллия, воплощенная в судостроительной верфи. Нормандский архипелаг не так солнечен, как Циклады, но он зеленее; он зелен, как Оркады, но

солнечнее. Нет здесь Астипалейского храма, зато есть кромлехи; нет Фингаловой пещеры, зато есть Серк. Мельница Уэ не уступит Трепору, Азетское побережье не уступит Трувильскому, а Племон — Этретá. Край прекрасен, народ добросердечен, его история примечательна. Дикие берега дышат величием. На архипелаге свой апостол, Элье, свой поэт, Роберт Уэйс, свой герой, Пирсон. Многие виднейшие генералы и адмиралы Англии родились на архипелаге. Бедняки рыболовы необыкновенно щедры: при подписке, проведенной для оказания помощи потерпевшим от наводнения лионцам и голодающим манчестерцам, Джерсей и Гернсей пожертвовали больше Франции и Англии, конечно и пропорционально численности населения[13].

Островитяне, в старину контрабандисты, сохранили пренебрежение к риску и опасности. Они разъезжают по всему свету, всюду роятся, как пчелы. Ныне Нормандский архипелаг создает колонии, как некогда архипелаг греческий. И он гордится этим. В Австралии, в Калифорнии, на

[13] Примечания: 13

Вот, в частности, соотношение сумм, собранных по подписке для французов, потерпевших от наводнения 1856 года; Франция пожертвовала *тридцать сантимов* с человека, Англия — *десять сантимов,* Гернсей — *тридцать восемь сантимов. — Примеч. автора.*

Цейлоне встречаешь гернсейцев и джерсейцев. В Северной Америке завелся Новый Джерсей, а Новый Гернсей — в Огайо. Эти англо-нормандцы, хоть в них и есть что-то от сектантской ограниченности, неизменно стремятся к прогрессу. Они суеверны, но не лишены здравого смысла. Разве не были когда-то французы разбойниками? А англичане — людоедами? Будем скромны и вспомним наших татуированных прародителей.

Там, где процветал разбой, теперь царит торговля. Чудесное превращение. Плоды работы веков, конечно, но и человека тоже. Крошечный архипелаг дал благородный пример. Маленькие эти народности подтверждают успех цивилизации. Будем же любить и почитать их. Подобные микромиры отражают в уменьшенном виде, но во всех фазах, развитие великой человеческой культуры. Джерсей, Гернсей, Ориньи, некогда разбойничьи притоны, — теперь мастерские. Там, где были подводные камни, ныне гавани.

Для наблюдателя ряда превращений, названье которому история, нет более захватывающего зрелища, чем медленный, постепенный рост и преображение невежественного приморского народа под солнцем цивилизации. Человек тьмы обернулся и пошел навстречу заре. Нет ниче-

го величественнее, нет ничего трогательнее! Грабитель стал тружеником; дикарь стал гражданином; волк стал человеком. Быть может, он менее отважен, чем раньше? Нет. Но теперь отвага ведет его к свету. Как поразительна разница между нынешним береговым торговым судоходством, честным и товарищеским, и прежним бродяжничеством неуклюжих пиратских судов, взявших девизом: *Homo homini monslrum!*[14] Преграда обратилась в мост. Препятствие превратилось в помощь. Пираты стали лоцманами. И люди эти предприимчивее и отважнее, чем когда бы то ни было. Край по-прежнему слывет страной опасных приключений, но ныне там царит безукоризненная честность. Чем ничтожнее был он в начале пути, тем поразительнее его возвышение. Помет, приставший в гнезде к скорлупе яйца, не мешает нам любоваться широкими взмахами птичьих крыльев. Только добром поминается теперь разбойничье прошлое Нормандского архипелага. Смотришь на безмятежные паруса, радующие взор, на свет электрических маяков и фонарей с выпуклыми стеклами, торжественно указывающих путь судам сквозь лабиринты

[14] Примечания: 14
Человек человеку зверь *(лат.).*

волн и подводных скал, и с чувством душевного умиротворения, всегда навеваемого успехами цивилизации, думаешь о былом, о свирепых морских разбойниках, украдкой, без компаса, скользивших в утлых суденышках по черным валам океана, у крутых мысов, тускло озаренных старинными жаровнями, бледное дрожащее пламя которых металось в железных клетках под порывами могучего ветра безграничных просторов.

Часть первая
Сьер Клюбен

Книга первая
Как создается дурная слава
I. Слово, написанное на белой странице

Сочельник 182… года на Гернсее был примечателен. В тот день шел снег. Морозная зима на островах Ла-Манша надолго остается в памяти людей, а снег здесь — целое событие.

В то рождественское утро ровно белела дорога, идущая вдоль моря от порта Сен-Пьер к Валлю. Снег падал с полуночи до самой зари. Часам к девяти, вскоре после восхода солнца, дорога была почти безлюдна, ибо еще не пришло время англиканам идти в сенсансонскую церковь, а методистам — в эльдадскую часовню. На всем пути от церкви до часовни виднелись только трое прохожих: мальчик, мужчина и женщина. Все трое шли поодаль друг от друга, и, казалось, их ничто не связывало. Мальчик, лет восьми на вид, остановился, с любопытством глядя на снег. Мужчина шел за женщиной шагах в ста. Они направлялись к Сен-Сансону. Мужчина, не то мастеровой, не то матрос, был еще молод. Будничная одежда — ко-

ричневая куртка из толстого сукна и штаны из просмоленной парусины — говорила о том, что он, несмотря на праздник, в церковь не собирался. Подошвы его неуклюжих башмаков из грубой кожи, подбитые большими гвоздями, оставляли на снегу отпечаток, скорее напоминавший тюремный замок, чем след человеческой ноги. Путница же принарядилась, как подобает для выхода в церковь: на ней была широкая теплая пелерина черного фламандского шелка, из-под которой виднелось прехорошенькое поплиновое платье в розовую и белую полоску; если бы не красные чулки, вы бы приняли ее за парижанку. Она шла быстрым и легким шагом, и по одной ее походке, которую еще не отяжелило бремя жизни, можно было угадать, что идет молоденькая девушка. Такая парящая, грациозная поступь свойственна девушкам в пору самого неуловимого из всех переходов — в пору отрочества, этого слияния вечерних и предрассветных сумерек, пробуждающейся женственности и уходящего детства. Мужчина ее не замечал.

Около купы вечнозеленых дубов, у конопляника, в том месте, что носит название «Нижние дома», она вдруг обернулась, и это движение заставило путника взглянуть на нее. Девушка

остановилась, точно рассматривая его, нагнулась и как будто написала что-то пальцем на снегу. Потом она выпрямилась и пошла дальше еще быстрее, снова оглянулась, на этот раз смеясь, и исчезла, свернув с дороги влево, на тропу, окаймленную изгородью и ведущую к Льерскому замку. Когда она оглянулась во второй раз, путник узнал в ней Дерюшетту, одну из самых очаровательных девушек на острове.

Он и не думал догонять ее и лишь через несколько минут очутился возле купы дубов, у конопляника. Он забыл об исчезнувшей девушке, и если б в этот миг плеснул дельфин в море или малиновка выпорхнула из кустов, он, быть может, и пошел бы своей дорогой, заглядевшись на дельфина или малиновку. Но случилось так, что его глаза были опущены и взгляд упал на то место, где стояла девушка. На снегу отпечатались следы ее ножек, а рядом он прочел написанное ею слово: «Жильят».

То было его имя.

Его звали Жильятом.

Долго стоял он, долго смотрел на свое имя, на следы ножек, на снег. Потом пошел дальше, о чем-то раздумывая.

II. «Дом за околицей»

Жильят жил в сенсансонском приходе. Его там не любили. На это были причины.

Во-первых, его дом посещала «нечистая сила». И в пустынных закоулках, и на людных улицах Джерсея не только в деревне, но даже в городе иной раз наталкиваешься на дом, вход в который заколочен; дикий терновник сторожит дверь; доски, прибитые гвоздями, словно безобразные пластыри, залепили окна нижнего этажа; окна наверху закрыты и все же открыты — рамы заперты на задвижку, но стекла выбиты. Палисадник и двор, если они есть, заросли бурьяном, изгородь развалилась; если есть сад, его заглушили крапива, ежевика, болиголов; порой там увидишь диковинных букашек. Трубы потрескались, крыша осела, с улицы видно, что в комнатах запустенье, дерево сгнило, камень замшел. Обои отстали от стен. Увидишь там и расписные шпалеры, модные в старину, и грифов Империи, и матерчатую, затканную полумесяцами обивку времен Директории, балясины и полуколонны времен Людовика XIII. Плотная паутина, усеянная мухами, говорит о том, что никто не нарушает по-

коя пауков. Кое-где на полке заметишь разбитый кувшин. Вот он какой — дом, «облюбованный нечистой силой». Ночью его посещает дьявол.

Дом, как и человек, может превратиться в труп. Его убивает суеверие. Тогда он внушает ужас. Такие дома-мертвецы не редкость на островах Ла-Манша.

Деревенский и приморский житель побаивается дьявола. Население Ла-Манша, английского архипелага и французского приморья, осведомлено о нем весьма точно. У дьявола наместники во всем мире. Всем известно, что Бельфагор — посланник ада во Франции, Уджин — в Италии, Белиал — в Турции, Тамуз — в Испании, Мартинэ — в Швейцарии, а Маммон — в Англии. Чем Сатана не император? Он — Цезарь. Дворец его поставлен на широкую ногу: Дагон — главный хлебодар; Сукор Бенот — старший евнух; Асмодей — банкомет; Кобал — директор театра, а Верделе — главный церемониймейстер; Ниббас — шут. Г-н Вьерус, ученый муж, знаток вампиризма и весьма сведущий демонограф, называет Ниббаса «выдающимся мастером пародий».

Нормандские рыбаки Ла-Манша, отправляясь в море, вынуждены из-за дьявольских наваждений принимать множество предосторожностей.

Долго думали, что на огромной столовой скале Ортах, той, что стоит в открытом море между Ориньи и Каскэ, жил святой Маклу, и многие бывалые моряки утверждали, что частенько видели, как он восседал там, читая книгу. Потому-то они и преклоняли усердно колени, проплывая мимо скалы Ортах, пока легенда не рассеялась и не уступила место истине. Теперь уже стало известно, кто именно обжился на скале Ортах: не святой, а дьявол. Этот самый дьявол, по кличке Жохмус, и выдавал себя несколько веков за св. Маклу. Впрочем, сама церковь попадает иной раз впросак. Дьяволы Рагюэль, Орибель и Тобиэль причислялись к лику святых до 745 года, пока папа Захарий не почуял, кто они такие, и не выставил их вон. Подобные меры весьма полезны, но, чтобы их применять, надо хорошо разбираться во всякой чертовщине.

Старожилы рассказывают, — правда, эти факты относятся к седой старине, — что католическое население Нормандского архипелага было некогда, конечно помимо своей воли, еще в более тесных сношениях с дьяволом, чем гугенотское. Почему? Право, не знаем. Достоверно лишь, что дьявол очень досаждал сей малочисленной кучке верующих. Он воспылал нежностью к католикам

и повадился к ним, из чего можно заключить, что дьявол скорее католик, чем протестант. Всего несноснее его дружелюбие проявлялось по ночам: он посещал супружеское ложе католиков, когда муж спал крепким сном, а жена дремала. Из-за этого бывали всякие недоразумения. Патулье полагал, что Вольтер зачат именно при таких обстоятельствах. И это вполне правдоподобно. Такие случаи к тому же хорошо известны и описаны в книгах заклинаний бесов под рубрикой: *De erroribus nocturnis et de semine diabolorum*[15]. Дьявол особенно разгулялся в Сент-Элье в конце прошлого века, — надо полагать, кара эта была ниспослана за прегрешения революции. Последствия революционной бури неисчислимы. Как бы там ни было, но мысль, что дьявол может появиться, когда плохо видно, когда спишь, смущала многих благочестивых женщин. Не очень-то приятно произвести на свет какого-нибудь Вольтера. Одна из них, всполошившись, спросила духовника, нельзя ли вовремя выйти из щекотливого положения. «Дабы удостовериться, с кем имеете дело, с мужем или дьяволом, потрогайте его лоб, — ответствовал духовник. — Стоит

---

[15] Примечания: 15

О наваждениях ночных и о семени диаволовом *(лат.)*.

вам нащупать рога, и вы получите доказательство...» — «Чего?» — спросила женщина.

Прежде нечистая сила посещала дом Жильята, теперь этого не замечалось. Оттого-то его и стали подозревать еще больше. Ведь стоит колдуну поселиться в жилище, обжитом нечистью, и дьявол, зная, что дом попал в верные руки, вежливо освобождает его, являясь к колдуну лишь по зову, как врач.

Дом назывался «Домом за околицей». Он был построен на самом конце мыса, или, вернее, скалистой косы, которая образовала маленькую якорную стоянку в бухте Умэ-Паради. Там было очень глубоко. Дом одиноко стоял на косе, врезавшейся в море, и земли возле него было ровно столько, сколько надобно для садика. Порою, во время сильных приливов, садик затопляло. Меж портом Сен-Сансон и бухтой Умэ-Паради возвышался большой холм, на котором чернели громады башен, опутанные плющом, — то был замок Валль, или Архангела, заслонявший «Дом за околицей» от Сен-Сансона.

Колдуны на Гернсее далеко не редкость. Они занимаются своим ремеслом в некоторых приходах, и XIX век им не помеха. Что и говорить, их действия преступны. Они варят золото, в

полночь собирают травы, напускают порчу на чужую скотину. Когда у них спрашивают совета, они велят принести пузырьки с «водою хворых» и бормочут: «Вода, сдается, заскучала». Однажды, в марте 1856 года, один из них выискал в такой «воде» семь чертей. Колдунов опасаются, да они и вправду опасны. Вот недавно один из них заколдовал булочника, «да и печь в придачу». Другой — уж такой пройдоха! — «заклеивал и старательно запечатывал конверты, а в них ничего-то и не было». А еще один дошел до того, что держал у себя дома на полке три бутылки с наклейками, помеченными буквой «Б». Эти чудовищные факты удостоверены. Иные колдуны услужливы и за две-три гинеи присвоят все ваши недуги. Потом катаются по кровати и вопят. А пока их корчит, вы удивляетесь: «Смотри-ка, из меня вся хворь вышла». Другие обмотают вас платком и вылечат от всех болезней. До того простое средство, что прямо диву даешься, как до сих пор никто до него не додумался. В прошлом веке по повелению гернсейского королевского суда колдунов бросали на кучу валежника и сжигали живьем. А в наше время их приговаривают к двум месяцам тюремного заключения — месяц на хлебе и воде, месяц в одиночной камере, для разнообразия.

Amant alterna catenae[16].

В последний раз на Гернсее сжигали колдунов в 1747 году. В городе под казни отвели площадь на перекрестке Бордаж. С 1565 до 1700 года тут было сожжено одиннадцать колдунов. Обычно злодеи сознавались. Сознаваться им помогали пытки. Перекресток Бордаж оказал немало и других услуг обществу и религии. Там сжигали еретиков. При Марии Тюдор там сожгли в числе других гугенотов мать с двумя дочерьми; мать звалась Перотиной Маси. Одна из ее дочерей была беременна и родила в пламени костра. Хроника гласит: «Ее чрево лопнуло». Из чрева выпал живой ребенок; новорожденный выкатился из костра; некто, по имени Гуз, подобрал его. И бальи Элье Гослен, добрый католик, велел снова бросить ребенка в огонь.

III. «Твоей жене, когда ты женишься»

Вернемся к Жильяту.

В здешних краях рассказывают, что в конце революции на Гернсее поселилась женщина с ребенком. Может быть, англичанка, а может быть,

---

[16] Примечания: 16
Оковы любят перемены *(лат.).*

и француженка. Гернсейское произношение и сельское правописание переделали ее фамилию в Жильят. Она жила вдвоем с мальчиком, который приходился ей, по словам одних, племянником, по словам других — сыном, иные говорили — внуком, а иные — что он и вовсе ей не родня. Денег у нее было немного, но на скромную жизнь хватало. Она купила лужок в Сержантэ и пашню в Рок-Креспель, близ Рокена. В «Доме за околицей» хозяйничала тогда нечистая сила. Он пустовал уже лет тридцать и разваливался. В сад слишком часто забегали морские волны, и он совсем не приносил плодов. Еще страшнее ночных шумов и огоньков в доме было вот что: если оставишь на камине с вечера моток пряжи, спицы и полную тарелку супу, то наутро, смотришь, суп съеден, тарелка пуста, а рядом с ней — пара связанных рукавиц. Домишко с дьяволом в придачу продавался за несколько фунтов стерлингов. Приезжая купила его, конечно, по наущению Сатаны. А может быть, из-за дешевизны.

Мало того, что она его купила, но она поселилась в нем вместе с мальчиком. И с этой минуты в доме все успокоилось. «По дому и жилец» — решила людская молва. Нечистая сила исчезла. На рассвете там уже не слышно было завываний,

и вечером светилась лишь сальная свечка, зажженная хозяйкой. А ведь свеча ведьмы и факел дьявола — одно и то же. Гернсейцы довольствовались таким объяснением.

Хозяйка дома получала доход от своего клочка земли. У нее была хорошая корова, дававшая жирное молоко. Чужеземка разводила белую фасоль, капусту и картофель сорта «золотая капля». Она продавала, как все, «пастернак — бочками, лук — сотнями и бобы — мерками». Сама она не ходила на рынок, а поручала продавать урожай Гильберу Фальо в торговых рядах Сен-Сансона. Запись Фальо гласит, что однажды он продал для нее дюжину мер скороспелой картошки, под названием «трехмесячная».

Дом кое-как починили, он стал жилым; в комнатах протекало только во время сильных ливней. Дом был одноэтажный, с чердаком. Внизу было три комнаты — две спальни и столовая. На чердак вела узкая лесенка. Женщина занималась хозяйством и учила грамоте ребенка. В церковь она не ходила, поэтому, после всестороннего обсуждения, решили, что она француженка. «Лба не перекрестить» — дело не шуточное.

Словом, то были люди, никому не известные.

Она, вероятно, и была француженка. Вулканы

разбрасывают камни, а революция — людей. Целые семьи раскидывает на дальние расстояния, их удел — жить на чужбине, связи разрываются, исчезают; люди словно с неба падают — кто в Англии, кто в Германии, кто в Америке. Они приводят в изумление коренных жителей. Откуда берутся незнакомцы? Их извергнул вулкан, дымящийся где-то вдали. Эти аэролиты, эти выброшенные, затерявшиеся существа, гонимые роком, получают разные наименования: их зовут эмигрантами, беглецами, искателями приключений. Если они приживаются, их терпят, если уходят, их провожают с радостью. Иногда это люди безобидные, чуждые изгнавшим их событиям, — женщины, во всяком случае, — они не таят ни злобы, ни ненависти; они занесены сюда помимо своей воли, словно метательные снаряды, и сами поражены этим. Они пускают корни как придется. Они никому не сделали зла и не могут понять, что с ними произошло. Я видел, как взрывом мины в воздух швырнуло жалкий пучок травы. Французская революция сильнее любого взрыва наносила такие отраженные удары.

Женщина, которую на Гернсее звали «тетка Жильят», вероятно, и была таким вот пучком травы.

Женщина старела, мальчик рос. Они жили

замкнуто, их избегали. Они довольствовались обществом друг друга. «А кто нужен волчице с волчонком?» — эта фраза была еще одним доказательством благорасположения окружающих. Мальчик превратился в юношу, юноша в мужчину, и тогда старуха скончалась, ибо омертвевшая кора древа жизни становится прахом. В наследство Жильяту она оставила луг в Сержанта, пашню в Рок-Креспеле, «Дом за околицей» и, как гласит официальная запись, «сто гиней золотом в паголенке», иными словами — в чулке. Дом был довольно хорошо обставлен: два дубовых ларя, две кровати, шесть стульев, стол, необходимая хозяйственная утварь, несколько книг на полке, а в углу самый обыкновенный сундучок, — его открыли, чтобы произвести опись. В этом сундучке, обитом порыжевшей кожей с узором из медных гвоздиков и оловянных звездочек, хранилось полное и новое женское приданое: сорочки, юбки из прекрасного дюнкеркского полотна, штуки шелковой материи на платья и листок бумаги, на котором было выведено рукой умершей: «Твоей жене, когда ты женишься».

Смерть легла тяжелым гнетом на оставшегося в живых. Он был нелюдим, теперь одичал. Мир опустел для него. Уединение стало одиночеством.

Когда вас двое — жизнь терпима, когда ты один — кажется, что ее не вынести. У человека опускаются руки. Это первый шаг к отчаянию. Позднее он постигает, что долг — ряд уступок. Познаешь жизнь, познаешь смерть и смиряешься. Но это кровоточащее смирение.

Жильят был молод, и рана его затянулась. В юности сердечная плоть восстанавливается. Его печаль, постепенно тая, слилась с природой, придав ей какое-то новое очарование, отвлекла его от людей, приблизила к неодушевленным творениям и еще крепче сроднила его душу с одиночеством.

IV. Неприязнь

В приходе, как уже говорилось, Жильята не любили. Вполне естественно, что относились к нему недружелюбно. Поводов находилось множество. Прежде всего, — об этом мы только что упомянули, — причиной тому был дом, в котором он жил; потом — происхождение. Что представляла собой умершая? Как к ней попал мальчик? Местный люд не любит загадочности в пришлых. И одевался-то он, как мастеровой, а ведь мог бы жить, не работая, хоть богат и не был. Потом

— огород, который он ухитрялся возделывать наперекор набегам моря во время равноденствия и собирать неплохие урожаи картофеля. А чтение тех толстенных книг, которые лежали на полке?

Были и другие причины.

Почему он жил уединенно? «Дом за околицей» стал чем-то вроде заразного барака: Жильята как бы держали в карантине; потому-то и было в порядке вещей, что люди удивлялись его одиночеству и обвиняли его в той пустоте, которую сами же вокруг него создавали.

В церкви он не бывал. Часто выходил из дому по ночам. Разговаривал с колдунами. Однажды видели, как он сидел на траве; взгляд у него был оторопелый. Он бродил возле дольмена в Анкресе и волшебных камней, разбросанных по округе. Уверяли, что он превежливо раскланивался с Поющей скалой. Он скупал всех птиц, которых ему приносили, и выпускал на волю. Он был учтив с обывателями Сен-Сансона, но охотно сворачивал в сторону, чтобы ни с кем не встречаться. Нередко выезжал в море рыбачить и всегда возвращался с уловом. Работал в саду по воскресеньям. Как-то у шотландских солдат, проходивших через Гернсей, он купил волынку и в сумерках играл на ней среди прибрежных скал. Движения его напоми-

нали движения сеятеля. Все может случиться в тех краях, где живет такой человек.

Книги, которые остались после умершей и которые он читал, внушали опасение. Священник сенсансонского прихода, Жакмен Эрод, войдя в дом перед похоронами, прочел на корешках книг следующие названия: *Словарь садовода, Кандид Вольтера, Что нужно знать народу о здоровье* Тиссо. Некий французский дворянин, эмигрант, проживавший в Сен-Сансоне, сказал: «Разумеется, это тот самый Тиссо, который нес голову принцессы Ламбаль».

Высокочтимый пастырь обратил внимание на поистине мрачное и угрожающее заглавие одной из книг: *De rhubarfaro.*

Заметим, однако, что труд этот, судя по заглавию, был написан по-латыни, и вряд ли Жильят, не знавший латыни, читал книгу.

Но именно те книги, которые человек не читает, и являются тягчайшей уликой. Испанская инквизиция обсудила этот вопрос, и он не подлежит сомнению.

Впрочем, это было всего-навсего исследование доктора Тиленжиуса о ревене, напечатанное в Германии в 1679 году.

Кто бы поручился, что Жильят не занимается

колдовством, ворожбой и приготовлением «приворотного зелья»? У него была пропасть всяких пузырьков.

Почему вечером, иногда до самой полуночи, он слонялся среди прибрежных утесов? Конечно, для разговора с лихими людьми, которые ночью бродят в тумане по морскому берегу.

Однажды он помог колдунье из Тортваля вытащить повозку, застрявшую в грязи. Старуху называли Дурочкой Гаи.

Когда на острове шла перепись населения, он ответил на вопрос о ремесле: «Рыболов, когда рыба ловится». Войдите в положение порядочных людей: кому понравится такой ответ?

Бедность и богатство — понятия относительные. Жильят владел клочком земли и домом и в сравнении с теми, у кого нет ничего, не был беден. Однажды, чтобы испытать Жильята, а верней всего из кокетства, — ведь есть такие женщины, которые не погнушаются выйти замуж и за дьявола, был бы он богат, — некая девица спросила Жильята: «Когда же вы, наконец, женитесь?» Он ответил: «Я женюсь, когда Поющая скала выйдет замуж».

Поющей скалой называется огромный камень, торчащий на конопляник, рядом с усадьбой

г-на Лемезюрье де Фри. За этим камнем нужен глаз да глаз. Кто его знает, что ему там надобно. Иногда на нем поет петух, а самого петуха не видно. Неспроста все это. Да и говорят, что скалу притащили на конопляник саргузеты, а это то же, что оборотни.

Если ночью, когда гремит гром и бушует ветер, ты увидишь людей, летающих в зареве молний среди облаков, помни: то оборотни. Женщина, живущая близ Большой дюны, водится с ними. Однажды вечером, когда на перекрестке собрались оборотни, эта самая женщина крикнула возчику, который не знал, по какой дороге ехать: «Спросите-ка у них, они народ славный, поболтать не прочь». Нечего и говорить, что эта женщина — ведьма.

Справедливый и ученый король Иаков I заставит, бывало, живьем сварить таких вот баб, отведает навар и по вкусу определит: «Эта вот была ведьмой», или: «Нет, эта ведьмой не была».

Жаль, что у теперешних королей нет подобных талантов, доказывающих пользу королевской власти.

Жильят не без оснований слыл колдуном. Както полуночной порой, в грозу, Жильят подплыл один в лодке к Сонной скале, и люди слышали,

что он спросил:

— Проход свободен?

И голос с вершины скал ответил:

— Вперед! Не трусь!

Не с кем ему говорить было, а ведь кто-то ему ответил. Как хотите, но это доказательство.

А еще раз, тоже в грозовой вечер, когда тьма была кромешная, близ Катио-Рок — двойной гряды скал, где по пятницам отплясывают ведьмы, козлы и разные духи, — люди распознали голос Жильята в таком страшном разговоре:

— Как поживает Везен Бровар? (Каменщик, недавно упавший с крыши.)

— Выходили.

— Черт возьми, а ведь откуда свалился, там место покруче, чем здесь. Диво, что костей не переломал.

— Ну и улов был на прошлой неделе!

— Получше, чем нынче.

— Еще бы! Ни рыбешки нет на рынке.

— Ветер здоровый.

— Людям не закинуть глубоко сетей.

— А как тетка Катерина?

— Что ей делается!

Уж конечно, эта самая Катерина была из оборотней.

По всему видно, что Жильят занимался колдовством. Во всяком случае, никто в этом не сомневался.

Частенько примечали, как он выливает из кружки воду на землю. Ну а когда вот так выплескиваешь воду на землю, выступают очертания дьявола.

У сенсансонской дороги, прямо против сторожевой башни номер первый, лежат три камня, сложенные лесенкой. Сейчас на ее верхней ступеньке ничего нет, раньше же там стоял крест, а быть может, и виселица. Вредные они, эти камни.

Люди, рассудительные и заслуживающие полного доверия, утверждают, что возле этих камней Жильят беседовал с жабой. Правда, на Гернсее жаб нет, на Гернсее попадаются только ужи, а на Джерсее — только жабы. И эта жаба, конечно, вплавь перебралась на Гернсей, чтобы потолковать с Жильятом. Разговор у них был дружеский.

Все эти случаи засвидетельствованы, и доказательством служит то, что камни лежат там и ныне. Маловеры могут их осмотреть, неподалеку от камней есть даже дом с такой вывеской: «Продаю и покупаю скот, живой и тушами, старые снасти, железо, кости, тряпье; плачу чистоганом,

готов к услугам покупателей».

Только человек бессовестный станет оспаривать существование камней и дома. Все эти обстоятельства и вредили Жильяту.

Одни лишь неучи не знают, что гроза Ла-Манша — Король морских духов. Он страшное исчадие морей. Кто его увидит, непременно потерпит кораблекрушение между одним и другим Михайловым днем. Он мал, потому что он карлик, он глух, потому что он король. Ему ведомы имена тех, кто погиб в море, и места, где они покоятся. Он наизусть знает океанское кладбище. Широкие челюсти, узкий лоб, коренастое туловище, безобразный, отвислый живот, расплывшаяся зеленая рожа, шишковатый череп; коротконогим, длинноруким, вместо ступней — плавники, вместо кистей — когтистые лапы; вот каков король. На лапах у него перепонки, а на плавниках шипы. Представьте себе рыбу-призрак с человечьим лицом. Его надобно заклясть или выловить из морских волн, иначе с ним не покончишь. А пока — жди от него беды. Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Над вздыбленными волнами, за покровом тумана, виднеется тень, и это — живое существо: низколобое, курносое, уши приплюснутые, пасть непомерная, оскал редких

серо-зеленых зубов, брови, изогнутые острым углом, и большие озорные глаза. При бледной вспышке молнии он кажется багровым, при яркой — мертвенно-бледным. У него мокрая и жесткая борода лопатой, она свисает на грудь, окутанную, будто пелериной, какой-то оболочкой, украшенной четырнадцатью раковинами — семью спереди и семью сзади. Раковины волшебные — это понятно тем, кто знает в них толк. Короля морских духов можно увидеть только в бушующем море. Он — зловещий шут бури. Он вырисовывается в тумане, шквале, дожде. Противно смотреть на его брюхо. Чешуйчатая скорлупа камзолом прикрывает его бока. Он покачивается на гребне набегающих валов, а они вскипают под напором ветра и извиваются, точно стружки под рубанком столяра. Он стоит в брызгах пены, и, если на горизонте появится гибнущее судно, его лицо, белесое пятно во тьме, озаряется блуждающей улыбкой, и безумный страшный король пускается в пляс. Зловещая встреча! В ту пору, когда Жильят занимал умы жителей Сен-Сансона, люди, недавно видевшие Короля морских духов, уверяли, что на его пелерине осталось всего лишь тринадцать раковин. Тринадцать! Он стал еще опаснее. Куда же делась

четырнадцатая? Не подарил ли он ее кому-нибудь? И кому подарил? Никто не мог ответить, приходилось довольствоваться догадками. Несомненно одно: г-н Люпен-Мабье из Годена, человек с весом, землевладелец, платящий налог с восьмидесяти арпанов земли, готов был дать присягу в том, что Жильят держал в руке предиковинную раковину.

Нередко доводилось слышать, например, такой разговор между двумя крестьянами:

— Хорош у меня бычок, сосед, а?

— Не в меру жирен, по-моему.

— А ведь, пожалуй, твоя правда.

— Лучше пустить его на сало, чем на мясо.

— Жаль, черт возьми!

— А не сдается тебе, что его сглазил Жильят?

Случалось, что Жильят останавливался в поле перед хлебопашцем или у сада перед садовником и изрекал загадочные слова:

— Цветут чертовы удила, пора жать озимую рожь.

(Кстати, чертовы удила — это скабиоза.)

— Ясень распускается, заморозков больше не бойся.

— Летнее солнцестояние, чертополох в цвету.

— Нет дождей в июне, на хлеб ржа нападает.

Берегись головни.

— Черешня наливается, берегись полнолуния.

— Если погода в шестой день новолуния такая же, как в четвертый или в пятый день, то она и будет такой весь месяц: девять раз из двенадцати в первом случае и одиннадцать раз из двенадцати во втором.

— Смотри в оба за соседом, затеявшим с тобой тяжбу. Остерегайся подвохов: дадут борову горячего молока — он околеет; потрут корове зубы пореем — она есть перестанет.

— Корюшка мечет икру, берегись лихорадки.

— Лягушка запрыгала, сей дыни.

— Лишайник цветет, сей ячмень.

— Липа цветет, коси луга.

— Серебристый тополь цветет, открывай парники.

— Табак цветет, закрывай теплицы.

И вот что ужасно: тому, кто следовал его советам, все удавалось.

Июньской ночью, когда Жильят играл на волынке в дюнах около Деми-де-Фонтенель, сорвался лов макрели.

Как — то вечером, во время отлива, на берегу перед «Домом за околицей» опрокинулась телега, груженная водорослями. Вероятно, Жильят боял-

ся правосудия, — уж очень он старался поднять телегу, и сам снова ее нагрузил.

Когда у девочки по соседству завелись вши, он пошел в порт Сен-Пьер, вернулся с мазью и натер ею голову девчушки; вши исчезли, а это доказывает, что он сам их напустил.

Всем известно, что ворожбой можно напустить вшей на человека.

Говорили, что Жильят заглядывал в колодцы, а это при дурном глазе опасно; и в самом деле, в Аркюлоне, близ порта Сен-Пьер, в одном колодце испортилась вода. Хозяйка колодца, протягивая Жильяту полный стакан, сказала: «Погляди-ка на воду».

Жильят подтвердил: «Вода мутная. Верно». Добрая женщина, питавшая на его счет подозрения, сказала: «Вылечи мне ее». Жильят стал выспрашивать: есть ли во дворе хлев, есть ли сток в хлеву и не вытекает ли жидкость из стока неподалеку от колодца. Женщина на все ответила утвердительно. Жильят вошел в хлев, прочистил сток, отвел канаву, и вода в колодце стала хорошей. Ну, думай что хочешь, а ни с того ни с сего колодец испортился и вдруг снова наладился. Вот и решили, что случилось это неспроста, да и как, право, не поверить, что сам Жильят наслал

порчу на воду?

Отправился Жильят на Джерсей, и кое-кто приметил, что он остановился на улице Аллер в предместье Сен-Клеман. Аллер же означает — выходец с того света.

В деревнях собирают сведения о человеке; эти сведения сопоставляют; вывод и есть общественное мнение.

Увидели как-то люди, что у Жильята пошла кровь носом. Этому придали особое значение. Некий шкипер, человек бывалый, объездивший чуть ли не весь белый свет, утверждал, что у тунгусских колдунов всегда идет кровь носом. Когда у человека идет кровь носом, знай, чем дело пахнет. Впрочем, люди рассудительные заметили, что примета, по которой определяют колдуна у тунгусов, может ничего не значить на Гернсее.

Незадолго до Михайлова дня видели, что Жильят остановился на лужайке близ конопляников Урио, которые тянулись вдоль проезжей дороги в Видклен. Он свистнул, и вмиг появился ворон, а за вороном — сорока. Было это засвидетельствовано лицом уважаемым, выбранным позднее в ту «дюжину» присяжных, коей доверили составить новую *Опись королевских земельных владений.*

В Амеле отыскались старухи, которые божи-

лись, что слышали недели за три до Страстного воскресенья, как ласточки на заре звали Жильята.

Надо добавить, что добротой он не отличался.

Случилось, что какой-то человек бил осла. Осел ни с места. Бедняга хозяин ткнул его несколько раз башмаком в живот, и осел упал. Жильят бросился поднимать его, но осел околел. И Жильят ни за что ни про что надавал затрещин бедняге хозяину.

А в другой раз увидел он, что мальчуган слезает с дерева и держит выводок недавно вылупившихся, бесперых галчат. Жильят отобрал выводок у мальчика и в злобе своей дошел до того, что водворил птенцов в гнездо.

Прохожие попрекнули его, а он молча показал на пернатых родителей: они с криком вились над деревом, возвратившись к гнезду. Он питал слабость к птицам, а по этой примете всегда угадаешь чернокнижника.

Любимая забава мальчишек — разорять гнезда чаек и поморников на прибрежных скалах. Они приносят домой уйму голубых, желтых и зеленых яиц; из скорлупы делают розетки для украшения очага. Береговые скалы отвесны, и дети иногда оступаются, падают и разбиваются насмерть. Но

ведь нет ничего красивее ширмы с узорами из яичной скорлупы! Жильят только и думал, как бы досадить другим. Он взбирался с опасностью для жизни по отвесным крутым утесам и подвешивал к ним соломенные чучела в старых шапках, всякие пугала, чтобы птицы не вили там гнезда, а значит, чтобы туда не лазили ребята.

Вот почему Жильята терпеть не могли в округе. А ведь это можно заслужить и не за такие дела.

V. Другие подозрительные черты Жильята

О Жильяте не было определенного мнения.

Вообще все считали его меченым, а некоторые — даже ведьмаком. Ведьмак — это сын женщины, рожденный ею от дьявола.

Когда женщина произведет на свет от мужа семь мальчишек-погодков, то седьмой и будет меченый. Разве только девчонка испортит дело и спутает мальчишечий ряд.

У меченого на какой-нибудь части тела родимое пятно в виде лилии, потому-то он исцеляет золотуху не хуже французских королей. Во всей Франции можно встретить меченых, особенно в Орлеанэ. В каждой деревне Гатинэ есть свой

меченый. Больные мигом выздоравливают, если меченый дунет на язвы или заставит прикоснуться к своему родимому пятну — лилии. Лучше всего это получается в ночь на Страстную пятницу. Лет десять тому назад в провинции Гатинэ, в Орме, один человек, по прозванию Меченый красавец, врачевал золотуху. Вся провинция Босс ходила к нему за советом; а был он бондарь, по имени Фулон, и была у него лошадь да телега. Чтобы помешать его чарам, пришлось обратиться в полицию. У него цветок лилии был над сердцем. А у других меченых он попадается где угодно.

Меченые встречаются на Джерсее, на Ориньи и Гернсее. Это, конечно, связано с правами Франции на Нормандское герцогство. Иначе откуда бы взяться лилии?

На островах Ла-Манша тоже распространена золотуха, вот почему меченые необходимы.

Люди, которым случилось видеть Жильята, когда он купался в море, уверяли, будто у него на теле есть изображение лилии. Жильята стали расспрашивать, а он вместо ответа расхохотался, ибо он, как и все люди, иногда смеялся. С тех пор никто не видел, как он купается; он стал купаться лишь в опасных и уединенных местах, вероятно, по ночам, при свете луны. Согласитесь сами,

разве это не подозрительно?

Люди, упорно утверждавшие, что он отпрыск дьявола, разумеется, ошибались. Им следовало бы знать, что сыновья дьявола встречаются только в Германии. Но в Валле и в Сен-Сансоне полвека назад царило полное невежество.

Допустить, что на Гернсее живет сын дьявола, было бы, конечно, преувеличением.

С Жильятом советовались именно потому, что он внушал боязнь. Крестьяне с опаской ходили к нему потолковать о своих недугах. В таком страхе таится доверие: чем подозрительнее относится крестьянин к врачу, тем вернее исцеление. Жильяту по наследству от умершей старухи достались всякие лекарства; он наделял ими больных людей и отказывался от денег. Он исцелял ногтоеду травами; питье из одного его пузырька прекращало лихорадку. «Химик» из Сен-Сансона, который во Франции звался бы аптекарем, предполагал, что это отвар хинной корки. Даже недоброжелатели соглашались с тем, что Жильят приветлив с больными, когда речь шла о его обычных лекарствах; правда, он никому не хотел помочь как меченый, — бывало, золотушный попросит у Жильята позволения прикоснуться к его лилии, а он вместо ответа за-

хлопнет дверь перед носом больного. Он упрямо отказывался совершить чудо, и это было просто смешно. Не будь колдуном, ну а уж если ты колдун, то занимайся своим делом.

Все относились к Жильяту неприязненно, но было одно-два исключения. Сьер Аандуа из Кло-Ландеса служил актуариусом в приходе порта Сен-Пьер, то есть вел и хранил книги для записи рождения, браков и смертей. Актуариус Аандуа кичился тем, что он потомок казначея Бретани Пьера Ланде, повешенного в 1485 году. Однажды сьер Аандуа заплыл слишком далеко в море и стал тонуть. Жильят бросился в воду, тоже чуть-чуть не утонул, но спас Аандуа. С того дня сьер Аандуа не говорил дурно о Жильяте. Тем, кто этому удивлялся, он отвечал: «Угодно вам иль нет, а я не могу гнушаться человеком, который зла мне не сделал, а, напротив, оказал услугу». Актуариус не прочь был даже подружиться с Жильятом. Сьер Аандуа, как человек без предрассудков, не верил в колдовство и трунил над теми, кто боялся привидений. У него была лодка, он рыбачил в свободные часы для собственного удовольствия и никогда не видел ничего сверхъестественного, если не считать женщины в белом, прыгавшей по воде однажды ночью, да и то, может быть, она

ему померещилась. Дурочка Гаи, колдунья из Тортваля, дала ему ладанку, которую надевают, чтобы отгонять злых духов; он издевался над ладанкой и знать не знал, что в ней находится, а все же носил ее и чувствовал себя в большей безопасности, когда она висела у него на шее.

Нашлись смельчаки, решившиеся по примеру сьера Ландуа подтвердить некоторые смягчающие обстоятельства, некоторые явные достоинства Жильята, его трезвенность, воздержание от джина и табака, а иной раз даже расточали ему похвалы, говоря, что он «не курит, не пьет, не жует и не нюхает табак».

Но воздержанность ценна лишь при других качествах.

Люди относились к Жильяту неприязненно.

И все же, как меченый, он мог бы приносить пользу. Однажды, в Страстную пятницу, полночной порой, — а в этот день и час меченые врачуют всего удачней, — золотушные со всего острова, по наитию ли, по сговору ли, толпой явились к «Дому за околицей» и, умоляюще протягивая руки, стали просить Жильята исцелить их гноящиеся язвы. Он отказался наотрез. Тут-то и проявилось его бессердечие.

VI. Голландский ботик

Таков был Жильят.

Девушки считали его некрасивым.

Некрасивым он не был. Пожалуй, он был даже хорош собою. В его профиле было что-то напоминавшее варвара античных времен. Спящий, он походил на дакийца с колонны Траяна. Форма его маленьких, изящно вылепленных ушей говорила о необычайно тонком слухе. Между бровями залегла прямая, гордая складка, свойственная человеку отважному и упорному. Уголки рта были опущены, и в этом таилось что-то горестное; линии выпуклого лба были чисты и благородны, ясные глаза смотрели твердо и зорко, но он щурился, как все рыбаки, привыкшие смотреть на переливчатый блеск волн. Он смеялся обаятельным мальчишеским смехом, и зубы его сверкали, как чистейшая слоновая кость. Но он до того загорел, что стал черным, как негр. Нельзя безнаказанно отдавать свою жизнь океану, бурям и ночи: в тридцать лет он казался сорокапятилетним. Суровую маску надели на него ветер и море.

Его прозвали Жильят-Лукавец.

Есть индусская притча: «Однажды Брама спросил у Силы»: «Что сильнее тебя?» И Сила ответила: «Ловкость». Есть китайская поговорка: «Чего бы не сделал лев, будь он обезьяной!» Жильят не был ни львом, ни обезьяной, но все его поступки подтверждали китайскую поговорку и индусскую притчу. Изумительная ловкость сочеталась у него с такой изобретательностью, что он, несмотря на средний рост и среднюю силу, поднимал тяжести под стать исполину и творил чудеса под стать атлету.

Это был настоящий гимнаст; левой рукой он владел так же хорошо, как и правой.

Он не охотился, но рыбачил. Щадил птиц, но не щадил рыб. Горе немым тварям! Он превосходно плавал.

Одиночество ведет к глубокомыслию или к отупению. Жильяту было свойственно и то и другое. Порой его брала какая-то оторопь, о чем мы уже говорили, и тогда он казался настоящим истуканом. Подчас же его взгляд бывал удивительно проникновенным. В древней Халдее встречались такие люди; иногда мгла, застилавшая разум пастуха, рассеивалась, и выступал маг.

А вообще он был простой человек, знавший грамоте. Быть может, он стоял на грани, отде-

ляющей мечтателя от мыслителя. Мыслитель дерзает, мечтатель страждет. У простых людей, сжившихся с одиночеством, внутренний мир сложен. Неведомо для себя, они проникаются священным трепетом. Мрак, который окутывал разум Жильята, состоял почти в равной степени из двух начал, одинаково темных, но весьма различных: в самом Жильяте — невежественность, бессилие; вне его — тайна, беспредельность.

Он карабкался по скалам, взбирался по крутизне, в любую погоду, днем и ночью, плавал в водах архипелага, управлял первой попавшейся лодкой, подвергался опасности в гибельных проливах и стал, не извлекая, впрочем, из этого выгоды, только ради прихоти и удовольствия, замечательным моряком.

Он был прирожденный лоцман. Настоящим лоцманом и бывает тот моряк, который ведет судно словно по морскому дну, а не по водной поверхности. Волна — препятствие внешнее, но оно постоянно усложняется подводным рельефом тех мест, по которым держит путь судно. Когда Жильят носился над мелями и меж рифов Нормандского архипелага, казалось, что у него в голове начертана карта морского дна. Он знал все, и все было ему нипочем.

Он изучил баканы лучше, чем отдыхающие на них птицы. Он ясно различал, даже в тумане, неуловимые приметы четырех больших баканов — Кре, Алиганды, Треми, Сардретты. Он сразу опознавал столб с овальной верхушкой в Анфре, и трезубец в Руссе, и белый шар в Корбете, и черный шар в Лонг-Пьере; можно было не бояться, что он спутает крест у Губо со шпагой, стоящей на острие, — баканом Платты, а бакан-молот возле Барбе с ласточкиным хвостом — баканом близ Мулинэ.

Его редкостное знание морского дела во всем блеске обнаружилось в тот день, когда на Гернсее были устроены морские состязания, именуемые «регатой». Вот в чем заключалась задача: надо было без посторонней помощи провести четырехпарусную лодку из Сен-Сансона к острову Эрм, который расположен в одной миле от Гернсея, и вернуться с Эрма в Сен-Сансон. Любой рыбак сладит с четырехпарусным судном, трудности с виду не так велики, но умножали их, во-первых, особенности самой лодки, старомодной, широкодонной, пузатой — такие лодки, построенные на роттердамский манер, у моряков прошлого века звались «голландскими ботиками». Еще и теперь случается встретить в море образчик

древнего голландского судостроения — широкобокую плоскодонку с двумя деревянными крыльями на левом и правом бортах; они, смотря по ветру, поочередно опускаются и заменяют киль. Во-вторых, обратный путь с Эрма, путь не легкий, с увесистым грузом — камнями. Туда шли порожняком, а обратно с поклажей. Призом в состязании был сам голландский ботик. Он предназначался победителю. Прежде он служил лоцманским судном; лоцман, который плавал на нем и водил его лет двадцать, был самым выносливым моряком Ла-Манша. После его смерти не нашлось никого, кто бы справился с лодкой, и решено было сделать ее призом на гонках. Ботик, хоть и был без палубы, имел свои преимущества и мог соблазнить опытного моряка. Мачта стояла в носовой части, что увеличивало силу тяги парусов. Другое преимущество: мачта ничуть не мешала грузу. Крепкая была скорлупа, тяжелая, но вместительная, надежная в открытом море; что и говорить — лакомый кусочек! Стоило поспорить. Условия состязания были трудны, зато награда хороша. Явилось семь-восемь рыбаков, известных на острове силачей. Они по очереди пробовали свои силы; ни один не добрался до Эрма. Последний из состязавшихся был славен тем,

что однажды в бурю на веслах прорвался через страшную морскую быстрину между Серком и Брек-У. А тут, обливаясь потом, он привел ботик обратно и сказал: «Дело немыслимое!» Тогда в лодку вскочил Жильят; он схватил весло, потом гроташкот и пустился в открытое море. Затем, не закрепляя шкота, — это было бы неосторожно, — и не выпуская его из рук, что позволяло ему управлять гротом, он, не давая суденышку дрейфовать, предоставил шкоту травиться через строп по воле ветра и схватил левой рукой румпель. Через три четверти часа он был на Эрме. А три часа спустя, хотя поднялся резкий боковой ветер с юга, лодка, управляемая Жильятом, вернулась в Сан-Сансон с грузом камней. Из удальства и озорства Жильят прихватил с Эрма и маленькую бронзовую пушку, из которой ежегодно, пятого ноября, на острове палили в знак радости по поводу смерти Гая Фокса.

Гай Фокс, — отметим мимоходом, — умер двести шестьдесят лет назад; вот пример затянувшегося ликования.

Жильят, перегруженный и переутомленный, ибо у него была лишняя поклажа — пушка Гая Фокса в лодке и южный ветер в парусах, привел, вернее притащил, ботик в Сен-Сансон.

Увидев это, месс Летьери крикнул: «Вот так молодец!»

И протянул руку Жильяту.

О мессе Летьери мы еще поговорим.

Бот был присужден Жильяту.

История эта ничуть не отразилась на его прозвище — Жильят-Лукавец.

Кое-кто заявил, что и удивляться тут нечему, ведь Жильят спрятал в судне ветку ирги. Но как это докажешь?

С того дня Жильят не расставался с ботиком. На своей неуклюжей лодке он отправлялся на рыбную ловлю. Он держал ее под самой стеной «Дома за околицей» в удобной бухточке, которой владел безраздельно. Под вечер, вскинув сеть на спину, он шел садом, затем, перемахнув через низкую каменную ограду, сбегал по скалам, прыгал в ботик и уходил в открытое море.

Он вылавливал много рыбы, и люди утверждали, что ветка ирги всегда была привязана к его судну. Ирга — то же, что кизильник. Никто этой ветки у Жильята не видел, но все в нее верили.

Лишнюю рыбу он не продавал, а дарил.

Бедняки рыбу брали, но на Жильята косились — всё из-за той же ветки. Потому что так делать не полагается. С морем плутовать нечего.

Он был не только рыбаком. Он изучил из врожденной склонности и ради развлечения три-четыре ремесла: был столяром, кузнецом, тележником, конопатчиком и даже отчасти механиком. Никто так хорошо не починил бы колеса, как он. Всю рыболовную снасть он изготовлял по собственному способу. В закутке «Дома за околицей» он соорудил маленький кузнечный горн и наковальню, и так как на ботике был лишь один якорь, то сам, своими руками, сделал второй. Якорь удался на славу; кольцо вышло нужной крепости, и Жильят, хоть и дошел до всего своим умом, с такой точностью рассчитал размер штока, что якорь не перевертывался.

Он запасся терпением и заменил все гвозди в обшивке лодки нагелями, чтобы ржавчина не изъела железа и не образовались дыры.

Таким образом, мореходные качества ботика стали гораздо лучше, Жильят пользовался этим и время от времени отправлялся на пустынные островки вроде Шузея или Каскэ, где проводил месяц-другой. Люди говорили: «Смотри-ка, Жильята совсем не видать». Это никого не огорчало.

VII. В жилище духов – жилец-духовидец

Жильят был мечтателем. Потому-то он был отважен, потому-то он был и робок. У него сложилось своеобразное представление о мире.

Быть может, он обладал склонностью к галлюцинациям и даром ясновидения. Какого-нибудь крестьянина, скажем, крестьянина Мартина галлюцинации преследуют точно так же, как, скажем, короля Генриха IV. Иногда непостижимое потрясает человеческий ум. Нежданно расступится мрак, покажется невидимое, и тьма сомкнется вновь. Видения порой преображают человека: погонщик верблюдов становится Магометом, а пастушка — Жанной д'Арк. Одиночество порождает возвышенные заблуждения. То дым неопалимой купины. Отсюда таинственная вспышка творческой мысли, превращающей врача в ясновидца, а поэта — в пророка; отсюда — Хорив, Кедрон, Онбос, и дурманящий вкус кастальского лавра, и откровения месяца Бузиона, отсюда — Пелейя в Додоне, Фемоноя в Дельфах, Трофоний в Лебадее, Езекииль на Ке-

баре, Иероним в Фиваиде. Чаще всего состояние ясновидения подавляет и ошеломляет человека. Существует священное отупение. Видения — бремя для факира, как зоб для кретина. Лютер, беседующий с бесами в виттенбергской мансарде, Паскаль, прячущийся от ада за ширмой в своем кабинете, негритянский колдун, говорящий с белоликим богом Боссумом, — все это одно и то же явление, по-разному преломляющееся в сознании человека, в зависимости от широты и силы его мысли. Лютер и Паскаль были и будут велики; колдун — скудоумен.

Жильят не стоял ни на таком высоком, ни на таком низком уровне. Он размышлял. Только и всего.

У него был не совсем обычный взгляд на природу.

Оттого, что он нередко видел в чистой и прозрачной морской воде каких-то больших и странных животных различной формы из семейства медуз, которые вне воды напоминали мягкий хрусталь, а снова попав в свою среду, тождественные ей по бесплотности и цвету, становились почти неприметными, он заключил, что раз прозрачные живые существа населяют воду, то другие прозрачные живые существа

могут населять воздух. Птицы не всегда парят в воздухе, ибо они подобны земноводным в море. Жильят не допускал, что воздух необитаем. Он говорил: «Море полно жизни, почему же быть пустой атмосфере? Существа цвета воздуха, вероятно, сливаются со светом и ускользают от нашего взгляда; кто докажет, что их нет? А ведь если сравнить, то подумаешь, что в воздухе есть свои рыбы, как в море есть свои; воздушные рыбы прозрачны, это предусмотрел творец на наше и на их благо; они пропускают свет и не оставляют тени, они лишены очертаний, ничего-то мы о них не знаем, и нам их не изловить». Жильят воображал, что если бы удалось выкачать атмосферу, как воду из пруда, то обнаружилась бы уйма удивительнейших существ. И он добавлял задумчиво: «Многое бы тогда объяснилось».

Задумчивость, — а это мысль в состоянии туманности, — граничит со сном и тяготеет к нему, как к своему пределу. Воздух, населенный прозрачными существами, был бы началом неведомого, но за ним растворяются врата в царство возможного. Там другие существа, там другие явления. Ничего сверхъестественного, но тайное продолжение бесконечной природы. Жильят в своей деятельной праздности, которая заполняла

его жизнь, был наблюдателем необычным. Он наблюдал даже сновидения. Сон соприкасается с возможным, которое мы также называем невероятным. Мир сновидений — поистине целый мир. Ночь сама по себе — вселенная. Организм человека, на который давит атмосферный столб в пятнадцать миль вышиной, к вечеру утомляется, человек падает от усталости, ложится, засыпает; глаза его закрыты, и тогда дремлющий мозг, отнюдь не такой бездейственный, как думают, обретает иное зрение, перед человеком возникает Неведомое. Темные видения неизвестного мира являются спящему, потому ли, что действительно связаны с ним, потому ли, что призрачная глубина бездны словно надвигается на него; чудится, что незримые обитатели беспредельности смотрят на нас, преисполненные любопытства к нам, земножителям; какие-то тени не то поднимаются, не то опускаются, проплывая мимо нас в ночи; мы созерцаем потустороннее, и нам предстает иная жизнь, она возникает и рассеивается, в ней действуем мы сами и еще какие-то силы; и вот перед спящим, который пребывает на грани явственного и бессознательного — невиданные твари, неописуемые растения, грозные или хохочущие бесплотные существа, духи, личины,

оборотни, гидры, призраки, лунный свет в безлунном небе, все это таинственное многообразие ночного чуда, все эти появления и исчезновения среди взбаламученной тьмы, образы, парящие во мраке, все то необъяснимое, что мы называем сновидением, — это и есть приближение невидимой действительности. Сон — аквариум ночи.

Именно так рассуждал Жильят.

VIII

Сейчас не найти в бухте Умэ дома Жильята, его сада и того маленького залива, где он держал свой ботик. «Дом за околицей» больше не существует. Полуостровок, на котором стоял дом, развалился под ударами кирки разрушителей побережья, и его погрузили воз за возом на суда торговцев гранитом и скупщиков скал. Он превратился в столичную набережную, в церковь или дворец. Гребень подводных утесов давным-давно отправился в Лондон.

Выветренные, иззубренные скалы, уходящие в море, — горные цепи в миниатюре; они производят на нас такое же впечатление, какое произвели бы Кордильеры на великана. На местном наречии они зовутся «банками». Очертания

их многообразны. Одни похожи на спинной хребет, где каждая скала — позвонок; другие — на рыбий скелет; иные — на крокодила, припавшего к воде.

В конце той косы, где стоял «Дом за околицей», возвышалась большая скала, которую рыбаки из Умэ звали Бычьим рогом. Скала эта вздымалась пирамидой и напоминала вершину Джерсея, хоть и была поменьше. Волны во время прилива отделяли ее от суши, и тогда Рог бывал отрезан. При отливе к нему добирались по скалистому перешейку. Любопытной приметой Рога был уступ, похожий на кресло, высеченное волной и отполированное ливнями. Предательское это было кресло. Туда манила красота морского простора, а уйти оттуда «любители видов», как говорят на Гернсее, были не в силах, что-то их удерживало; в широких далях таится очарование. Кресло раскрывало свои объятия; оно стояло будто в нише; до ниши легко добраться, море, вырубившее ее в скале, подставило к ней удобную лестницу из плоских камней; бездна бывает предупредительна, берегитесь ее внимания; кресло соблазняло, туда поднимались; там было так уютно; сиденье — сглаженный и обточенный волною камень, подлокотники — два изогнутых выступа, сде-

ланные словно нарочно, спинка — отвесная гранитная стена, далеко уходящая ввысь; ею любовались, запрокинув голову, не думая о том, что на нее не влезть; на таком кресле забыться было нетрудно: все море открывалось взору, издали было видно, как приближаются суда, как они уходят; взглядом можно было проследить, как парус, обогнув остров Каскэ, исчезает за округлой поверхностью океана. Люди смотрели, восхищались, упивались; негой дышали волны и ветерок. В Кайенне водится коварный нетопырь, во тьме он убаюкивает тихим, предательским веяньем крыльев; ветер подобен невидимой летучей мыши: он или губит, или усыпляет. Созерцая море, внимая ветру, чувствуешь, как тобой овладевает блаженное забытье. Когда глаз пресыщен красотой и ярким светом, то сомкнуть веки — наслаждение. Вдруг человек просыпался. Но бывало слишком поздно. Прилив рос. Вода охватывала скалу.

Грозила неминуемая гибель.

Опасна осада наступающего моря.

Сначала прилив подбирается незаметно, потом все стремительней. Вот он настиг скалу, и его охватывает ярость, он вскипает пеной. Не всегда удается проплыть в бурунах. Даже отличные

пловцы, случалось, тонули у Рога близ «Дома за околицей».

В иных местах, в иные часы смотреть на море — подобно отраве, так же, как порой смотреть на женщину.

Древнейшие обитатели Гернсея в старину называли нишу, высеченную волной в скале, креслом Гильд-Хольм-Ур или *Кидормюр*. Слово, говорят, кельтское, но его не понимают знатоки кельтского языка, зато понимают люди, знающие французский. *Qui-dort-meurt* — заснешь-умрешь. Так толкуют его крестьяне.

Каждому предоставляется свобода выбора между переводом «заснешь-умрешь» и переводом, напечатанным в 1819 году, если не ошибаюсь, в журнале *Арморикен* г-ном Атенасом. По мнению почтенного кельтолога, Гильд-Хольм-Ур означает «Привал птичьих стай».

И на острове Ориньи есть такое же кресло, называемое Креслом монаха и превосходно выточенное волной; выступ скалы прилегает к нему так кстати, будто море заботливо поставило вам под ноги скамеечку.

Когда прилив достигал высшего уровня, уже не видно было кресла Гильд-Хольм-Ур. Оно исчезало под водой.

Кресло Гильд-Хольм-Ур было по соседству с «Домом за околицей». Жильят знал о кресле и сиживал в нем. Он часто ходил туда. Быть может, размышлять. Нет. Мы уже говорили, что он мечтал. Но приливу не удавалось захватить его врасплох.

Книга вторая
Месс Летьери
I. Бурная жизнь и спокойная совесть

Месс Летьери, лицо именитое в Сен-Сансоне, бывалый моряк, видавший виды. Он много плавал. Ему довелось быть юнгой, парусным мастером, марсовым, рулевым, боцманматом, боцманом, лоцманом, шкипером. Теперь он стал судовладельцем. И кому, как не ему, было знать море? Он не ведал страха, спасая людей, терпевших кораблекрушение. В непогоду он прохаживался по песчаному берегу и бормотал, всматриваясь в горизонт: «А ну-ка, что там такое? С кем-то беда». Будь то рыбачья лодка из Вейму-та, будь то парусник с острова Ориньи, бот из Курселя, или яхта лорда, будь то француз, англи-чанин, будь то бедняк, богач, будь то сам дьявол — все равно, Летьери прыгал в лодку, подзывал двух-трех храбрецов, а то обходился без них и сна-ряжался в путь один, отвязывал причал, хватал весла и пускался в открытое море; он рассекал бушующие волны, то взлетая на вал, то соскаль-зывая вниз, то снова взлетая над пучиной, и несся

навстречу опасности. С далекого берега он был виден среди бурлящего моря; он стоял в лодке под ливнем, в блеске молний, — лев с гривой из морской пены. Порою Летьери проводил целые дни в волнах, под градом и ветром, на волосок от смерти, причаливая к тонущим судам, спасая людей, спасая груз, бросая вызов буре. Вечером, возвратившись домой, он вязал чулки.

Так он и жил пятьдесят лет, с десяти до шестидесяти, пока были силы. В шестьдесят лет он заметил, что ему уже не поднять одной рукой наковальню в кузнице Варклена, — наковальня весила триста фунтов, — и вдруг его сковал ревматизм. Пришлось отказаться от моря. Он перешагнул из героического возраста в возраст патриархальный. Стал просто-напросто стариком.

Вместе с ревматизмом к нему пришла и зажиточность. Эти плоды трудов охотно заводят дружбу. Не успеешь разбогатеть, а старость уж тут как тут. Таков венец жизни.

А люди-то думают: «Вот когда поживем всласть».

На таких островках, как Гернсей, население состоит из тех, кто провел жизнь, исходив вдоль и поперек свою пашню, и тех, кто провел жизнь,

изъездив вдоль и поперек весь свет. Это два рода пахарей: пахари земли и пахари моря. Месс Летьери относился к последним. Но и земля была ему знакома. Всю жизнь он трудился. Он исколесил материк, он плотничал на верфях в Рошфоре, затем в Сетте. Мы только что говорили о путешествии по всему свету; по Франции Летьери путешествовал как плотничий подмастерье. Работал на черпалках в соляных копях Франш-Конте. Этот скромный человек прожил жизнь искателя приключений. Во Франции он научился читать, мыслить, желать. Он испробовал все и ничем не запятнал свою честь. Душою же он был моряк. Он властвовал над водой. Он говаривал: «Много у меня водится рыбы». Вся его жизнь, не считая двух-трех лет, была отдана океану, «брошена в воду», как он говорил. Он плавал по великим морям, по Атлантическому и Тихому океанам, но всем морям предпочитал Ла-Манш. Он восклицал с нежностью: «Вот где круто приходится!» Там он родился, там он хотел умереть. Раза два объехав вокруг света, он набрался ума, вернулся на Гернсей и там осел. Отныне он совершал путешествия лишь в Гранвиль и Сен-Мало.

Месс Летьери был гернсеец, то есть нормандец, то есть англичанин, то есть француз. У него было

как бы четыре родины, но всех их затопил, поглотил океан — его великая отчизна. Всю жизнь и повсюду он хранил верность нравам нормандских рыбаков.

Это ему не мешало при случае перелистать книжку, почитать в свое удовольствие, знать имена философов и поэтов и болтать кое-как на всех языках.

II. К чему он питал пристрастие

Жильят был дикарем, Летьери тоже, но иного склада.

Он отличался по-своему изысканными вкусами.

Этот дикарь был разборчив по части женских ручек. В дни молодости, чуть ли не отрочества, когда он был еще полуюнгой, полуматросом, он услыхал замечание бальи Сюффрена: «Прехорошенькая девчонка, но, черт возьми, какие красные ручищи!» Слово адмирала при всех обстоятельствах — команда. Истина, изреченная начальником, подкрепляется инструкцией о послушании. Восклицанье бальи Сюффрена утончило вкус Летьери, он стал неравнодушен к белым женским ручкам. Его же рука — широчен-

ная лопата кирпичного цвета — была легка, как дубина, и нежна, как клещи. Ударом кулака он раскалывал булыжник.

Он так и не женился, — не захотел или не нашел по вкусу. Вероятно, этот моряк мечтал о ручке герцогини. Но не сыскать такую ручку среди рыбачек Порбайля.

Правда, говорят, что в Рошфоре, в Шаранте, он как-то встретил девицу, воплотившую его заветную мечту — красотку с хорошенькими ручками. Она вечно злословила и царапалась. Не стоило бы и подступаться к ней. Ее выхоленные ноготки, которые при случае превращались в коготки, не знали ни страха ни упрека! Эти очаровательные ноготки пленили Летьери, но потом он встревожился, что в один прекрасный день перестанет быть господином госпожи своего сердца, и раздумал доводить интрижку до дверей мэрии.

А как-то раз ему приглянулась девушка в Ориньи. Он уже подумывал было жениться, но однажды ему сказали: «Поздравляем, хорошая у вас будет навозница». Он попросил объяснить, что означает похвала. В Ориньи существует такой обычай: берут коровий навоз и бросают об стену. Бросать надо умело. Подсохнув, он отваливается от стены, и тогда им топят печи. Высохшие

комья навоза называются «лепешками». Парни в Ориньи женятся только на хороших навозницах. Таланты невесты обратили Летьери в бегство.

Впрочем, относительно любви и любовных похождений у него была грубоватая, здоровая крестьянская философия, мудрость матроса, всегда влюбленного и всегда свободного от брачных уз. Он любил похвалиться тем, что в молодости не мог устоять перед «котильоном». То, что теперь зовется «юбкой», тогда звалось «котильоном». А это и означало женщину.

Неотесанные моряки Нормандского архипелага — народ смышленый. Почти все умеют читать и читают. По воскресеньям восьмилетние малыши-юнги сидят на свернутом канате с книгой в руках. Во все времена нормандские моряки слыли насмешниками и сыпали, как теперь говорится, остротами. Отважный лоцман Керипель, например, пустил крылатое словечко о Монгомери, который скрывался на Джерсее, случайно ранив насмерть копьем Генриха II: «Безголовый прикончил пустоголового». А капитан Тузо из Сен-Брелада сочинил философский каламбур, неправильно приписанный епископу Камюсу: «После смерти попы превращаются в попок, а цезари в цесарок».

III. Старый морской язык

Моряки Нормандского архипелага — подлинно древние галлы. Острова ныне быстро англизируются, но они долго блюли традиции, сложившиеся в старину. Серкский крестьянин говорит на языке времен Людовика XIV.

Лет сорок тому назад джерсейские и ориний-ские матросы изъяснялись на классическом морском диалекте. Можно было подумать, что находишься среди мореходов XVII века. Знатоку-языковеду следовало бы приехать сюда, чтобы изучить старинное морское арго корабельной и боевой службы, которое некогда громыхало в рупоре Жана Бара, ужасавшем адмирала Хидда. Морской словарь наших предков, теперь почти совсем вытесненный новшествами, в двадцатых годах еще был в обиходе на Гернсее. Судно, хорошо идущее бейдевинд, звалось тогда «ладным булиньщиком»; «объякорить» означало «бросить якоря»; рыскливый корабль, почти сам собою поворачивающийся к ветру, назывался «ранк»; правый становой якорь — «плехт», а левый — «дагликс». Когда надо было сказать: «Прошло судно», говорили: «Пробежал парус»; «усыпить конец

снасти» означало закрепить конец бегучего такелажа; «запустить зуб» означало крепко стать на якорь; «траур» означало грязь, беспорядок на судне. Нынче так уже не скажут. Теперь говорят: «лавировать», а тогда говорили: «реить»; говорят: «обойти мыс» — говорили: «огрести мыс»; говорят: «галфвинд» — говорили: «поперечень»; говорят: «бак» — говорили: «форкастель»; говорят: «кубрик» — говорили: «орлоп»; говорят: «вахта» — говорили: «чередной караул»; говорят: «приводить к ветру» — говорили: «бетить»; говорят: «обстенить паруса» — говорили «положить паруса обстенг». Турвиль писал Окенкуру: «Шли под парусами вкруть». «Топенант» тогда произносили: «тобенант», а «крамбол» — «крамбола»; вместо «зыбь» говорили: «толкун», а вместо «подводный камень» — «потайник». Анго умилился бы, доведись ему услышать в ту пору говор джерсейского лоцмана. Если повсюду паруса «полоскали», то на островах Ла-Манша они «заигрывали»; если повсюду волны «пенились», то там они «жемчужились». На Нормандском архипелаге по старинке применялись только два способа крепления — плоский найтов и найтов с крыжом. Только там еще раздавались приказания на старинный лад: «Клади руль бакборт!», «Клади

руль штирборт!» вместо: «Лево руля!», «Право руля!». Гранвильский матрос уже говорил: «кип блока», а матрос сентобенский или сенсансонский все продолжал твердить: «шкивный паз». То, что в Сен-Мало называлось «топтимберсом», в Сент-Элье было «ослиным ухом». Месс Летьери, под стать герцогу Вивонскому, вогнутую линию палубы звал «погибью», а молоток конопатчика — «кулаком». Именно на этом диалекте говорили Дюкен, разгромивший Рюитера, Дюге-Труэн, разгромивший Васнера, и Турвиль, который в 1681 году средь бела дня поставил на якорь первую галеру, обстрелявшую Алжир. Ныне язык этот мертв. Морское арго наших дней иное. Дюпере не понял бы Сюффрена.

Не меньше изменился и язык морских сигналов; далеко четырем фонарям — красному, белому, синему и желтому — времен Лабурдоне до нынешних восемнадцати сигнальных флагов, что, взвившись попарно, по три, по четыре, позволяют судам дальнего плавания обмениваться условными знаками в семидесяти тысячах сочетаний, никогда не подводят и, так сказать, предвидят непредвиденное.

IV. Человек уязвим в том, что он любит

У месса Летьери сердце было как на ладони; широкая ладонь, большое сердце. Чудесное качество — доверчивость — было его недостатком. Если он брал на себя обязательство, то делал это особенно торжественно; он говорил: «Даю честное слово пред Господом Богом». И после клятвы непременно доводил дело до конца. В Господа Бога он верил, этим и ограничивался. А в церковь ходил только из вежливости. В море был суеверен.

Однако он никогда не отступал перед непогодой — он не терпел, когда ему противоречили. Он не спустил бы океану, как никому на свете. Он требовал подчинения; тем хуже для моря, если оно сопротивлялось, — оно должно было смириться. Летьери не шел на уступки: вздыбленной волне не удавалось испугать его, так же как соседу — переспорить. Его слово было законом, а намеренье — делом. Никакие возражения, никакая буря не могли его остановить. «Нет» для него не существовало ни в устах человеческих, ни в громовом раскате. Он добивался своего. Он не допускал отказа. Отсюда его упрямство в жизни и его бесстрашие в океане.

Он с удовольствием сам варил уху, в меру клал перца, соли и кореньев и наслаждался стряпней не меньше, чем едой. Представьте себе человека, неуклюжего в сюртуке, неузнаваемого в матросской куртке и зюйдвестке, ибо с разметавшимися по ветру волосами он был похож на Жана Бара, а в круглой шляпе — на Жокриса; моряка, нескладного в городе, преобразившегося и грозного в море; представьте силача-грузчика — и ни единого бранного слова даже в редкие минуты гнева, приятный певучий голос, громоподобный в рупоре; представьте себе крестьянина, читающего *Энциклопедию,* гернсейца — свидетеля революции, во многом сведущего невежду, человека без пустосвятства, но со всевозможными предрассудками, верящего больше в Белую даму, чем в пресвятую деву; представьте силу Полифема, волю Колумба, логику флюгера, что-то бычье и что-то ребяческое во всем облике, вздернутый нос, морщины, рот, полный зубов, мясистые щеки, лицо, что омывалось морскими волнами и овевалось всеми ветрами целых сорок лет, лоб в отблесках гроз, кожу цвета морских скал; ну а теперь вообразите, что суровые черты освещены добродушным взглядом, и перед вами встанет месс Летьери.

У Летьери было две сердечные привязанности: Дюранда и Дерюшетта.

Книга третья
Дюранда и Дерюшетта
I. Щебетанье и дым

Человеческое тело, пожалуй, одна лишь оболочка. Оно скрывает нашу сущность. Оно заслоняет наш внутренний свет или тьму. Сущность — это душа. Вообще же наше лицо — маска. Истинный человек — это то, что скрыто в человеке. Если бы обнаружился истинный человек, который притаился, который спрятался за химерой, именуемой плотью, было бы немало неожиданностей. Общечеловеческое заблуждение и состоит в том, что внешний облик человека принимается за подлинную его суть. Так, иная девушка, если бы мы увидели тайную ее сущность, показалась бы нам птичкой.

Птичка в образе девушки — какая прелесть! Вообразите, что она живет в вашем доме. Это и будет Дерюшетта. Очаровательное создание! Так и хочется сказать ей: «Привет тебе, пташка!» Крылышек не видно, но слышно щебетанье. Порою она заливается песенкой. Когда она болтает, чувствуешь свое превосходство над ней; когда

она поет, чувствуешь ее превосходство над тобой. Что-то таинственное звучит в ее пении; это ангел в девичьем образе. Ангел улетает, когда девушка становится женщиной; позднее он возвращается, принося душу ее младенца. Та, которой суждено материнство, пока не вступит в жизнь, долгое время — дитя; в девушке притаилась девочка, она словно малиновка. Увидишь ее и невольно думаешь: «Как мило, что она не улетает от нас!» Кроткая ручная пташка порхает в доме с ветки на ветку, — из комнаты в комнату, то приблизится, то удалится, то нет ее, то она снова тут, пригладит перышки — причешет волосы, и слышится нежный шелест и шорох ее одежд и голос, нашептывающий вам что-то неизъяснимое. Она задает вопросы, ей отвечаешь; ее спрашиваешь, и в ответ — воркование. С ней не говоришь, а болтаешь. Болтовня — отдых от разговора. Что-то неземное есть в этом создании. Она — лазурная мысль, которая сливается с вашими черными мыслями. Вас восхищает воздушность, стремительность, непостоянство, неуловимость, и вы благодарите ее за то, что она по доброте своей не превратилась в невидимку, хотя, кажется, стоило бы ей захотеть, и она стала бы бесплотной. Красота на земле — насущная потребность. Вряд

ли найдется на свете более важная обязанность, чем обязанность быть пленительной. Лес впал бы в отчаяние без колибри. Излучать радость, изливать счастье, искриться светом среди мрака, быть позолотой судьбы, быть самой гармонией, самой грацией, самой миловидностью — значит оказывать вам благодеяние. По-моему, польза прекрасного в том, что оно прекрасно. Красавица обладает волшебной силой очарования, неодолимой для окружающих; порою она сама этого не замечает, и тогда чары еще могущественнее; ее присутствие озаряет, приближение греет; она проходит мимо, и вы довольны; она останавливается, и вы счастливы; видеть ее — значит жить; она — утренняя заря в облике человеческом; ее призвание — существовать, и этого достаточно, она превращает ваш дом в Эдем, она полна райского обаяния, она дарует радость, сама того не сознавая. Ее улыбка — кто знает отчего? — облегчает ту огромную, тяжкую цепь, которую влачат сообща все смертные; в этом, как хотите, есть нечто божественное. Вот так улыбалась Дерюшетта. Скажем больше: сама Дерюшетта была такой улыбкой. Существует нечто, раскрывающее нашу душу больше, чем лицо наше, — это его выражение; и нечто, раскрывающее ее больше,

чем выражение нашего лица, — это наша улыбка. Улыбающаяся Дерюшетта была подлинной Дерюшеттой.

Дар привлекать сердца — в крови гернсейцев и джерсейцев. Женщины, — а девушки особенно, — красивы цветущей безыскусственной красотой. Белизна саксонок у них сочетается с нормандской свежестью. Розовые щеки, голубые глаза. Но глазам не хватает блеска. Их притушило английское воспитание. Эти ясные очи будут неотразимы, когда в них появится глубина взгляда парижанки. К счастью, Париж еще не вторгся в душу островитянок. Дерюшетта не была парижанкой, но не была и гернсейкой. Родилась она в порту Сен-Пьер, а воспитал ее месс Летьери. Он поставил себе цель сделать из нее пленительное создание и сделал.

Беспечный взгляд Дерюшетты был бессознательно задорен. Вряд ли она понимала, что означает слово «любовь», и покоряла сердца, сама того не ведая. О замужестве она и не помышляла. Как-то знатный старик эмигрант, обосновавшийся в Сен-Сансоне, сказал о ней: «Малютка дьявольски кокетлива».

У Дерюшетты были прелестнейшие в мире ручки, а под стать им и ножки: «четыре мушиные лапки», — говаривал месс Летьери. Весь ее облик

дышал добротою и нежностью; вместо семьи и богатства у нее был дядя — месс Летьери, вместо труда — жизнь в свое удовольствие, вместо таланта — несколько песенок, вместо образования — красота, вместо ума — невинность, вместо сердца — неведение; то была она томна, как креолка, то ветрена и резва, то по-детски весела и задорна, то задумчива и грустна; одевалась она во вкусе гернсейских модниц, красиво, но пестро, круглый год носила шляпки с цветами; у нее были каштановые волосы, чистый лоб, гибкая соблазнительная шейка, белая, летом чуть-чуть веснушчатая кожа, полные, свежие губы, а на губах сияние обольстительной и опасной улыбки. Такова была Дерюшетта.

Порою под вечер, после захода солнца, в тот час, когда ночь спускается на море и в сумерках от него веет жутью, в узкий проход сенсансонской гавани на гребнях зловещих волн врывалась, свистя и отплевываясь, какая-то расплывчатая громада, какая-то чудовищная тень, страшилище, рычавшее диким зверем и курившееся вулканом; и эта сказочная гидра, изрыгавшая пенную слюну и оглушительно бившая плавниками, волоча хвост дыма и разинув огненную пасть, летела на город. Такова была Дюранда.

II. Извечная история утопии

Паровое судно в водах Ла-Манша в 182… году считалось не только новшеством, но и чудом. Все нормандское побережье долго пребывало в смятении. Сейчас никто и глаз не подымает на десять — двенадцать пароходов, снующих в разных направлениях на горизонте; разве только на минутку они привлекут внимание знатока, который определит по цвету дыма, что в топке вон того судна сжигается уэльский уголь, а вот этого — ньюкаслский. Пусть себе плывут мимо. Пристанут — приветим. А отчалят — добрый путь.

В первую четверть нашего века люди не столь миролюбиво относились к таким выдумкам; особенно косо смотрели на дымящиеся машины островитяне Ла-Манша. Пуританское население архипелага, поносившее английскую королеву за то, что она осквернила библейские заветы[17], разрешившись от бремени под хлороформом, первым делом окрестило пароход «Чертовой посудиной». Простодушным морякам тех лет

---

[17] Примечания: 17

Книга Бытия, глава III, стих 16: «И в муках ты родишь». — *Примеч. автора.*

некогда католикам, позже кальвинистам и во все времена людям суеверным, пароход, должно быть, казался плавучей преисподней. Один местный проповедник вопрошал: «Вправе ли мы заставлять воду работать заодно с огнем, если они разделены самим Господом Богом? И не напоминает ли сей железный огнедышащий зверь Левиафана? Не идем ли мы вспять, к хаосу?» Не впервые успехи прогресса воспринимались как возвращение к хаосу.

Академия наук в ответ на запрос Наполеона о паровом судне в начале века вынесла такой приговор: «Безумная идея, грубейшее заблуждение, нелепость»; сенсансонским рыбакам простительно, что в области науки и оказались на одном уровне с парижскими учеными: в области же религии такой маленький островок, как Гернсей, не обязан быть просвещеннее такого огромного материка, как Америка. В 1807 году, когда первый пароход Фультона с машиной Уатта, присланной из Англин, имея на борту, кроме экипажа, двух пассажиров — француза Андре Мишо и еще кого-то, совершил первый рейс из Нью-Йорка до Албани под командой Ливингстона, случаю угодно было, чтобы это произошло семнадцатого августа. Методисты завопили по этому поводу,

пастыри во всех протестантских церквах предали проклятию паровую машину, возвещая, что число семнадцать равно сумме десяти щупалец и семи голов апокалиптического зверя. В Америке приравнивали к пароходу зверя из Апокалипсиса, а в Европе — зверя из книги Бытия. В этом и было различие.

Ученые отвергли идею парохода, как нечто невозможное; священнослужители в свою очередь отвергли ее, как что-то нечестивое. Наука отклоняла, церковь проклинала. Фультона считали подобием Люцифера. Простой народ — крестьяне и моряки — примкнули к хулителям, ибо им было не по себе от новшества. Вот точка зрения церкви: «Вода и огонь разлучены, и разлучены по божьему велению. Не должно разъединять то, что соединено Богом; не должно соединять то, что Им разъединено». А вот точка зрения простолюдина: «Глядеть на это боязно».

В те давние времена надо было обладать душою Летьери, чтобы отважиться на такое начинание и завести пароход, курсирующий между Гернсеем и Сен-Мало. Только он, вольнодумец, мог пойти на это, только он, смелый моряк, мог осуществить свой замысел. Француз, сидевший в нем, подал мысль; англичанин, сидевший в нем,

ее выполнил.

При каких же обстоятельствах? Об этом и поведем рассказ.

III. Рантен

Лет за сорок до того, как свершились события, о которых мы повествуем, в одном из парижских предместий, между Львиным рвом и Томб-Иссуар, к городской стене прилепилась подозрительная лачуга. Домишко стоял на отлете и служил разбойничьим притоном. Жил-поживал в нем с женой и сыном некий обыватель, на деле — вор, бывший прокурорский писец в Шатле, а ныне заправский грабитель. Он кончил скамьей подсудимых. То было семейство Рантенов. В домишке, на комоде красного дерева, виднелись две расписные фарфоровые чашки; на одной было выведено золотом: «В память о дружбе», на другой — «Дань уважения». Мальчик рос в трущобе, бок о бок с преступлением. Родители, выходцы из полубуржуазных кругов, учили сына грамоте, так сказать, воспитывали. Мать, истощенная, неряшливо одетая женщина, рассеянно «давала образование» малышу, заставляя его читать по слогам, и часто отрывалась от занятий,

чтобы помочь супругу в воровских его делах или чтобы продаться первому встречному. Букварь, открытый на той странице, где было прервано чтение, лежал на столе, а рядом, задумавшись, сидел мальчик.

Папаша и мамаша Рантены были пойманы на месте преступления и исчезли во мраке тюрьмы. Куда-то исчез и сын.

Однажды в своих скитаньях Летьери встретился с таким же любителем приключений, как он сам, вытянул его из какой-то темной истории, помог ему, пожалел его, полюбил, привез на Гернсей, открыл у него способности к каботажному плаванию и сделал своим компаньоном. То был сынок Рантенов, ставший взрослым.

У Рантена, как и у Летьери, была крепкая шея, широкие и могучие плечи, словно предназначенные для переноски тяжестей, бедра Геркулеса-Фарнезского. Одна походка, одна стать были у Летьери и у Рантена, только Рантен был повыше. Всякий, кто видел их со спины, когда они прохаживались рядом по пристани, говорил: «Наверное, братья». Но зато в лице не было ничего общего. У Летьери все как на ладони, у Рантена все под замком: Рантен был воплощением осмотрительности. Он искусно фехтовал,

на расстоянии двадцати шагов пулей снимал нагар со свечи, был превосходным кулачным бойцом, декламировал стихи из *Генриады*, играл на гармонике и разгадывал сны. Он знал наизусть *Гробницы Сен-Дени* Тренейля, хвастался дружбой с калькуттским царьком, «которого португальцы называют заморином». Рантен не расставался с записной книжкой, и если бы вы ее перелистали, то среди всякой всячины вам на глаза попалась бы, например, такая заметка: «В стене камеры лионской тюрьмы Сен-Жозеф в трещине спрятан напильник». Рантен говорил с мудрой медлительностью, называл себя сыном кавалера ордена св. Людовика. Белье у него было самое разное, с чужими метками. Рантен выказывал большую щепетильность в вопросах чести, дрался на поединках и убивал. Его взгляд чем-то напоминал взгляд старой сводни.

Хитрость в оболочке силы — вот весь Рантен.

Мастерской удар его кулака по *cabeza de mogo*[18] где-то на ярмарке покорил некогда сердце Летьери.

На Гернсее никто и понятия не имел о похождениях Рантена. А похождения эти были разного

---

[18] Примечания: 18
Голове мавра — силомеру *(исп.)*.

свойства. Будь у судеб своя костюмерная, судьба Рантена, вероятно, нарядилась бы арлекином. Он знал людей и видывал виды. Не раз ходил в кругосветное плавание. На все руки был мастер. Был он поваром на Мадагаскаре, птицеводом на Суматре, генералом на Гонолулу, сотрудником религиозного журнала на Галапагосских островах, поэтом на Оомравуте, франкмасоном на Гаити. Исполняя эту роль, он произнес в Большой Гоаве надгробную речь, отрывок которой был увекове-чен местными газетами: «…Прости, прекрасная душа! Ты ныне паришь в лазоревых сводах небес! И там, разумеется, встретишь доброго аббата Леандра Крамо из Малой Гоавы. Скажи ему, что десять лет ты провела в трудах праведных и завершила постройку церкви в Телячьей бухте! Прости, трансцендентальный дух, примерный масон!» Личина масона, как видите, не мешала Рантену носить накладной нос католицизма. Первое примиряло с ним сторонников прогресса, второе — сторонников «порядка». Рантен заявлял, что он чистокровный белый, и терпеть не мог черных, но, конечно, был бы восхищен Сулуком. В Бордо в 1815 году на его рукаве красовалась зеленая повязка. В те времена его роялизм давал о себе знать огромным белым султаном, торчав-

шим у него на шляпе. Всю жизнь он отличался тем, что то исчезал, то появлялся, то пропадал бесследно, то вновь выплывал. Это был негодяй, прошедший огонь и воду. Он болтал по-турецки; вместо «гильотинированный» говорил «наколпосаженный». В Триполи он был невольником у одного талеба и турецкому языку научился из-под палки; ему вменялось в обязанность ходить по вечерам от мечети к мечети и читать вслух правоверным изречения из Корана, написанные на деревянных табличках или на верблюжьих лопатках. Вероятно, он и сам перешел в магометанство.

Он был способен на все, и притом на все самое гнусное.

Он хохотал и в то же время хмурил брови. Он изрекал: «В политике я уважаю людей, не поддающихся постороннему влиянию». И еще: «Я стою за нравственность». Его считали весельчаком, душой человеком. Линия рта противоречила смыслу его речей. Ноздри смахивали на лошадиные. К уголкам глаз сходились морщины, и на этом перекрестке назначали друг другу свидание темные мысли. Тут была разгадка тайны его лица. Гусиные лапки оборачивались когтями коршуна. Голова у него была приплюснута, лоб низкий и

широкий. Безобразное ухо, заросшее пучками волос, как будто предупреждало: «Тут в берлоге залег зверь. Не говорите с ним».

В один прекрасный день Рантен исчез, и никто на Гернсее не мог сказать, куда он делся.

Компаньон Летьери дал тягу, опустошив кассу компании.

В кассе, разумеется, хранились и деньги Рантена, но он прихватил также пятьдесят тысяч франков Летьери.

Летьери, занимаясь каботажным плаванием и судостроением, за сорок лет честного труда нажил сто тысяч франков. Рантен отнял у него половину. У полуразоренного Летьери не опустились руки, он стал думать, как поправить дела. У людей с твердым характером можно отнять состояние, но нельзя отнять мужество. Тогда только начинали поговаривать о пароходах. И вот Летьери пришла мысль испробовать фультоновскую машину, вызывавшую столько споров, и связать паровым судном Нормандский архипелаг с Францией. Ради этого он все поставил на карту. Он вложил в дело все, что у него осталось. Прошло полгода после бегства Рантена, и вот из повергнутого в изумление сенсансонского порта вышло судно, окутанное дымом, будто охваченное пожа-

ром, — первый пароход в водах Ла-Манша.

Было оповещено, что пароход, который все из ненависти и пренебрежения тут же прозвали «Шаландой Летьери», будет курсировать по расписанию между Гернсеем и Сен-Мало.

IV. Продолжение истории утопии

Вначале, — да это, впрочем, и понятно, — затею Летьери приняли в штыки. Владельцы судов, плававших от острова Гернсея к берегам Франции, возопили. Они заявили, что это посягательство на Священное Писание и на их монополию. Кое-где в часовнях пароход был предан анафеме. Некий высокочтимый отец, по имени Элиу, изрек, что пароход — «кощунство». Парусник был признан судном праведным. На головах быков, которых привозил и выгружал пароход, все ясно увидели рога дьявола. Негодовали долго. Однако мало-помалу обнаруживалось, что перевозка быков на пароходе не так их изнуряет, что покупают их охотнее, ибо качество мяса улучшилось; что и для людей не так опасно стало плавать по морю; к тому же на переезд тратится меньше времени; теперь он дешевле и надежнее; что судно отправляется в срок и в срок прибывает; что свежая

рыба, доставленная быстрее, сохраняется гораздо лучше, и теперь можно сбывать на французский рынок излишки подчас огромных гернсейских уловов; что замечательное гернсейское масло, гораздо скорее переправленное на «Чертовой посудине», чем на парусниках, не портится, а потому на него спрос в Динане, спрос в Сен-Бриеке и спрос даже в Ренне; что благодаря этой самой «Шаланде Летьери» путешествия стали безопасными, сообщение своевременным, что легче и быстрее теперь обернуться в оба конца, что увеличилось количество рейсов, умножились рынки сбыта, расширилась торговля, что, словом, надо примириться с «Чертовой посудиной», осквернявшей Библию и обогащавшей остров. Люди смелые даже решились высказать одобрение. Сьер Ландуа, актуариус, заявил о своем полном признании парохода, и это было вполне беспристрастно, ибо он недолюбливал Летьери. Во-первых, Летьери был месс Летьери, а Ландуа только сьер Ландуа; во-вторых, хоть Ландуа и состоял актуариусом в порту Сен-Пьер, он все же являлся прихожанином Сен-Сансона. Таким образом, двое в одном приходе оказались людьми без предрассудков — он и Летьери; этого было достаточно, чтобы они возненавидели друг друга.

Сходство взглядов нередко ведет к отчуждению.

Но сьер Ландуа оказался порядочным человеком и стал сторонником парохода. К нему примкнули другие. Так незаметно возрастало значение факта; факты подобны приливу; в один прекрасный день постоянный и растущий успех, бесспорная польза и явное увеличение всеобщего благосостояния привели к тому, что все, не считая нескольких крепколобых умников, начали восхвалять «Шаланду Летьери».

В наше время восхищались бы меньше. Пароход сорокалетней давности вызвал бы улыбку у наших строителей. Это чудо было безобразно; это диво было слабосильно.

Современные трансатлантические пароходы, эти громады, настолько опередили паровое колесное судно, которое Дени Папен спустил на Фульду в 1707 году, насколько трехпалубный корабль «Монтебелло» в двести футов длиною, пятьдесят шириною, с грот-реем в сто пятнадцать футов, водоизмещением в три тысячи тонн, несущий на себе тысячу сто человек, сто двадцать пушек, десять тысяч ядер и сто шестьдесят картечных зарядов, извергающий при каждом залпе в бою по три тысячи триста фунтов железа и распускающий по ветру на ходу пять тысяч шестьсот

квадратных метров парусины, опередил датскую ладью II века, найденную в морском иле Вестер-Сатрупа, нагруженную луками, каменными топорами и палицами и выставленную в ратуше города Фленсбурга.

Ровно сто лет, с 1707 по 1807 год, отделяют первое судно Папена от первого судна Фультона. «Шаланда Летьери», конечно, явление прогрессивное по сравнению с этими двумя черновыми набросками будущего парохода, хотя и сама она представляла собой еще только черновой набросок. И все же она была образцом искусства. Всякий зародыш науки можно рассматривать с двух точек зрения; или это уродство, как всякий эмбрион, или чудо, как всякий росток.

V. «Чертова посудина»

«Шаланду Летьери» обмачтовали, не рассчитав центра парусности, но не в том состоял ее недостаток, ибо это — один из законов кораблестроения; к тому же при паровом двигателе паруса были лишь дополнением. Вообще для колесного судна паруса почти не имеют значения: «Шаланда» была неуклюжа — чересчур коротка и округлена; слишком полными были обводы

ее кормовой и носовой части; у строителя не хватило смелости сделать ее полегче; «Шаланда» отличалась кое-какими недостатками и некоторыми ценными качествами голландского ботика. На нее мало влияла килевая качка, зато сильно — боковая. Слишком высоки были колесные кожухи, а ширина судна несоразмерна длине. Тяжелая машина загромождала пароход, и, чтобы увеличить грузоподъемность, пришлось сделать борта очень высокими; такой же недостаток присущ и большим семидесятичетырехпушечным кораблям, борта которых приходится срезать, чтобы легче было стрелять из орудий и чтобы улучшить мореходные качества корабля. Короткое судно, конечно, более поворотливо, так как время, затрачиваемое на поворот, зависит от длины корабля. Но тяжеловесность лишала «Шаланду» тех преимуществ, которые дает судну малая длина. Оно было чересчур широко, это замедляло ход, потому что сопротивление воды пропорционально площади наибольшего сечения подводной части корабля и квадрату его скорости. Форштевень был вертикальным, что не считалось бы ошибкой в наши дни, но в те времена было принято давать ему наклон в сорок пять градусов. Обводы корпуса были хо-

рошо подогнаны, но недостаточной длины, при слишком округлой форме судна, а следовательно, не были параллельны сторонам призмы воды, которую вытесняет корабль и которую он должен равномерно отбрасывать в стороны. В бурную погоду пароход зарывался в воду то носом, то кормой. Это указывало на неправильное положение центра тяжести. Груз из-за веса машины укладывался не там, где ему надлежало быть, и центр тяжести часто перемещался за грот-мачту — тогда приходилось идти только под парами, не доверяясь гроту: в противном случае судно уваливалось бы под ветер, а не приводилось бы к ветру. Единственное, что оставалось делать, идя круто бейдевинд, — это травить грота-шкот; вынеся галс к носу, можно было расположить грот таким образом, чтобы он не действовал как кормовой парус. Маневр был трудный. Руль, сделанный по старинке, управлялся не штурвалом, обычным на современных судах, а румпелем, то есть поворачивался на крючьях, вделанных в ахтерштевень, благодаря горизонтальному брусу, проходившему над транцем. На шлюп-балках висели две шлюпки, напоминавшие ялики. На пароходе было четыре якоря: большой якорь, рабочий и два верпа. Все четыре опускались на

цепях при помощи большого кормового и малого носового шпиля. В те времена брашпиль с коромыслом еще не вытеснил неровно работающих ручных шпилей. Судно с двумя лишь верпами — на правом и левом борту — не могло становиться на три якоря, это отчасти обезоруживало его, когда ветер менял направление. Однако в этом случае можно было прибегнуть ко второму якорю. Поплавки якорей были обычные и выдерживали тяжесть буйрепов, оставаясь на поверхности воды. Еще был на пароходе довольно большой баркас, который мог послужить в трудную минуту, — благодаря его размерам им пользовались для подъема большого якоря. Новшеством на корабле явилось то, что некоторые тросы такелажа были заменены цепями, однако это не уменьшало подвижности бегучего и натяжения стоячего такелажа. Рангоут, хотя он и играл второстепенную роль, был безукоризнен; штаг-краги были так превосходно закреплены и так превосходно натянуты, что их почти не было видно. Остов судна был прочной, но топорной работы; при паровом двигателе не требовалось такой тщательной отделки, как при парусах. Пароход развивал скорость в два лье в час. В дрейфе он хорошо держался. Вообще «Шаланда Летье-

ри» на воде держалась хорошо, но тупой ее нос плохо рассекал волну, и нельзя сказать, чтобы ее обводы отличались красотой. Чувствовалось, что, попади она в опасность — в бурю или на рифы, — управлять ею будет трудно. Она трещала, как всякая нескладная вещь. И, переваливаясь с волны на волну, скрипела, точно новая подошва.

Пароход предназначался для приема грузов и, как всякое судно, оснащенное скорее для целей торговых, нежели для военных, годен был только для переброски клади. Пассажиров он почти не брал. Перевозка скота создавала большие трудности при погрузке и требовала особых приспособлений. Быков в те времена грузили в трюм, что было весьма сложно. Теперь их грузят прямо на палубу. Кожухи колес «Чертовой посудины» были выкрашены в белый цвет, весь корпус до ватерлинии — в огненно-красный, остальные части — в черный: модное в наш век уродство.

Порожний пароход сидел в воде на семь футов, груженый — на четырнадцать.

Машина у него была мощная: одна лошадиная сила на три тонны, — это приближается к силе буксирного парохода. Колеса были размещены удачно, чуть впереди центра тяжести. Максимальное давление в машине достигало

двух атмосфер. Она поглощала много угля, хотя была оборудована холодильником и работами с отсечкой пара. Махового колеса не было из-за неустойчивости точки опоры. Но недостаток этот устранялся, как делается и теперь, двумя мотылями, укрепленными на концах вращающегося вала и расположенными таким образом, что, когда один из них проходит через мертвую точку, другой развивает полную силу. Машина покоилась на цельной чугунной плите, так что даже при самом бедственном положении судна бушующие волны не могли бы поколебать ее равновесие, а повреждения в корпусе не отразились бы на машине. Для большей надежности главный шатун был установлен около цилиндра и центр качания балансира перенесен с середины на край. Позднее были изобретены качающиеся цилиндры, которые позволяют обходиться без шатунов, но во времена Дюранды шатун близ цилиндра являлся как бы последним словом техники. Котел был внутри разделен перегородками и оборудован насосом для морской воды. Колеса были огромные, что экономило энергию, а труба высокая, что увеличивало тягу топки, но размеры колес служили помехой при волнении на море, а высота трубы — в ветреную погоду. Деревянные

лопасти, железные крючья, чугунные ступицы — вот что представляли собою колеса, отлично сделанные и вдобавок, как это ни удивительно, разборные. Три лопасти постоянно находились в воде. Скорость вращения их центров превышала лишь на одну шестую скорость хода судна; в этом-то и заключался недостаток колес. Кроме того, плечо мотылей было чересчур длинным, а золотник, распределявший пар в цилиндре, развивал слишком большое трение. Но в те времена такая машина казалась, да и была на самом деле верхом совершенства.

Машину построили во Франции на большом заводе железных изделий в Берси. Отчасти она была изобретением самого Летьери — механик, который ее выполнил по проекту Летьери, умер, поэтому она оказалась единственной в своем роде и неповторимой. Чертежник остался, но конструктора уже не было.

Машина обошлась в сорок тысяч франков.

Летьери собственноручно строил «Шаланду» в большом эллинге, что стоит близ первой сторожевой башни между портом Сен-Пьер и Сен-Сансоном. Закупать лес он ездил в Бремен. В постройку судна Летьери, отличный корабельный плотник, вложил все свое мастерство и

блеснул искусством в обшивке парохода: узкие ровные пазы он покрыл сарангусти — индийской мастикой, превосходившей по качеству простую смолу. Обшивка ниже ватерлинии была аккуратно обита гвоздями. Подводную часть Летьери покрыл особым составом. Чтобы излишняя полнота обводов не так влияла на ход судна, Летьери удлинил бушприт утлегарем, таким образом к блинду прибавился бом-блиндбовен. Когда спустили судно на воду, Летьери заявил: «Ну вот, я и снялся с мели». И правда, «Шаланда» удалась на славу, все это видели.

Случайно ли, умышленно ли, «Шаланда» была спущена четырнадцатого июля. Летьери, встав в тот день между двумя кожухами, пристально посмотрел на море и воскликнул: «Пришел и твой черед! Парижане взяли Бастилию, а мы теперь одолеем тебя!»

«Шаланда Летьери» курсировала между Гернсеем и Сен-Мало раз в неделю. Отчаливала утром по вторникам, а возвращалась по пятницам вечером, накануне субботнего базара. Она была самым мощным из всех деревянных каботажных судов архипелага, и так как ее грузоподъемность соответствовала ее размерам, то каждый рейс в оба конца приносил больше прибыли, чем четы-

ре рейса обычного парусника. Отсюда — крупные доходы. Слава судна зависит от того, как на нем производится погрузка. А Летьери производил ее образцово. Когда он уже не в силах был работать на пароходе, то обучил одного матроса, который и заменил его на погрузке. Не прошло и двух лет, как пароход стал приносить семьсот пятьдесят фунтов стерлингов чистой выручки ежегодно, то есть восемнадцать тысяч франков. Гернсейский фунт стерлингов стоит двадцать четыре франка, английский — двадцать пять франков, а джерсейский — двадцать шесть. В этой бессмыслице не так мало смысла, как кажется: для банков это выгодно.

VI. К Летьери приходит слава

«Шаланда» процветала. Месс Летьери уже предвидел час, когда он станет «господином» Летьери. На Гернсее сделаться «господином» не так-то просто. Чтобы стать «господином», человеку надо преодолеть целую иерархическую лестницу: на первой ступени его зовут только по имени — скажем, Пьер, на второй — он сосед Пьер, на третьей — дядюшка Пьер, на четвертой — сьер Пьер, на пятой — месс Пьер, а на самом верху он

— господин Пьер.

Лестница эта, выходящая из-под земли, теряется в тверди небесной. Ярусами на ней разместилась вся аристократическая Англия. Вот ее ступени знатности в восходящем порядке: над господином (джентльменом) стоит эсквайр (дворянин), повыше эсквайра — шевалье (сэр пожизненный), дальше, ступенью выше, баронет (сэр наследственный), затем лорд (в Шотландии — «лэрд»), далее барон, далее виконт, далее граф («эрл» в Англии, «йорл» в Норвегии), затем маркиз, потом герцог, потом пэр Англии, потом принц королевской крови, а затем сам король. Лестница ведет от простого люда к буржуазии, от буржуазии к баронству, от баронства к пэрству, от пэрства к королевскому сану.

Мессу Летьери повезло в его дерзком предприятии: благодаря пару, благодаря машине, благодаря «Чертовой посудине» он стал человеком с весом. Для постройки «Шаланды» он принужден был занять деньги, задолжал в Бремене, задолжал в Сен-Мало, но долг погашал ежегодно.

Он даже купил в кредит у самого входа в сен-сансонскую гавань новый, красивый каменный дом с надписью на стене, гласившей: «Приют

неустрашимых», и расположенный между морем и садом. «Приют неустрашимых» как бы врос в ограду набережной и был примечателен тем, что его окна выходили и на север — в палисадник, заросший цветами, и на юг — прямо на океан; таким образом, у дома было два фасада: один созерцал бури, другой розы.

Они словно были созданы для двух обитателей дома — месса Летьери и мисс Дерюшетты.

«Приют неустрашимых» пользовался большой известностью в Сен-Сансоне. К мессу Летьери в самом деле пришла известность. Этой известностью он был обязан отчасти своей доброте, самоотверженности и смелости, отчасти тому, что спас немало людей, но главное — своему успеху, а также и тому, что отдал предпочтение порту Сен-Сансон; оттуда пароход отправлялся, туда он и возвращался. Столица Гернсея, порт Сен-Пьер, убедившись, что «Чертова посудина» — дело стоящее, пригласила месса Летьери к себе на жительство; но он остался верен Сен-Сансону. То был его родной город. Он говаривал: «Отсюда я вышел в море». Это и создало ему широкую известность среди земляков. Звание домовладельца и налогоплательщика сделало его, как говорится на Гернсее, «коренным горожанином».

Он был удостоен выборной должности сборщика податей. Бедный матрос достиг пятой ступени шестиступенной социальной лестницы гернсейцев: он стал «мессом» Летьери; он почти добрался до «господина», и, кто знает, быть может, ему суждено было перепрыгнуть и через «господина»? Кто знает, может быть, в один прекрасный день люди и прочтут в гернсейском альманахе в рубрике «Дворянство и знать» неслыханную, полную величия запись: «Летьери, эсквайр»?

Но месс Летьери презирал, или, вернее, чуждался, суетных сторон жизни. Он чувствовал себя полезным, в этом была его радость. Он считал, что польза важнее известности. У него были, как мы уже упоминали, две слабости и, следовательно, две честолюбивые мечты: Дюранда и Дерюшетта.

Так или иначе, он попытал счастья в лотерее моря и выиграл.

Выигрышем была Дюранда, несущаяся по волнам.

VII. Общий крестный и общая святая

Создав пароход, Летьери окрестил его. Нарек он его «Дюрандой». Да позволят нам тоже на-

зывать его отныне Дюрандой и, невзирая на корректорские правила, опускать кавычки при имени Дюранда, считаясь с мнением Летьери, для которого Дюранда была существом почти одухотворенным.

Дюранда и Дерюшетта — одно имя. Дерюшетта — уменьшительное от Дюранда. Оно очень распространено на западе Франции.

Деревенские жители часто называют святых всеми их уменьшительными и всеми увеличительными именами. Можно подумать, что речь идет о многих, когда говорят лишь об одном. Тождество святых мужей и жен, именуемых различно, — не редкость. Лиз, Лизетта, Лиза, Элиза, Изабелла, Лизбет, Бетси, весь этот сонм имен — одно имя: Елизавета. По всей вероятности, и Магу, Маклу, Мало и Маглуар — один и тот же святой. Впрочем, не настаиваем.

Святая Дюранда — покровительница Ангулема и Шаранты. Подлинно ли она святая? Это дело болландистов. Подлинно ли, нет ли, но в честь ее была построена часовня.

В молодости Летьери, тогда еще матрос, побывал в Рошфоре и познакомился с этой святой, воплотившейся, вероятно, в какую-нибудь хорошенькую шарантонку, быть может девицу с

красивыми ноготками. Она запомнилась ему, он решил назвать ее именем тех, кого любил: Дюрандой — пароход, Дерюшеттой — девушку.

Первой он приходился отцом, второй — дядей.

Дерюшетта была дочерью его покойного брата. Она осталась круглой сиротой. Летьери удочерил ее, заменив ей отца и мать.

Дерюшетта приходилась ему не только племянницей, но и крестницей. Он был ее восприемником от купели. Он сам выбрал ей имя святой Дюранды и ласкательное имя Дерюшетта.

Дерюшетта, как мы сказали, родилась в порту Сен-Пьер.

Запись об этом внесена под соответствующей датой в метрическую книгу прихода.

Пока племянница была девочкой, а дядя — бедняком, никто и внимания не обращал на имя «Дерюшетта», но, когда девочка превратилась в барышню, а матрос — в судовладельца, имя Дерюшетта стало оскорблять слух. Оно удивляло. У Летьери спрашивали: «Что за имя Дерюшетта?» Он отвечал: «Имя как имя». Много раз его уговаривали дать ей другое имя, но Летьери не соглашался. Как-то одна красивая дама из «великосветского» сенсансонского общества, жена богатого кузнеца, ушедшего на покой, сказала

Летьери: «Я буду называть вашу дочку Нанси». На это он ответил: «А почему бы не Лон-ле-Сонье?» Но красавица не отступила и на другой день сказала ему: «Мы решительно не желаем никаких Дерюшетт. Я придумала прелестное имя для вашей дочки — “Луиза”». — «Что правда, то правда, прелестное, — согласился Летьери, — да только как бы люди не стали судачить: гоняются, мол, женихи не за Луизой, а за ее луи золотыми». И Дерюшетта осталась Дерюшеттой.

Вы ошиблись бы, заключив из этих слов, что Летьери не хотел выдать племянницу замуж. Нет, он охотно выдал бы ее замуж, но по своему вкусу. Он мечтал, что муж у нее будет работяга, человек его склада, а что сама она будет жить в праздности. Ему нравились мужчины с мозолистыми руками и белоручки женщины. Он воспитывал Дерюшетту, как барышню, чтобы она не портила своих хорошеньких ручек. У нее был учитель музыки, было фортепиано, книги, рабочая корзинка с иголками и мотками ниток. Шитью она предпочитала чтение, чтению — музыку. Этого и хотел месс Летьери. Очарования — вот чего он от нее требовал. Он растил ее, как растят цветок, а не женщину. Тому, кто изучал нравы моряков, это понятно. Грубое тянется к изысканному. Для

осуществления идеала дядюшки племянница должна была стать богатой. Этого и добивался Летьери. Для этой цели и работала его огромная морская машина. Он заставил Дюранду готовить приданое Дерюшетте.

VIII. Песенка «Славный Данди»

У Дерюшетты была самая уютная комната в «Приюте неустрашимых», в два окна, с видом на сад и на высокий холм, увенчанный замком Валль, — комната, обставленная гнутой мебелью красного дерева, с кроватью, украшенной пологом в белую и зеленую клетку. По другую сторону холма приютился «Дом за околицей».

В комнате у Дерюшетты стояло фортепиано, лежали ноты. Она аккомпанировала себе, когда певала свою любимую песенку, протяжную шотландскую мелодию «Славный Данди»; печаль заката в напеве и радость утренней зари в голосе звучали удивительно нежным контрастом; люди говорили: «Мисс Дерюшетта музицирует», — а прохожие, что шли мимо холма, бывало, останавливались у садовой ограды «Приюта неустрашимых» послушать свежий голосок и грустную песню. Дерюшетта была сама радость,

порхающая в доме. Она создавала в нем вечную весну. Дерюшетта была красивая, впрочем, скорее хорошенькая, впрочем, скорее всего обворожительная девушка. Старым лоцманам, добрым приятелям месса Летьери, она напоминала принцессу из солдатской и матросской песенки: «до того была мила», что слыла в полку за красотку. Месс Летьери говаривал: «косища у нее с якорный канат».

Она была прелестна с самого детства. Долго побаивались за форму ее носа, но девочка, очевидно, задалась целью стать хорошенькой и своего добилась; переходный возраст не выкинул с нею скверной шутки; носик у нее был не длинен и не короток, и, повзрослев, она по-прежнему была очаровательна.

Дядю Дерюшетта звала не иначе, как отцом.

Он терпел кое-какие ее наклонности к садоводству и даже хозяйству. Она поливала клумбы со штокрозами, пунцовым девясилом, яркими флоксами, багряными цветами любим-травы, выращивала розовый барбарис и розовую кислицу; гернсейский климат благоприятен для цветоводства, и он был ей в помощь. Ее алоэ, как у всех, росли прямо под открытым небом; ей удалось, — а это было потруднее, — вывести

тибетскую наперстянку. Маленький огород был в образцовом порядке; вслед за редиской поспевал шпинат, а за шпинатом горошек; она знала, когда надо сеять цветную голландскую капусту и капусту брюссельскую, которую пересаживают в июне, репа у нее поспевала в августе, цикорий — в сентябре, круглый пастернак — к осени, а рапункул — к зиме. Месс Летьери позволял ей заниматься огородом, но строго-настрого запретил долго возиться с лопатой и граблями и самой унаваживать землю. Он нанял для нее двух служанок с чисто гернсейскими именами: Дус и Грас. Обе работали по дому и в саду, и им не возбранялось иметь красные руки.

У самого же месса Летьери была комнатка — не комнатка, а каморка с видом на гавань, смежная с большой залой первого этажа, куда вела парадная дверь и откуда расходились все лестницы дома. Висячая койка, хронометр и трубка — вот и все убранство его комнаты; правда, в ней стояли еще стол и стул. Бревенчатый потолок и все четыре стены были выбелены известкой; справа от двери на стене была прибита отличная морская карта Ла-Манша с надписью: «В. Фэден, 5. Чаринг-Кросс, картограф ее величества»; слева висел пестрый бумажный платок, приколоченный гвоздиками,

на нем изображены были разноцветные флотские сигналы всех стран мира, причем на каждом углу красовалось по флагу — Франции, России, Испании и Соединенных Штатов, а в центре — флаг Англии.

Дус и Грас были девушки самые обычные, в хорошем смысле этого слова. Дус не была злюкой, а Грас не была уродкой. Коварные имена пришлись кстати[19]. У незамужней Дус был «милый». На ламаншских островах это слово распространено, и слово не расходится с делом. Девушки работали, так сказать, по-креольски, с ленцой, свойственной служанкам Нормандского архипелага. Жеманная и смазливая Грас по-кошачьи настороженно всматривалась в горизонт. Объяснялось это тем, что у нее тоже был «милый», но кроме него, говорят, был и муж-матрос — его-то возвращения она и боялась. Но нас это не касается. Живи они не в таком строго нравственном доме, Дус так и осталась бы в служанках, а Грас сделалась бы субреткой, — в этом заключалась разница между Дус и Грас. Многообещающие задатки Грас гибли вблизи такой чистой девушки, какой была Дерюшетта. Впрочем, любовные

---

[19] Примечания: 19

Дус *(douce)* — кроткая, Грас *(grâce)* — грация *(фр.)*.

истории служанок хранились в тайне. Ничто не доходило до месса Летьери, ничто не отражалось на Дерюшетте.

Нижняя зала — просторное помещение с камином, обставленное столами и скамьями, — служила в прошлом веке местом негласных сборищ протестантов, изгнанных из Франции. На голой каменной стене вместо украшения висел кусок пергамента, вделанный в рамку черного дерева и вещавший о доблестных подвигах Бенинь Боссюэ, епископа в Мо. Несчастные прихожане этого орла-могильника, гонимые им после отмены Нантского эдикта и скрывшиеся на Гернсее, повесили пергаментный лист как свидетельство о его деяниях. Кое-кому удавалось, несмотря на выцветшие чернила и неразборчивый почерк, прочесть о следующих событиях, преданных забвению: «29 октября 1685 года разрушены храмы в Морсефе и Нантейле, на что епископ в Мо испросил у короля разрешение»; «2 августа 1686 года Кошары, отец и сын, взяты иод стражу за веру свою по Навету епископа в Мо. Выпущены из темницы, ибо Кошары отреклись от своей веры»; «28 октября 1699 года епископ в Мо ходатайствовал перед г-ном де Поншартрен о том, чтобы заточить девиц из рода Шаланд и Невиль, реформисток, в

монастырь ордена Новых католичек в Париже»; «7 июля 1703 года приведен в исполнение приказ, испрошенный у короля епископом в Мо, о заключении в тюрьму некоего Бодуэна из Фюблена с супругой за то, что они *дурные католики*».

Рядом с комнатой месса Летьери, на дощатом возвышении, там, где была кафедра гугенотов, за решеткой с оконцем, теперь расположилось пароходное «бюро», то есть контора Дюранды, которой заведовал сам месс Летьери. На старинном дубовом пюпитре вместо Библии покоилась книга с заголовками на страницах: *дебет и кредит.*

IX. Человек, разгадавший Рантена

Месс Летьери, пока был в силах, сам управлял Дюрандой: он был лоцманом и капитаном; но наступил час, о чем мы уже упоминали, когда мессу Летьери пришлось поискать себе замену. Он выбрал сьера Клюбена, скупого на слова тортвальца. По всему побережью шла молва о безупречной честности Клюбена. Он стал *alter ego*[20] и заместителем Летьери.

Клюбен повадками напоминал нотариуса,

---

[20] Примечания: 20
Вторым «я» *(лат.).*

а не матроса, но на деле был умелым, просто редкостным мореходом. Он обладал даром применяться к опасности, вечно меняющей облик. Был он выносливым грузчиком, осмотрительным марсовым, усердным и знающим боцманом, неутомимым рулевым, искусным лоцманом и смелым капитаном. Он был осторожен и из осторожности подчас принимал дерзкие решения, а это величайшее достоинство в моряке. Инстинктом угадывая возможное, он меньше боялся вероятного. Принадлежал он к числу тех моряков, для которых опасность имеет то значение, какое они сами ей придают; из любой неожиданности они умудряются извлечь пользу. Он обладал той уверенностью в себе, какую воспитывает в человеке только море. Вдобавок сьер Клюбен слыл замечательным пловцом; он был из породы людей, закаленных в единоборстве с волной, людей, которые сколько угодно могут продержаться на воде, плывут из Гавр-де-Па на Джерсее, обходя Колетт, огибают «пустынь» и замок Елизаветы и часа через два возвращаются обратно. Родом он был из Тортваля; люди говорили, что он частенько проделывал вплавь опасный путь от рифа Гануа до мыса Пленмона.

Сьер Клюбен, узнав или поняв Рантена, не раз

предупреждал месса Летьери о том, что Рантен проходимец; «Рантен вас обворует», — предсказал он; это подтвердилось, и Клюбен окончательно завоевал доверие Летьери. Не раз, — правда по пустякам, — Летьери испытывал честность Клюбена, доходившую до щепетильности, и наконец, положившись на него во всем, передал ему дела. «Добросовестность питается доверием», — говаривал месс Летьери.

X. Рассказы о дальнем плавании

Месс Летьери всегда носил одежду моряка, и чаще матросскую, чем лоцманскую куртку, иначе ему было бы не по себе. И Дерюшетта недовольно морщила носик. Что может быть прелестнее гримасок разгневанной красавицы! Она восклицала полушутя, полусердясь: «Фи, папа, как от вас пахнет дегтем!» И легонько ударяла его по могучему плечу.

Простодушный старик, герой морских плаваний, рассказывал о своих путешествиях удивительнейшие истории. На Мадагаскаре он видывал такие птичьи перья, что трех хватило бы для крыши дома. В Индии он видывал столбунцы щавеля в девять футов высотой. В Новой Голлан-

дии он видел, как стадо индюков и гусей пасла и охраняла не то собака, не то птица, и называлась она «агами». Видел он слоновые кладбища, В Африке он видел горилл, каких-то человекотигров семи футов ростом. Он познакомился с нравами всех существующих на свете обезьян, начиная от диких макак, — он называл их «макака-смельчак», — до «макак-ревунов», — он называл их «макака-бородач». Однажды в Чили ему довелось увидеть, как мартышка растрогала сердца охотников, указав им на своего детеныша. В Калифорнии он видел упавшее дерево, в дупле которого всадник мог проехать сто пятьдесят шагов. В Марокко он видел, как мозабиты и бискри лупили друг друга дубинками и железными прутьями — бискри за то, что мозабиты обзывали их «кельбами», то есть псами, а мозабиты за то, что бискри обзывали их «хамси», то есть людьми пятой секты. В Китае на его глазах в куски изрубили пирата Чан-дунь-кан-лар-Куа за то, что он убил «апа» какого-то селения. В Ту-дан-мо он собственными глазами видел, как лев схватил старуху среди бела дня на базаре. Он был на церемонии встречи великого змея, что шествовал из Кантона в Сайгон в чоленскую пагоду на праздник в честь богини мореходов Кван-нам. Он созерцал

великого Кван-сю, посетив племя Мои. В Рио-де-Жанейро он любовался бразильскими дамами, украшавшими по вечерам волосы шариками из тюля с красивыми светящимися мушками внутри, — дамы были словно в уборе из звезд. В Уругвае он воевал с муравьями, а в Парагвае с мохнатыми птицепауками величиной с детскую голову, — расстояние от лапки до лапки по диаметру равно у них четверти локтя, а когда они нападают на человека, их щетинки вонзаются в тело, как стрелы, и вызывают нарывы. На реке Арино, притоке Токантена, в девственных лесах северной Диамантины, он удостоверился в существовании ужасного племени людей-нетопырей, murciélagos[21]; человек-нетопырь от рождения беловолос и красноглаз, живет в лесной чаще, спит днем, бодрствует ночью, охотится и рыбачит в потемках и видит лучше, когда нет луны. Когда близ Бейрута, куда Летьери попал вместе с экспедицией, из палатки был украден дождемер, некий колдун, — на нем было несколько полосок из кожи и он походил на человека, которому взбрело на ум вырядиться в одни подтяжки, — стал до того яростно трясти колокольчиком, подвешенным

[21] Примечания: 21
Летучих мышей *(исп).*

к рогу, что явилась гиена и принесла дождемер. Она-то и была вором. Быль смешивалась с небылицей и забавляла Дерюшетту.

Кукла на Дюранде роднила пароход с девушкой. На нормандских островах «куклой» называется фигура, водруженная на носу судна и кое-как вырезанная из дерева. Недаром в этих краях вместо «плавать» говорится «быть меж кормой и куклой».

Кукла Дюранды была особенно дорога мессу Летьери. По его заказу плотник старался придать ей сходство с Дерюшеттой. Работа вышла топорная. Чурбан остался чурбаном, но ему хотелось казаться хорошенькой девушкой.

Бесформенная эта колода вводила месса Летьери в обман. Он созерцал ее с благоговением верующего. Он относился к ней совершенно серьезно. Он узнавал в ней Дерюшетту. Так догма уподобляется истине, а идол — богу.

Два раза в неделю, по вторникам и по пятницам, у месса Летьери была большая радость: во вторник он радовался, видя, как Дюранда отчаливает от берега, в пятницу он радовался, видя, как она возвращается. Он смотрел на свое детище, облокотившись на подоконник у себя в комнате, и был счастлив. Нечто похожее есть в книге Бытия:

Et vidit quod esset bonum[22].

По пятницам появление месса Летьери у окна служило сигналом. Прохожие, увидев, как он разжигает трубку, стоя у окошка «Приюта неустрашимых», говорили: «А! Пароход уже на горизонте». Дымок трубки оповещал о пароходном дыме.

Дюранда, войдя в гавань, пришвартовывалась под окнами месса Летьери к огромному железному кольцу, вделанному в фундамент «Приюта неустрашимых». И ночью Летьери сладко засыпал в подвесной койке, зная, что за одной стеной спит Дерюшетта, а за другой стоит на причале Дюранда.

Место стоянки Дюранды было рядом с портовым колоколом. Краешек набережной подходил к самому крыльцу «Приюта неустрашимых».

Набережная, «Приют неустрашимых», сад, переулки, окаймленные живой изгородью, почти все соседние здания теперь не существуют. Разработка гернсейского гранита повела к продаже всех этих земельных участков. Ныне на их месте тянутся склады камня.

---

[22] Примечания: 22
И увидел, что сделанное Им было хорошо *(лат.)*.

XI. Несколько слов о возможных женихах

Дерюшетта становилась барышней, но все не выходила замуж.

Летьери, вырастив ее белоручкой, сделал из нее привередницу. Такое воспитание обращается против воспитателя.

Впрочем, сам Летьери был еще разборчивее. Он мечтал о таком муже для Дерюшетты, который стал бы отчасти и мужем Дюранды. Ему хотелось заодно пристроить обеих дочек. Ему хотелось, чтобы заступник одной был бы лоцманом другой. Что такое муж? Капитан в плавании. Почему же не подыскать одного кормчего и для девушки и для парохода? Семья тоже подчинена закону прилива и отлива. Тот, кто умеет управлять лодкой, сумеет управлять и женой. Обе подвластны луне и ветру. Сьер Клюбен был всего на пятнадцать лет моложе месса Летьери и мог лишь временно водить Дюранду, — ей нужен был молодой кормчий, постоянный командир, настоящий преемник ее основателя, изобретателя, творца. Постоянный кормчий Дюранды и стал бы зятем

месса Летьери. Почему бы не соединить двух зятьев в одном лице? Летьери лелеял эту мечту. Он тоже видел во сне жениха. Сильный, смуглый, закаленный марсовой, моряк-атлет — вот его идеал. Но не совсем таким был идеал Дерюшетты. Ее грезы были нежнее.

Словом, дядюшка и племянница точно сговорились не торопиться. Когда все узнали, что Дерюшетта богатая наследница, от предложений не стало отбоя. Усердное сватовство не всегда бескорыстно. Месс Летьери это чувствовал. Он брюзжал: «Невеста золотая, а женихи-то медные», — и выпроваживал искателей руки Дерюшетты. Он выжидал. Она тоже.

Странное дело, он не очень благоволил к аристократии. В этом отношении месс Летьери не был англичанином. Трудно поверить, но месс Летьери дошел до того, что ответил решительным отказом Гандюэлю с Джерсея и Бюнье-Николену с острова Серк. Кое-кто имеет смелость утверждать, — хотя мы в этом и сомневаемся, — будто он не принял брачного предложения, сделанного аристократической семьей с острова Ориньи, и будто отклонил сватовство одного из членов рода Эду, хотя род этот, несомненно, ведет начало от самого Эдуарда Исповедника.

XII. Особенности характера Летьери

У месса Летьери был один недостаток, и большой. Он ненавидел не кого-либо, а нечто, именно — духовенство. Однажды он прочел, — а почитать он любил, — у Вольтера: «Попы — это коты». Отложив книгу, он пробурчал: «В таком случае, я — пес».

Надо вспомнить, что все священники лютеранской, кальвинистской и католической церкви яростно ополчились на созданную им для края «Чертову посудину» и исподтишка строили козни. Совершить целый переворот в судоходстве, попытаться примирить Нормандский архипелаг с прогрессом, сделать гернсейский островок колыбелью нового изобретения, — что скрывать? — ведь это богомерзкий поступок. За это священники чуть было не предали месса Летьери проклятию. Не надо забывать, что мы говорим о былом духовенстве, несколько отличном от духовенства современного, которое почти во всех местных церквах выказывает либеральное отношение к прогрессу. Оно измышляло всякие козни, чтобы стать мессу Летьери поперек дороги; все, чем только можно было повредить ему,

пускалось в ход во время проповедей и поучений. Он внушал отвращение священнослужителям и сам испытывал к ним отвращение. Их ненависть являлась обстоятельством, оправдывавшим его собственную ненависть.

Но, говоря по правде, неприязнь к священникам была у него в крови. Его ненависть не зависела от их ненависти к нему. Месс Летьери был, как он выразился, «псом на страх этим котам». Он шел против них не только по убеждению, но и безотчетно, это было сильнее его. Он чувствовал, что они готовы выпустить когти, и скалил клыки. Правда, иногда он это делал зря и не всегда кстати. Грозить всем без разбора — неправильно. Огульная ненависть несправедлива. Он был бы беспощаден и к савойскому викарию. Для месса Летьери, пожалуй, не существовало ни одного хорошего священника. Как всякому философу, ему недоставало благоразумия. Нередко люди терпимые проявляют нетерпимость, а сдержанные впадают в ярость. Но месс Летьери был так незлобив, что не мог ненавидеть по-настоящему. Он скорее отбивался, чем нападал. Он держал служителей церкви на расстоянии. Они причиняли ему зло, он же ограничивался тем, что не желал им добра. Их неприязнь походила на вражду, его

— на неприятие, в этом и было отличие.

Пусть невелик островок Гернсей, однако на нем хватает места для двух вероисповеданий: для католического и протестантского. Заметим, что здесь две религии в одной церкви не уживаются. У каждого культа своя церковь или своя часовня. В Германии, например, в Гейдельберге, нет таких затей. Там делят церковь надвое: половина отводится святому Петру, половина — Кальвину, посредине — перегородка для предотвращения потасовок; все разделено поровну: у католиков три алтаря — и у гугенотов три алтаря; а так как часы службы одни и те же, то колокол звонит сразу для двух богослужений. Он призывает к Богу, а заодно и к дьяволу. Просто и удобно.

Флегматичный характер немцев позволяет им терпеть такое соседство, но на Гернсее у каждого вероисповедания есть свой уголок. Есть там ортодоксальный приход, есть там и приход еретический. На выбор. Месс Летьери не выбрал ни того, ни другого.

Матрос, мастеровой, философ, удачливый труженик, простак с виду, он был в сущности далеко не так прост. Ему свойственны были дух противоречия и твердость убеждений. Его отношение к попам было непоколебимо. Он дал бы несколько

очков вперед самому Монлозье.

Он позволял себе весьма неуместные шутки. У него были забавные и не лишенные смысла словечки. Вместо «исповедоваться» он говорил «прилизывать совесть». Месс Летьери не был большим грамотеем, ибо читать ему приходилось урывками, меж двумя шквалами; писал он с орфографическими ошибками. В произношении у него тоже были погрешности, и подчас нарочитые. Когда после Ватерлоо был заключен мир между Францией Людовика XVIII и веллингтоновской Англией, месс Летьери сказал: «Бурмон предал Францию Англии, перепредав Англию Франции». Однажды он написал вместо «папство» — «бабство». Впрочем, вряд ли это было преднамеренно.

Неприязнь к папистам отнюдь не примиряла его с англиканами. Его недолюбливали и протестантские и католические священники. В своем неверии он почти открыто ополчался на главнейшие догматы церкви. Как-то случайно он попал на проповедь высокочтимого Жакмена Эрода о геенне огненной, — великолепнейшую проповедь, уснащенную выдержками из Священных писаний, свидетельствующими об адских муках, терзаниях, пытках, осуждении, неизбежности

возмездия, казни огнем неугасимым, о вечном проклятии, каре господней, священном гневе, божьем отмщении — обо всех этих неоспоримых истинах, — и, выходя из церкви, сказал негромко какому-то прихожанину: «Знаете ли, я не могу отделаться от нелепейшей мысли: я все представляю себе Господа Бога милосердным».

Семя неверия запало в его душу, когда он жил во Франции.

Хотя Летьери был гернсейцем, и даже чистокровным гернсейцем, на острове его называли «французом» за «вольнодумство». Да он и сам не скрывал, что напитан разрушительными идеями. Доказательством этому служило рвение, с которым строил он пароход, свою «Чертову посудину». Он говорил: «Я вскормлен молоком восемьдесят девятого года». А молоко это считалось на Гернсее не таким уж доброкачественным.

Бывало, однако, что Летьери шел против здравого смысла. В маленькой стране трудно быть последовательным. Во Франции надо «соблюдать приличия», в Англии — «быть респектабельным», такой ценой покупается благополучие. Сколько условностей отягчает жизнь человека респектабельного, начиная от строгого выполнения всего, что предписано делать по воскресеньям, и кончая

безупречно завязанным галстуком! «Только чтобы не показывали на тебя пальцем» — вот еще один грозный закон. Указать пальцем — почти то же, что предать анафеме. Маленькие городишки — трясина сплетен; они изощряются в злобных пересудах, ведущих к отчуждению, а это и есть проклятье в уменьшенном виде. Самые стойкие люди страшатся напраслины. Они не отступают перед картечью, не отступают перед ураганом, но трепещут перед г-жой Молвой. Месс Летьери был скорее упрям, нежели последователен. Но под таким гнетом смирялось даже его упрямство. Он «разбавлял вино водой» — другое местное выражение, говорящее о скрытых уступках, иной раз даже недостойных. Он сторонился священнослужителей, но двери его дома не были для них закрыты. В случаях официальных или в дни, положенные для пасторского посещения, он довольно любезно принимал и лютеранского священника и католического капеллана. Изредка он сопровождал Дерюшетту в англиканскую церковь, куда она, как мы уже говорили, ходила только по большим праздникам, четыре раза в год.

И все же эти уступки, дорого стоившие Летьери, раздражали его и не только не примиряли с духо-

венством, но заставляли относиться к нему еще нетерпимей. Он вознаграждал себя тем, что еще больше издевался над церковниками. Летьери, человек незлопамятный, был язвителен только в отношении духовенства. Тут смягчить его было невозможно.

Несомненно, в этом сказывался его темперамент, а с ним уж ничего нельзя было поделать.

Месс Летьери терпеть не мог духовенство, всякое духовенство. В его непочтительности сквозило что-то революционное. Все религиозные верования были для него на один лад. Он даже не воздавал должного сектантству, отрицающему таинство причастия. Он был до того близорук, что не видел разницы между пастором и аббатом. Путал праведника с проповедником. Говорил: «Веслей не лучше Лойолы». Когда он видел священника с женой, то отворачивался. «Женатый поп», — ворчал он, подчеркивая эти два слова, сочетание которых для француза той поры казалось бессмыслицей. Он рассказывал, что видел в Англии, когда был там в последний раз, «лондонскую епископшу». Возмущение его против брачных союзов священнослужителей доходило до бешенства. «Юбка не женится на юбке!» — кричал он. Священник для него не

был существом мужского пола. Он бы охотно сказал: «Не мужчина, не женщина, а поп». Он осыпал грубоватыми, презрительными эпитетами англиканское и католическое духовенство, награждая всех «этих ханжей» одними и теми же словечками, шло ли дело о священниках католических или лютеранских; он не считал нужным разнообразить запас красочных и крепких выражений, бывших в ходу в те времена. Он говорил Дерюшетте: «Выходи за кого хочешь, только не за долгополого».

XIII. Красоте свойственна беспечность

Всякое сказанное слово хранилось в памяти месса Летьери, всякое сказанное слово вылетало из памяти Дерюшетты. В этом и была несхожесть дяди и племянницы.

Само воспитание Дерюшетты, как мы видели, не выпестовало в ней чувства долга. В непродуманном воспитании, — мы на этом настаиваем, — таится немало опасностей. Стремление создать счастливую жизнь ребенку с самых младенческих лет, пожалуй, неблагоразумно.

Дерюшетта воображала, что раз она довольна, значит все хорошо. Ведь она чувствовала, что

дядю радует ее радость. Она почти во всем соглашалась с мессом Летьери: побывать в церкви четыре раза в году — только на это и хватало у нее набожности. Мы видели ее разряженной в рождественское утро. Жизни она совсем не знала. У нее были все задатки к тому, чтобы в один прекрасный день влюбиться без памяти. Пока же она была беззаботна.

Она певала что придется, болтала о чем придется, жила настоящим, на полуслове убегала, не доводила дела до конца и была очаровательна. Прибавьте английскую свободу нравов. В Англии дети разгуливают самостоятельно, девушки — сами себе хозяйки, подростки не знают узды. Такие там порядки. Позже свободные девушки становятся женами-рабынями. Употребляем оба слова в хорошем смысле: свободные, пока растут, когда выходят замуж — рабыни долга.

Утром, просыпаясь, Дерюшетта никогда не вспоминала о том, что было накануне. Она бы смешалась, если бы ее спросили, что она делала на прошлой неделе. И все же порою на нее находила беспричинная тоска, будто мрачная тень жизни ложилась на ее цветущую, радостную юность. И на лазурные небеса набегают тучки. Но тучки проносились быстро. Приступ тоски

кончался взрывом смеха, и Дерюшетта сама не знала, отчего ей взгрустнулось, отчего стало весело. Все для нее было игрой. Прохожим доставалось от ее проказ. Она поддразнивала молодых людей. Попадись ей сам дьявол, она и его не оставила бы в покое и сыграла бы с ним шутку. Она была прелестна и в невинности своей злоупотребляла этим. Она, играя, ранила улыбкой, как котенок коготками. Вам больно — тем хуже для вас. А ей и дела нет. Для нее не существовало вчерашнего дня, она со всей полнотой упивалась сегодняшним. Вот к чему приводит избыток счастья. Воспоминания Дерюшетты таяли, как снег на солнце.

Книга четвертая
Волынка
I. Первые блики зари или пожара

Жильят никогда не заговаривал с Дерюшеттой. Он видел ее только издали, как видишь утреннюю звезду.

В тот день, когда Дерюшетта встретила Жильята по дороге в церковь и привела в изумление, написав его имя на снегу, ей было шестнадцать лет. Как раз накануне месс Летьери поучал ее: «Перестань ребячиться, ты ведь уже совсем взрослая».

Слово «Жильят», написанное девушкой-ребенком, запало в неизведанную глубь.

Как относился к женщинам Жильят? Он и сам не мог бы сказать. Встретится, бывало, с женщиной, испугается и ее испугает. Говорил он с женщинами только в крайнем случае. Никогда не называла его «милым» ни одна деревенская красотка. Иной раз, идя по дороге и заметив издали женщину, он перескакивал через ограду в какой-нибудь сад или бросался в кустарник и убегал сломя голову, Жильят сторонился даже

старух. Единственный раз за всю жизнь он видел парижанку. Парижанка проездом на Гернсее — в те стародавние времена событие из ряда вон выходящее, Жильят слышал, как она рассказывала о своих злоключениях: «Какая досада, шляпка попала под дождь, а абрикосовый цвет так капризен!» Однажды Жильят нашел в книге старинную картинку мод, изображавшую «даму с Шоссе д'Антен» в пышном вечернем туалете, и приклеил ее к стене на память о мимолетном видении. В летние вечера, притаившись за скалами бухты Умэ-Паради, он подсматривал за крестьянками, купавшимися в сорочках. Однажды он остановился у плетня поглядеть, как тортвальская колдунья поправляла подвязку. Вероятно, он еще не знал женщин.

В то рождественское утро, когда Жильят встретил Дерюшетту и она, смеясь, написала его имя на снегу, он вернулся домой, забыв, зачем вышел. Наступила ночь, а ему все не спалось. Чего только он не передумал! И что неплохо было бы развести в огороде черный редис, и что выставка нынче была удачная, и что он не заметил, прошло ли судно с острова Серк, — уж не случилось ли с ним беды, — и что видел заячью капусту в цвету, а это редкость в такое время года. Жильят точно

не знал, кем ему приходилась умершая старуха, но убеждал себя, что она, конечно, была его матерью, и сейчас стал думать о ней с глубокой нежностью. Потом вспомнил о девичьем приданом, которое хранилось в сундучке. Потом стал думать о том, что его преподобие Жакмен Эрод на днях будет назначен деканом порта Сен-Пьер, наместником епископа, и тогда место приходского священника в Сен-Сансоне будет свободно. Он подумал о том, что на второй день Рождества будет двадцать седьмой день луны, следовательно, полный прилив начнется в три часа двадцать одну минуту, полуотлив — в семь часов пятнадцать минут, полный отлив — в девять часов тридцать три минуты, а полуприлив — в тридцать девять минут первого. Он припомнил до мельчайших подробностей костюм шотландца, продавшего ему волынку, его шапочку с цветком чертополоха, его меч, короткую куртку в обтяжку с четырехугольными полами, юбку, сумку из козьей шкуры, шерстью наружу, рог для табака, застежку из шотландского камня, два пояса — кожаный и матерчатый, тесак, кинжал и острый нож с черной рукояткой, украшенной двумя красными камешками, голые колени солдата, его чулки, клетчатые гетры и башмаки с пряжками.

Все это облачение неотступно стояло в глазах Жильята; его бросало то в жар, то в холод; наконец он уснул. Проснулся он поздно, и первая его мысль была о Дерюшетте.

И всю следующую ночь напролет ему снился шотландский солдат. Сквозь дрему Жильят говорил себе, что начало послерождественской судебной сессии приходится на двадцать первое января. Ему пригрезился и старик священник Жакмен Эрод. Проснувшись, он стал думать о Дерюшетте и вдруг возненавидел ее; он пожалел, что уже не мальчишка, а то разбил бы камнями стекла в ее окнах.

Потом он подумал, что, будь он маленький, жива была бы у него мать, и заплакал.

Он решил месяца три провести на Шузее или Менкье. Однако никуда не поехал.

Больше он никогда не ходил той дорогой, которая вела из порта Сен-Пьер в Валль.

Ему казалось, что имя «Жильят» отпечаталось на земле и что все прохожие смотрят на него.

II. Шаг за шагом в неизвестное

Зато он ежедневно видел «Приют неустрашимых». Теперь Жильят всегда проходил мимо него,

но делал это не нарочно. Само собой получалось, что он непременно попадал на тропинку, огибавшую сад Дерюшетты, куда бы ни держал путь.

Как-то утром, когда он шел заветной тропою, торговка, выходившая из «Приюта неустрашимых», сказала другой: «Мисс Летьери охотница до брунколя».

Жильят отвел грядку под брунколь в своем огороде. Брунколь — сорт капусты, вкусом напоминающий спаржу.

Садовая изгородь «Приюта неустрашимых» была невысока, перепрыгнуть через нее ничего не стоило. Но даже мысль об этом ужаснула бы Жильята. Впрочем, никому не запрещалось слышать, проходя мимо, как разговаривают в комнатах и саду. Жильят не слушал, но слышал. Однажды он услыхал, как ссорятся служанки, Дус и Грас. Они расшумелись на весь дом. Их перебранка звучала в его ушах музыкой.

В другой раз ему послышался голосок, не похожий на все остальные, и он вообразил, что это голос Дерюшетты. Он убежал.

Слова, произнесенные этим голосом, навек запечатлелись в его памяти. Он ежеминутно повторял их. Вот они: «Дайте мне, пожалуйста, метлу».

Время шло, и Жильят делался смелее. Теперь он подолгу простаивал у ограды. Как-то Дерюшетта, которую нельзя было увидеть с улицы, хотя окно и было открыто, пела под звуки фортепиано. Она пела свою любимую песенку: Славный Данди. Жильят побледнел, но настолько овладел собою, что дослушал.

Пришла весна, и вот перед Жильятом раскрылись небесные врата; он грезил наяву. Он увидел Дерюшетту, поливающую латук.

Теперь он уже не просто останавливался. Он изучил ее привычки, знал часы прогулок и поджидал ее.

Он старался, чтобы его не заметили.

И пока зацветали розами и мотыльками кусты, он глядел на Дерюшетту, порхавшую по садику, и молча, неподвижно, затаив дыхание, простаивал целыми часами, спрятавшись за изгородью. К яду привыкают.

Из своего тайника Жильят часто слышал, как Дерюшетта разговаривает с мессом Летьери, сидя на скамье в тенистой грабовой аллее. До него отчетливо доносились слова.

Как далеко он зашел! Он дожил до того, что стал подстерегать и подслушивать. Увы! Сердце человеческое — извечный соглядатай.

Еще одна скамья стояла совсем на виду, неподалеку, в конце аллеи. Там иногда отдыхала Дерюшетта.

По цветам, которые Дерюшетта собирала и нюхала, Жильят угадывал ее любимые запахи. Больше всего ей нравился аромат вьюнка, потом гвоздики, потом жимолости, потом жасмина. Роза была на пятом месте. Лилиями она любовалась, но их не нюхала.

Жильят составил представление о Дерюшетте по аромату этих цветов. Каждый аромат он связывал с каким-нибудь ее совершенством.

Но при одной мысли, что можно заговорить с нею, его охватывала дрожь.

Добродушная старуха коробейница, которую бродячее ремесло иногда заводило на уличку, огибавшую ограду «Приюта неустрашимых», в конце концов подметила благоговейное отношение Жильята к этой стене и его любовь к этому уединенному уголку. Может быть, она поняла, что его так влечет к этой стене оттого, что за стеной живет женщина? Угадала ли она невидимую связующую нить? Или в душе убогой нищенки еще теплилась молодость, еще не угасли отблески золотых дней юности, еще жила среди зимы и мрака память о заре жизни? Не знаем. Но как-то

раз, проходя мимо Жильята, «стоявшего на посту», она послала ему самую милую улыбку, на какую еще была способна, и прошамкала беззубым ртом: «Что, припекло не на шутку?»

Жильят услышал ее вопрос, изумился и прошептал, словно спрашивая себя: «Припекло не на шутку… Что хотела сказать старуха?» Он бессознательно повторял эти слова весь день, но так и не понял смысла.

Однажды вечером, когда Жильят сидел у окна «Дома за околицей», пять или шесть анкресских девушек пришли купаться в бухту Умэ. Они без стеснения плескались в воде, шагах в ста от Жильята. Он с сердцем захлопнул окно. Он почувствовал, что женская нагота вызывает в нем отвращение.

III. Песенка «Славный Данди» находит отклик за холмом

Так, позади садовой ограды «Приюта неустрашимых», за выступом стены, в уголке, заросшем крапивой, закрытом плющом и остролистом, там, где цвела дикая древовидная мальва, а меж гранитных глыб виднелся стебель царского скипетра, он и провел почти все лето. Он был во

власти каких-то странных мыслей. Рядом, среди камней, ящерицы, привыкшие к нему, грелись на солнце. Лето стояло ясное и мягкое. Облака плыли над головой Жильята. Он сидел в траве. Птичий гомон звучал в воздухе. Он сжимал лоб и спрашивал себя: «Зачем же она написала на снегу мое имя?» Могучие порывы ветра проносились над морскими просторами. Время от времени вдали раздавался отрывистый рокот трубы, предупреждавший прохожих о том, что сейчас в каменоломне в Водю взорвется мина. Сен-сансонского порта не было видно, но над деревьями виднелись острые верхушки мачт. Изредка пролетали чайки. Жильят слышал от матери, что женщины влюбляются в мужчин, что так иногда бывает. И он думал: «Да, понимаю, Дерюшетта влюблена в меня». Им владела глубокая печаль. Он говорил себе: «Значит, и она думает обо мне, так уж устроено». Он вспоминал, что Дерюшетта — богачка, а он — бедняк. Размышлял о том, что пароход — отвратительная выдумка. Никак не мог сообразить, какое сегодня число. Рассеянно глядел, как большие черные шмели с золотистым брюшком и короткими крылышками, жужжа, заползают в щели на стенах.

Однажды вечером Дерюшетта перед сном за-

творяла окно. Уже спустилась темная ночь. Вдруг Дерюшетта стала прислушиваться. В непроглядном мраке звучала мелодия. На склоне холма или у подножья замка Валль, а пожалуй и еще дальше, играли на каком-то инструменте. Дерюшетта узнала звук волынки и свою любимую песенку Славный Данди. Но она ничего не поняла.

С той поры время от времени, в один и тот же час, музыка возобновлялась, особенно в темные ночи.

Дерюшетте это не очень нравилось.

IV

Для дяди ворчуна ночная серенада —
Шум не дающий спать, а не душе услада.

Из неизданной комедии

Пролетело четыре года.

Дерюшетте минуло двадцать лет, а она все еще не была замужем.

Где-то кем-то сказано: «Навязчивая идея, что бурав: с каждым годом она внедряется в голову глубже на один оборот. Искоренить ее в первый

год можно, вырвав вместе с волосами, во второй год — разрезав кожу, в третий год — проломив череп, а в четвертый год — вынув мозг».

Для Жильята наступил этот четвертый год.

Он еще ни словом не обмолвился с Дерюшеттой. Он думал об этой прелестной девушке. Вот и все.

Как-то, случайно попав в Сен-Сансон и увидев Дерюшетту, болтавшую с мессом Летьери у крыльца «Приюта неустрашимых», перед дверью, открывавшейся на набережную, Жильят осмелился подойти к ним совсем близко. Он был почти уверен, что она улыбнулась ему, когда он проходил мимо. Ничего невозможного тут не было.

Дерюшетта по-прежнему иногда слышала звуки волынки.

Слышал волынку и месс Летьери. В конце концов он обратил внимание на назойливую музыку под окнами Дерюшетты. Музыка звучала нежно, и это обстоятельство отягчало вину. Ночной воздыхатель был ему не по вкусу. Он собирался выдать Дерюшетту замуж в свое время, когда ей вздумается и когда вздумается ему, без всяких романов и без музыки, ясно и просто. Он потерял терпение, стал следить, и ему показалось, что он приметил Жильята. Он проворчал, запустив

пальцы в бакенбарды, что являлось у него признаком гнева: «И чего скулит, осел? Влюбился в Дерюшетту, понятно! Зря только время теряешь. Хочешь получить Дерюшетту — обращайся ко мне, да без всякой дудки».

Важное событие, о котором все уже давно толковали, наконец совершилось. Стало известно, что высокочтимый Жакмен Эрод назначен наместником епископа Винчестерского, деканом острова Гернсея и священником порта Сен-Пьер, что он оставит Сен-Сансон и переедет в Сен-Пьер, как только явится его заместитель.

Нового священника ждали со дня на день. Этот пастор, дворянин, родом из Нормандии, звался Жоэ-Эбенезером Кодре, в английском произношении — Коудри.

О будущем священнике ходило много слухов, и благожелательных и недоброжелательных. Каждый судил о нем на свой лад. Говорили, что он беден и молод, но что его молодость искупалась знаниями, а бедность — надеждами на будущее. На особом языке, созданном для богачей и для их наследников, чужая смерть называется надеждой. Он был племянником и наследником старого и весьма состоятельного священника из Сен-Азафа. Умрет священник — и Эбенезер Кодре

разбогатеет. Родня у него была знатная, и сам он почти имел право на высокий титул. О его убеждениях толковали по-разному. Он принадлежал к англиканской церкви, но, по выражению епископа Тилотсона, был весьма «необуздан», то есть очень нетерпим. Он отвергал обрядность и скорее склонялся к пресвитерианской, чем к епископальной церкви. Он мечтал о церкви первобытной, во времена которой Адам имел право выбирать Еву, а Фрументан, епископ Иераполисский, похитив девушку, дабы сделать ее своею женой, мог сказать ее родителям: «Так хочет она, и так хочу я; вы больше не отец ей, и вы не мать ей: я — ангел Иераполиса, а это — моя супруга. Отец наш — Бог». Если верить слухам, Эбенезер Кодре отводил заповеди: «Чти отца твоего и матерь твою» — второе место; на первом же месте ставил другую, по его мнению, более высокую заповедь: «Жена и муж — плоть едина. Жена да оставит отца и матерь своих и да последует за мужем своим». Впрочем, стремление ограничивать родительскую власть и поощрять, призывая на помощь религию, все виды супружеского союза свойственно протестантизму везде, особенно в Англии, а еще сильнее — в Америке.

V. Заслуженный успех всегда ненавистен

Вот к чему сводился приход и расход месса Летьери в ту пору. Дюранда оправдала надежды, которые были на нее возложены. Месс Летьери отдал долги, заделал все бреши, расквитался со своими бременскими кредиторами, погасил в срок задолженность в Сен-Мало. Он выплатил тяготевшую над домом ссуду по закладной и внес все местные сборы, начисленные на дом. Он стал владельцем крупного, приносящего доход капитал — Дюранды. Она давала ему теперь чистую годовую прибыль в тысячу фунтов стерлингов, и прибыль все росла. Собственно говоря, в Дюранде заключалось все его богатство. Она была богатством и всего архипелага. Перевозка быков стала одной из самых крупных статей дохода хозяина Дюранды, поэтому, чтобы облегчить и ускорить погрузку и выгрузку скота, пришлось снять шлюпбалки и убрать обе лодки. Пожалуй, это было неосмотрительно. На Дюранде остался только один баркас. Правда, баркас превосходный.

С того дня, как Рантен совершил кражу, прошло

десять лет.

Одна беда: у людей не было веры в процветание Дюранды; считали, что все это случайность. На удачу месса Летьери смотрели, как на исключение из правила. Говорили, что старику просто повезло в его сумасбродной затее. Кто-то последовал его примеру в Кауэсе, на острове Уайт, и потерпел крах. Акционеры предприятия вконец разорились. Летьери говорил: «Машина у них была плохо сделана — вот и все!» Но люди покачивали головой. Новшества уже тем нехороши, что восстанавливают против себя; стоит чуть-чуть оступиться — и доверие потеряно. Когда у одного из коммерческих пророков Нормандского архипелага, парижанина и банкира Жожа, спросили совета, стоит ли заняться пароходным делом, он якобы сердито изрек, повернувшись спиной: «Вам вздумалось произвести обмен денег? Обмен денег на дым?» Зато дела парусников шли превосходно. Охотников войти в пайщики было сколько угодно. Люди с деньгами, упорные сторонники паруса, противились паровому котлу. Дюранда была фактом, но пар на Гернсее признания не получил. Так косность ожесточается перед лицом прогресса. О Летьери говорили: «Хорошо идут у него дела, но он не стал бы начинать все сначала».

Его пример не ободрял, а отпугивал. Так никто и не решился построить вторую Дюранду.

VI. Потерпевшие кораблекрушение, по счастью, встречаются с парусником

Равноденствие в Ла-Манше дает о себе знать заранее. Море здесь не широко, нет простора ветру, и это его бесит. С февраля дуют западные ветры и гонят волны в разные стороны. Плавать в эту пору небезопасно; на берегу люди не спускают глаз с сигнальной мачты; все тревожатся о судах, которые, быть может, терпят бедствие. Море словно устраивает засаду; невидимые фанфары возвещают о неведомой битве; чье-то яростное могучее дыхание всколыхнуло небосклон; поднимается неистовый ветер. Воет и веет тьма. В толще туч черноликая буря, надувая щеки, дует в трубу.

Ветер — опасность; туман — другая опасность.

Туманы испокон веков внушали ужас мореплавателям. Бывает, что в тумане содержатся микроскопические кристаллики льда, им-то Мариотт и приписывает возникновение световых колец вокруг солнца и луны и появление ложных солнц и ложных лун. Состав грозовых туманов смешанный; различные пары нерав-

номерного удельного веса соединяются в них с водяными парами, располагаются пластами друг над другом и таким образом разделяют туман на пояса, превращая его в подобие геологической формации: в самом низу — йод, над йодом — сера, над серой — бром, а над бромом — фосфор. Все это, если принять во внимание электрическое и магнетическое напряжение, до известной степени объясняет некоторые явления — огни св. Эльма, замеченные Колумбом и Магелланом, летучие звезды над кораблями, упомянутые Сенекой, два огненных снопа, на верхушке мачты — Кастор и Поллукс, о которых рассказывал Плутарх, воспламенившиеся копья римских легионеров, изумившие Цезаря, шпиль замка Дюино во Фриуле, рассыпавший яркие искры, когда дозорный прикасался к нему острием пики, а может быть и зарницы, которые у древних назывались «земными молниями Сатурна». У экватора постоянный туман как бы опоясывает земной шар — это «Клаудринг», облачное кольцо. Клаудрингу предназначено охлаждать тропики, как Гольфстриму предназначено обогревать полюс. Клаудринг означает гибель. То «лошадиные широты», *Horse latitude,* там мореходы былых веков бросали в море лошадей: во время бури

— чтобы уменьшить вес корабля, в спокойную погоду — чтобы сократить расход пресной воды. Колумб говорил: *Nube abaxo es muerte* — «Низкое облако — смерть». У этрусков, которые в области метеорологии играли ту же роль, что халдеи в астрономии, было два жреческих звания: жрец грома и жрец туч; «фульгураторы» наблюдали за молнией, «аквилеги» — за туманом. Жители Тира, финикийцы, пеласги и другие мореплаватели, ходившие в старину по древнему Срединному морю, обращались за предсказаниями погоды к совету жрецов-авгуров Тарквинии. Уже тогда стали яснее причины возникновения бури; они тесно связаны с причиной возникновения тумана; собственно говоря, это явления одного порядка. На океане существует три области туманов: экваториальная и две полярные; у моряков для них одно название: «Чертова ступа».

Туманы во время равноденствия опасны на всех водах, а в Ла-Манше особенно. Они нежданно заволакивают море густым мраком. В тумане, даже если он не слишком плотен, всегда таится угроза, ибо он мешает определить по меняющемуся цвету воды, изменилось ли морское дно; его коварной завесой прикрывается мель или подводная скала. Часто судно подходит к самому

рифу, и ничто не предостерегает его. Порою судну, попавшему в туман, приходится ложиться в дрейф или бросать якорь. В тумане кораблекрушения не реже, чем в бурю.

Однако случилось так, что после яростного шквала, разогнавшего туман, почтовое судно «Кашмир» благополучно вернулось из Англии. Оно вошло в порт Сен-Пьер с первыми дневными лучами, озарившими горизонт, как раз в тот миг, когда из замка Корнэ пушечным залпом приветствовали восход солнца. Небо прояснилось. «Кашмира» ждали, он должен был доставить в Сен-Сансон нового священника. Когда пришел корабль, по городу тотчас же распространился слух, что ночью в открытом море к «Кашмиру» причалила шлюпка с командой потонувшего судна.

VII. Любитель прогулок, по счастью, встречается с рыбаком

В ту ночь, лишь только утих ветер, Жильят отправился на рыбную ловлю, однако он остановил свой ботик не очень далеко от берега.

На обратном пути, во время прилива, часа в два пополудни, когда ослепительно сияло солнце,

он плыл мимо Бычьего рога в бухту «Дома за околицей», и ему вдруг почудилось, что на кресле Гильд-Хольм-Ур виднеется тень, которую не могла отбрасывать скала. Он направил ботик в ту сторону и увидел, что там сидит человек. Вода прибывала, скалу окружали волны; спасения не было. Жильят помахал ему рукой. Человек не шевельнулся. Жильят подплыл ближе. Человек спал.

Неизвестный был одет в черное. «Похож на священника», — подумал Жильят. Он подплыл еще ближе и разглядел юношеское лицо.

Лицо было ему незнакомо.

К счастью, скала была отвесна, а вода около нее глубока; Жильят повернул лодку и повел ее вдоль гранитной стены утеса. Прилив настолько приподнял судно, что Жильят, встав на борт, мог дотянуться до ног спящего. Он выпрямился, поднял руки. Упади он сейчас в воду, вряд ли ему удалось бы спастись. Била сильная волна. Его раздавило бы между скалой и лодкой.

Жильят потянул спящего за ногу.

— Эй, что вы тут делаете?

Человек проснулся и сказал:

— Смотрю.

Он совсем очнулся от сна и продолжал:

— Я только что приехал на остров, мне захотелось пройтись, я забрел сюда, — с этой скалы такой чудесный вид! Всю ночь я провел на корабле и вот заснул от усталости.

— Через десять минут вы были бы под водой, — сказал Жильят.

— Да что вы!

— Прыгайте в лодку.

Жильят придержал лодку ногой, уцепился одной рукой за скалу, а другую протянул молодому человеку в черном, и тот легко спрыгнул. Юноша был очень хорош собою.

Жильят взмахнул веслами; не прошло и двух минут, как ботик очутился в бухте «Дома за околицей».

На молодом человеке была круглая шляпа и белый галстук. Его длиннополый черный сюртук был наглухо застегнут. Белокурые волосы ореолом обрамляли его женственное лицо, вдумчиво смотрели ясные глаза.

Лодка подошла к берегу. Жильят продел трос в кольцо причала, потом обернулся и увидел в протянутой выхоленной руке юноши золотой соверен.

Жильят легонько отстранил руку.

Оба хранили молчание. Первым заговорил

юноша:

— Вы спасли мне жизнь.

— Возможно, — ответил Жильят.

Трос был укреплен. Они вышли из лодки.

Юноша повторил:

— Я вам обязан жизнью, сударь.

— Ну так что ж?

За ответом Жильята вновь последовало молчание.

— Вы здешнего прихода? — спросил юноша.

— Нет, — ответил Жильят.

— Какого же?

Жильят поднял правую руку и, указав на небо, промолвил:

— Вот какого.

Юноша попрощался и пошел своей дорогой.

Сделав несколько шагов, он остановился, вынул из кармана книгу, вернулся и сказал, подавая ее Жильяту:

— Позвольте предложить вам это.

Жильят взял книгу.

То была Библия.

Через минуту он уже стоял на крыльце и, облокотившись о перила, смотрел вслед юноше, пока тот не скрылся за поворотом тропинки, ведущей в Сен-Сансон.

Мало-помалу Жильят забыл и думать о пришельце, о существовании кресла Гильд-Хольм-Ур; все исчезло; склонив голову, он погрузился в бездонную пучину грез. Этой манящей бездной была для него Дерюшетта.

Его вывел из забытья чей-то голос; кто-то крикнул:

— Эй, Жильят!

Голос был знакомый. Жильят поднял глаза.

— Что такое, сьер Ландуа?

Действительно, это был сьер Ландуа, проезжавший по дороге, шагах в ста от «Дома за околицей», в своем «фиатоне» (фаэтоне), запряженном маленькой лошадкой. Он остановился, окликнув Жильята, но видно было, что ему некогда и он куда-то спешит.

— Слышали новости, Жильят?

— Какие?

— Да о «Приюте неустрашимых».

— А что там такое?

— Так не расскажешь, я от вас слишком далеко.

Жильят задрожал.

— Уж не выходит ли замуж мадемуазель Дерюшетта?

— Нет. Но теперь придется.

— Что это значит?
— Ступайте туда. Там все узнаете.
И сьер Ландуа стегнул лошадь.

Книга пятая
Револьвер
I. Беседа в «Гостинице Жана»

Сьер Клюбен был человек, поджидавший случая.

Он был невысок, желтолиц и силен, как бык. Морскому ветру не удавалось покрыть загаром его кожу, она напоминала воск. Лицо у него было цвета восковой свечи, и ее притушенный огонек светился в его глазах. Он обладал необыкновенно цепкой памятью. Стоило ему однажды увидеть человека, и тот навсегда оставался в его памяти, точно заметка в записной книжке. Его быстрый взгляд схватывал крепко; зрачок, сделав оттиск с лица, хранил его, и пусть лицо это старело, — сьер Клюбен все равно узнавал его. Сбить со следа эту твердую память было невозможно. Сьер Клюбен был скуп на слова, скромен, спокоен; он никогда не позволял себе лишнего движения. Простодушный вид сразу располагал к нему. Многие считали его недалеким, в его прищуре было что-то придурковатое. Но лучшего моряка, как мы уже говорили, нельзя было сыскать; ни-

кто не умел так садить галсы, чтобы понизить центр напора ветра, или тянуть шкот полного паруса. Говорили, что нет честнее, нет набожнее человека. Тот, кто заподозрил бы его, сам бы вызвал подозрение. Он вел дружбу с Ребюше — менялой из Сен-Мало, жившим на улице Сен-Венсан, рядом с оружейным мастером, и Ребюше говорил: «Клюбену я доверил бы свою лавку». Сьер Клюбен был вдовцом. Его супруга слыла столь же достойной женщиной, сколь достойным человеком слыл он сам. Г-жу Клюбен пережила слава о ее несокрушимой добродетели. Вздумай полюбезничать с ней бальи, она бы пожаловалась королю; влюбись в нее Господь Бог, она бы пожаловалась своему духовнику. Чета Клюбенов олицетворяла в Тортвале идеал английской «респектабельности». Супруга Клюбена была лебедью; сам Клюбен — горностаем. Он не пережил бы и пятнышка на этой белизне. Попадись ему, кажется, чужая булавка, он бы не успокоился, пока не разыскал бы ее владельца. Он бы забил в набат, найдя коробку спичек. Однажды он зашел в кабачок в Сен-Серване и сказал кабатчику: «Три года назад я позавтракал у вас, вы ошиблись в счете», — и вручил хозяину шестьдесят пять сантимов. Он был ходячей честностью с недоверчиво

поджатыми губами.

Он как будто вечно выслеживал. Кого же? Вероятно, жуликов.

По вторникам он вел Дюранду в Сен-Мало. Приезжал туда во вторник вечером, оставался два дня для погрузки судна и возвращался на Гернсей в пятницу утром.

В те времена в бухте Сен-Мало существовал заезжий дом под названием «Гостиница Жана».

Позже, когда строилась набережная, заезжий дом снесли. Но в те годы море подходило к городским воротам Сен-Венсана и Динана; во время отлива из Сен-Мало в Сен-Серван и обратно ездили в двуколках и колясках, которые сновали между судами, объезжая якоря, канаты и буйки, чуть не натыкаясь кожаным верхом на низкие реи или утлегари. От прилива до прилива кучера гнали лошадей по песку там, где шесть часов спустя ветер подхлестывал волны. Прежде здесь по всему побережью Сен-Мало рыскали две дюжины сторожевых псов, которые в 1770 году загрызли морского офицера. Собаки переусердствовали, и их уничтожили. Теперь уже не слышно по ночам собачьего лая между Большим и Малым Таларом.

Сьер Клюбен останавливался в «Гостинице

Жана». Там находилась французская контора Дюранды.

Там ели и пили таможенные чиновники и береговая охрана. Им был отведен особый стол. Таможенные чиновники из Биника встречались там с таможенниками из Сен-Мало, что было весьма полезно для дела.

Сюда заглядывали и шкиперы, но ели они за другим столом.

Сьер Клюбен подсаживался то к тем, то к другим, однако охотнее к столу таможенников, чем судовладельцев. Везде он был желанным гостем.

Кормили здесь вкусно. Чужеземным морякам предлагались на выбор напитки всех стран света. Какого-нибудь щеголеватого матросика из Бильбао угощали здесь «геладой». Пили там и «стату», как в Гринвиче, и коричневатый «гез», как в Антверпене.

Бывало, капитаны дальнего плавания и судохозяева присоединялись к шкиперской трапезе. Обменивались новостями: «Как дела с сахаром?» — «Прибывает небольшими партиями. Но ходят слухи, что вот-вот прибудут три тысячи мешков из Бомбея и пятьсот бочек из Сагуа». — «Увидите, что правые одержат верх над Вилелем». — «А как индиго?» — «Всего лишь семь

тюков из Гватемалы». — «“Нанина-Жюли” стоит на рейде. Красивое трехмачтовое судно из Бретани». — «Еще два города Ла-Платы повздорили из-за выеденного яйца». — «Когда Монтевидео жиреет, Буэнос-Айрес тощает». — «Пришлось перегружать с “Царицы неба” товары, забракованные в Калао». — «На какао хороший спрос; мешки каракского идут по двести тридцать четыре, а тринидадского — по семьдесят три». — «Говорят, во время смотра на Марсовом поле кричали: “Долой министров!” — «Просоленные невыделанные кожи “саладерос” продаются по шестидесяти франков — бычьи, а коровьи — по сорока восьми». — «Что, перешли Балканы? А где Дибич?» — «В Сан-Франциско не хватает анисовой водки. С планьольским оливковым маслом затишье. Центнер швейцарского сыра — тридцать два франка». — «Умер, что ли, Лев Двенадцатый?» — и т. д.

Все это обсуждалось шумно, во весь голос. За столом таможенных чиновников и береговой охраны говорили потише.

Свои дела береговая и портовая полиция не стремилась предавать особой гласности и не откровенничала.

За шкиперским столом председательствовал

старый капитан дальнего плавания Жертре-Габуро. Жертре-Габуро был не человек, а барометр. Он так сжился с морем, что безошибочно предсказывал погоду. Он устанавливал ее заранее. Он выслушивал ветер, щупал пульс отлива и прилива. Туче он говорил: «А ну-ка, покажи язык» — иными словами, молнию. Он был врачом волн бризов, шквала. Океан был его пациентом. Он обошел весь свет, как врач обходит больницу, изучая каждый климат, его здоровье и немощи. Он основательно знал патологию времен года. Он сообщал такие факты: «Как-то в 1796 году барометр упал на три деления ниже бури». Он был моряком по призванию. Ненавидел Англию всей силой своей любви к морю. Тщательно изучал английский флот, чтобы знать его слабые стороны. Умел объяснить, чем «Соверен» 1637 года отличался от «Королевского Вильяма» 1670 года и от «Победы» 1755 года. Сравнивая надводные части судов, он сожалел, что на палубах английских кораблей больше нет башен, а на мачтах — воронкообразных марсов, как на «Большом Гарри» в 1514 году, — сожалел потому, что они были отличной целью для французских ядер. Нации он различал лишь по их флоту; его речи была присуща своеобразная синонимика. Так,

Англию он называл «Маячнолоцманская корпорация», Шотландию — «Северная контора», а Ирландию — «Балласт на борту». Запас сведений был у него неисчерпаем; он был ходячим учебником и календарем, справочником мер и тарифов. Наизусть знал таксу маяков, в особенности английских: пенни с тонны при проходе мимо такого-то маяка, фартинг — при проходе мимо другого. Он говорил: «Маяк Смолл-Рок прежде расходовал всего лишь двести галлонов масла, а теперь сжигает полторы тысячи». Однажды капитан опасно заболел в плавании, и, когда весь экипаж, думая, что он умирает, обступил его койку, он, превозмогая предсмертную икоту, вдруг обратился к корабельному плотнику: «Надо бы вырезать в эзель-гофтах по гнезду с каждой стороны для чугунных шкивов с железной осью и пропустить через них стень-вынтрепы». Из всего этого явствует, что он был человек незаурядный.

Шкиперы и чиновники почти никогда не вели за столом разговора на общую тему. Все же такой случай произошел в самом начале февраля, именно в то время, до которого мы довели наше повествование. Внимание привлекало трехмачтовое судно «Тамолипас» и его капитан Зуэла; судно пришло из Чили и должно было туда

вернуться. Шкиперы интересовались его грузом, чиновники — скоростью хода.

Капитан Зуэла из Копиапо был не то чилиец, не то колумбиец, весьма независимо принимавший участие в войнах за независимость, склонявшийся то на сторону Боливара, то на сторону Морильо, смотря по тому, что было выгоднее. Он разбогател, оказывая услуги и тем и другим. Зуэла был ярым приверженцем Бурбонов и бонапартистом, либералом и монархистом, атеистом и католиком. Он принадлежал к той огромной партии, которую можно назвать доходной партией. Время от времени он приезжал во Францию по делам и, если верить слухам, охотно оказывал на своем корабле гостеприимство беглецам всех мастей, банкротам или политическим изгнанникам — не все ли равно кому? — лишь бы они были платежеспособны. Проделывал он это весьма просто. Беглец ждал в укромном уголке на берегу, и Зуэла, прежде чем сняться с якоря, посылал за ним шлюпку. Так в предыдущий рейс он вывез беглеца, осужденного заочно по делу Бертона, а на этот раз, по слухам, рассчитывал захватить несколько человек, причастных к столкновению на Бидасоа. Предупрежденная полиция была начеку.

То были времена побегов. Реставрация — это реакция; Революция повлекла за собою эмиграцию. Реставрация — ссылку. В первые семь-восемь лет после возвращения Бурбонов всех охватила паника: финансисты, промышленники и коммерсанты чувствовали, как почва уходит у них из-под ног, и банкротства участились. «Спасайся, кто может», — только об этом и думали в политических кругах. Лавалет бежал, Лефевр-Денуэт бежал, Делон бежал. Свирепствовали чрезвычайные суды, вдобавок — Трестальон. Люди спасались от Сомюрского моста, от Реольской эспланады, от стены Парижской обсерватории, от Ториасской башни в Авиньоне, — эти зловещие силуэты остались в истории как символы реакции; еще и сейчас виден на них отпечаток ее кровавой руки. Лондонский процесс Тистльвуда и его отголоски во Франции, парижский процесс Трогова и его отголоски в Бельгии, Швейцарии, Италии умножили основания для тревоги и бегства, углубили внутренний развал, опустошили даже высокопоставленные круги тогдашнего общества. Обезопасить себя — вот о чем заботился каждый. Быть замешанным в каком-нибудь политическом деле — значило погибнуть. Дух превотальных судов пережил эти учреждения.

Приговоры выносились в угоду властям. Люди бежали в Техас, в Скалистые горы, Перу, Мексику. «Луарские разбойники», ныне именуемые рыцарями, в те годы основали «Убежище для беглых». В одной из песен Беранже поется: «О дикари, французы мы, так пожалейте нашу славу!» Покинуть свою страну было единственным выходом из положения. Но нет ничего труднее побега; это короткое слово таит в себе целую бездну. Все оборачивается препятствием для того, кто хочет незаметно ускользнуть. Чтобы скрыться, надо стать неузнаваемым. Людям значительным, даже знаменитостям, приходилось прибегать к жульническим уловкам. Удавалось это им плохо. Их притворство бросалось в глаза. Привычка действовать открыто мешала им проскользнуть сквозь сети, расставленные на пути. Мошенник, выпущенный из тюрьмы под надзор полиции, был в ее глазах особой, внушавшей больше доверия, чем иной генерал. Представьте себе безупречность, пытающуюся загримироваться, добродетель, изменившую голос, славу, прикрывшуюся маской. Любой встречный, проходимец с виду, мог оказаться лицом известным, пытающимся раздобыть подложный паспорт. Сомнительное поведение человека, вынужден-

ного скрываться, ничуть не противоречило тому, что перед вами герой. Вот вкратце характерные черты того времени; о них обычно умалчивает так называемая беспристрастная история, но их обязан показать художник, правдиво рисующий эпоху. Прячась за спину людей честных, за ними улепетывали плуты, они не были на таком подозрении, и их не так рьяно выслеживали. Негодяй, вынужденный бежать, пролезал, пользуясь случаем, в ряды изгнанников и, как мы уже говорили, благодаря своей ловкости чаще сходил в этой сумятице за человека порядочного, нежели действительно порядочный человек. Безукоризненная честность, преследуемая правосудием, ведет себя неуклюже. Она ничего не понимает и делает промахи. Фальшивомонетчик ускользал легче, чем член Конвента.

Можно утверждать, как это ни странно, что бегство, особенно для людей бесчестных, открывало широкие возможности. Крохи цивилизации, которые мошенник увозил из Парижа или Лондона, заменяли ему целый капитал в диких или первобытных странах, создавая ему имя и положение. Увильнуть здесь от кары закона, а за морем получить духовный сан было вполне возможно. Люди исчезали точно по мановению волшебного жез-

ла, и случалось, что судьба беглеца складывалась, как в сказке. То был побег в неведомое, в царство фантазии. Злостный банкрот, удрав из Европы и освободившись таким образом от долгов, всплывал лет через двадцать в образе великого визиря в Монголии или короля в Тасмании.

Содействие побегам было промыслом, и промыслом прибыльным, ибо надобность в нем была велика. Этот вид наживы стал одним из отраслей торговли. Тот, кто хотел укрыться в Англии, обращался к контрабандистам; кто хотел укрыться в Америке, обращался к таким авантюристам дальнего плавания, как Зуэла.

II. Клюбен замечает кого-то

Иногда Зуэла заходил перекусить в «Гостиницу Жана». Сьер Клюбен знал его в лицо.

Вообще сьер Клюбен не был гордецом: он не гнушался шапочным знакомством с жуликами. Случалось, он даже вел с ними дружбу, пожимал им руки и здоровался на людной улице. Он изъяснялся по-английски с контрабандистами англичанами и коверкал испанский, беседуя с контрабандистами испанцами. По этому поводу он изрекал такие сентенции: «Познай зло, дабы

извлечь из него добро. — Леснику полезно потолковать с браконьером. — Лоцман должен знать пирата, ибо пират — тот же риф. — Я испытываю жулика, как врач испытывает яд». Возражений это не вызывало. Все соглашались с капитаном Клюбеном. Хвалили за то, что в нем нет смешной щепетильности. Да и кто осмелился бы о нем позлословить? Все, что он делал, требовалось, очевидно, «для пользы дела». Он был сама искренность. Ничто не могло его опорочить. Хрусталь не в силах запятнать себя, даже если бы старался. Такое доверие было справедливым воздаянием за долгие годы примерной жизни, в этом ценность честно заслуженного доброго имени. Как бы ни поступал сьер Клюбен, каким бы его поступок ни казался, все приписывалось его добродетели, которую усматривали даже в дурном. — он был непогрешим; кроме того, его считали очень осторожным. Сомнительные связи с разными проходимцами набросили бы тень на любого, поведение же сьера Клюбена лишь подчеркивало его честность. Слава о его ловкости сочеталась со славой о его простоватости, ни в ком не возбуждая ни сомнения, ни беспокойства. Есть такие простачки-ловкачи. Это одна из разновидностей честного человека, и разновидность неоценимая.

Если людей, подобных сьеру Клюбену, застанут за дружеским разговором в жуликом и злодеем, то воспримут это как нечто должное, умилятся, поймут, станут уважать еще больше; одобрительно подмигнет им общественное мнение.

Погрузка «Тамолипаса» подходила к концу. Он готовился к отплытию и должен был скоро сняться с якоря.

Как-то, во вторник вечером, Дюранда пришла в Сен-Мало еще засветло. Сьер Клюбен, стоя на мостике и наблюдая за маневрированием судна у входа в гавань, заметил близ Малой бухты, на песчаном берегу, в укромном уголке меж скал, двух человек, которые о чем-то толковали. Он направил на них морской бинокль и узнал одного из собеседников. То был капитан Зуэла. Казалось, он узнал и другого.

Другой, рослый человек с проседью, в шляпе с высокой тульей и строгом черном костюме, был, по-видимому, квакер. Он не поднимал смиренно опущенных глаз.

В «Гостинице Жана» сьер Клюбен выяснил, что «Тамолипас» снимается с якоря дней через десять.

Впоследствии стало известно, что Клюбен собрал еще кое-какие дополнительные сведения.

Ночью он явился в оружейную лавку, что на улице Сен-Венсан, и спросил хозяина:

— О револьвере слышали?

— Как же, американская выдумка! — отвечал тот.

— Это пистолет, который умеет поддерживать беседу.

— И впрямь. Спросит и ответит.

— И возразит.

— Что верно, то верно, господин Клюбен. У него вращающийся барабан.

— Да пять-шесть пулек.

Торговец кивнул и, оттопырив губу, прищелкнул языком в знак восхищения.

— Отменное оружие, господин Клюбен. Я полагаю, что его ждет большое будущее.

— Мне нужен шестизарядный револьвер.

— Чего нет, того нет.

— Какой же вы после этого оружейник?

— Еще не держу этого товара. Вещь, знаете ли, небывалая. Новинка. Во Франции пока выделывают только пистолеты.

— Ах, черт!

— Их еще нет в продаже.

— Ах, черт!

— Могу предложить отличные пистолеты.

— Мне нужен револьвер.

— Согласен, вещь стоящая. Подождите минуточку, господин Клюбен…

— Ну что?

— Думается мне, что сейчас в Сен-Мало можно достать один по случаю.

— Револьвер?

— Да.

— Продажный?

— Да.

— У кого?

— Думается мне, что я знаю у кого. Справлюсь.

— Когда дадите ответ?

— По случаю. Но вещь отменная.

— Когда мне наведаться?

— Уж раз я взялся добыть вам револьвер, знайте — будет на славу.

— Когда дадите ответ?

— В следующий ваш приезд.

— Никому ни слова, что это для меня, — предупредил Клюбен.

III. Клюбен что-то относит и ничего не приносит

Сьер Клюбен закончил погрузку Дюранды, взял на борт порядочное количество быков и несколько пассажиров и отплыл из Сен-Мало на Гернсей, как всегда, в пятницу утром.

В тот же день, когда пароход вышел в открытое море и на время можно было покинуть капитанский мостик, Клюбен заперся в своей каюте, взял саквояж, в одно отделение положил одежду, в другое — сухари, несколько банок с консервами, несколько фунтов какао в плитках, хронометр и морскую подзорную трубу, защелкнул замок и через ушки саквояжа продернул веревку, приготовленную заранее, чтобы вскинуть, если понадобится, поклажу на спину. Затем спустился в трюм, вошел в тросовое отделение и вынес оттуда перехваченную узлами веревку с крюком, которой пользуются конопатчики на море и воры на суше. Такие веревки облегчают подъем.

Прибыв на Гернсей, Клюбен отправился в Тортваль, где и провел почти двое суток. Он отвез туда саквояж и веревку, а вернулся с пустыми

руками.

Скажем раз и навсегда, что Гернсей, о котором повествуется в этой книге, — Гернсей стародавний, уже не существующий, и найдешь его ныне лишь в селеньях и деревнях. Там он еще жив, но в городах он вымер. Замечание о Гернсее относится и к Джерсею. Сент-Элье теперь не уступит Дьеппу; порт Сен-Пьер не уступит Лориану. Прогресс и созидательный дух маленького, но стойкого островного народа все преобразили на Ламаншском архипелаге за сорок лет. Там, где была тьма, теперь все залито светом. Итак, продолжаем наш рассказ.

В те времена, которые так далеки от нас, что их можно считать седой стариной, на Ла-Манше процветала торговля беспошлинными товарами. Контрабандисты облюбовали дикий западный берег Гернсея. Люди сверхосведомленные и знающие со всеми подробностями о том, что происходило час в час полстолетия назад, даже по названиям перечислят множество их кораблей, в большинстве — астурийских либо из Гипускоа. Известно, что не проходило недели, как появлялся один-другой такой корабль в гавани Святых или в Пленмоне. Ну чем не настоящее судоходство? На побережье Серка есть пещера, которая

называлась и теперь называется «Лабазом», ибо в этом гроте контрабандисты распродавали свой товар. Когда велись дела такого рода, на Ла-Манше пользовались особым, контрабандистским, теперь забытым языком; для испанского он был тем же, чем левантинский для итальянского.

И на английском и на французском приморье контрабандисты держали тесную тайную связь с открытой и узаконенной торговлей. Они имели доступ в дома крупнейших финансистов, правда, через потайную дверь; контрабанда подпольно вливалась в товарооборот и во всю кровеносную систему промышленности. По обличью — купец, а по сути — контрабандист; вот разгадка многих нажитых состояний. Так Сеген отзывался о Бургене, а Бурген — о Сегене. За их слова не ручаемся; быть может, они возводили друг на друга поклеп. Но что бы там ни было, бесспорно одно: контрабанда, преследуемая законом, кровно породнилась с финансовым миром. Она поддерживала отношения с «лучшим обществом». Притон, в котором Мандрен в былые времена сиживал бок о бок с графом Шароле, с виду был вполне приличен и даже безупречен в глазах общества; дом как дом.

Итак, у контрабандистов было немало соучаст-

ников, скрывавшихся под чужой личиной. Тайна требовала полной непроницаемости. Многое знал контрабандист и обязан был молчать; нерушимая и суровая верность являлась для него законом. Главным достоинством контрабандиста считали честность. Без умения хранить тайну нет контрабанды. Тайна запретной торговли была подобна тайне исповеди.

И тайна хранилась свято. Контрабандист давал клятву молчания и держал слово. На него можно было положиться без малейшего опасения. Однажды судья-алькальд из Уаярзена задержал контрабандиста с Сухой гавани и подверг допросу, принуждая выдать лицо, негласно снабдившее его деньгами. Контрабандист соучастника не выдал. Этим лицом был сам судья-алькальд. И судье пришлось на глазах у всех во имя закона подвергнуть пытке своего сообщника, а тот вынес ее, потому что дал клятву.

В Пленмон наезжали знаменитейшие контрабандисты тех времен — Бласко и Бласкито. Они были тезками. У испанцев и католиков это считается родством; согласитесь, что общий святой в небесах — неменьшее для того основание, чем общий отец на земле.

Сговориться с контрабандистами, зная почти

все их окольные пути, было и очень сложно и очень легко.

Надо было только преодолеть ночные страхи, отправиться в Пленмон и безбоязненно стать лицом к лицу с таинственным знаком вопроса, который возникал там перед вами.

IV. Пленмон

Пленмон, близ Тортваля, — один из углов гернсейского треугольника. Там, в конце мыса, над синим морем зеленеет высокий бугор.

Вершина его пустынна.

Она кажется еще пустыннее оттого, что на ней ютится дом.

Страшно становится в этих уединенных местах, когда смотришь на дом.

Его, говорят, посещает нечистая сила.

Правда ли, нет ли, но вид его необычен.

Трава обступила гранитный двухэтажный дом. И это не развалины. Напротив, дом вполне пригоден для жилья. У него толстые стены, прочная крыша. Ни одного камня не выпало из стены, ни одной черепицы из кровли. Уцелела и кирпичная труба. Дом повернулся спиной к морю. Фасад, выходящий на океан, — глухая стена.

Внимательно вглядевшись, замечаешь на нем замурованное окно. На крыше — три слуховых оконца, одно на восток, два — на запад, все три замурованы. Только на переднем фасаде, что смотрит на сушу, дверь и два окошка. Двери и оба окна нижнего этажа тоже замурованы. В верхнем этаже, что сразу поражает, когда подходишь к дому, виднеются два настежь открытых окна, и эти открытые окна страшнее замурованных. Широкие отверстия чернеют в ярком свете дня. Нет в них стекол, нет даже рам. Они обращены во мрак, словно пустые глазницы. Дом покинут. Через зияющие окна видишь мерзость запустения. Нет там ни обоев, ни панелей — один голый камень. Будто могильный склеп с окнами, из которых смотрят призраки. Дожди размывают фундамент со стороны моря. Стебли крапивы, клонясь под порывами ветра, ластятся к стенам. Вокруг до самого горизонта ни единого человеческого жилья. Дом — пустота, полная тишины. Однако если остановиться и прислушаться, приложив ухо к стене, то порой различишь приглушенные звуки, словно тревожное хлопанье крыльев. На камне, образующем верхний косяк замурованной двери, высечены буквы ЭЛМ — ПБИЛГ и дата: 1780 год.

По ночам бледный лик луны заглядывает в

дом.

Вокруг беспредельное море. Здание расположено превосходно, поэтому и кажется особенно зловещим. Красота природы становится загадкой. Почему ни одна семья не поселится здесь? Дом хорош, окрестности прелестны. Отчего же такое запустенье? К вопросам, задаваемым рассудком, присоединяется и разыгравшееся воображение. Поле можно обработать, отчего же оно не возделано? Хозяина нет. Входная дверь наглухо забита. Что же тут случилось? Почему человек бежит прочь отсюда? Что здесь происходит? И если ничего не происходит, то почему тут нет ни души? Не бодрствует ли здесь кто-нибудь, когда остров засыпает? Туманы и шквал, ветер, хищные птицы, притаившийся зверь, неведомые существа встают в воображении, стоит лишь подумать об этом доме. Для каких же странников служит он пристанищем? Представляешь себе, как ночью град и ливень врываются в окна. Внутри дома стены в грязных разводах от потоков воды, струившейся по ним во время грозы. Ураганы навещают замурованные и вместе с тем открытые комнаты. Быть может, тут было совершено преступление? Чудится, что по ночам дом этот, отданный во власть мраку, должен взывать о

помощи. Безмолвен ли он? Подает ли голос? С кем он имеет дело в этом уединении? Здесь привольно тайнам ночи. Дом пугает в полдневные часы; каков же он в полночь? Взирая на него, взираешь на загадку. Спрашиваешь себя, — ибо и в фантастическом видении своя логика, ибо и возможное тяготеет к невозможному, — что творится в доме между вечерними и предрассветными сумерками? Не является ли этот пустынный холм местом, которое притягивает к себе создания иного мира, рассеянные в бесконечности, и вынуждает их спуститься на землю, чтобы стать доступными глазу человека? Быть может, сюда вихрем залетает неощутимое? Быть может, неосязаемое уплотняется здесь, принимая видимую форму? Загадка. Священный ужас таится в этих камнях. Мрак, заволакивающий заповедные комнаты, больше, чем мрак: это неведомое. Зайдет солнце, и рыбачьи челны вернутся с ловли, умолкнут птицы, пастух выведет из-за скал и погонит домой коз, змеи, осмелев, выползут. Из расщелин меж камней проглянут звезды, подует северный ветер, наступит полная тьма, но все так же будут зиять оба окна. Они открывают путь игре фантазии; и народное суеверие, тупое и в то же время мудрое, воплощает мрачное содружество этого

жилища с ночным мраком в привидениях, выходцах с того света, призрачных, неясно очерченных фигурах, блуждающих огнях, в таинственных хороводах духов и теней.

Дом посещается «нечистой силой» — этим все сказано.

Легковерные объясняют всё по-своему, но по-своему объясняют всё и здравомыслящие. В доме нет ничего особенного, говорят здравомыслящие. Раньше, во времена революционных войн и войн Империи и во времена расцвета контрабанды, здесь был наблюдательный пост. Для этого и построили дом. Кончились войны, и наблюдательный пост упразднили. Дом не разрушили, ибо он мог еще пригодиться. Двери и окна нижнего этажа забили, чтобы уберечь дом от навозных жуков в человеческом образе и прочих непрошеных посетителей; замуровали окна, выходящие с трех сторон на море, чтобы защитить дом от южного и восточного ветра. Вот и все.

Но невежды и легковеры упрямо стоят на своем. Прежде всего дом выстроен вовсе не в годы революционных войн. Дата, стоящая на нем, 1780 год, предшествовала революции. Затем он вовсе не был предназначен для наблюдательного поста: на нем стоят буквы ЭЛМ — ПБИЛГ, что

обозначает двойную монограмму двух фамилий и указывает, по обычаю, что дом построили для молодоженов. Следовательно, он был жилым. Почему же он заброшен? Если дверь и нижние окна замуровали, чтобы никто не проник в дом, почему же оставили открытыми два окошка наверху? Надобно было или все заделать, или ничего не трогать. Где ставни? Где рамы? Где оконные стекла? К чему было замуровывать окна с одной стороны, если их не замуровали с другой? Оберегают дом от дождя с юга, а позволяют ему врываться с севера.

Легковеры, несомненно, ошибаются, но и здравомыслящие, разумеется, не вполне правы. Задача не разрешена.

Верно лишь одно: ходят слухи, что контрабандистам дом приносит скорее пользу, чем вред.

Страху свойственно преувеличивать истинное значение факта. Несомненно, некоторые ночные происшествия в заброшенном здании, которые легли в основу легенды о духах, посещавших его, объяснялись тем, что сюда незаметно, украдкой наезжали люди, почти тотчас же уходившие в море, а также тем, что кое-кто из этих подозрительных личностей, исподтишка обделывавших свои темные делишки, то ли из предосторожно-

сти, то ли из удальства, иной раз показывался, чтобы припугнуть любопытных.

В ту далекую от нас пору возможны были всякие дерзкие предприятия. Полиция, особенно в маленьких государствах, не была так бдительна, как теперь.

Добавим, что если этот заброшенный дом, как говорят, был удобен для мошенников и собирались они там без всякого стеснения, то именно потому, что у дома была плохая слава. А плохая слава охраняла его от доносов. Защиты от духов ищут отнюдь не у таможенных чиновников и не у полиции. Люди суеверные осеняют себя крестным знамением, но не спешат под сень правосудия. Они что-то видят или воображают, будто видят, убегают и хранят молчание. Существует безмолвное, невольное, но бесспорное соглашение между теми, кто страшит, и теми, кто страшится. Испуганные считают себя виноватыми перед виновниками их испуга, они полагают, что открыли чью-то тайну, и, не понимая, что происходит, боятся навлечь на себя беду, рассердив нечистую силу. Вот почему они не болтают. Но и помимо этого соображения люди суеверные обычно молчаливы; боязнь нема, запуганный человек немногословен, как будто страх говорит

ему: «тсс!»

Но все это, — напоминаем читателю, — относится к глухой старине, когда гернсейские крестьяне верили, что таинство рождения Христа ежегодно в определенный день отмечается домашними животными, и в рождественскую ночь никто не осмеливался войти в хлев, боясь увидеть быков и ослов, склонившихся ниц.

Если доверять местным преданиям и рассказам старожилов, то в старину люди из суеверия развешивали по стенам пленмонского дома на гвоздях, следы от которых местами виднеются и теперь, крыс с обрубленными лапками, летучих мышей без крыльев, скелеты животных, жаб, расплющенных между страницами Библии, стебли желтого волчьего боба — странные символические приношения тех неосторожных прохожих, кому ночью что-то привиделось и кто понадеялся дарами вымолить себе прощение, отвратив немилость вампиров, выходцев с того света и злых духов. Во все времена встречались люди, даже из сильных мира сего, которые верили в оборотней и в шабаш. Цезарь советовался с Саганом, Наполеон — с мадемуазель Ленорман. У иных людей совесть бывает так неспокойна, что они готовы получить отпущение грехов у самого

Сатаны. «Господом содеянное да не расторгнется Сатаною» — вот одна из молитв Карла V. Иные еще боязливей. Они доходят до убеждения, что провиниться можно и перед злом. Их постоянная забота — быть безупречными в глазах дьявола. Отсюда религиозные обряды, взывающие к страшным силам тьмы; это одна из разновидностей ханжества. Мысль о преступлении против лукавого угнетает больное воображение; страх перед нарушением законов его царства мучит этих странных казуистов невежества; они испытывают угрызения совести по отношению к преисподней. Благочестиво верить в сатанинские действа Брокена и Армюира, считать, что грешен перед адом, прибегать из-за воображаемого прегрешения к покаянию перед химерой, раскрывать свои помыслы лукавому, сокрушенно бить себя в грудь перед отцом греха, исповедоваться в обратном смысле — все это есть или было; каждая страница судебных дел о колдовстве гласит об этом. Вот до чего доходит человеческое заблуждение. Поддавшись страху, человек уже не может остановиться, ему мерещатся мнимые проступки, он грезит о мнимом искуплении и взывает к тени ведьминого помела для очистки своей совести.

Одним словом, если в доме и творилось что-то странное, это никого не касалось; не считая нескольких случаев и исключений, туда никто не заглядывал, он был покинут. Кому охота столкнуться с исчадием ада?

Ужас, внушенный домом, охранял его и отпугивал свидетеля и наблюдателя, поэтому ничего не стоило проникнуть ночью в дом по веревочной или просто по первой попавшейся приставной лестнице, взятой в соседнем саду. Захватив с собой кое-какие пожитки и запас пропитания, можно было беспрепятственно дождаться удобного случая и уплыть тайком на судне. Предание гласит, что лет сорок тому назад некий беглец, по словам одних — из политических, по словам других — из торговцев, довольно долго скрывался в пленмонском доме призраков, пока ему не удалось уехать в Англию на рыбачьем судне. А из Англии легко попасть и в Америку.

Согласно этому же преданию, все съестные припасы, спрятанные в заброшенном доме, оставались в целости и сохранности, ибо Люциферу, как и контрабандистам, было выгодно, чтобы тот, кто их принес, вернулся.

С вершины, на которой стоит дом, в одной миле от берега, на юго-западе, виден риф Гануа.

Риф знаменит. Он причинил столько зла, сколько может причинить утес. Был он одним из самых страшных морских убийц. Он коварно подстерегал корабли по ночам. Он расширил тортвальское и рокенское кладбища.

В 1862 году на рифе соорудили маяк.

Сейчас риф Гануа освещает путь судам, которые он некогда сбивал с пути; в лапу западни вложили факел. Теперь люди всматриваются в горизонт, отыскивая этот утес, как своего спасителя и путеводителя, а прежде они бежали от него, как от злодея. Скалы Гануа обезопасили то беспредельное ночное пространство, которое устрашали прежде. Точно разбойник превратился в блюстителя порядка.

Есть три Гануа: Большой, Малый и Чайка. На Малом и светит ныне «красный огонь».

Риф этот окружен скалами; они то уходят под воду, то выступают из нее, он выше всех. У него, как у крепости, свои форпосты: со стороны открытого моря — кордон из тринадцати скал, на севере — два подводных утеса: Высокие вилы, Шипы и песчаная отмель Эруэ; к югу — три утеса: Кошка, Дырявый и Гарпун; дальше — две мели: Южная и Муэ; кроме того, перед самым Пленмоном, в уровень с водой, — «Западная груда гороха».

Переплыть пролив между Гануа и Пленмоном хоть нетрудно, но возможно. Как известно, это и был один из подвигов сьера Клюбена. Пловец, изучивший мели, знает два места для отдыха: Круглую скалу и подальше, чуть свернув налево, — Красную скалу.

V. Разорители гнезд

В ту самую субботу, которую сьер Клюбен провел в Тортвале, вероятно, и произошло престранное событие, мало кому известное поначалу и всплывшее лишь долгое время спустя. Ибо, как мы уже говорили, о многом очевидец умалчивает под влиянием испытанного страха.

В ночь с субботы на воскресенье — мы указываем время точно и уверены, что не ошибаемся, — трое мальчишек вскарабкались на крутой пленмонский берег. Ребята возвращались домой, в селение. Они целый день провели на море. То были разорители гнезд, а по местному выражению, «гнездодеры». На любом побережье, где есть утесы и расщелины в скалах, нависших над морем, ватаги детей опустошают птичьи гнезда. Мы уже вскользь упоминали о них. Читатель, верно, помнит, что Жильят тревожился и за детей

и за птиц.

Гнездодеры — это, так сказать, океанские сорванцы, они отнюдь не робкого десятка.

Тьма была непроглядная. Толстый слой туч закрывал небосклон. На тортвальской колокольне, круглой и остроконечной, как шапка чернокнижника, только что пробило три часа.

Почему же мальчишки возвращались так поздно? Да очень просто. Они разыскивали яйца чаек на «Западной груде гороха». Весна выдалась теплая, и рано настала пора любви у птиц. Ребята гонялись за пернатыми самцами и самками, кружившими над гнездами, и в охотничьей горячке совсем позабыли о времени. Они попали в плен к приливу, вовремя не вернулись в бухточку, где причалили свою лодку, и им пришлось ждать отлива на одной из вершин «Западной груды гороха». Вот почему они запоздали. Обычно матери ждали их в лихорадочной тревоге, но радость встречи, сменяя тревогу, разражалась гневом, а накипевшие слезы — подзатыльниками. Поэтому-то ребята побаивались и спешили. Они спешили, но все служило им предлогом для промедления так им не хотелось являться домой. Впереди их ждали материнские объятия вперемежку с затрещинами.

Лишь одному из них, сироте французу, нечего было бояться. Он рос без родителей и сейчас даже радовался, что у него нет матери. Никому до него нет дела, поэтому нечего опасаться и колотушек. Двое других были гернсейцы из тортвальского прихода.

Трое гнездодеров, вскарабкавшись на гребень высокого, крутого обрыва, вышли на плоскогорье, к дому, «облюбованному нечистой силой».

И сразу же их обуял страх, что случалось с любым прохожим, особенно с ребенком, в такой час и в таком месте.

Им очень хотелось бежать со всех ног, но хотелось также постоять и поглазеть.

Они остановились.

Они вгляделись в дом.

Он был очень черный и очень страшный.

На пустынном плоскогорье возвышалась мрачная громада, какой-то правильно очерченный отвратительный нарост, какая-то квадратная глыба с прямыми углами, похожая на исполинский алтарь преисподней.

Первой мыслью ребят было удрать, второй — подойти поближе. Они еще никогда не видали этого дома в ночной час. Ведь любопытно испытать страх. С ними был маленький француз,

поэтому они подошли к дому.

Известно, что французы ни во что не верят.

Да и легче, когда ты не один в опасности; втроем бояться веселее.

А потом, когда ты охотник, когда ты мальчишка и когда всей троице нет и тридцати лет, когда высматриваешь, подкарауливаешь, разведываешь то, что скрыто, — разве остановишься на полдороге? Раз ты сунул нос в одно гнездо, как же не сунуть его в другое? Охота увлекает; пошел выслеживать — точно в зубчатое колесо попал. В жилье птиц заглядывал, ну и в жилье призраков, хоть одним глазком, а хочется заглянуть. Почему бы не разнюхать, что делается в аду?

От дичи к дичи — смотришь, и до дьявола доберешься. Начнешь с воробья, кончишь домовым. Вот и узнаешь, верить ли тому, чем пугают родители. Размотать клубок волшебной сказки — большое искушение. Соблазнительно стать таким же сведущим в этом деле, как старушка бабушка.

Все эти смутные безотчетные мысли, беспорядочно теснившиеся в головах гернсейских гнездодеров, толкнули их на дерзкую затею. Они двинулись к дому.

Мальчик, их вожак в этом отважном предпри-

ятии, был достоин своего звания. Этот решительный юнец, ученик подмастерья, принадлежал к породе мальчишек, рано ставших взрослыми; он спал на верфи в сарае, на соломе, сам добывал себе на пропитание, говорил грубым голосом, лазил по заборам и деревьям, без всякого стеснения срывая мимоходом яблоки, работал по ремонту военных кораблей; сын случая, нежданное дитя, сирота-весельчак, родившийся к тому же во Франции, где именно, неизвестно, — две причины быть смелым, — очень насмешливый, белокурый, добрый, он, не задумываясь, отдавал нищему дубль и болтал, если приходилось, даже с парижанами. Теперь он конопатил рыбачьи суда, чинившиеся в Пекри, и зарабатывал по шиллингу в день. Он бросал работу, когда вздумается, и отправлялся разорять птичьи гнезда. Таков был маленький француз.

Чем-то зловещим веяло от этого пустынного места. Оно производило впечатление чего-то грозного и нерушимого. Все наводило уныние. Пологий склон безмолвного и голого плоскогорья терялся в глубине пропасти, зиявшей совсем рядом. Море внизу приумолкло. Воздух был недвижен. Ни одна былинка не колыхалась.

Медленно шагали юнцы-гнездодеры во главе с

маленьким французом, не сводя глаз с дома.

Позднее один из них, рассказывая о своем приключении, вернее о том, что сохранилось в его памяти, добавлял: «Дом молчал».

Мальчики крались, затаив дыхание, как подкрадываются к зверю.

Они взобрались по крутой тропинке, что сбегает за домом к самому морю, обрываясь у небольшого, но почти недоступного скалистого перешейка, и очутились довольно близко от здания; однако им был виден только южный сплошь замурованный фасад; свернуть влево, где перед ними открылась бы другая стена дома с двумя окнами, они не смели, им было страшно.

И все-таки они отважились, когда юный подмастерье шепнул им: «Держи лево руля. Оттуда здорово все видно. Надо посмотреть на черные окна».

Они взяли «лево руля» и оказались с другой стороны здания.

В окнах горел свет.

Дети бросились бежать.

Уже на порядочном расстоянии от дома маленький француз оглянулся.

— Вот так штука, — удивился он, — погасло.

В самом деле, окна больше не светились. На

тусклом сером небе четко вырисовывался силуэт дома, словно обведенный резцом.

Страх не прошел, но любопытство вернулось. Гнездодеры приблизились к дому.

Вдруг в окнах вспыхнул свет.

Оба тортвальца опять бросились наутек. А бесенок француз не сделал ни шага вперед, но и ни шага назад.

Он замер, стоя лицом к дому и не сводя с него глаз.

Огонь потух и снова сверкнул. Было непередаваемо жутко. Неяркая длинная полоса света легла на траву, влажную от ночной росы. И вдруг на стене в комнате возникли чудовищные черные профили, задвигались тени огромных голов.

В доме не было ни потолка, ни перегородок, остались только четыре стены да крыша, поэтому окна засветились одновременно.

Оба гернсейца, увидев, что ученик конопатчика остался, вернулись, прячась друг за дружку, подвигаясь шаг за шагом, дрожа от страха и сгорая от любопытства. Мальчишка тихонько сказал: «В доме привидения, у одного я разглядел нос». Оба маленьких тортвальца спрятались за спиной француза, как за щитом, прикрывавшим их от страшилища, поднялись на цыпочки и стали

смотреть поверх его плеча, ободренные тем, что он загородил их от привидений.

Казалось, и дом смотрел на них. В беспредельном, безмолвном мраке горели два красных зрачка. То были окна. Огонек чуть мерцал, внезапно разгорался и опять тускнел, как бывает именно с такими вот огоньками. Зловещее мелькание объясняется, вероятно, толчеей в преисподней.

Дверь туда то приотворяется, то захлопывается. Отдушина гробницы похожа на потайной фонарь. Вдруг черная фигура — как будто человеческая — заслонила одно окно, словно появившись снаружи, и скрылась внутри дома. Казалось, что туда кто-то влез.

В дом через окно обычно влезают воры.

Свет вспыхнул, затем погас и больше не появлялся. Дом снова окутался тьмой. И тут послышался шум. Шум походил на голоса. Так всегда бывает: когда видишь — не слышишь; когда не видишь — слышишь.

Ночь на море беззвучна по-особенному. Безмолвие тьмы там глубже, чем где-либо. Среди волнующихся водных просторов, где не расслышишь и шума орлиных крыльев, в безветренную пору, в затишье, можно, пожалуй, услышать и полет мухи. Могильная тишина вокруг прида-

вала зловещую четкость звукам, доносившимся из дома.

— Пойдем посмотрим, — сказал маленький француз.

И шагнул вперед.

Его спутники до того струсили, что решились пойти за ним. Убежать они уже не осмеливались.

Когда они миновали большую кучу валежника, которая неизвестно почему подбодрила их в этом пустынном месте, из куста вылетела сова, зашуршали ветви. Что-то пугающее есть в неровном, косом полете совы. Птица взметнулась и пролетела рядом с детьми, глядя на них круглыми, светящимися в темноте глазами.

За спиной француза возникло некоторое смятение.

А он еще подразнил сову:

— Опоздал, воробей. Не до тебя. Все равно посмотрю.

И пошел дальше.

Хруст ветвей терновника под его грубыми башмаками, подбитыми гвоздями, не заглушал шума голосов, раздававшихся в доме; они звучали то громче, то тише, словно там велась мирная беседа.

Немного погодя француз сказал:

— В общем, одни дураки верят в привидения.

Дерзкие повадки товарища в минуту опасности подбадривают отстающих и толкают вперед.

Оба мальчугана тортвальца снова зашагали, ступая след в след за своим вожаком.

Казалось, дом, посещаемый нечистью, непомерно увеличивается. В обмане зрения, вызванном страхом, была доля истины. Дом и на самом деле становился больше, потому что они приближались к нему.

Все отчетливее становились голоса, доносившиеся из дома. Дети вслушивались. Слух также обладает способностью преувеличивать. То было не шушуканье, а что-то погромче шепота и потише гула толпы. Временами долетали отдельные слова. Понять их было невозможно. Они звучали странно. Дети останавливались, прислушивались и снова шли вперед.

— Выходцы с того света разговорились, но я ничуточки не верю в выходцев с того света, — шепнул ученик конопатчика.

Юным тортвальцам очень захотелось юркнуть за кучу хвороста, но они уже были далеко от нее, а их приятель конопатчик все шел и шел к дому. Страшно было идти за ним, но убежать без него

было еще страшнее.

Растерянно, шаг за шагом, плелись они за французом.

Он обернулся и сказал:

— Вы сами знаете, что все это враки. Ничего там нет.

А дом все рос да рос. Голоса делались все громче и громче.

Дети приблизились к нему.

Тут они увидели, что в доме теплится свет. То был тусклый огонек, который горит обычно, как мы уже упомянули, в потайном фонаре или освещает бесовские шабаши.

Они подошли вплотную и остановились.

Один из тортвальцев, набравшись храбрости, заметил:

— Никаких тут нет привидений, одни Белые дамы.

— Что это за штука висит в окне? — спросил другой.

— Смахивает на веревку.

— Да это змея!

— Нет, веревка повешенного, — важно заявил француз. — Она им помощница, но я в это не верю.

И в три прыжка он очутился у стены дома. В его

отваге было что-то лихорадочное.

Приятели, дрожа, последовали его примеру: один стал слева, другой справа от него, и оба прижались к нему так крепко, точно приросли. Дети припали ухом к стене. Призраки все еще вели беседу.

В доме разговаривали по-испански и вот о чем:

— Значит, решено?

— Решено.

— Условлено?

— Условлено.

— Человек будет ждать здесь. Может он отправиться в Англию с Бласкито?

— За плату?

— За плату.

— Бласкито возьмет его в свою лодку.

— Не допытываясь, откуда он?

— Дело не наше.

— Не спрашивая его имени?

— Имя неважно, был бы кошелек полон.

— Хорошо. Он подождет в доме.

— Пусть запасется едой.

— Еда будет.

— Где?

— В саквояже, который я принес.

— Очень хорошо.

— Оставить его здесь можно?

— Контрабандисты не воры.

— А вы-то сами когда уезжаете?

— Завтра утром. Был бы ваш знакомец готов, уехал бы с нами.

— Он еще не готов.

— Дело его.

— Сколько дней придется ему ждать в этом доме?

— Два, три, четыре. Может, меньше, может, больше.

— Бласкито приедет наверняка?

— Наверняка.

— Сюда, в Пленмон?

— В Пленмон.

— Когда?

— На будущей неделе.

— В какой день?

— В пятницу, в субботу или в воскресенье.

— Он не обманет?

— Он мой тезка.

— И приезжает в любую погоду?

— В любую. Он не знает страха. Я Бласко, он Бласкито.

— Значит, он непременно будет на Гернсее?

— Один месяц езжу я, другой — он.

— Понимаю.

— Считая с будущей субботы, то есть ровно через неделю, не пройдет и пяти дней, как Бласкито будет здесь.

— Ну а если море разбушуется?

— Если будет ненастье?

— Да.

— Бласкито задержится, но приедет.

— Откуда?

— Из Бильбао.

— Куда он направится?

— В Портланд.

— Хорошо.

— Или в Торбэй.

— Еще лучше.

— Пусть ваш знакомец не беспокоится.

— Бласкито не выдаст?

— Только трус — предатель. А мы народ смелый. Не горит лед, не предаст мореход.

— Никто не слышит наш разговор?

— Нас нельзя ни услышать, ни увидеть. Страх превратил это место в пустыню.

— Знаю.

— Кто осмелится нас подслушать?

— Верно.

— А если бы подслушали, то не разобрались

бы. Мы говорим на своем языке, его тут никто не знает. А вы знаете, значит, вы свой.

— Я пришел договориться с вами.

— Так.

— Теперь я ухожу.

— Ну что ж.

— А если пассажир захочет, чтобы Бласкито повез его не в Портланд и не в Торбэй, а куда-нибудь еще подальше?

— Пусть приготовит вдвое больше пистолей.

— Тогда Бласкито сделает все, что захочет пассажир?

— Бласкито сделает все, что захотят пистоли.

— Долог ли путь до Торбэя?

— Как будет угодно ветру.

— Часов восемь?

— Может, больше, может, меньше.

— Бласкито послушается пассажира?

— Если море послушается Бласкито.

— Ему хорошо заплатят.

— Золото — золотом, а ветер — ветром.

— Это верно.

— Человек при помощи золота делает, что может. Бог при помощи ветра делает, что хочет.

— Тот, кто собирается уехать с Бласкито, будет здесь в пятницу.

— Хорошо.

— В какое время прибудет Бласкито?

— Ночью. Ночью приплываем, ночью отплываем. Море — жена нам, а темная ночь — сестра. Жена, случается, изменит; сестра — никогда.

— Ну, все решено. Прощайте, молодцы.

— Доброй ночи. А водки на дорогу?

— Благодарю.

— Это почище наливки.

— Итак, вы дали мне слово.

— Мое прозвище — «Честное слово».

— Прощайте.

— Вы — джентльмен, я — рыцарь.

Само собою разумеется, что только бесы могли вести такой непонятный разговор. Дети не стали слушать дальше и на этот раз пустились со всех ног, ибо, наконец, пробрало даже француза, — он бежал быстрее всех.

Во вторник на следующей неделе сьер Клюбен снова привел Дюранду в Сен-Мало.

«Тамолипас» все еще стоял на рейде.

Между двумя затяжками трубки сьер Клюбен спросил у хозяина «Гостиницы Жана»:

— Когда же снимается этот самый «Тамолипас»?

— Послезавтра, в четверг, — ответил хозяин.

В тот же вечер Клюбен, поужинав за столом береговой охраны, против обыкновения вышел из дома. Вот почему его и не было в конторе Дюранды; он не принял почти никакого груза на пароход. Поступок этот был необычен для такого исполнительного человека.

Кажется, он беседовал несколько минут со своим приятелем менялой.

Вернулся он через два часа после того, как колокол на ногетской колокольне подал сигнал тушить огонь. Сигнал дают в десять часов. Значит, уже была полночь.

VI

Лет сорок тому назад в Сен-Мало был переулок под названием Кутанше. Теперь переулка нет, ибо он попал в план работ по переустройству города и его снесли.

В два ряда, склонясь друг к другу, стояли там деревянные дома, разделенные сточной канавой, — она-то и называлась улицей. Пешеходы пробирались, расставляя ноги циркулем, ступая по краям канавы, то и дело задевая головой и локтями дома, стоявшие справа и слева. У дряхлых построек эпохи нормандского Средневе-

ковья почти человеческие профили; тут каждая развалина смахивает на колдунью. Нижние этажи, словно вдавшиеся внутрь, выступающие верхние, изогнутые навесы, ржавые железные украшения, торчащие отовсюду, прикидываются подбородками, губами, носами и бровями. Слуховое оконце — глаз, и глаз кривой. Обомшелая, растрескавшаяся стена — щека. Дома наклоняются лбами друг к другу, будто замышляя злодеяние. Разбойничье гнездо, притон, вертеп — названия, созданные в старину, — связаны с этими образцами зодчества.

Самый большой, самый заметный или самый примечательный дом в переулке Кутанше назывался Жакресардой.

Жакресарда была домом для бездомных. Повсюду в городах, а в морских портах особенно, есть подонки общества. Это личности настолько темные, что часто само правосудие не может установить, кто они такие. Праздношатающиеся дармоеды, изворотливые ловцы случая, шарлатаны всех мастей, вечно пытающие счастье; грязное рубище всех видов, и все способы его носить; прогоревшие жулики, нравственные банкроты, человеческие жизни, потерпевшие крах, неудачливые воры (ибо крупные хищни-

ки так низко не падают), мастера и мастерицы зла, пройдохи и потаскушки, совесть, протертая до дыр, и прорванные локти, отъявленные мошенники, докатившиеся до нищеты, негодяи, не добившиеся богатства, все те, кто побежден в социальном поединке, голодающие, а некогда пожиратели, мелкота из преступного мира, нищие — и в прямом, и в переносном, скорбном, значении слова, — таков этот люд.

Здесь человек представлен в скотском образе. Здесь свалка душ. Все это накапливается в какой-нибудь дыре, где изредка прохаживается метла, называемая полицейской облавой. Жакресарда в Сен-Мало и была такой дырой.

В подобных вертепах не найдешь закоренелых преступников, бандитов, грабителей — этого страшного порождения невежества и нужды. Если и попадется убийца, то это озверевший пьяница, а воры, как правило, — мелкие карманники. Здесь все, что общество скорее отплевывает, чем изрыгает. Тут бродяги, а не насильники. Но доверяться им нельзя. На этой последней ступени человеческого падения встречаются беспримерные злодеи. Однажды, закинув сети в Эписье, — а для Парижа это было тем же, чем Жакресарда для Сен-Мало, — полиция поймала Ласнера.

Такие убежища приемлют всех и вся. Падшие равны между собой. Порою сюда скатывается и доведенная до нищеты порядочность. Известно, что даже честные и добродетельные люди не защищены от превратностей судьбы. Слепо преклоняться перед Лувром и презирать острог — ошибочно. Общественное уважение, так же как и всеобщее порицание, требует пересмотра. Бывают всякие неожиданности. Ангел в доме терпимости, жемчужина в навозной куче, — такая странная, невероятная находка возможна.

Жакресарда больше напоминала двор, чем дом, и даже не двор, а колодец. На улицу ее окна не выходили. Передним фасадом служила высокая стена, в которой были пробиты низкие ворота. Во двор попадали, подняв щеколду и толкнув створку ворот.

В середине двора виднелась круглая яма, обложенная камнями вровень с землей. То был колодец. Двор был мал, а колодец велик. Выщербленные плиты двора обрамляли закраину колодца.

Квадратный двор был застроен с трех сторон. Со стороны улицы — стена; прямо против ворот, а также справа и слева — жилые помещения.

Если бы вы вошли туда на свой страх и риск,

когда стемнеет, то услышали бы шум, похожий на дыхание толпы, и если бы луна и звезды осветили силуэты, неясно различаемые во тьме, то вы увидели бы такую картину:

Двор. Колодец. Против входной двери — навес; что-то вроде подковы, но подковы квадратной; открытая галерея, источенная червями, каменные столбы там и сям подпирают ее бревенчатый потолок, колодец посреди, а вокруг колодца, на соломенной подстилке, будто четки, — протертые подошвы, стоптанные каблуки, пальцы, вылезающие из дырявых башмаков, и множество голых пяток: ноги мужчин, ноги женщин и ноги детей. И все эти ноги спят.

Подальше, под навесом, глаз различал в полутьме человеческие фигуры, туловища, головы, безжизненно вытянутые тела, объятые сном. Тут в смраде и тесноте вповалку лежали мужчины и женщины — невообразимо жалкое человеческое отребье. Спальня была открыта для любого. Плата — два су в неделю. Ноги спящих упирались в колодец. Ненастными ночами дождь заливал ноги; зимними ночами снег засыпал тела.

Что же это были за люди? Неизвестные. Они приходили сюда вечером, а утром их уже не было. Наш социальный строй кишит такими

ночными духами. Некоторые прокрадывались на одну ночь и не платили. Многие ничего не ели с самого утра. Все виды порока, низости, гнусности, скорби; общий сон в изнеможении на общем ложе из грязи. Сновидения этих душ тоже были добрыми соседями. Угрюмое место встречи, где люди копошились и смешивались в зловонных испарениях; усталость, изнеможение, пьяный перегар, дневные мытарства без куска хлеба, без луча надежды, синева сомкнутых век, муки совести, вожделения, мусор в растрепанных волосах, потухшие взгляды, быть может, греховные поцелуи. Гниль человеческая бродила в этом чане. Людей закинули в этот вертеп скитания, рок, пришедший накануне корабль, освобождение из тюрьмы, случай, ночь. Судьба ежедневно опорожняла здесь свой мусорный ящик. Входи, кто хочет, спи, кому спится, говори, кто осмелится. Впрочем, голоса никто не подавал. Всякий спешил слиться с остальными. Старался найти забвение в сне, потому что нельзя раствориться во мраке. И брал от смерти что возможно.

Люди смежали веки в общей агонии, возобновлявшейся ежевечерне. Откуда появились они? Из недр общества, ибо они — отверженные; из моря житейского, ибо они — грязная его пена.

Соломы хватало не всякому. Не одно полуголое тело валялось прямо на камнях; ложились изнуренными, вставали разбитыми. Зияющий колодец без ограды и навеса был тридцати футов глубиной. В него лился дождь, просачивались нечистоты, стекали ручейки со всего двора. Бадья стояла рядом. Кого мучила жажда, пил. Кого мучила тоска, топился. Сон в грязи сменялся вечным сном. В 1819 году из колодца вытащили четырнадцатилетнего мальчика.

«Своим» в этом заведении не угрожала опасность. На «чужаков» смотрели косо.

Был ли знаком между собой весь этот люд? Нет. Здесь чутьем распознавали друг друга.

Ночлежку содержала молодая и недурная собой женщина с деревянной ногой, носившая чепец с лентами и изредка умывавшаяся колодезной водой.

На рассвете двор пустел, голытьба разлеталась.

Во дворе целый день рылись в навозной куче петух и куры. Двор пересекала прямая перекладина на столбах, она напоминала виселицу, вполне уместную в такой обстановке. Нередко по утрам, если накануне вечером шел дождь, на перекладине висело для просушки мокрое и грязное шелковое платье хромой хозяйки.

Над галереей, тоже изгибаясь подковой, тянулся одноэтажный жилой дом с чердачным помещением. Деревянная прогнившая лестница вела наверх, прорезая потолок галереи; по шатким ступеням, громыхая деревяшкой, поднималась нетвердым шагом хозяйка.

Временные жильцы, платившие понедельно или посуточно, помещались во дворе, постоянные жильцы — в доме.

Оконные рамы без стекол, косяки без дверей, трубы без печей — это и называлось домом. Из комнаты в комнату проходили через четырехугольное отверстие, которое прежде было дверью, или через треугольную дыру между стойками полуразрушенной перегородки. На полу валялись куски обвалившейся штукатурки. Дом держался чудом. От ветра он шатался. Люди с трудом взбирались по скользким истертым ступеням. Стены потрескались. Дом вбирал в себя зимнюю стужу, как губка воду. Впрочем, обилие пауков предвещало, что он еще не скоро обвалится. Мебели не было. По углам — два-три разодранных соломенных тюфяка, но в них больше трухи, чем соломы. Кое-где — кружка или глиняная посудина для всяких надобностей. Тошнотворный, гадкий запах.

Из окон виднелся двор. Сверху он был похож

на телегу мусорщика, набитую до отказа. Нельзя описать не только людей, но и все, что там гнило, ржавело, плесневело. То было смешение всевозможных отбросов; их роняли стены, их кидали люди. Мусор был усеян отрепьями.

Кроме временных постояльцев, ютившихся во дворе Жакресарды, там было трое старожилов — угольщик, тряпичник и алхимик. Угольщик и тряпичник занимали два соломенных тюфяка в нижнем этаже; алхимик-изобретатель расположился на чердаке, который неведомо почему назывался мансардой. Где спала хозяйка, неизвестно. Изобретатель был отчасти и поэтом. Он жил на вышке, под черепичной крышей, в комнате с узким слуховым окном и огромным камином, где, как в ущелье, завывал ветер. Слуховое окно было без стекла, и алхимик забил его куском железа от корабельной обшивки. Окно почти не пропускало света, зато впускало холод. Угольщик время от времени платил за постой мешком угля; тряпичник еженедельно платил мерой зерна для кур; алхимик ничего не платил. В ожидании будущих богатств он по частям сжигал дом. Он отодрал от стен остатки деревянных панелей и ежеминутно выдергивал дранку то из потолка, то из крыши, чтобы поддержать огонь

под котелком, в котором готовилось «золото». На перегородке, над подстилкой тряпичника, виднелись два столбца цифр, написанных мелом рукой тряпичника, который выводил их неделя за неделей; один столбец состоял из троек, а другой из пятерок, смотря по тому, сколько стоила мера зерна — три лиара или пять сантимов. Посудиной для варки «золота» алхимику служила пустая разбитая бомба, произведенная им в чин котелка, — в ней он составлял снадобье для сплава. Он был поглощен идеей превращения. Иногда он разглагольствовал об этом во дворе, на потеху босякам. Он говорил о них: «Этот народ полон предрассудков». Он решил не умирать, пока не швырнет философский камень в лицо науке. Но его ненасытный очаг требовал много топлива. Уже исчезли лестничные перила. Весь дом превращался в пепел на его медленном огне. Хозяйка говорила: «Пожалуй, мне одни стены останутся». Он ее обезоруживал, посвящая ей стихи. Такова была Жакресарда.

Слугой там был не то мальчишка, не то зобастый карлик то ли двенадцати, то ли шестидесяти лет, не выпускавший из рук метлы.

Завсегдатаи входили через калитку, остальные посетители — через лавку.

Что же это была за лавка?

В высокой стене на улице, справа от калитки, было пробито прямоугольное отверстие, служившее и дверью, и окном со ставнями, и рамой — единственные во всем доме ставни на петлях и с задвижками, единственная застекленная рама. За этим окном, выходившим на улицу, помещалась каморка, пристроенная к галерее-ночлежке. Над дверью виднелась надпись, сделанная углем: «Здесь торгуют редкостями». Выражение это уже и тогда было в ходу. За стеклом на трех полках, прилаженных в виде горки, красовались фаянсовые кувшины без ручек, разрисованный китайский зонтик, весь в дырах, не открывавшийся и не закрывавшийся, бесформенные обломки медной и глиняной посуды, продавленные мужские и дамские шляпы, две-три раковины, связки старых костяных и медных пуговиц, табакерка с изображением Марии-Антуанетты и разрозненный том Алгебры Буабертрана. Такова была лавка. Таков был выбор «редкостей». Черный ход из лавки вел во двор с колодцем. В лавке стояли стол и табуретка. Продавщицей была женщина с деревянной ногой.

VII. Ночные покупатели и таинственный продавец

Во вторник вечером Клюбен не показывался в «Гостинице Жана», не был он там и в среду вечером.

В этот день, когда начало смеркаться, в переулке Кутанше появилось двое мужчин; они остановились у Жакресарды. Один из них постучался. Дверь лавчонки открылась. Они вошли. Женщина с деревянной ногой одарила их улыбкой, которая предназначалась только для людей почтенных. На столе горела свеча.

Действительно, пришельцы были люди почтенные.

Тот, кто стучал, произнес: «Здравствуйте, хозяйка. Пришел за обещанным».

«Деревянная нога» снова одарила его улыбкой и вышла через черный ход во двор с колодцем. Немного погодя дверь снова приотворилась и пропустила какого-то мужчину. На нем был картуз и блуза; блуза топорщилась, под ней было что-то спрятано. В ее складках застряли соломинки, глаза у человека были заспанные.

Он подошел ближе. Все молча оглядели друг друга. У человека в блузе было тупое и хитрое лицо. Он спросил:

— Вы, значит, оружейник?

Тот, кто постучался в дверь, ответил:

— Да. А вы, значит, Парижанин?

— Именно. По кличке Краснокожий.

— Показывайте.

— Глядите.

Парижанин вытащил из-под блузы редкостное для тех времен в Европе оружие — револьвер.

Револьвер был новый, блестящий. Посетители стали его рассматривать. Тот, кому, видимо, было знакомо это заведение и кого человек в блузе назвал оружейником, взвел курок. Он передал револьвер спутнику, стоявшему спиной к свету, — посетитель этот не походил на местных жителей.

Оружейник спросил:

— Сколько?

Человек в блузе ответил:

— Я привез его из Америки. Есть такие чудаки, которые тащат с собой обезьян, попугаев, всякое зверье, как будто французы — дикари. Ну а я привез вот эту вещичку. Полезное изобретение.

— Сколько? — повторил оружейник.

— Пистолет с вращающимся барабаном.

— Сколько?

— Паф! Первый выстрел. Паф! Второй. Паф!.. Выстрелы градом. Что скажете? Работает на совесть!

— Сколько?

— Шестизарядный!

— Ну так сколько же?

— Шесть зарядов — шесть луидоров.

— Согласны на пять?

— Никак невозможно. По луидору за пулю. Вот моя цена.

— Хотите покончить с делом, говорите толком.

— Я сказал правильную цену. Поглядите-ка на товар, господин стрелок.

— Поглядел.

— Барабан вертится, как господин Талейран. Можно бы эту вертушку поместить в Справочнике флюгеров. Ох, и хороша машинка!

— Видел.

— А ствол-то — испанской ковки.

— Заметил.

— И сделано из стальных лент. Вот как приготовляют эти ленты: в горн вываливают корзину со всяким железным ломом. Берут любой железный хлам — ржавые гвозди, обломки подков…

— И старые лезвия от кос.

— Только что хотел сказать об этом, господин оружейник. Подложат под эту дрянь жару сколько нужно, и вот тебе расчудесный стальной сплав…

— Да, но в нем могут оказаться трещины, раковины, неровности.

— Еще бы! Но неровности сгладишь напилком, а от продольных трещин избавишься при сильной ковке. Сплав обрабатывают тяжелым молотом, потом еще разок-другой поддают жару; если сплав перекален, то его подправляют жирной смазкой и снова легонько куют. Ну а потом вытягивают, навертывают на цилиндр, и из этих-то железных полос, черт его знает как, получаются готовенькие револьверные стволы.

— В таких делах вы, видно, мастер!

— Я на все руки мастер.

— У ствола какой-то голубоватый отлив.

— В этом вся красота, господин оружейник. А получается он при помощи жирной сурьмы.

— Итак, решено, платим пять луидоров.

— Позволю себе заметить, сударь, что я имел честь назначить шесть луидоров.

Оружейник заговорил вполголоса:

— Послушайте, Парижанин. Пользуйтесь случа-

ем. Сбудьте это с рук. Вашему брату такое оружие не к лицу. С ним живо попадетесь.

— Это-то верно, — подтвердил Парижанин, — вещица в глаза бросается. Человеку с положением больше подходит.

— Согласны на пять луидоров?

— Нет, шесть. По одному за заряд.

— Ну, а шесть наполеондоров?

— Сказал — шесть луидоров.

— Выходит, вы не бонапартист, раз предпочитаете Луи Наполеону!

Парижанин, по кличке Краснокожий, ухмыльнулся.

— Наполеон получше. Но Луи — повыгоднее.

— Шесть наполеондоров.

— Шесть луидоров. Для меня это разница в двадцать четыре франка…

— Значит, не столкуемся.

— Что ж, оставлю себе безделушку.

— Ну и оставляйте.

— Спустить цену! Чего захотели! Уж никто не скажет, что я продешевил такую вещь. Ведь это новое изобретение.

— В таком случае прощайте.

— Усовершенствованный пистолет. Индейцы племени чизапиков называют его «Нортей-у-Га».

— Пять луидоров наличными и в золоте.

— «Нортей-у-Га» — значит «короткое ружье». Многие понятия об этом не имеют.

— Ну, согласны на пять луидоров и экю в придачу?

— Уважаемый, я сказал: шесть луидоров.

Человек, стоявший спиной к свету, до сих пор н вмешивался в разговор и на все лады вертел в руках револьвер. Но тут он подошел к оружейнику и шепнул ему на ухо:

— Вещь стоящая?

— Превосходная.

— Плачу шесть луидоров.

Минут пять спустя, пока Парижанин, он же Краснокожий, прятал за пазуху, в потайной карман блузы, шесть только что полученных золотых монет, оружейник и покупатель, положивший револьвер в карман брюк, выходили из переулка Кутанше.

VIII. Карамболь красным и черным шаром

На другой день, в четверг, неподалеку от Сен-Мало, близ мыса Деколле, в том месте, где берег высок, а море глубоко, разыгралась трагедия.

Скалистая коса, в виде наконечника пики, соединенная с сушей узким перешейком, у моря резко обрывается и нависает над ним гранитной кручей; океан часто возводит такие сооружения. Чтобы добраться с побережья до площадки на отвесной скале, нужно одолеть подъем, местами довольно трудный.

На такой вот скале, в четвертом часу дня, стоял человек в широком форменном плаще с капюшоном, видимо вооруженный, что нетрудно было отгадать по тому, как топорщились складки плаща. Вершина, на которой стоял человек, представляла собою довольно обширную площадку, усеянную глыбами скал кубической формы, похожими на булыжники непомерной величины; между ними пролегали узкие проходы. Со стороны моря край площадки, заросшей низкой и густой травой, кончался крутым откосом. Откос достигал шестидесяти футов высоты над поверхностью моря во время прилива и точно был высечен по отвесу. Правда, слева он начинал осыпаться, превращаясь в одну из тех естественных лестниц, что часто попадаются на скалистых берегах; ступени ее не очень удобны: по ним то шагаешь великаньими шагами, то прыгаешь как клоун. Скалы тут отвесно спускались к морю и

тонули в нем. Сломать себе шею было нетрудно. И все же этим путем можно было добраться до самого подножия стены и сесть в лодку.

Дул северный ветер. Человек в плаще твердо стоял на ногах, поддерживая левой рукой локоть правой, и, зажмурив один глаз, другим смотрел в подзорную трубу. Он замер над самым обрывом, не отводя взгляда от горизонта. Прилив нарастал. Далеко внизу волны били о скалы.

Человек следил за судном в открытом море; с этим судном на самом деле творилось что-то странное.

Час тому назад корабль покинул порт Сен-Мало и теперь вдруг остановился за утесами Банкетье. То был трехмачтовый корабль. Якоря он не бросил, может быть, оттого, что не позволило дно, а может быть, и оттого, что якорь попал бы под водорез корабля. Он ограничился тем, что лег в дрейф.

Человек — береговой сторож, как свидетельствовал о том его форменный плащ, — следил за судном и, казалось, мысленно отмечал каждое его движение. Корабль лег в дрейф, на это указывали прильнувший к мачте фор-марсель и наполненный ветром грот-марсель; бизань-шкот был натянут, а крюйсель обрасоплен как можно

ближе к ветру, таким образом паруса парализовали действие друг друга, и это не позволяло судну ни продвигаться вперед, ни отплывать далеко назад, в море. Корабль, видимо, не хотел подставлять себя ветру, так как фор-марсель был поставлен перпендикулярно килю. Течение уносило судно, лежащее в дрейфе, от берега не более чем на пол-лье в час.

Было еще совсем светло, особенно в открытом море и на вершинах утесов. Но внизу, на берегу, смеркалось.

Сторож был поглощен своим делом: наблюдая за тем, что происходит в море, он и не подумал посмотреть назад или вниз, на подножие скалы, на которой находился. Он повернулся спиной к крутой лестнице, соединявшей площадку утеса с океаном. Там кто-то двигался, он этого не замечал. А между тем на лестнице, за выступом, притаился человек, как видно, спрятавшийся до прихода берегового сторожа. То и дело из-за скалы показывалась чья-то голова, кто-то, стоя в тени, поглядывал вверх и подкарауливал караульщика. Голова в широкополой американской шляпе принадлежала тому квакеру, который десять дней назад разговаривал в скалах Малой бухты с капитаном Зуэлой.

Вдруг сторож стал всматриваться с удвоенным вниманием. Он поспешно протер суконным рукавом подзорную трубу и быстро навел ее на парусник.

От судна отделилась черная точка.

Черная точка, походившая на муравья в море, была шлюпкой.

Лодка, очевидно, направлялась к берегу. Дружно гребли матросы, сидевшие на веслах.

Судя по всему, лодка направлялась к мысу Декомле.

Внимание берегового сторожа было напряжено до предела. Он не упускал из виду ни одного движения гребцов. Он подошел еще ближе к краю площадки.

И тут, на верхней ступени лестницы, сзади него, словно из-под земли, появился рослый мужчина, квакер. Караульщик его не видел.

Квакер постоял секунду, опустив руки с судорожно сжатыми кулаками, и взглядом целящегося охотника впился в спину берегового сторожа.

Их отделяло шага четыре. Он ступил и остановился, опять шагнул и снова остановился; шагая, он не делал ни одного лишнего движения, он словно превратился в статую, бесшумно скользившую по траве. Сделав еще шаг, он остановился

снова и застыл на месте; он почти касался сторожа, все так же неподвижно смотревшего в подзорную трубу. Человек в шляпе медленно поднял крепко стиснутые кулаки, прижал их к плечам и, внезапно выпрямив руки, словно выстрелив кулаками, обрушил их на спину караульного. Удар был роковой. Сторож даже не успел крикнуть. Он упал в море вниз головой. С быстротой молнии мелькнули его подошвы. Он камнем пошел ко дну. И море сомкнулось.

Два-три больших круга расплылись по темной поверхности волн.

На траве осталась лишь подзорная труба, выпавшая из рук сторожа.

Квакер наклонился над обрывом, наблюдая, как исчезают круги, выждал несколько минут и выпрямился, напевая сквозь зубы:

Умер чин полиции —

Жизнь он потерял.

Он наклонился еще раз. Ничто не показалось из глубины. Только на том месте, где утонул сторож, на поверхности воды появился бурый налет — он разливался по зыби. Вероятно, сторож, падая, разбил голову о подводный камень. Всплывшая кровь окрасила пену. Квакер запел снова, глядя

на красноватое пятно:

Ах, до сей позиции
Он еще дышал…

Песенка оборвалась.

Позади него раздались слова, произнесенные вкрадчивым голосом:

— Вот и вы, Рантен. Здравствуйте. Сейчас вы совершили убийство.

Рантен обернулся и увидел шагах в пятнадцати от себя, в проходе между двумя скалами, невысокого человека с револьвером в руке.

— Как видите, да, — ответил он. — Здравствуйте, сьер Клюбен.

Человек вздрогнул:

— Вы меня узнали?

— Ведь вы-то узнали меня, — заметил Рантен.

Слышался шум весел. Приближалась та самая шлюпка, за которой следил береговой сторож.

Сьер Клюбен проговорил вполголоса, как бы про себя:

— Обделано в два счета.

— Что вам от меня угодно? — спросил Рантен.

— Да так, пустяки. Мы с вами не виделись ровнехонько десять лет. Вы, должно быть, преуспели. Как чувствуете себя?

— Хорошо, — сказал Рантен. — А вы?

— Очень хорошо, — ответил сьер Клюбен.

Рантен шагнул по направлению к сьеру Клюбену.

Раздался негромкий отрывистый звук. Сьер Клюбен взвел курок револьвера.

— Рантен! Нас разделяют пятнадцать шагов. Расстояние самое подходящее. Стойте где стоите.

— Вот как! Да что вам от меня надо?

— Я пришел поболтать с вами.

Рантен не шелохнулся. Сьер Клюбен продолжал:

— Вы только что убили берегового сторожа.

Рантен приподнял шляпу и ответил:

— Я уже имел честь это слышать.

— Не в столь точных выражениях. Я сказал: «Совершили убийство»; теперь я говорю: «Убили берегового сторожа». Сторожа за номером шестьсот девятнадцать. Отца семейства. После него осталась жена и пятеро детей.

— Вполне возможно, — согласился Рантен.

После короткой паузы Клюбен сказал:

— Береговые сторожа — ребята отборные, почти все — бывшие моряки.

— Я давно приметил, что вдова с пятью детьми — обычное явление, — вставил Рантен.

Сьер Клюбен продолжал:

— Отгадайте-ка, сколько стоил мне револьвер.

— Хорошая штука, — сказал Рантен.

— Сколько бы вы за нее дали?

— Я бы дал много.

— Он мне обошелся в сто сорок четыре франка.

— Должно быть, куплен в оружейной лавке в переулке Кутанше, — заметил Рантен.

Клюбен продолжал:

— Сторож-то даже не вскрикнул. Когда падаешь, перехватывает дыхание.

— Сьер Клюбен! Нынче ночью будет сильный ветер.

— Только я знаю тайну.

— Вы по-прежнему останавливаетесь в «Гостинице Жана»? — спросил Рантен.

— Да, там неплохо.

— Мне помнится, я там едал отличную кислую капусту.

— У вас, видно, бычья силища, Рантен. Какие плечи! Не хотел бы я получить от вас затрещину. А я вот родился таким заморышем, что даже выходить меня не надеялись.

— К счастью, выходили.

— Да, я по-прежнему останавливаюсь в нашей старой «Гостинице Жана».

— Угадайте, сьер Клюбен, почему я вас узнал? Потому что вы узнали меня. Я сразу подумал: тут нужен нюх Клюбена.

Он сделал шаг вперед.

— Вернитесь на то место, где вы стояли, Рантен.

Рантен отошел, буркнув себе под нос:

— Становишься ребенком, как увидишь такую игрушку.

Сьер Клюбен продолжал:

— Обстановка такова. Вправо, в сторону Сент-Энога, шагах в трехстах от нас, другой береговой сторож, номер шестьсот восемнадцать, пока еще живехонек; влево, по направлению к Сен-Люнер, таможенный пост. Семеро вооруженных молодцов поспеют сюда за пять минут. Скала будет оцеплена, перешеек взят под наблюдение. Улизнуть не удастся. А у подножия скалы — труп.

Рантен метнул косой взгляд на револьвер.

— Вы правы, Рантен. Игрушка хороша. Быть может, заряжена только порохом. Но это ничего не значит. Достаточно одного выстрела, и сбежится вся охрана. А у меня их шесть в запасе.

Мерные удары весел уже звучали отчетливо. Лодка была неподалеку.

Высокий смотрел на низенького странным

взглядом. Все миролюбивее, все вкрадчивее становился голос Клюбена:

— Рантен! Гребцы в лодке, которая сюда подплывает, окажут вооруженную помощь при вашем аресте, узнав, что вы сейчас совершили убийство. Вы платите капитану Зуэле десять тысяч франков за проезд. Между прочим, пленмонские контрабандисты взяли бы дешевле; правда, они доставили бы вас только в Англию, а кроме того, вам опасно появляться на Гернсее, где кое-кто имеет честь вас знать. Итак, возвращаюсь к создавшемуся положению. Стоит мне выстрелить, и вас арестуют. Вы должны уплатить капитану Зуэле десять тысяч франков. Пять тысяч вы уже внесли вперед. Зуэла прикарманит ваши пять тысяч и скроется. Так-то, Рантен. А вы ловко перерядились. Шляпа, потешный костюм и гетры здорово вас изменили. Вы упустили из вида только очки. Но хорошо, что вы отрастили бакенбарды.

Рантен не то усмехнулся, не то заскрежетал зубами. Клюбен продолжал:

— Рантен! На вас американские штаны с двойными карманами. В одном из них часы. Можете оставить их себе.

— Очень благодарен, сьер Клюбен.

— В другом — ларчик кованого железа; он открывается и закрывается при помощи пружины. Старинная матросская табакерка. Выньте-ка ее и бросьте мне.

— Но это просто грабеж!

— Зовите на помощь, дело ваше.

Клюбен пристально посмотрел на Рантена.

— Послушайте, месс Клюбен… — сказал Рантен, шагнув вперед с протянутой рукой.

«Месс» было сказано из желания польстить.

— Стойте на месте, Рантен.

— Месс Клюбен! Давайте столкуемся. Предлагаю вам половину.

Клюбен скрестил на груди руки, но дуло револьвера было наведено на Рантена.

— За кого вы меня принимаете, Рантен? Я человек честный.

Помолчав, месс Клюбен прибавил:

— Мне нужно все.

Рантен пробормотал сквозь зубы: «Ну и пройдоха!»

Глаза Клюбена сверкнули. Голос зазвенел металлом, резко и сильно. Он воскликнул:

— Я вижу, вы заблуждаетесь. Грабителем можно назвать вас, я же — тот, кто возвращает похищенное. Слушайте, Рантен. Однажды ночью, десять

лет тому назад, вы покинули Гернсей, взяв из кассы одного предприятия пятьдесят тысяч франков, принадлежавших вам, но забыв оставить там пятьдесят тысяч франков, принадлежавших другому. Пятьдесят тысяч франков, украденные вами у вашего компаньона, превосходного, достойного человека, месса Летьери, составляют теперь вместе с процентами за десять лет восемьдесят тысяч шестьсот шестьдесят шесть франков шестьдесят шесть сантимов. Вчера вы заходили к меняле. Я назову его: Ребюше, улица Сен-Венсан. Вы отсчитали ему семьдесят шесть тысяч франков билетами французского банка, которые он вам обменял на три английских банкнота в тысячу фунтов стерлингов каждый и кое-какую мелочь в придачу. Банкноты вы спрятали в железную табакерку, а табакерку в правый карман. Три тысячи фунтов стерлингов составляют семьдесят пять тысяч франков. От имени месса Летьери я удовольствуюсь ими. Завтра я отправляюсь на Гернсей и возвращу ему деньги. Рантен! Вон то судно, что лежит в дрейфе, — «Тамолипас». Сегодня ночью вы переправили туда свои чемоданы вместе с вещами и багажом экипажа. Вы собираетесь покинуть Францию. На сей предмет у вас свои соображения. Вы отправляетесь

в Арекипу. За вами послана лодка. Вы ее ждете. Она подплывает. Слышны удары весел. В моей власти задержать вас или отпустить. Довольно разговоров. Бросайте мне табакерку.

Рантен расстегнул карман, вынул коробочку и швырнул ее Клюбену. То была железная табакерка. Она покатилась к ногам Клюбена.

Клюбен присел, не нагибая головы, и поднял табакерку левой рукой, не сводя с Рантена глаз и дула револьвера со всеми шестью зарядами.

Затем крикнул:

— Ну-ка, дружок, повернитесь ко мне спиной.

Рантен повернулся.

Сьер Клюбен, зажав револьвер под мышкой, надавил на пружину табакерки. Коробочка открылась.

Там лежали четыре банкнота: три по тысяче и один в десять фунтов.

Клюбен снова сложил три тысячефунтовых билета, спрятал в железную табакерку, запер ее и сунул в карман.

Потом поднял с земли голыш, завернул его в десятифунтовый билет и сказал:

— Повернитесь.

Рантен повернулся.

Сьер Клюбен продолжал:

— Я уже вам сказал, что удовольствуюсь тремя тысячами фунтов. Вот вам сдача — десять фунтов.

Он бросил Рантену камешек, обернутый кредиткой.

Рантен ударом ноги швырнул в море и банкнот и камешек.

— Как вам угодно. Видно, вы богач. Значит, мне беспокоиться нечего, — заметил Клюбен.

Шум весел, который все нарастал во время беседы, стих. Это означало, что лодка остановилась у подножия скалы.

— Карета подана. Можете садиться, Рантен.

Рантен направился к лестнице и начал спускаться вниз.

Клюбен осторожно подошел к обрыву и, вытянув шею, принялся наблюдать.

Лодка пристала к нижнему уступу скалы, как раз там, где утонул береговой сторож.

Глядя вслед Рантену, прыгавшему с уступа на уступ, Клюбен проворчал:

— Бедняга этот номер шестьсот девятнадцать! Воображал, что он здесь один. Рантен воображал, что они — вдвоем. И только один я знал, что нас тут трое.

Он заметил под ногами на траве подзорную

трубу, которую уронил сторож, и поднял ее.

Снова послышался плеск воды. Рантен прыгнул в лодку, и она поплыла в открытое море.

После первых взмахов весел, когда Рантен уже сидел в лодке и она стала удаляться от берега, он вдруг вскочил; его лицо исказила уродливая гримаса, и он закричал, потрясая кулаками:

— Эх! Сам дьявол и тот — мерзавец!

Немного погодя до скалы, на которой стоял Клюбен, следивший за лодкой в подзорную трубу, сквозь шум моря отчетливо донеслись слова, произнесенные зычным голосом:

— Сьер Клюбен! Хоть вы и честный человек, но я думаю, что вы одобрите мое намерение написать Летьери и оповестить его обо всем, что произошло. Кстати, в лодке находится гернсеец из команды «Тамолипаса» по имени Айе Тостевен, он вернется в Сен-Мало в следующий приезд Зуэлы и засвидетельствует, что я вам вручил для передачи мессу Летьери три тысячи фунтов стерлингов.

То был голос Рантена.

Клюбен принадлежал к породе людей, доводящих все до конца. Стоя неподвижно, как стоял береговой сторож, на том же месте, не отрываясь от подзорной трубы, он ни на миг не терял из

поля зрения уходившую лодку. Он видел, как она становится все меньше и меньше, то теряясь в волнах, то снова показываясь, видел, как она подошла к кораблю, лежавшему в дрейфе, как причалила, и даже разглядел высокую фигуру Рантена на палубе «Тамолипаса».

Лодку подняли на корабль и убрали на шлюпбалки. «Тамолипас» развернул паруса. Потянул береговой ветер, все паруса надулись; подзорная труба Клюбена все еще была наведена на силуэт корабля, постепенно терявший четкость очертаний, и через полчаса «Тамолипас» превратился в маленький черный завиток на горизонте, тающий в бледном вечернем небе.

IX. Полезные сведения для тех, кто ждет или боится писем из-за моря

В тот вечер сьер Клюбен вернулся поздно.

Одной из причин его позднего возвращения была прогулка до порта Динан, богатого питейными заведениями. В каком-то кабачке, где его никто не знал, он купил бутылку спиртного и сунул ее в широченный карман куртки, словно хотел спрятать; затем Клюбен отправился на пароход, чтобы убедиться, все ли в порядке, ибо Дюранда

должна была утром отчалить.

Когда сьер Клюбен вошел в «Гостиницу Жана», в нижней зале еще сидел старый капитан дальнего плавания Жертре-Габуро, потягивая пиво и покуривая трубку.

Жертре-Габуро приветствовал сьера Клюбена между затяжкой табака и глотком пива.

— Здорово, капитан Клюбен.

— Добрый вечер, капитан Жертре.

— Вот и «Тамолипас» отчалил.

— Да? А я и не заметил.

Капитан Жертре-Габуро сплюнул и продолжал:

— Убрался Зуэла.

— Когда же?

— Нынче вечером.

— Куда он держит путь?

— К черту на рога.

— Не сомневаюсь, но куда именно?

— В Арекипу.

— А я ничего и не слыхал, — сказал Клюбен и добавил: — Пора на боковую.

Он зажег свечу, пошел было к двери, но вернулся.

— Случалось вам бывать в Арекипе, капитан Жертре?

— Случалось. Немало лет тому назад.

— В какие порты заходили по пути?

— Во все понемножку, ненадолго. Но «Тамолипас» заходить не будет.

Капитан Жертре-Габуро вытряхнул пепел из трубки на тарелку и продолжал:

— Слыхали о люгере «Троянский конь» и красивой трехмачтовой шхуне «Трантмузен», что ушли в Кардиф? Я был против того, чтобы они выходили в непогоду. В хорошем же виде они вернулись. Люгер, нагруженный терпентином, дал течь, пришлось взяться за насосы, а с водой заодно выкачали весь груз. Особенно пострадала надводная часть шхуны; княвдегед, гальюн, фока-галсбоканец, шток якоря левого борта — все было разбито. Утлегарь начисто срезан у самого эзельгофта. Ватерштаги и ватербакштаги — поминай как звали. Фок-мачта хоть и получила здоровый толчок, однако ж легко отделалась. Все железные части бушприта сорваны, но, неслыханное дело, сам он только помят, хотя совершенно ободран. В обшивке левого борта дыра в добрых три квадратных фута. Вот что значит не слушаться людей!

Клюбен поставил свечу на стол и, перекалывая булавки, воткнутые в отворот куртки, проговорил:

— Вы, кажется, сказали, капитан Жертре, что

«Тамолипас» никуда заходить не будет?

— Да. Он идет прямо в Чили.

— Стало быть, он не даст о себе знать с дороги?

— Позвольте, капитан Клюбен. Во-первых, он может передавать письма всем встречным судам, идущим в Европу.

— Правильно.

— Во-вторых, в его распоряжении морской почтовый ящик.

— А что вы называете морским почтовым ящиком?

— Разве вы не знаете, капитан Клюбен?

— Нет.

— В Магеллановом проливе.

— Ну?

— Сплошной снег, бури без передышки, препротивные ветры, море — хуже некуда.

— И что же?

— Вы, скажем, обогнули мыс Монмут.

— Так. Дальше!

— Дальше, вы обогнули мыс Валентен.

— Ну, дальше!

— Дальше обогнули мыс Изидор.

— А потом?

— Потом мыс Анны.

— Так. Но что же вы называете морским почто-

вым ящиком?

— А вот мы до него и добрались. Горы справа, горы слева. Всюду пингвины, буревестники. Место страшное. Клянусь сотней тысяч угодников и тысячей обезьян в придачу, там ад кромешный. А грохот какой! Шквал на шквале! Вот где зорко следи за вин-транцем. Вот где вовремя убавляй паруса! Там-то и заменяй грот кливером, а кливер — штормовым кливером. Ветер налетает без устали. По четыре, по пять, а то и по семь дней лежишь в дрейфе. Частенько от новехоньких парусов остаются одни клочья. Тут попляшешь! Такие штормы, что трехмачтовые корабли скачут по волнам, как блохи. Я своими глазами видел, как с английского брига «Трю-блю» унесло ко всем чертям юнгу, работавшего на утлегаре, да и сам утлегарь в придачу. Взлетели на воздух, как бабочки, вот что! Я видел, как на красавице шхуне «Возвращение» сорвало боцмана с форсалинга и убило наповал. У меня на корабле сломало планширь и разбило вдребезги ватервейс. Если и вырвешься оттуда, парусов как не бывало. Пятидесятипушечный фрегат пропускает воду, точно корзина. А уж берег и вовсе проклятущий. Хуже не найти. Все скалы изрезаны, словно из озорства. Так вот, подходишь к Голодному порту

и тут из огня попадаешь в полымя. Страшнее волн в жизни не видел. Ад кромешный. И вдруг замечаешь два слова, выведенные красной краской: «Почтовая контора».

— Что вы этим хотите сказать, капитан Жертре?

— Я хочу сказать, капитан Клюбен, что сразу, как обогнешь мыс Анны, увидишь на камушке, футов эдак в сто высотой, длинный шест. К шесту подвешен бочонок. Бочонок-то и есть почтовый ящик. И нужно же было англичанам написать наверху: «Почтовая контора»! Во все суют нос. Ведь это океанская почта! Она вовсе не принадлежит достопочтенному джентльмену, королю Англии. Это общий почтовый ящик. Он принадлежит всем странам. «Почтовая контора»! Ну и чепуха! Увидишь и опешишь, будто сам дьявол поднес тебе чашку чаю. А почтовая служба выполняется так: какое судно ни пройдет, посылает к столбу шлюпку с письмами. Корабль с Атлантического океана отправляет письма в Европу, а корабль с Тихого — в Америку. Офицер, севший в шлюпку, кладет ваш пакет и берет пакеты, которые там прикопились. Ваше судно обязано доставить эти письма, а судно, проходящее после вас, доставит, куда надо, ваши. Суда идут в противоположных

направлениях, поэтому тот материк, откуда плывете вы, — место моего назначения. Я отвожу ваши письма, вы — мои. Бочонок прикручен к столбу цепью. А уж как там хлещет дождь! Как валит снег! Как бьет град! Окаянное море! Со всех сторон тучами несутся буревестники. Там-то и пройдет «Тамолипас». На бочонке крышка прочная, на шарнирах, но ни замка нет, ни задвижки. Теперь вы видите: и оттуда можно написать друзьям. Письма дойдут.

— Забавно, — задумчиво пробормотал Клюбен.

Капитан Жертре-Габуро отпил глоток пива из кружки.

— Предположим, проходимец Зуэла вздумает написать мне. Негодяй бросает свою мазню в бочонок у Магеллана, и я через четыре месяца получу каракули этого мерзавца. Да, кстати, капитан Клюбен, неужели вы завтра выйдете в море?

Клюбен, пребывавший в каком-то оцепенении, не услышал вопроса. Капитан Жертре переспросил.

Клюбен очнулся.

— Конечно, капитан Жертре. Как всегда, в этот день. Отправляюсь завтра с утра.

— На вашем месте я бы остался. Послушайте, капитан Клюбен: от собак пахнет мокрой псиной.

Морские птицы уже две ночи вьются у маяка, вокруг фонаря. Примета плохая. Мой барометр проказит. Сейчас луна в первой своей четверти, а в эту пору погода стоит самая сырая. Я сегодня видел, как столистник свернул листочки, а клевер в поле выпрямил стебли. Дождевые черви выползают из-под земли, мухи кусаются, пчелы не отлетают от улья, воробьи будто держат совет. Колокольный звон слышен издалека. Нынче вечером я слышал благовест из Сен-Люнера. К тому же солнце село за тучи. Завтра будет здоровый туман. Плыть не советую. По-моему, туман страшнее урагана. Что у него на уме, не угадаешь.

Книга шестая
Пьяный рулевой и трезвый капитан
I. Дуврские скалы

Милях в пяти от Гернсея, в открытом море, против Пленмонского мыса, между ламаншскими островами и Сен-Мало, цепью тянутся скалистые рифы, которые зовутся Дуврами. Это роковое место.

Немало утесов и рифов называются Дуврскими или Доверскими. Близ северного побережья Франции, например, есть скала Дувр, на ней сейчас строится маяк, она опасна, но не имеет отношения к группе Дуврских рифов.

Мыс Бреан — самая близкая к Дуврам точка французской земли. От берегов Франции Дуврские скалы отстоят чуть подальше, чем от первого острова Нормандского архипелага. Расстояние от рифов до Джерсея, пожалуй, равно диагонали Джерсея в самой широкой его части. Если бы остров Джерсей повернулся на Корбьере, как дверь на петлях, то мыс Сент-Катрин, наверное, почти задел бы Дуврские скалы. Тут они отдалены друг от друга больше чем на четыре лье.

В этих морях, освоенных цивилизацией, дикий, необитаемый островок — настоящая редкость. На Аго встретишь контрабандистов, на Бинике — таможенных надсмотрщиков, на Бреа — кельтов, на Канкале — ловцов устриц, на Сезамбре, острове Цезаря, — охотников за кроликами, на Брек-У — собирателей крабов, на Менкье — рыбаков с неводом, на Экре-У — рыболовов с сачками. На Дуврских скалах — никого.

То владенья морских птиц.

Нет ничего страшнее встречи с Дуврами. Острова Каскэ, где, по слухам, погиб «Белый корабль», Кальвадосская мель, горные вершины острова Уайт, подводные камни Ронес, из-за которых слывет таким опасным весь берег Болье, Преельская отмель, что закрывает Меркельский пролив и вынуждает суда проходить в двадцати саженях мористее бакана, выкрашенного в красный цвет, предательские подступы к Этаблю и Плуа, два друидических камня к югу от Гернсея, Старый Андерло и Малый Андерло, Корбьер, Гануа, Голый остров — даже поговорка о нем: «Голый остров обогнешь, поседеешь иль умрешь», наводит страх, — утес Утопленниц, пролив Бу и Фруки, Водоворот меж Гернсеем и Джерсеем, Ардан меж Менкье и Шозеем, Строптивый конь меж Булей-

Бэй и Барневилем — о всех дурная слава. Но куда им до Дувров! Пожалуй, предпочтешь вступить в борьбу со всеми этими препятствиями по очереди, чем один раз сразиться с Дуврскими скалами.

На всем гибельном Ла-Маншском море — этом Эгейском море запада — только риф «Отче наш» между Гернсеем и Серком внушает такой же ужас, как Дуврские скалы.

Но все же с утеса «Отче наш» можно подать сигнал, экипаж гибнущего судна может надеяться на помощь. К северу оттуда виден мыс Дикар, или Икар, к югу — Толстонос. С Дуврских же скал ничего не увидишь.

Шквалы, вода, облака, беспредельность, безлюдье. Только судно, потерявшее направление, попадает к Дуврским скалам. Там дикие, чудовищные глыбы гранита. Там неприступная крутизна. Угрюмая враждебность пучины.

Вокруг открытое море. Страшная глубина. Одинокий риф вроде Дуврских скал — приманка и приют для зверья, бегущего от человека. Он похож на огромный звездчатый коралл под водою. Это — затонувший лабиринт. Там, на глубине, трудно доступной и для водолазов, — пещеры, логова, подземелья, перекрестки темных улиц. Там кишмя кишат омерзительные твари. Там идет

взаимное истребление. Крабы пожирают рыб и сами становятся чьей-нибудь пищей. Во тьме снуют страшные живые существа, не созданные для человеческого глаза. Смутные очертания пастей, усиков, щупалец, плавников, перьев, разверстых челюстей, чешуи, когтей, клешней скользят, колеблются, разбухают, растворяются и исчезают в зловещей прозрачной толще. Обитатели морских глубин носятся устрашающими роями, творя то, что им предназначено. Там настоящий улей чудовищ.

Там царствует уродство, доведенное до совершенства.

Представьте себе, если можете, кучу копошащихся голотурий.

Заглянуть в недра морские — то же, что заглянуть в воображение Неведомого. Это значит увидеть море во всем его ужасе. Пучина подобна ночи. Там тоже спит, по крайней мере с виду, совесть вселенной. Там в полной безопасности совершают преступления те, кто ни перед кем не несет ответственности. Там черновые творения природы, жуткие и бесстрастные, исчадья ада, почти призраки, вершат во мраке свои страшные дела.

Лет сорок тому назад две скалы необыкновен-

ной формы издали предупреждали океанские суда о Дуврском рифе. То были два отвесных утеса; вершины их, острые и наклоненные, почти соприкасались. Они торчали из воды как два бивня утонувшего слона. Только бивни были высотою с башню, под стать слону величиною с гору. Две эти естественные башни неведомого города чудовищ разделялись узким проливом, где неистовствовала волна. Извилистый этот пролив пролегал по ломаной линии и напоминал кривую улицу между глухими стенами. Скалы-близнецы звались четою Дувров: Дувр Большой и Дувр Малый, один — шестидесяти футов вышиной, другой — сорока. Волны, без устали совершая набеги, в конце концов словно подпилили основание башен, и сильный шквал в равноденствие 26 октября 1859 года опрокинул одну из них в море. Уцелевшая скала, Малый Дувр, выветрилась и теперь обезглавлена.

Самый примечательный утес Дуврской группы скал называется «Человек». Он существует и ныне. В прошлом столетии рыбаки, сбившись с пути и попав в буруны Дувров, нашли труп на вершине этого утеса. Около трупа валялась груда пустых раковин. Человек с корабля, разбившегося об этот утес, нашел тут пристанище, жил

некоторое время, питаясь моллюсками, и тут же умер. Отсюда и название «Человек».

Унылая водная пустыня. Шум и безмолвие. То, что происходит здесь, чуждо роду человеческому. Смысл происходящего ему неведом. Отшельниками стоят Дуврские скалы. А вокруг без конца и края неугомонные волны.

II. Нежданно-негаданно – бутылка коньяка

В пятницу утром, на другой день после отплытия «Тамолипаса», Дюранда взяла курс на Гернсей.

Она вышла из Сен-Мало в девять часов.

Погода стояла ясная, тумана не было; старый капитан Жертре-Габуро, надо думать, сболтнул зря.

На борт было принято всего лишь несколько тюков парижской галантереи для «модных» лавок порта Сен-Пьер да три ящика для гернсейской больницы — один с простым мылом, другой с пачками свечей и третий с французской кожей для подошв и испанской кожей наилучшего качества. Пароход вез обратно ящик колотого сахара и три ящика цветочного чая — их не пропустила французская таможня. И скота сьер Клюбен за-

хватил немного, всего несколько быков. Грузили их в трюм довольно небрежно.

На судне было шесть пассажиров: гернсеец, два малоэнских скотопромышленника, «турист», как говорилось уже и в те времена, затем парижанин из мелких буржуа, по всей вероятности, коммивояжер, и американец, путешествовавший для распространения Библии.

Экипаж Дюранды, не считая капитана Клюбена, состоял из семи человек: рулевого, угольщика, матроса-плотника, кока, при случае исполнявшего судовую службу, двух кочегаров и юнги. Один из кочегаров был и машинистом. Кочегара-машиниста, очень храброго и очень смышленого голландского негра, бежавшего с сахарной плантации на реке Суринаме, звали Энбранкамом. Негр Энбранкам знал машину и прекрасно управлял ею. Первое время чернокожий, появившийся у топки, придавал Дюранде в глазах обывателей еще большее сходство с детищем преисподней.

Рулевой, уроженец Джерсея и потомок выходцев из Котантена, звался Тангруйлем. Тангруйль был самого знатного происхождения.

Самого знатного в буквальном смысле слова. Ла-Маншский архипелаг, как и Англия, — страна иерархическая. Там все еще существуют касты.

У каст свои понятия, которыми они отгораживаются от прочих людей. Кастовые понятия всюду одинаковые — и в Индии, и в Германии. Знатность рода завоевывается мечом и утрачивается в труде. Ее сберегает праздность. Бездельничать — значит жить по-благородному; кто не работает, тот в почете. Ремесло унижает. Некогда во Франции исключением пользовались лишь фабриканты стекла. Опустошение бутылок отчасти составляет славу дворянства, поэтому производство бутылок не считалось бесчестьем. На Ла-Маншском архипелаге, как и в Великобритании, кто хочет слыть дворянином, должен слыть богачом. Рабочий не может быть джентльменом. Если он и был прежде джентльменом по своему происхождению, теперь он уже не джентльмен. Матрос, потомок рыцарей, имевших собственное знамя, — всего лишь матрос. Лет тридцать тому назад на Ориньи подлинный отпрыск рода Горж, который имел бы законные права на поместье Горж, не будь оно конфисковано Филиппом-Августом, босиком собирал водоросли на морском берегу. Потомок Картре — ломовой извозчик на Серке. Девица де Велль — правнучка бальи Велля, первого судьи на Джерсее, — была служанкой у пишущего эти строки. На Джерсее здравствует

торговец сукном, а на Гернсее — сапожник, по фамилии Грюши, которые зовут себя Груши и утверждают, что они двоюродные братья ватерлооского маршала. В старинных церковных записях Кутанской епархии упоминается дворянский род Тангровилей, неоспоримых родственников Танкарвилей с Нижней Сены, то есть Монморанси. В XV веке Иоанн де Эрудвиль, оруженосец сира де Тангровиль, носил за ним «его латы и прочие доспехи». В мае 1371 года в Понторсоне на смотру, произведенном Бертраном Дюгескленом, «господин де Тангровиль исполнял обязанности младшего рыцаря». На нормандских островах человека обнищавшего выводят из рядов знати. Для этого достаточно простого искажения фамилии. Тангровиль превращается в Тангруйля — вот и все.

Такая история случилась и с рулевым Дюранды.

В порту Сен-Пьер, на площади Бордаж, живет торговец железным ломом по фамилии Энгруйль; в действительности он, вероятно, Энгровиль. В царствование Людовика Толстого Энгровили владели тремя приходами в округе валоньского податного суда. Некий аббат Триган составил Историю нормандской церкви. Летописец Триган

был священником в поместье Дигвиль. Ежели бы сеньор Диговильский впал в бедность и вынужден был работать, то стал бы называться Дигуйлем.

Тангруйль, этот Танкарвиль, что весьма вероятно, и Монморанси, что вполне допустимо, обладал стариннейшим качеством дворянина, но существенным недостатком для рулевого, то есть пристрастием к вину.

Сьер Клюбен упорно отказывался его прогнать. Он поручился за него перед мессом Летьери.

Рулевой Тангруйль ни днем ни ночью не покидал парохода.

Когда Клюбен накануне отплытия, в поздний вечерний час, явился проведать судно, Тангруйль уже спал в своей висячей койке.

Ночью Тангруйль проснулся. Такая уж была у него еженощная привычка. У каждого пьяницы, если он сам себе не хозяин, есть потаенный уголок. Тайник был и у Тангруйля. Он называл его своей «кладовкой». «Кладовка» Тангруйля находилась в нижней части трюма. Он устроил ее там потому, что самая мысль об этом показалась бы невероятной. Тангруйль был уверен, что только он знает о тайнике. Капитан Клюбен был взыскателен, как всякий трезвенник. Немного

рома и джина — все, что можно было утаить от бдительного ока капитана, — хранилось про запас в сокровенном месте трюма, на дне лотбака, и почти каждую ночь рулевой устраивал любовные свидания со своей «кладовкой». Надзор был неусыпный, пирушки скудные, и ночные кутежи Тангруйля обычно ограничивались двумя-тремя глотками, второпях. Случалось и так, что его тайник пустовал. В ту ночь Тангруйль нежданно наткнулся там на бутылку коньяка. Восторг его был велик, но еще больше — изумление. С неба, что ли, свалилась бутылка? Он так и не припомнил, когда и как пронес спиртное на пароход. И тут же осушил бутылку. Отчасти он сделал это из предосторожности, побаиваясь, как бы коньяк не обнаружили и не отняли. Бутылку он швырнул в море. Наутро, взявшись за румпель, Тангруйль чуть покачивался.

Однако правил он кораблем почти так же, как всегда.

Капитан же Клюбен, как известно, в тот вечер вернулся ночевать в «Гостиницу Жана».

Клюбен всегда носил под рубашкой дорожный кожаный пояс, в котором он на всякий случай держал гиней двадцать. Снимал он его только ночью. С изнанки, на грубой коже пояса густой,

несмываемой литографской краской было выведено его рукой: «Сьер Клюбен».

Перед отъездом, встав ото сна, он спрятал железную коробочку с семьюдесятью пятью тысячами франков банковыми билетами в пояс, затем, как обычно, затянул его и застегнул.

III. Прерванная беседа

Отплывали весело. Не успели пассажиры разложить саквояжи и чемоданы на скамьи и под скамьи, как принялись осматривать пароход, — это делается всякий раз неукоснительно и настолько вошло в привычку у пассажиров, что стало как бы правилом. Двое, турист и парижанин, еще никогда не видывали парохода, и пена, взбитая первым же поворотом колес, привела их в восхищение. Потом их привел в восхищение и дым из трубы. Они осмотрели шаг за шагом чуть ли не все детали судового снаряжения на палубе и в мидельдеке: толстые, чугунные кольца, железные крюки, скобы, болты, так соразмерно и точно пригнанные, что они кажутся огромными безделушками — железными безделушками, которые буря позолотила ржавчиной. На палубе пассажиры потолкались и вокруг маленькой

сигнальной пушки, закрепленной цепью. «Совсем как сторожевой пес», — заметил турист. «И в попонке из просмоленной материи, чтобы не простудиться», — добавил парижанин. Берег удалялся; пассажиры обменивались обычными впечатлениями о красотах Сен-Мало; кто-то из пассажиров изрек общеизвестную истину, что вид с моря обманчив и что в одной миле от берега Дюнкерк — точь-в-точь Остенде. Все, что можно было сказать о Дюнкерке, было сказано и дополнено замечанием, что обе его брандвахты выкрашены в красный цвет и называются «Рюитинген» и «Мардик».

Сен-Мало стал совсем крохотным, а потом исчез.

Вокруг расстилалась безмятежная морская гладь. След, оставленный на воде пароходом, почти не изгибаясь, тянулся длинной бахромчато-пенной полосой и терялся где-то в необозримой дали.

Если от Сен-Мало во Франции до Экзетера в Англии провести прямую линию, то Гернсей окажется как раз посередине. Прямая линия на море — не всегда идеальная прямая. Все-таки пароходы могут до некоторой степени придерживаться прямой линии, что не дано судам парусным.

Море плюс ветер — это сумма сил. Пароход — это сумма машин. Силы природы — вечно действующая машина; паровая машина — ограниченная сила. И вот между двумя этими началами — неисчерпаемой мощью стихии и творением человеческого разума — завязывается борьба. Она-то и называется мореплаванием.

Воля механизма — противовес беспредельности. Но существует механизм самой беспредельности. Стихиям ведомо, что они творят и куда стремятся. Слепой силы нет. Человек вынужден наблюдать за этими силами и разгадывать их пути.

А пока он не установил законы этих сил, борьба продолжается, и в борьбе этой пароход как бы воплощает постоянную победу гения человеческого, которую он одерживает ежечасно на каждой пяди морского пространства. Паровой двигатель обладает удивительнейшим свойством держать в повиновении корабль. Он уменьшает его покорность ветру и увеличивает покорность человеку.

Никогда еще Дюранда не шла так хорошо, как в тот день. Она вела себя отлично.

Часам к одиннадцати Дюранда, подгоняемая свежим норд-норд-вестом, уже находилась в

открытом море близ Менкье и шла под небольшими парами на запад правым галсом, круто бейдевинд. По-прежнему стояла хорошая, ясная погода. Но рыбачьи челны возвращались домой.

Мало-помалу море очистилось от судов, словно они спешили укрыться в гавани.

Нельзя сказать, чтобы Дюранда строго следовала обычному маршруту. Экипаж ничуть не беспокоился, он вполне доверял капитану; все же судно, вероятно по вине рулевого, слегка отклонилось в сторону. Казалось, Дюранда идет не к Гернсею, а к Джерсею. Часу в двенадцатом капитан выправил курс, взяв направление прямо на Гернсей. Небольшая потеря времени. Только и всего. Но когда стоят короткие дни, потеря времени чревата последствиями. Светило яркое солнце, но солнце февральское.

На Тангруйля так подействовали винные пары, что он еле стоял на ногах, руки его не слушались. Вот почему славный рулевой частенько вилял на курсе, а это замедляло ход.

Ветер почти стих.

Пассажир гернсеец время от времени наводил свою подзорную трубу на небольшой комок сероватого тумана, — его медленно перекатывал ветер по самому краю горизонта на западе, и был

он похож на клочок запыленной ваты.

У капитана Клюбена, как всегда, было пуритански-строгое выражение лица. Он, казалось, удвоил внимание.

На палубе Дюранды было спокойно и даже весело. Пассажиры болтали. Во время плавания можно с закрытыми глазами, только по тону разговора, судить о состоянии моря. Непринужденная болтовня пассажиров говорит о спокойствии океана.

Лишь при затишье на море ведут, например, такие беседы:

— Взгляните-ка, сударь, — вот прехорошенькая красно-зеленая мушка.

— Верно, заблудилась в море и отдыхает на судне.

— Мухи почти не устают.

— В самом деле, такая легонькая! Ее ветром уносит.

— Знаете, сударь, однажды взвесили унцию мух, потом пересчитали, и их оказалось шесть тысяч двести шестьдесят восемь штук.

Гернсеец с подзорной трубой подошел к скотопромышленникам из Сен-Мало, и у них завязался следующий разговор:

— Видите ли, обракский бык плотный, коре-

настый, с короткими ногами, с рыжей шерстью. Работает он медленно, потому что ноги у него длиной не вышли.

— В этом-то отношении салерские быки куда лучше.

— Мне, сударь, довелось на своем веку видеть двух быков-красавцев. Один коротконогий, широкогрудый, широкозадый, с мясистыми ляжками, отменной упитанности, и рост и длина у него подходящие, и кожа с такого быка легко сдирается. Второй — ну просто образец правильного ухода. Сильный, с крепкой шеей, белый с рыжими подпалинами, быстроногий, с низким задом.

— Котантенской породы, видно.

— Да, но с примесью ангюсской и суффолькской.

— Хотите верьте, хотите нет, сударь, но на юге устраиваются конкурсы ослов.

— Ослов?

— Ослов. Как я имел честь вам сообщить. И чем осел безобразнее, тем считается красивее.

— Так же, как матка для приплода мулов, — чем безобразнее, тем лучше.

— Верно. Вот, например, пуатвенская кобыла. Толстобрюхая, толстоногая.

— И самая лучшая из них — прямо бочка на

четырех подпорках.

— Красота животных совсем не то, что красота человеческая.

— А женская особенно.

— Что правда, то правда.

— Мне по вкусу хорошенькие женщины.

— А мне по вкусу женщины понарядней.

— Да, да, чтобы чистенькая была, аккуратная, стройная, выхоленная.

— И притом свеженькая. У девушки должен быть такой вид, словно она только что вышла из рук ювелира.

— Кстати, насчет быков. Эти самые бычки, которых я видел, продавались на ярмарке в Туаре.

— А, знаю Туарскую ярмарку. Туда собирались поехать хлеботорговцы Бонно из Ла Рошели и Багю из Марана. Слышали о них?

Турист и парижанин разговаривали с американцем, распространявшим Библию. Тон их беседы тоже свидетельствовал о безоблачной погоде.

— Известна ли вам, сударь, — разглагольствовал турист, — вместимость судов цивилизованного мира? Франция — семьсот шестнадцать тысяч тонн; Германия — миллион; Соединенные Штаты — пять миллионов; Англия — пять милли-

онов пятьсот тысяч тонн. Прибавьте флот малых стран. Итого: двенадцать миллионов девятьсот четыре тысячи тонн, распределенных на сто сорок пять тысяч судов, разбросанных по всем водам земного шара.

Американец прервал:

— Сударь. Это в Соединенных Штатах, а не в Англии, пять миллионов пятьсот тысяч тонн.

— Согласен, — молвил турист. — Вы американец?

— Да, сударь.

— Тем более согласен.

Наступило молчание, и миссионер американец уже подумывал, не кстати ли сейчас предложить Библию.

— Правда ли, сударь, — снова заговорил турист, — что вы, американцы, такие охотники до прозвищ, что наделяете ими всех своих знаменитостей и даже известного миссурийского банкира Томаса Бентона зовете «Старым Слитком»?

— Мы и Закари Тейлора называем «Старым Заком».

— А генерала Гаррисона — «Старым Типом», не так ли? А генерала Джексона — «Старым Орехом»?

— Потому что Джексон тверд, как орех, а Гарри-

сон разбил краснокожих при Типпеканэ.

— У вас византийский обычай.

— Нет, наш собственный. Мы называем Вен-Бьюрена — «Куцым Колдуном»; Сьюарда, приказавшего выпустить бумажные деньги мелкими купюрами, — «Крошкой Биллем»; Дугласа, иллинойсского сенатора, демократа — он всего четырех футов ростом, зато очень красноречив, — «Великанчиком». Вы можете проехать от Техаса до самого Мэна и не услышать ни имени Кесс: его зовут «Длинноногим мичиганцем», ни имени Клэй: его зовут «Рябым парнем с мельницы». Клэй — сын мельника.

— Я бы все же предпочел звать их Клэй и Кесс, так ведь короче, — заметил парижанин.

— Вы бы нарушили установившуюся традицию. Мы называем Кервена, секретаря казначейства, — «Возчиком»; Даниэля Вебстера — «Черным Дэном». А Винфилда Скотта мы прозвали: «Животарелку-супа», потому что, расколотив англичан при Чиппевее, он сразу уселся за стол.

Комок тумана, видневшийся вдали, увеличился. Теперь он занимал сегмент горизонта, равный градусам пятнадцати. Казалось, облако само ползло по воде, потому что ветра не было. Бриз почти совсем стих. Гладь моря была недвижна.

Полдень еще не наступил, а солнце меркло. Оно светило, но не грело.

— Погода, по-моему, меняется, — сказал турист.

— Пожалуй, будет дождь, — добавил парижанин.

— Или туман, — подхватил американец.

— В Италии, сударь, — заметил турист, — дождей выпадает меньше всего в Мольфетта, а больше всего в Тольмеццо.

В полдень, по островному обычаю, прозвонил колокол к обеду. Обедать шел, кто хотел. Кое-кто захватил с собой провизию, и пассажиры весело закусывали прямо на палубе. Клюбен не обедал.

Разговор не умолкал и за едой.

Гернсеец, чутьем угадавший в американце распространителя библий, подсел к нему. Американец спросил его:

— Вы знаете здешнее море?

— А как же, я ведь здешний.

— Я тоже, — отозвался один из малоэнцев.

Гернсеец подтвердил его слова кивком головы и продолжал:

— Мы сейчас в открытом море. Хорошо, что не попали в туман, когда плыли мимо Менкье.

Американец обратился к малоэнцу:

— Островитяне большие знатоки моря, чем жители побережья.

— Это верно, куда нам? Ведь мы и не на земле и не в море.

— Что это за штука — Менкье? — спросил американец.

— Куча вредоносных камней, — отвечал малоэиец.

— Есть у нас еще и Греле, — присовокупил гернсеец.

— Правильно, черт возьми, — подтвердил малоэнец.

— И Шуас, — добавил гернсеец.

Малоэнец расхохотался и сказал:

— Ну, если так, то есть у нас и Дикари.

— И Монахи, — заметил гернсеец.

— И Селезень, — воскликнул малоэнец.

— Сударь! Последнее слово осталось за вами, — вежливо вставил гернсеец.

— Малоэнцы не младенцы! — ответил, подмигнув, малоэнец.

— Разве нам придется проходить мимо всего этого скопища утесов? — спросил турист.

— Нет. Мы их оставили на юго-юго-востоке. Уже миновали.

И гернсеец продолжал:

— В Греле наберется пятьдесят семь скал, считая большие и малые.

— А в Менкье — сорок восемь, — подхватил малоэнец.

Тут между малоэнцем и гернсейцем разгорелся спор:

— Мне кажется, уважаемый господин из Сен-Мало, что вы забыли присчитать еще три скалы.

— Все сосчитаны.

— От Дерэ до Главного острова?

— Да.

— А Дома сосчитали?

— Семь скал посредине Менкье? Да.

— Вижу, вижу, вы знаток скал.

— Куда годится малоэнец, ежели он не знает скал!

— Приятно послушать рассуждение француза.

Малоэнец, поблагодарив его поклоном, сказал:

— Дикари — это три утеса.

— А Монахи — два.

— А Селезень — один.

— Понятно. Раз селезень — значит, один.

— Ничего не значит. Вот Сюарда одна, а в ней четыре утеса.

— Что вы, собственно, называете Сюардой? — спросил гернсеец.

— Сюардой мы называем то, что вы называете Шуасом.

— Не легко пробираться между Шуасом и Селезнем.

— Да, только птицам удается.

— И еще рыбам.

— Не очень-то. В бурю их бьет о скалы.

— А в Менкье есть отмель?

— Вокруг Домов.

— Восьми скал, которые виднеются с Джерсея?

— Вернее, с Азетского побережья, да только не восемь, а семь.

— В отлив по Менкье можно даже прогуляться.

— Конечно, ведь там встречаются мели.

— А Дируйль?

— Ну, Дируйль ничуть не похож на Менкье.

— Я хочу сказать, что там тоже опасно.

— Со стороны Гранвиля.

— А вы, жители Сен-Мало, видать, так же, как и мы, любите плавать по здешним водам.

— Совершенно верно, — ответил малоэнец, — но только с той разницей, что у нас говорят: «Мы привыкли», а у вас: «Мы любим».

— Вы — отличные моряки.

— Я-то торгую скотом.

— Забыл, как звали знаменитого моряка из

Сен-Мало?

— Сюркуф.

— А другого?

— Дюге-Труэн.

Тут в разговор вмешался коммивояжер из Парижа:

— Дюге-Труэн? Тот, которого поймали англичане? Вот был храбрец и любезник! Он пленил одну молоденькую англичанку, и она вызволила его из тюрьмы.

В этот миг раздался громовой голос:

— Да ты пьян!

IV. Глава, в которой обнаруживаются все качества капитана Клюбена

Пассажиры обернулись.

Оказалось, капитан кричал на рулевого.

Сьер Клюбен никому не говорил «ты». И раз Клюбен набросился на рулевого Тангруйля, значит — он был вне себя от ярости или же притворялся разъяренным.

Своевременная вспышка гнева слагает ответственность, а иной раз и переносит ее на другого.

Клюбен, стоя на капитанском мостике между

двумя кожухами, пристально смотрел на Тангруйля. Он повторил сквозь зубы: «Пьяница!» Рулевой из благородных понурил голову.

Туман все ширился. Он уже заволакивал чуть ли не полгоризонта. Он расползался по всем направлениям: ведь туман растекается, словно масляное пятно. Он наплывал незаметно. Ветер подталкивал его медленно и бесшумно. Мгла исподволь овладевала океаном. Она подкрадывалась с северо-запада, и пароход шел ей наперерез. Казалось, что впереди — огромный скалистый берег, колыхавшийся, расплывчатый. Он стеной вставал на море. Четко виднелся рубеж, до которого доходило водное пространство и где оно обрывалось, исчезая в тумане.

До этого места было еще около полумили. Переменился бы ветер, и Дюранду не затопило бы туманом, но ветру надо было перемениться сию же минуту. Промежуток в полмили исчезал и укорачивался на глазах: Дюранда подвигалась, туман подвигался тоже. Он шел навстречу пароходу; пароход шел навстречу ему.

Клюбен дал команду подбросить угля в топку и повернуть к востоку.

Некоторое время плыли вдоль стены тумана, но он все приближался. Корабль, однако, еще был

залит ярким солнечным светом.

В этих маневрах, которые вряд ли к чему-нибудь вели, терялось время. Ночь в феврале наступает быстро.

Гернсеец внимательно вглядывался в туман. Он обратился к малоэнцам:

— Ну и туман!

— Сущая мерзость на море, — заметил кто-то из малоэнцев.

Другой добавил:

— Всю поездку портит.

Гернсеец подошел к Клюбену и сказал:

— Капитан Клюбен! Боюсь, что нас застигнет туман.

— Хотел я остаться в Сен-Мало, да мне посоветовали идти, — заметил Клюбен.

— Кто же это?

— Опытные моряки.

— Значит, у вас было основание пуститься сегодня в путь. Кто знает, а вдруг завтра нагрянет буря. Такая уж пора наступила, жди непогоды.

Прошло несколько минут, и Дюранда нырнула в белесую гущу тумана.

Тут произошло нечто необычайное. Внезапно с кормы не стало видно носа, а с носа не стало видно кормы. Влажная серая перегородка поделила

пароход надвое.

Потом пароход весь погрузился в туман. Солнце словно превратилось в огромную луну. Всех начало трясти от холода. Пассажиры натянули на себя пальто, а матросы куртки. От морской глади веяло ледяной угрозой. Глубокая тишина, казалось, что-то в себе таила. Все было тускло и мертвенно. Черная труба и черный дым боролись со свинцово-серой мглой, окутавшей корабль.

Курс на восток теперь потерял всякий смысл. Капитан снова взял курс на Гернсей и усилил пары.

Пассажир гернсеец, слоняясь вокруг котельной, услышал разговор между негром Энбранкамом и его приятелем кочегаром. Пассажир насторожился. Негр говорил:

— Утром при солнце мы шли еле-еле, а теперь, в тумане — на всех парах.

Гернсеец поднялся к сьеру Клюбену и спросил его:

— Капитан Клюбен! Ведь нам опасаться нечего, отчего же мы так быстро идем?

— Что поделаешь, сударь! Нужно наверстать время, упущенное по вине пьянчуги рулевого.

— Что правда, то правда, капитан Клюбен.

— Спешу добраться до места, — присовокупил

Клюбен. — Хватит с нас и тумана, нечего нам дожидаться ночи.

Гернсеец подошел к малоэнцам и заявил:

— Капитан у нас превосходный.

По временам нависали широкие, будто расчесанные гребнем пряди тумана и заслоняли солнце. Потом оно вновь выплывало, померкшее и словно занемогшее. Порою просвечивали клочки неба, и они напоминали замызганные, засаленные полосы, изображающие небеса на выцветшей театральной декорации.

Дюранда прошла мимо парусника, вставшего из предосторожности на якорь. То был «Шильтиль» с острова Гернсея. Шкипер парусника обратил внимание на скорость хода Дюранды. Ему показалось также, что она взяла неправильный курс. Чересчур уж она отклонялась к западу. Он удивился, увидев пароход, несущийся на всех парах в тумане.

Часам к двум мгла сгустилась до того, что капитан Клюбен вынужден был покинуть мостик и подойти к рулевому. Солнца не стало; туман поглотил все. Белая мгла заволокла Дюранду. Плыли в тусклом рассеянном полусвете. Не видно было больше неба, не видно и моря.

Ветер совсем стих.

Даже ведро с терпентином, подвешенное на кольце под мостиком между колесными кожухами, ни разу не качнулось.

Пассажиры примолкли.

Но парижанин все же напевал сквозь зубы песенку Беранже:

Однажды бог проснулся…

К нему обратился кто-то из малоэнцев:

— Вы из Парижа, сударь?

— Да, сударь.

И выглянул в окно…

— Что там делается?

С землей случилось что-то…

— В Париже, сударь, — кавардак.

— Значит, на суше то же, что и на море.

— Да, дело дрянь с этим туманом.

— Как бы из-за него не случилось несчастья.

— И к чему все эти несчастья? Чего ради бывают несчастья? — разразился парижанин. — На что нужны несчастья? Взять, например, пожар в Одеоне. Сколько семей обездолено! Разве это справедливо? Конечно, сударь, мне неизвестны ваши религиозные воззрения, но лично я этого не одобряю.

— Я тоже, — сказал малоэнец.

— Все, что происходит на нашей планете, сплошная неразбериха, — продолжал парижанин. — Я подозреваю, что Господь Бог ни на что не обращает внимания.

Малоэнец почесал затылок, точно стараясь понять.

Парижанин не умолкал:

— Господь Бог в отлучке. Нужно бы издать декрет, обязывающий его сидеть на своем месте. Он прохлаждается на даче, и ему не до нас. Вот все и пошло вкривь и вкось. Ясно, милейший, что Богу надоело управлять людьми, Он отдыхает, а Его наместник, ангелок из семинаристов, дурачок с воробьиными крылышками, вершит всеми делами.

В слове «воробьиными» он проглотил две гласные, на манер мальчишки из предместья.

Капитан Клюбен, подойдя к собеседникам, положил руку на плечо парижанина и промолвил:

— Довольно! Осторожней, сударь, в выражениях. Ведь мы на море.

Больше никто не сказал ни слова.

Минут через пять гернсеец, который все это слышал, шепнул на ухо малоэнцу:

— Капитан у нас верующий.

Дождя не было, но все вымокли. Отдать себе отчет в том, куда держит путь корабль, можно было лишь по возраставшему чувству тревоги. Казалось, всех охватило уныние. Туман порождает тишину на океане; он усыпляет волны, душит ветер. Что-то жалобное и беспокойное было в хриплом дыхании Дюранды среди этой тишины.

Ни одного корабля больше не попадалось навстречу. Если вдали, где-то у Гернсея или Сен-Мало, и шли суда, не застигнутые туманом, то для них Дюранда, поглощенная мглою, была невидимкой, а дым, стелившийся за нею и словно идущий ниоткуда, вероятно, казался им черной кометой на белом лебе.

Вдруг Клюбен закричал:

— Мерзавец! Куда ты повернул? Ты что? Погубить нас хочешь? На каторге тебе место! Прочь отсюда, пьяница!

И схватил румпель.

Посрамленный рулевой спрятался на носу парохода.

— Теперь мы спасены! — воскликнул гернсеец.

Пошли на той же скорости.

Часам к трем нижние пласты тумана стали подниматься, и море приоткрылось.

— Не по душе мне это, — заявил гернсеец.

И в самом деле, только солнце или ветер могли разогнать туман. Если солнце — хорошо; если ветер — плохо. Но для солнца было слишком поздно. В феврале солнце к трем часам уже теряет силу. А ветер на переломе дня ничего хорошего не сулит. Часто он — сигнал к урагану.

Впрочем, если ветер и был, то его почти не чувствовалось.

Клюбен управлял судном, не спуская глаз с компаса, держа руку на румпеле, и пассажиры слышали, как он цедил сквозь зубы:

— Нельзя терять времени. Мы здорово запаздываем из-за этого пьяницы.

Его лицо, впрочем, ничего не выражало.

Море уже не было так спокойно под пеленой тумана. Пробегали волны. По воде стелились холодные блики. У моряка вызывают беспокойство световые зайчики в волнах. Они говорят о том, что верховой ветер прорвал туман. Туман поднимался. Но оседал вновь, становясь еще плотнее. Порою все заволакивала непроглядная мгла. Пароход очутился в настоящем заторе тумана. Страшный круг временами разжимался, открывая кусочек небосклона, затем смыкался, словно клещи.

Гернсеец, вооруженный подзорной трубой,

стоял на носу парохода, как часовой.

Блеснул просвет, и снова наступил мрак.

Гернсеец испуганно окликнул капитана:

— Капитан Клюбен!

— Что такое?

— Ведь мы идем прямехонько на Гануа!

— Ошибаетесь, — сдержанно ответил Клюбен.

— Я в этом уверен, — настаивал гернсеец.

— Этого не может быть.

— Я только что видел утес на горизонте.

— Где же?

— Вон там.

— Там открытое море. Этого не может быть.

Клюбен продолжал держать курс именно в том направлении, куда указывал пассажир.

Гернсеец опять навел подзорную трубу.

Через минуту он снова прибежал на корму.

— Капитан!

— Ну что еще?

— Меняйте курс.

— Зачем?

— Уверяю вас, что я видел высоченную скалу и совсем близко. Это — Большой Гануа.

— Вы просто увидели туман погуще.

— Нет, это Большой Гануа. Меняйте курс, ради бога!

Клюбен повернул руль.

V. Восхищение Клюбеном достигает предела

Послышался треск. Когда корабль в открытом море налетает на риф и получает пробоину, раздается самый заунывный звук, какой только можно вообразить. Дюранда остановилась на полном ходу.

От толчка кое-кто из пассажиров упал и покатился по палубе.

Гернсеец простер руки к небу и воскликнул:

— Гануа и есть. Ведь я говорил!

На палубе послышался вопль:

— Мы погибли!

Отрывистый и резкий голос Клюбена заглушил крики:

— Никто не погиб! Спокойствие!

Из люка котельной высунулась черная, голая по пояс фигура Энбранкама.

Негр сообщил с невозмутимым видом:

— Хлынула вода, капитан. Сейчас зальет машину.

Минута была страшная.

Удар об утес походил на самоубийство. Даже

если бы все было подстроено нарочно, ничего ужаснее не могло произойти. Дюранда ринулась на утес, словно брала его штурмом. Острый выступ скалы гвоздем вонзился в судно. В обшивке образовалась дыра величиной с квадратную сажень, форштевень был сломан, носовая часть сплющена. Разверстый корпус, захлебываясь и хрипя, вбирал морскую воду. В открытую рану проникала смерть. Толчок был так силен, что сорлинь лопнул, и болтавшийся руль бросало из стороны в сторону. Вокруг судна, пробитого подводным камнем, не было видно ничего, кроме сплошного, плотного, почти черного тумана. Наступала ночь.

Дюранда погружалась в воду носом. Она была подобна лошади, брюхо которой пропорол рогами бык.

Она умерла.

Начинался прилив, и это чувствовалось.

Тангруйль протрезвился: пьяных во время крушения не бывает; он сошел на нижнюю палубу, потом бросился наверх со словами:

— Капитан, трюм заливает! Через десять минут вода будет вровень со шпигатами.

Пассажиры в ужасе метались по палубе, ломали руки, перевешивались через борт, бегали к

машине в той бесполезной суете, которую порождает паника. Турист потерял сознание.

Клюбен сделал знак, и все замолкло. Он спросил Энбранкама:

— Сколько времени еще может работать машина?

— Пять-шесть минут.

Затем он обратился к гернсейцу:

— Я стоял за рулем. Вы заметили скалу. На который из утесов Ганула мы налетели?

— На Чайку. Сейчас в просвете я отлично рассмотрел Чайку.

— Если мы на Чайке, то Большой Ганула находится у нас с правого борта, а Малый — с левого, — продолжал Клюбен. — Мы в одной миле от берега.

Экипаж и пассажиры слушали капитана с напряженным вниманием и, дрожа от страха, не сводили с него глаз.

Пытаться облегчить судно было бессмысленно и nросто невозможно. Чтобы выбросить груз в море, пришлось бы открыть люки, а это увеличило бы приток воды. Бесполезно было и вставать на якорь: пароход и так был пригвожден. Да к тому же якорь раскачивался бы на скалистом дне, а шток запутался бы в якорной цепи. Машина не

была повреждена и могла действовать до тех пор, пока не заглохнет огонь в топке котла, то есть еще несколько минут; заставив усиленно поработать пар и колеса, можно было дать задний ход и сняться с рифа. И тут же пойти ко дну. Острие скалы все же затыкало пробоину и не пропускало воду. Оно служило для нее преградой. Но если бы открыли отверстие, нельзя было бы удержать напор воды и откачать ее насосами. Кто выхватит кинжал, вонзенный в сердце, тот вмиг погубит раненого. Сняться со скалы — значило потонуть.

Из трюма послышалось мычанье быков, их заливало водой.

— Спустить баркас! — скомандовал Клюбен.

Энбранкам и Тангруйль бросились отвязывать крепления. Остальные смотрели, словно окаменев.

— Все за работу! — закричал Клюбен.

На этот раз все подчинились.

Клюбен продолжал хладнокровно отдавать приказания на том устаревшем языке, который был бы не совсем понятен современным морякам:

— Пошел шпиль. — Заело шпиль, наложить тали. — Стоп тали. — Тали травить. — Не давай сходиться блокам талей. Трави помалу. — Трави

ходом. — Разом. — Не давай зарыться носом. — Береги тали! — Пошел гинь-лопаря. — Раздернуть!

Баркас спустили на воду.

И в тот же миг колеса Дюранды остановились, дым исчез: топку залило.

Пассажиры, скользя по трапу, цепляясь за бегучий такелаж, падали, а не спускались в лодку. Энбранкам подхватил туриста, потерявшего сознание, отнес его в шлюпку и поднялся снова.

Вслед за пассажирами бросились матросы. Им под ноги скатился юнга; шагали прямо по нему.

Энбранкам загородил проход.

— Никто не пройдет раньше мальца! — крикнул он.

Своими могучими черными руками он растолкал матросов, схватил мальчика и передал гернсейцу, стоявшему в шлюпке.

Когда юнга был спасен, Энбранкам посторонился и сказал:

— Проходите.

Тем временем Клюбен пошел в свою каюту, связал судовой журнал и инструменты. Снял компас с нактоуза. Бумаги и инструменты он вручил Энбранкаму, а компас — Тангруйлю и скомандовал: «Марш на баркас!»

Негр и рулевой спустились последними. Шлюп-

ка была переполнена. Края ее бортов были вровень с водой.

— Отваливай! — крикнул Клюбен.

— А вы, капитан? — закричали на баркасе.

— Я остаюсь.

У того, кто попал в кораблекрушение, нет времени рассуждать, а тем более — умиляться. Однако пассажиры баркаса, находившегося в относительной безопасности, встревожились, и отнюдь не за себя. Все стали дружно упрашивать:

— Поедемте с нами, капитан!

— Я остаюсь.

Гернсеец, хорошо знавший море, возразил:

— Послушайте, капитан. Вы наскочили на Гануа. Вплавь отсюда только миля до Пленмона. Но шлюпка может причалить лишь у Рокена, а это две мили отсюда. Кругом подводные камни и туман. Наша шлюпка доплывет до Рокена часа через два, не раньше. Уже будет глубокая ночь. Прилив растет, ветер крепчает. Надвигается шторм. Мы рады бы вернуться за вами, но, если разразится буря, это будет невозможно. Остаться вам здесь — значит погибнуть. Поедемте с нами.

В разговор вмешался и парижанин:

— Шлюпка полна, даже переполнена, это вер-

но: еще один человек — уже человек лишний. Но нас тринадцать — дурное предзнаменование, и лучше уж перегрузить шлюпку, взяв еще одного человека, чем оставить в ней чертову дюжину. Едемте, капитан.

— Все вышло по моей вине, а не по вашей. Несправедливо, что вы остаетесь, — прибавил Тангруйль.

— Я остаюсь, — сказал Клюбен. — Ночью пароход будет разбит бурей. Я его не покину. Когда корабль гибнет, капитан умирает. Про меня скажут: «Он выполнил свой долг до конца». Тангруйль, я прощаю вас.

Скрестив руки, он крикнул:

— Слушать команду. Отдай конец. Отваливай.

Шлюпка дрогнула. Энбранкам взялся за руль. Все, кто не был на веслах, протянули руки к капитану. Все в один голос закричали: «Ура капитану Клюбену!»

— Вот человек, достойный восхищения, — заметил турист.

— Сударь! Он честнейший человек на всем нашем море! — вскричал гернсеец.

Тангруйль лил слезы и бормотал:

— Я бы остался с ним, только духу не хватает.

Шлюпка нырнула в туман и пропала.

Больше ничего не было видно.
Удары весел, постепенно затихая, смолкли.
Клюбен остался один.

VI. Глубь бездны освещена

Он остался один на утесе, под нависшими тучами, среди водной пустыни, вдали от всего живого, вдали от людской суеты, обреченный на смерть, во власти наступающего прилива и надвигающейся ночи, и жгучая радость охватила его.

Он добился своей цели.

Его мечта осуществилась. Долгосрочный вексель, выданный ему судьбой, был оплачен.

Покинутый — для него означало: спасенный. Он теперь на Гануа, в миле от берега, у него семьдесят пять тысяч франков. Неслыханно удачное кораблекрушение. Ничто не сорвалось: правда, все было предусмотрено. С юных лет Клюбен думал об одном: сделать честность ставкой в жизненной игре, прослыть безупречным человеком и, начав с этого, выжидать счастливого случая, следить за повышением чужих ставок, искать лучшего способа, угадать нужную минуту; не идти ощупью, а схватить наверняка, нанести один-единственный удар, сорвать банк

и оставить всех в дураках. Он задумал сразу преуспеть там, где недальновидные мошенники попадаются раз двадцать, и кончить богатством там, где они кончают виселицей. Рантен был для него лучом света. У него тут же созрел план: вынудить Рантена отдать деньги, а самому исчезнуть, прослыть умершим — удобнейший вид исчезновения, который сделает тщетными попытки Рантена разоблачить его; для этого — потопить Дюранду. Крушение Дюранды стало необходимостью. Сгинуть, оставив по себе добрую славу, — вот что было бы блистательным завершением его жизни. Тот, кто увидел бы Клюбена на разбитом пароходе, принял бы его за ликующего демона.

Всю свою жизнь Клюбен прожил ради этого мгновения.

Все его существо словно говорило: «Наконец-то!» Какое-то пугающее спокойствие сковало его мрачное лицо. Тусклые глаза, в которых прежде было что-то непроницаемое, стали глубокими и страшными. В них полыхало зарево пожара, охватившего душу.

Внутренний мир человека, подобно миру внешнему, как бы подвержен электрическому напряжению. Мысль — метеор: в минуту успеха

туча замыслов, подготовивших удачу, точно расступается, и вылетает искра; скрывать когти зла и ощущать в них пойманную добычу — счастье, излучающее особое сияние; злобная мысль, торжествуя, озаряет лицо: при иных удавшихся хитросплетениях, иных достигнутых целях, иных бесчеловечных радостях в глазах людей то появляются, то исчезают зловещие вспышки света. Они подобны отсветам веселящейся бури, подобны грозным зарницам. Их порождает совесть, превратившаяся в туман и мглу.

Так сверкали глаза Клюбена.

В этом проблеске света не было ничего общего с тем, что можно увидеть в небесах и на земле.

Негодяй, сидевший в Клюбене, вырвался на волю.

Клюбен окинул взглядом беспредельную тьму и не мог удержаться от глухого, злобного хохота.

Наконец-то свобода! Наконец-то богатство!

Искомое найдено. Задача решена.

Клюбен не торопился. Прилив нарастал и поддерживал Дюранду, он должен был, пожалуй, приподнять ее. Она крепко сидела на рифе: нечего было опасаться, что она пойдет ко дну. Кроме того, следовало подождать, пока шлюпка удалится, а может быть, и погибнет; Клюбен на это

надеялся.

Он стоял во мраке на разбитой Дюранде, скрестив руки, и наслаждался своим одиночеством.

Тридцать лет этого человека сковывало лицемерие. Он был воплощением зла, но сочетался браком с честностью. Он ненавидел добродетель лютой ненавистью неудачливого супруга. Он всегда был преступником в душе; достигнув зрелого возраста, он облекся в тяжкую броню притворства. За ней таилось чудовище; под личиной порядочного человека билось сердце убийцы. То был сладкоречивый пират. Он стал узником честности; он заключил себя в оболочку невинности; за спиной у него были ангельские крылья, тяготившие негодяя. Он нес непосильное бремя всеобщего уважения. Тяжело слыть честным человеком. Всегда поддерживать в себе равновесие, замышлять зло, а говорить о добре — какой утомительный труд! За маской простодушия скрывался призрак преступления. Такое противоречие было его уделом. Ему приходилось владеть собой, казаться достойным человеком, в душе же он бесновался и смехом заглушал скрежет зубовный. Для него добродетель была тягостным бременем. Всю жизнь он мечтал укусить руку, зажимавшую ему рот.

И, горя желанием кусать, он должен был лобызать ее.

Лгать — значит страдать. Лицемер терпит вдвойне: он долго рассчитывает свое торжество и длит свою пытку. Примирять и сочетать со строгим образом жизни неясные помыслы о злодеянии, душевную низость — с безукоризненной репутацией, постоянно обманывать, прикидываться, никогда не быть самим собою — тяжкий труд. Все темные мысли, копошащиеся в мозгу, претворять в чистосердечие, томиться желанием уничтожить своих почитателей, быть вкрадчивым, вечно сдерживаться, вечно неволить себя, беспрестанно быть начеку, бояться себя выдать, скрывать тайные свои пороки, внутреннее уродство выдавать за красоту, злобу превращать в достоинство, щекотать кинжалом, подслащивать яд, неусыпно следить за плавностью своих жестов, благозвучностью голоса, за выражением глаз — что может быть тягостнее, что может быть мучительнее! Лицемер начинает бессознательно питать отвращение к лицемерию. Постоянно ощущать свою двуличность претит. Кротость, подсказанная коварством, вызывает тошноту у самого злодея, вынужденного вечно чувствовать во рту привкус этой смеси, и в иные минуты

лицемера начинает так мутить, что он готов изрыгнуть свой замысел. Глотать эту набегающую слюну омерзительно. Добавьте ко всему непомерную гордость. Как это ни странно, но порой лицемер проникается уважением к себе. Он преувеличивает значение своего «я». Червь пресмыкается так же, как дракон, и так же приподнимает голову. Предатель — не что иное, как связанный деспот, который может выполнять свою волю, лишь согласившись на другую роль. Это — ничтожество, способное достигнуть чудовищных размеров. Лицемер — и титан и карлик.

Клюбен совершенно искренне думал, что он — угнетенный. Отчего он не родился богатым? Ему бы хотелось унаследовать сто тысяч франков годового дохода, и только. Почему же он обойден? Уж никак не по своей вине. За что, отказав ему во всех наслаждениях, его принуждают трудиться, то есть обманывать, предавать, разрушать? За что же он приговорен к вечной пытке и должен льстить, раболепствовать, прислуживаться, заискивать, добиваться любви и уважения, денно и нощно носить чужую личину? Притворяться означает терпеть насилие. И тот, кому лжешь, ненавистен. Наконец час пробил. Клюбен мстил за себя.

Кому? Всем и всему.

Летьери делал ему лишь добро — еще один повод для недовольства. Клюбен мстил Летьери.

Он мстил всякому, перед кем обуздывал себя. Он отыгрывался. Всякий, кто хорошо о нем думал, становился его врагом. Клюбен был пленником такого человека.

Теперь он вырвался на свободу. Бегство удалось. Он был вне общества. То, что сочтут за смерть, для него жизнь, и она только начиналась. Клюбен подлинный разоблачал лже-Клюбена. Он все перевернул одним ударом. Он, Клюбен, вверг Рантена в пропасть, Летьери — в нищету, человеческую справедливость — во мрак, мнение общества — в заблуждение и оттолкнул все человечество. Он отстранился от мира.

Что касается Бога, то это короткое слово мало его трогало.

Он слыл за человека религиозного. Ну так что же!

В душе лицемера есть глубокие тайники, или, вернее, сам лицемер — тайник.

Когда Клюбен остался один, тайник приоткрылся. То был миг блаженства; Клюбен распахнул свою душу настежь.

Он упивался своим преступлением.

Вся сущность зла явила себя на этом лице. Клюбен сиял. В эту минуту взгляд Рантена, очутись он рядом, показался бы взглядом новорожденного младенца.

Маска сброшена, какое облегчение! Его совесть тешилась, созерцая свою омерзительную наготу и погружаясь на приволье в гнусный омут зла. Долго он терпел человеческое уважение, и в конце концов это породило в нем неукротимую тягу к бесстыдству. Для лицемера в злодействе есть что-то сладострастное. Для его страшной души, глубины которой столь мало исследованы, отвратительная низость преступления приобретает нечто соблазнительное. Фальшивая репутация добродетели кажется пресной и возбуждает вкус к позору. Пренебрежение к людям так велико, что вызывает желанье навлечь на себя их презрение. Скучно быть уважаемым. Страсти, бушующие в человеке безнравственном, восхищают лицемера. Он с вожделением смотрит на откровенный, разнузданный порок. Глаза, потупленные поневоле, нередко бросают на него исподтишка жадный взгляд. В Марии Алакок живет Мессалина. Вспомните Кадьер и монахиню из Лувье. Клюбен жил тоже под покрывалом. Безнравственность была его честолюбивой мечтой. Он завидовал наглой

продажной девке, равнодушно отдающей себя на поругание; он чувствовал, что сам он хуже продажной девки, и ему надоело слыть непорочным. Он был Танталом цинизма. Наконец-то здесь, на утесе, в полном уединении он мог разоткровенничаться! Без всякого стеснения чувствовать себя мерзавцем — какое блаженство! Все восторги, доступные исчадию ада, познал Клюбен в это мгновение; ему были выплачены все недоимки по его притворству; лицемерие было ссудой, и теперь Сатана с ним сполна расплатился. Клюбен мог упиваться тем, что он безнравственен, ибо люди исчезли, его видели только небеса. Он сказал себе: «Я негодяй!» — и возрадовался.

Никогда еще ничего подобного не происходило с человеческой совестью.

Взрыв, который происходит в душе лицемера, не сравнить и с извержением вулкана.

Клюбен был доволен, что рядом никого нет, но его не огорчило бы и чье-нибудь присутствие. Он бы насладился ужасом свидетеля.

Он был бы счастлив, если бы мог крикнуть всем людям на свете: «Эй вы, глупцы!»

Одиночество и усиливало и умаляло его торжество.

Он был единственным очевидцем своей славы.

Стоять у позорного столба по-своему привлекательно. Все видят, что ты подлец.

Ты утверждаешься в своем могуществе, когда толпа рассматривает тебя. Каторжник в железном ошейнике, стоящий на помосте, — деспот, насильно приковывающий к себе все взгляды. Эшафот — своеобразный пьедестал. Разве не блистательный триумф — стать центром всеобщего внимания? Принудить общественное око взглянуть на тебя — одна из форм превосходства. Для кого зло — идеал, для того позор — ореол. На эшафоте стоишь над всеми. Это — высота, какая бы она ни была, на ней ты подобен победителю. В плахе, на которую смотрит вселенная, есть нечто схожее с троном.

Быть выставленным напоказ — значит быть созерцаемым.

Дурному царствованию, очевидно, суждены утехи позорного столба. Нерон, поджигавший Рим, Людовик XIV, предательски овладевший Пфальцем, регент Георг, исподволь умерщвлявший Наполеона, Николай I, на глазах всего цивилизованного мира душивший Польшу, вероятно, испытывали нечто похожее на то наслаждение, о котором мечтал Клюбен. Глубина презрения внушает презираемому мысль о своем величии.

Разоблачение — банкротство, а саморазоблачение — триумф. Это упоение своей неприкрытой и самодовольной наглостью, это самозабвенный цинизм, наносящий оскорбление всему сущему. Высочайшее блаженство.

Такие мысли как будто противоречат лицемерию, но это не так. Подлость последовательна. Речи как мед, а дела как полынь. Эскобар близок маркизу де Сад. Доказательство: Леотад. Лицемер — законченное воплощение зла, он совмещает два полюса извращенности. С одной стороны, он проповедник, с другой — распутница. Он двупол, подобно дьяволу. Лицемер — страшный гермафродит зла. Зло само себя оплодотворяет в нем, дает росток и преображается. С виду он обаятелен; выверните его наизнанку — он омерзителен.

Несвязные злобные мысли роились в мозгу Клюбена. Он плохо разбирался в них, но наслаждался безмерно.

Сноп искр из преисподней в ночи — вот мысли этого человека.

Итак, Клюбен некоторое время пребывал в задумчивости: он разглядывал свою честность, как змея разглядывает сброшенную ею кожу.

В его честность верили все и даже отчасти он сам.

Он опять расхохотался.

Все будут думать, что он умер, а он жив и разбогател. Все будут думать, что он погиб, а он спасен. Ловко же он сыграл на человеческой глупости!

Глупцом оказался и сам Рантен. Клюбен вспоминал Рантена с безграничным презрением! То было презрение лисицы к тигру. Рантену улепетнуть не удалось, зато ему, Клюбену, повезло. Рантен сошел со сцены посрамленным; Клюбен исчезнет торжествуя. Он пожал плоды преступления Рантена, и именно ему, Клюбену, привалило счастье.

Окончательного плана на будущее он еще не составил. В железной табакерке, запрятанной в поясе, лежат три банковых билета — этого вполне достаточно. Он переменит имя. Есть страны, где шестьдесят тысяч франков дороже шестисот тысяч. Недурно было бы отправиться в такой край и зажить благопристойно на деньги, отобранные у вора Рантена. Или заняться коммерцией, войти в мир крупных дельцов, увеличить капитал, сделаться настоящим миллионером — это тоже было бы неплохо.

Вот, например, в Коста-Рика только что началась обширная торговля кофе, там загребешь тонны золота. Словом, поживем — увидим.

Сейчас не стоит об этом думать. Впереди времени много. Самое трудное миновало. Ограбить Рантена, исчезнуть вместе с Дюрандой — вот это было делом сложным. Оно выполнено. Остальное пустяки. Отныне препятствий не будет. Ничего неожиданного произойти не может. Бояться нечего. Он доплывет до берега, ночью проберется к Пленмону, поднимется на утес, пойдет прямо к «Дому привидений», — туда нетрудно влезть по веревке с узлами, спрятанной в расщелине скалы; в доме он найдет саквояж с сухой одеждой и запасом еды; там он пробудет несколько дней; по наведенным справкам он знал, что не пройдет и недели, как испанские контрабандисты, может быть и сам Бласкито, подплывут к Пленмону; за несколько гиней его отвезут не в Торбэй, как он сказал Бласко, чтобы рассеять всякие догадки и навести на ложный след, а в Пасахес или Бильбао. Оттуда он доберется до Вера-Крус или Нового Орлеана. В общем, пора броситься в море, лодка уже далеко, проплыть час ему ничего не стоит. Всего лишь миля отделяет его от суши, раз он попал на Гануа.

Не успел Клюбен подумать об этом, как туман прорвался.

Появилась грозная громада Дуврских скал.

VII. Неожиданное вмешивается

Растерянно вглядывался в них Клюбен.

Да, то был он, грозный, пустынный риф.

Нельзя было не узнать его чудовищный силуэт. Перед Клюбеном, наводя ужас, высились Дувры-близнецы, узкий проход между ними казался западней. Тут был, можно сказать, разбойничий притон океана.

Стояли они совсем близко. Непроницаемая мгла скрывала их до сих пор, точно сообщница.

В тумане Клюбен сбился с пути. Несмотря на всю его осторожность, с ним приключилось то же, что и с двумя великими мореплавателями: Гонсалесом, открывшим мыс Белый, и Фернандесом, открывшим мыс Зеленый. Туман ввел его в заблуждение. Он представлялся Клюбену прекрасным средством осуществления всех планов, но был по-своему опасен. Клюбен отклонился к западу и ошибся. Гернсеец, уверенный, что видит Гануа, предопределил роковой поворот руля. Клюбен думал, что очутился на Гануа.

Дюранда, пробитая выступом подводного камня, находилась всего лишь в нескольких кабельтовых от Дувров.

Саженях в двухстах от нее вырисовывалась гранитная глыба кубической формы. На отвесных склонах скалы виднелись впадины и выступы, по которым можно было вскарабкаться. Ровные линии ее прямоугольных шероховатых стен наводили на мысль, что наверху есть площадка.

То был утес «Человек».

Он возвышался над Дуврами. Его плоская верхушка поднималась над их двойной недоступной вершиной. Площадка утеса, осыпавшаяся с краев, была словно обнесена карнизом и поражала скульптурной строгостью линий. Нельзя было представить себе ничего более безотрадного и зловещего. Широкие, медлительные волны, набегавшие из открытого моря, собирались складками вокруг квадратных стен огромного черного обрубка — пьедестала для исполинских духов океана и ночи.

Все словно застыло. Еле ощутимо было дуновенье в воздухе, еле заметна рябь на воде. Чудилось, что под этой безмолвной гладью, в бездонных глубинах, кипит жизнь.

Клюбен не раз видел издалека Дуврские скалы.

Он убедился, что попал именно на этот риф.

Сомнений не было.

Внезапное и страшное превращение. Дув-

ры вместо Гануа. Вместо одной мили — пять миль вплавь. Проплыть пять миль невозможно! Дуврские скалы для человека, потерпевшего крушение, — видимое и осязаемое воплощение смертного часа. Запрет, наложенный на попытку достичь суши.

Клюбен задрожал. Он сам кинулся в раскрытую пасть тьмы. Единственное убежище — утес «Человек». А вдруг ночью разразится буря и переполненная шлюпка с Дюранды опрокинется? Весть о кораблекрушении не дойдет до берега. Никто и знать не будет, что Клюбен остался на Дуврском рифе. Впереди одно: смерть от холода и голода. Семьдесят пять тысяч франков не принесут ему и крошки хлеба. Всем планам, которые он строил, пришел конец у этой западни. Он был добросовестным зодчим собственного несчастья. Выхода нет. Нет возможности спастись. Торжество обернулось гибелью. Вместо освобождения — плен. Вместо долгого счастливого будущего — недолгая борьба со смертью. В один миг, короткий, как вспышка молнии, все его сооружение рухнуло. Рай, которым грезил этот демон, принял свой подлинный вид — вид могилы.

Между тем поднялся ветер. Подхваченный, прорванный, развеянный ветром туман огромными

беспорядочными клочьями уплывал к горизонту. Показалось море.

В трюме по-прежнему ревели быки, их заливало все больше и больше.

Приближалась ночь, а с нею, быть может, и буря.

Прилив приподнял Дюранду, и она покачивалась то справа налево, то слева направо, а потом начала поворачиваться на острие утеса, как на оси.

Можно было предвидеть тот миг, когда налетевший вал сорвет ее и швырнет на дно.

Стало светлее, чем в минуту крушения, хоть час и был поздний. Туман, исчезая, унес с собой долю темноты. Запад очистился от туч. В сумерках белела ширь небес. И этот необозримый светильник озарял море.

Дюранда врезалась в риф, задрав корму кверху. Клюбен поднялся на кормовую часть судна, почти целиком выступавшую из-под воды. Он стал пристально вглядываться в горизонт.

Свойство лицемерия — обольщать себя надеждой. Лицемер всегда выжидает. Лицемерие — не что иное, как надежда злодея; в основе этого самообмана лежит превратившаяся в порок добродетель.

Как ни странно, но лицемерию не чужда доверчивость. Лицемер доверяется бесстрастию, которое заключено в неведомом и которое допускает зло.

Клюбен вглядывался в пространство.

Положение было безнадежное, но в этой черной душе теплилась надежда.

Клюбен уверял себя, что после тумана, который держался так долго, корабли, лежавшие в дрейфе или стоявшие на якоре, возобновят путь и, вероятно, на горизонте появится какое-нибудь судно.

И правда, вдруг показался парус.

Он шел с востока на запад.

Корабль приближался, стали видны его очертания. Он был оснащен, как шхуна, с одной мачтой, бушприт у него лежал почти горизонтально. То был кутгер.

Не пройдет и получаса, как он будет рядом с Дуврскими скалами.

Клюбен решил: «Я спасен».

В такие минуты человек думает лишь о своем спасении.

Может быть, это иностранный парусник. Кто знает, а вдруг это судно контрабандистов и идет оно в Пленмон? Кто знает, а вдруг ведет его сам Бласкито? В таком случае сохранена не толь-

ко жизнь, но и богатство. Встреча на Дуврском утесе ускорит развязку, избавит его от ожидания в заколдованном доме и завершит опасное предприятие здесь, в открытом море, — какая счастливая случайность!

Страстная вера в успех вновь охватила его темную душу.

Удивительно, как легковерны бывают негодяи, уповая на то, что им суждена удача.

Теперь оставалось сделать одно.

Силуэт Дюранды, застрявшей в скалах, сливался с их силуэтами, теряясь в зубчатых очертаниях; она представляла собой неясное, расплывчатое пятно и при свете меркнущего дня не могла привлечь внимания проходящего мимо судна.

Но человеческая фигура, которая стоит на вершине утеса, резко чернея на бледном сумеречном небе, и подает сигналы бедствия, несомненно будет замечена. За погибающим пошлют лодку.

Утес «Человек» находился всего лишь в двухстах саженях. Доплыть до него было просто, взобраться на площадку нетрудно.

Нельзя было терять ни минуты.

Дюранда наскочила на риф носовой частью, и надо было прыгать с задравшейся кверху кормы, то есть именно с того места, где и стоял Клюбен.

Прежде всего он бросил лот и убедился, что под кормой очень глубоко. Микроскопические раковины корненожек и полицистиний, приставшие к смазке лота, не были повреждены, что указывало на глубину пещер в скалах, где вода всегда спокойна, даже при самом сильном волнении на поверхности.

Клюбен скинул одежду и оставил ее на палубе. На паруснике найдется для него другая.

Не снял он только кожаного пояса.

Раздевшись, он провел рукой по поясу, проверил, хорошо ли он застегнут, ощупал железную табакерку, потом быстрым, испытующим взглядом наметил направление, которого надо было держаться среди волн и подводных скал, чтобы доплыть до утеса «Человек», и, бросившись вниз головою, нырнул в море.

Он падал с большой высоты и нырнул глубоко.

Он ушел далеко под воду, коснулся дна, обогнул подводные скалы и оттолкнулся, чтобы подняться на поверхность.

И тут почувствовал, что кто-то схватил его за ногу.

Книга седьмая
Задавать вопросы книге – неосторожность
I. Жемчужина на дне бездны

Через несколько минут после краткого разговора со сьером Ландуа Жильят уже был в Сен-Сансоне.

Его волнение перешло в мучительное беспокойство. Что же там случилось?

Сен-Сансон гудел, как потревоженный улей. Люди высыпали на улицу. Женщины ахали. Несколько жителей порта, очевидно, что-то рассказывали, размахивая руками; их обступили слушатели. Доносились слова: «Вот беда!» Но многие усмехались.

Жильят никого не расспрашивал. Не в его характере было задавать вопросы. К тому же он был слишком озабочен, чтобы заговаривать с посторонними. Не доверяя россказням, он предпочитал узнать все сам и направился прямо к «Приюту неустрашимых».

Он был так взволнован, что даже не побоялся войти в дом.

Впрочем, дверь нижней залы, выходившая на набережную, была открыта настежь. У входа толпились мужчины и женщины. Входили все. Вошел и он.

Остановившись на пороге, он увидел у дверей сьера Ландуа, который сказал ему вполголоса:

— Вы, конечно, уже знаете, что случилось?

— Нет, — ответил Жильят.

— Мне не хотелось кричать на всю улицу, каркать о беде, как ворон.

— В чем же дело?

— Погибла Дюранда.

Зала была полна народа.

Собравшиеся стояли кучками и тихо переговаривались, словно в комнате больного.

Все, кто здесь был, соседи, прохожие, любопытные, праздношатающиеся, топтались у дверей в какой-то нерешительности, не проходя в комнату, — там сидела, обливаясь слезами, Дерюшетта, а рядом с ней стоял месс Летьери.

Старик прислонился к перегородке; его матросская шапка сползла на брови; прядь седых. волос свисла на щеку. Он молчал. Его руки были недвижны, грудь, казалось, не дышала. Он производил впечатление вещи, приставленной к стене.

Чувствовалось, что это человек конченый. С утратой Дюранды Летьери утратил и смысл жизни. Была у него родная душа в море, и душа эта загублена. Что же делать? По утрам вставать, по вечерам ложиться, не ждать больше Дюранду, не видеть, как она отплывает, как возвращается. Да стоит ли доживать остаток дней своих без цели? Есть, пить, ну а дальше? Венцом трудов этого человека было чудесное творение, венцом самопожертвования и упорства — прогресс. И вот прогресса как не бывало, чудесное творение мертво. Протянуть еще несколько бесплодных лет — к чему? Отныне ему нечего делать. В таком возрасте жизнь не начинают заново; кроме того, он разорен. Несчастный старик!

Плачущая Дерюшетта сидела на стуле около месса Летьери, сжимая в своих ручках его руку. Ее пальцы сплелись на его судорожно стиснутом кулаке. Оба были удручены, но по-разному. Сплетенные пальцы выражали надежду, судорожно сжатый кулак безнадежность. Месс Летьери не отнимал руку, не противился Дерюшетте. Он был безучастен. В нем чуть теплилась жизнь, как в тех, кого поражает молния.

Порой пропасть, разверстая перед вами, выхватывает вас из среды живых. Вы не замечаете, не

видите людей, которые снуют по вашей комнате. Они рядом, но они так далеки от вас! Вы для них непостижимы, они же вам чужды. Счастье и горе не уживаются; отчаявшийся держится в стороне от других людей, он почти не сознает их присутствия, он теряет ощущение собственного «я»; он, созданный из плоти и крови, уже не чувствует себя реальным существом; ему кажется, будто он видит себя во сне.

Именно такое душевное состояние и отражалось во взгляде месса Летьери.

Посетители перешептывались, обмениваясь новостями. Вот какие были сведения:

Накануне, незадолго до захода солнца, Дюранда, застигнутая туманом, наскочила на Дуврский риф. Весь экипаж и пассажиры спаслись на баркасе, кроме капитана, не пожелавшего покинуть пароход. Шквал, налетевший с юго-запада после тумана, вторично чуть было не потопил их и не унес в открытое море, далеко от Гернсея. Однако ночью им посчастливилось: они встретили корабль «Кашмир», который их подобрал и доставил в порт Сен-Пьер. Все произошло по вине рулевого Тангруйля, которого теперь посадили в острог. Клюбен же проявил истинное величие духа.

Лоцманы, — а их собралось тут немало, — произносили слова «Дуврский риф» с каким-то особенным выражением. «Ночлег незавидный!» — сказал кто-то.

На столе лежали компас, кипа судовых журналов и тетрадей; очевидно, это были компас и документы с Дюранды, все, что Клюбен передал Энбранкаму и Тангруйлю, когда отчаливал баркас. Прекрасный образец самоотверженности человека, спасающего в свой предсмертный час даже ненужные теперь бумаги; маленькая подробность, полная величия; возвышенное самоотреченье.

Все единодушно восхищались Клюбеном и единодушно уповали на его спасение. Парусник «Шильтиль» прибыл на несколько часов позже «Кашмира», он-то и принес свежие новости. Парусник провел сутки в тех же водах, что и Дюранда, пережидая туман и лавируя во время бури. Шкипер «Шильтиля» находился среди присутствующих.

Когда Жильят входил в комнату, шкипер как раз начал рассказывать мессу Летьери о происшедшем. Его рассказ был настоящим рапортом. Под утро, когда буря затихла и сменилась благоприятным ветром, среди открытого океана

вдруг послышалось мычанье. Звуки, обычные на пастбищах, раздавшись над водным простором, поразили шкипера «Шильтиля»; он направил судно в ту сторону. И в Дуврских скалах он увидел Дюранду. Море утихло настолько, что ему удалось приблизиться. Он окликнул покинутое судно. В ответ он услышал только рев быков, захлебывающихся в трюме. Шкипер «Шильтиля» был убежден, что на Дюранде не осталось ни души. Пароход, потерпевший крушение, держался великолепно, и, несмотря на неистовый шторм, Клюбен вполне мог провести там ночь. Такой человек легко не сдается. На Дюранде его не было, следовательно, он спасся. Много шлюпов и люгеров из Гранвили и Сен-Мало, выбравшись из тумана накануне вечером, должны были пройти вблизи Дуврского рифа. Какой-нибудь и подобрал, очевидно, капитана Клюбена. Нельзя забывать, что баркас Дюранды, покидая тонущий пароход, был переполнен и, следовательно, подвергался большой опасности, лишний человек мог бы его перегрузить и потопить, — конечно, это и заставило капитана Клюбена принять решение остаться на разбитом пароходе; но, выполнив свой долг, капитан Клюбен, несомненно, воспользовался помощью проходившего мимо корабля.

Можно быть героем, но не нужно быть глупцом. Предполагать самоубийство было бы просто нелепо, ведь Клюбен безупречен. Преступник, разумеется, Тангруйль, а отнюдь не Клюбен. Все это звучало убедительно; шкипер «Шильтиля» был, видимо, прав, и все с минуты на минуту ждали появления Клюбена. Даже решили его качать.

Из рассказа шкипера выяснилось два непреложных факта: Клюбен спасен, а Дюранда погибла.

С утратой Дюранды приходилось примириться, ибо беда была непоправима. Шкипер «Шильтиля» присутствовал при последней стадии крушения. Острый утес, к которому как бы пригвоздило Дюранду, крепко держал ее всю ночь, противясь буре, точно не хотел расставаться с добычей; но утром, когда на «Шильтиле» убедились, что спасать некого, и собрались удалиться от Дюранды, море снова забушевало, словно в последнем припадке бурного гнева. Огромный вал с яростью подхватил Дюранду, сорвал с утеса, и она, пролетев, как стрела, пущенная меткой рукой, врезалась в теснину Дувров. Раздался «дьявольский треск», как выразился шкипер. Дюранда, подброшенная волной, застряла между скалами по средний шпангоут. Она снова была

пригвождена, но гораздо крепче, чем на подводном рифе. И как это ни жаль, она так и повисла там, — отдана на произвол ветра и волн.

По мнению экипажа «Шильтиля», Дюранда на три четверти разрушена. Она, по всей вероятности, затонула бы ночью же, если бы скала не поддержала и не удержала ее. Шкипер «Шильтиля» внимательно осмотрел покинутый пароход в подзорную трубу. И теперь с точностью, присущей моряку, он сделал подробный отчет о всех повреждениях: правая раковина пробита, мачты обломаны, паруса разорваны, почти все вант-путенсы перерезаны, световой люк каюты расшибло упавшим реем, контртимберсы разбиты на уровне планширя от самой грот-мачты до гакаборта, колпак над люком кладовой продавлен, шлюпочные блоки опрокинуты, рубку разворотило, баллер руля сломан, бейфуты сорваны, фальшборт срезан, битенги снесены, люковой бимс уничтожен, планширь отодран, ахтерштевень переломлен. Буря учинила неистовый разгром. Подъемной стрелы, прикрепленной к мачте на баке, как не бывало, нет и в помине — снята начисто, полетела к чертям вместе со всей подъемной снастью, талями, цепями и железным блоком. Дюранда искалечена, теперь ее станет

рвать на части вода. Через несколько дней от нее и следа не останется.

Но машина почти не повреждена, хотя все кругом разрушено; это просто чудо, — вот когда она доказала свои превосходные качества. Шкипер «Шильтиля» ручался, что в самой «механике» нет больших повреждений. Мачты парохода не устояли, но дымовая труба выдержала. Железные поручни капитанского мостика только согнуты кожухи повреждены, коробки измяты, но у колес как будто все лопасти налицо. Машина цела и невредима. В этом был убежден шкипер «Шильтиля». Кочегар Энбранкам, говоривший то с тем, то с другим, разделял это убеждение. Негр был умнее многих белых и относился к машине с обожанием. Он потрясал руками, растопырив все десять черных пальцев, и повторял безмолвному Летьери: «Хозяин, машина жива!»

Теперь все толковали о машине, ибо никто уже не сомневался в спасении Клюбена и в гибели корпуса Дюранды. Машиной интересовались, как существом одушевленным. Восхищались ее прекрасным поведением.

«Ну и крепка!» — говорил французский матрос. «Уж куда крепче!» — восклицал гернсейский рыбак. «И какая ловкая, отделалась двумя-тремя

царапинами», — подхватывал шкипер «Шильтиля».

Мало-помалу машина овладела всеобщим вниманием. Страсти разгорались — кто был за нее, кто против. У нее оказались и друзья и враги. Владельцы старых добрых парусников, в надежде подцепить клиентов Дюранды, втайне радовались, что Дуврские скалы учинили расправу над новым изобретением. Шепот переходил в гул. Спорили чуть не во весь голос. Однако воли себе не давали; порою говор затихал, ибо всех подавляло гробовое молчание Летьери.

Из всестороннего обсуждения можно было сделать такой вывод:

— Машина — самое главное; можно построить новое судно, а новую машину построить нельзя. Другую уже не сделаешь. У Летьери не было денег, не было и строителя, чтобы создать такую машину. Вспомнили, что конструктор машины умер. Она обошлась в сорок тысяч франков. Теперь уж никто не решится вложить капитал в такое ненадежное дело. Все убедились, что паровые суда гибнут так же, как и парусники; несчастный случай с Дюрандой зачеркнул весь ее прошлый успех. Однако прискорбно было думать, что механизм, который сейчас еще цел,

через каких-нибудь пять-шесть дней будет, вероятно, разбит вдребезги, как и сам корабль. Пока машина в сохранности, можно считать, что кораблекрушения не было. Только ее потеря была бы невозместимым ущербом. Спасти машину — значит предотвратить разоренье.

Спасти машину — легко сказать. Кто же за это возьмется? Да разве это мыслимо? Взяться и осуществить — вещи разные, при проверке всегда выходит, что мечтать легко, а выполнять трудно. И никогда не было мечты более неосуществимой и безрассудной, чем мечта о спасении машины, застрявшей в Дуврах. Послать на эти скалы судно с экипажем для спасательных работ просто нелепо, об этом и думать нечего. Сейчас пора бурь на море; при первом же шквале цепи якорей перетрутся о гребни подводных скал, и судно разобьется о риф. Зачем устраивать второе кораблекрушение вдобавок к первому? В углублении, на верхушке утеса, где нашел приют легендарный пловец, умершии от голода, едва хватало места для одного человека. Значит, чтобы спасти машину, надо кому-то отправиться на Дуврские скалы, отправиться одному и одному очутиться в море, в этой пустыне, за пять миль от берега, в царстве ужаса, прожить несколько недель, ли-

цом к лицу с предвиденным и непредвиденным, без запасов продовольствия, изнемогать от лишений, не ждать поддержки в случае опасности, не видеть и следа человеческого, кроме останков того, кто давным-давно умер на этом утесе от мук и голода, и не найти себе иного товарища, кроме этой тени. Да и как взяться за спасение машины? Тут надо быть не только матросом, но и кузнецом. А сколько суждено испытаний! Мало назвать героем человека, который пошел бы на это. Он был бы безумцем. При некоторых подвигах, безмерно трудных, где требуются чуть ли не сверхчеловеческие силы, от мужества веет безумием. И в самом деле, разве не сумасбродство — жертвовать собой ради ржавого железного лома? Нет, никто не решится плыть к Дуврским скалам. С машиной придется распроститься, как и со всем остальным. Не найти спасителя, которому было бы по плечу это дело. Где отыскать такого человека?

Эта мысль, выраженная несколько иначе, вполголоса обсуждалась всеми собравшимися.

Шкипер «Шильтиля», бывший лоцман, выразил общее мнение громким восклицанием:

— Ничего не выйдет! Нет на свете такого человека, который отправился бы туда и вернулся бы

с машиной!

— Уж если я не берусь за это дело, — прибавил Энбранкам, — значит, за него и браться нельзя.

Шкипер «Шильтиля» безнадежно махнул рукой, словно желая показать, что он сам не верит в возможность этого, и заметил:

— А если бы нашелся…

Дерюшетта вскинула голову.

— То я вышла бы за него замуж, — произнесла она.

Наступило молчание.

От толпы отделился человек, он был очень бледен.

— Вы бы вышли за него замуж, мадемуазель Дерюшетта? — спросил он.

То был Жильят.

Все взгляды впились в него. Месс Летьери выпрямился. Его глаза загорелись под нависшими бровями.

Он стащил всей пятерней с головы матросскую шапку и швырнул ее об пол, потом, глядя перед собой и никого не видя, торжественно произнес:

— Дерюшетта выйдет за него замуж. Даю честное слово перед Господом Богом.

II. На западном берегу Гернсея все повергнуты в изумление

Ночь, наступившая за этим днем, обещала часов с десяти быть лунной. И все же, хоть и сама ночь, и ветер, и море благоприятствовали рыбакам, никто не собирался выходить в океан ни из Угла-Пера, ни из Бурдо, ни из Умэ-Бене, ни из Платона, ни из порта Гра, ни из Вазонской бухты, ни из Перель-Бэя, ни из Пезери, ни из Тьеля, ни из залива Святых, ни из Пти-Бо — словом, ни из одной гернсейской бухты или бухточки. И причина была самая простая: в полдень пропел петух.

Если петух поет в неурочный час — не бывать улову.

Однако вечером, когда уже стемнело, рыбак, возвращавшийся в Онтоль, заметил нечто удивительное. Около бухты Умэ-Паради за обоими Брэями и обоими Грюнами, слева от вехи Плат-Фужер, похожей на опрокинутую воронку, и справа от вехи Сен-Сансона, похожей на человеческую фигуру, ему померещилось что-то вроде третьей вехи. Что это была за веха? Когда ее установили в этом месте? О какой мели она предупреждает?

Веха тут же ответила на его вопросы: она двигалась; то была мачта. Рыбаку это показалось не менее удивительным. Веха его поразила, а мачта и подавно. Ведь о рыбной ловле нечего было и думать. А тут, когда все возвращались на берег, кто-то выходил в море. Кто именно? Зачем?

Минут десять спустя мачта, медленно подвигаясь, приблизилась к онтольскому рыбаку. Но он так и не распознал, чья это лодка. Слышны были удары двух весел, и только. Очевидно, гребец был один. Ветер дул с севера; вероятно, человек греб, намереваясь за мысом Фонтенель поймать попутный ветер. Там, надо думать, он пойдет под парусами. Он, видимо, рассчитывал обогнуть Анкрес и гору Кревель. Что бы это значило?

Мачта скрылась, рыбак вернулся домой.

В тот же вечер случайные наблюдатели, оказавшиеся на западном берегу Гернсея, кое-что заметили в разные часы и в разных местах.

Пока онтольский рыбак причаливал лодку к берегу, на полмили дальше, возле того кромлеха, что стоит неподалеку от сторожевых башен 6 и 7, один крестьянин, проезжая с возом водорослей по безлюдной клотюрской дороге, приметил, как подняли парус в открытом море, поблизости от Северной скалы и Песчаной отмели — там, где

редко проходят суда, да и те только, которым это место хорошо известно. Впрочем, он почти не обратил внимания на парус, ибо признавал телегу, а не лодку.

Прошло, быть может, с полчаса после того, как возчик заметил паруе, когда некий штукатур, возвращаясь после работы из города и обходя Пелейское болото, вдруг увидел почти прямо перед собой лодку, бесстрашно пробиравшуюся между скал Квенона, Русдемер и Грипдерус. Ночь была темная, но море, — а это нередко случается, — светлое, и можно было различить проплывающие суда. В морском просторе виднелась только эта лодка.

Чуть пониже и чуть попозже ловец лангуст, раскладывая снасть на линной косе, отделяющей гавань Жажды от Адской гавани, не мог взять в толк, что нужно лодке, скользившей между Вороньей топью и Мульретом. Верно, опытный был лоцман и очень спешил куда-то, если отважился забраться в такое место.

Когда на колокольне в Кателе пробило восемь часов, трактирщик из бухты Кобо заметил, оторопев от изумления, за Садовой топью и Грюнетом парус, совсем рядом с Сюзанной и Западным Грюном.

Неподалеку от бухты Кобо на уединенном мысе Умэ, в Вазонской бухте, чета влюбленных никак не могла расстаться; в тот миг, когда девушка молвила парню: «И ухожу я не потому, что надоел ты мне, а потому как работу доделать надо», — их отвлекла от прощального поцелуя довольно большая лодка, проплывшая совсем близко по направлению к Меселетам.

Господин Пейр де Норжио, живший на холме Пипэ, был поглощен осмотром лазейки, сделанной ворами в изгороди его небольшого сада, именуемого Женрот, вернее, палисадника, а также подсчетом причиненного ему убытка, но все же часов около девяти вечера он обратил внимание на лодку, отважно огибавшую Крок-Пуан в этот поздний час.

Такой маршрут далеко не безопасен на следующий день после бури, когда волнение еще не совсем улеглось. Было опрометчиво идти этим путем, если только рулевой не знал на память все фарватеры.

В половине десятого в Экерье один рыболов, убиравший сети, приостановился, заглядевшись на предмет, напоминавший лодку, маячивший между скалами Голубкой и Ветряной. Суденышко подвергалось большой опасности. Шквалы в тех

местах, случается, налетают внезапно. Скала Ветряная потому так и называется, что возле нее нежданно-негаданно на суда обрушивается ветер.

Когда взошла луна и наступил прилив и когда море затихло в узком проливчике Ли-У, сторож острова Ли-У, живший там в одиночестве, натерпелся страха: он увидел, как между ним и луной промелькнула длинная черная тень. Черная, узкая и длинная, тень была похожа на движущуюся фигуру в саване. Она медленно скользила над гранитными стенами скалистой отмели. Береговой сторож решил, что это «Черная дама».

«Белая дама» обитает на Восточной Груде Гороха, «Серая дама» — на Западной Груде Гороха, «Красная дама» — на скале Сильез, к северу от Маркизовой мели, а «Черная дама» — на Большом Этакре, к западу от Ли-Умэ. По ночам все эти «дамы» выходят и порою встречаются при лунном свете.

Конечно, черная тень могла быть и парусом. Длинная гряда рифов, поверх которых, казалось, она шагала, могла, разумеется, скрыть лодку, плывущую за ними, оставив на виду лишь парус. Но сторож спрашивал себя: кто же отважится сейчас пройти на лодке между Ли-У и утесом

Грешницы, между Ангильерами и Лере-Пуан? И с какой целью! «Черная дама» представлялась ему чем-то более правдоподобным.

Луна стояла над колокольней Сен-Пьер-дю-Буа, когда сержант замка Рокен, подняв уже до половины подъемный мост, вдруг различил у входа в бухту, подальше Верхнего Канэ, ближе к Самбюлю, парусник, который, казалось, шел с севера на юг.

На южном конце Гернсея, за Пленмоном, где берег круто обрывается в море, есть залив, усеянный бездонными ямами и высокими скалами; в глубине его существует не совсем обычная пристань, которую один француз, живущий на острове с 1855 года, — быть может, тот, кто пишет эти строки, — окрестил «Пристанью на четвертом этаже»; название утвердилось, оно общепринято и теперь. Эта пристань, именовавшаяся в ту пору Круча, представляет собой скалистое плато, полуестественное, полуискусственное, и возвышается футов на сорок над уровнем моря; две прочные дубовые доски, установленные параллельно и наклонно, связывают ее с океаном. Лодки поднимаются с моря вручную по доскам, на цепях и блоках, и тем же способом спускаются, как по рельсам. Для людей устроена лестница. В те

времена этот порт облюбовали контрабандисты. Он был малодоступен и потому удобен для их целей.

Часам к одиннадцати контрабандисты, вероятно, те самые, на которых рассчитывал Клюбен, собрались со своими тюками на скалистой площадке Кручи. Перевозчики контрабанды не дремлют; они были начеку. И их удивил парус, внезапно вынырнувший из-за темной громады Пленмонского мыса. Светила луна. Контрабандисты следили за парусом, опасаясь, не вздумалось ли какому-нибудь береговому сторожу вести наблюдение из засады у Большого Гануа. Но парусник миновал Гануа, оставил позади на северо-западе Бу-Блондель и исчез в открытом море, в синеватой дымке, затушевавшей горизонт.

— Куда к черту несет эту лодку? — переговаривались контрабандисты.

В тот же вечер, чуть закатилось солнце, кто-то постучал в дверь «Дома за околицей». То был подросток в коричневой одежде и желтых чулках, — по-видимому, причетник приходской церкви. Двери и ставни «Дома за околицей» были наглухо заперты. Старая рыбачка с фонарем в руке, бродившая по отмели в поисках «плодов моря», окликнула юношу и обменялась с ним

следующими словами у самого входа в дом Жильята:

— Чего тебе нужно, малый?

— Нужен здешний хозяин.

— Никого тут нет.

— Где же он?

— Кто его знает!

— Завтра-то он будет?

— Кто его знает!

— Может, он уехал?

— Кто его знает!

— Видите ли, тетушка, его хотел навестить новый приходский священник, его преподобие Эбенезер Кодре.

— Кто его знает!

— Его преподобие послал меня узнать, будет ли хозяин «Дома за околицей» завтра у себя.

— Да кто его знает!

III. Не искушайте Библию

Целые сутки месс Летьери не спал, не ел, не пил; поцеловав в лоб Дерюшетту, он осведомился, нет ли известий о Клюбене, затем подписал заявление о том, что не намерен подавать никакой жалобы на Тангруйля, и выхлопотал ему

свободу.

День он провел в конторе Дюранды, опершись на стол, полусидя, полустоя, и кротко отвечал тем, кто с ним заговаривал. Впрочем, человеческое любопытство было удовлетворено, и «Приют неустрашимых» опустел. В готовности посочувствовать чужому горю скрыто желанье обо всем разведать. Двери затворились; Летьери остался вдвоем с Дерюшеттой. Огонек, мелькнувший было в глазах Летьери, погас; они снова были полны скорби, как в первые часы после свершившейся катастрофы.

Встревоженная Дерюшетта, по совету Грас и Дус, молча положила перед ним на стол чулки, которые месс Летьери вязал в ту минуту, когда пришла печальная весть.

Он горько усмехнулся и сказал:

— Право, вы считаете меня дураком.

Помолчав с четверть часа, он добавил:

— Причуды хороши, когда человек счастлив.

Дерюшетта убрала чулки и, воспользовавшись случаем, убрала заодно компас и судовые документы, на которые месс Летьери смотрел чересчур упорно.

После обеда, незадолго до вечернего чая, дверь отворилась, и вошли двое в черном — старик и

молодой.

Молодого, вероятно, читатель уже приметил в ходе нашего повествования.

У обоих посетителей была строгая осанка, но строгая по-разному: серьезность старика, так сказать, соответствовала его общественному положению; серьезность юноши — его характеру; одна дается саном, другая — мыслью.

Судя по их одежде, оба были духовными особами, оба исповедовали официальную религию.

В молодом человеке поражало несоответствие между его глубоким серьезным взглядом, видимо отражавшим склад его ума, и его наружностью. Но не серьезность, которая допускает страсть и, очищая ее, возвеличивает, вызывала изумление, а красота юноши. Ему минуло двадцать пять лет, раз он уже стал священником, но на вид ему было не больше восемнадцати. Он олицетворял и гармонию и контраст: душа его, казалось, была душой страстотерпца, облик — обликом любовника. Он был белокур, румян и свеж, очень строен, на нем превосходно сидел костюм строгого покроя; щеки у него были девичьи, руки выхоленные; держался он непринужденно и просто, хотя и сдержанно. Все в нем дышало очарованием, изяществом, почти чувственным

обаянием, но его проникновенный взгляд как бы умерял эту чрезмерную миловидность. Чистосердечная улыбка, задумчивая и добрая, обнажала ровные белые зубы, и в этой улыбке было что-то детское. В нем сочетались привлекательность пажа и достоинство епископа.

Густые белокурые волосы, отливавшие золотом, как будто они задались целью пленять, обрамляли высокий, чистый и красивый лоб. Едва заметная изогнутая морщинка залегла между бровями, вызывая смутное представление о парящей мысли, которая, подобно птице, распростерла крылья на его челе.

С первого взгляда вы могли угадать, что перед вами один из тех доброжелательных, невинных и чистых сердцем людей, которые в противоположность людям заурядным совершенствуются, черпая мудрость в иллюзии, а вдохновение — в жизненном опыте.

Сквозь кристальную прозрачность юности просвечивала духовная зрелость. Молодой незнакомец казался сыном седовласого декана, но если бы вы пригляделись к нему внимательнее, то сочли бы отцом.

Его спутник был не кто иной, как Жакмен Эрод, доктор богословия, последователь главенству-

ющей церкви, почти папистской, но без папы. Англиканское учение в те времена подпало под влияние идей, которые позже упрочились и нашли свое выражение в пюзеизме. Доктор Жакмен Эрод был последователем англиканского учения, которое представляет собой разновидность римско-католической религии. Он был долговяз, чопорен, ограничен и спесив. Его умственный кругозор был невелик. Буква заменяла ему разум. Отличительной чертой его было высокомерие. Весь вид Жакмена Эрода соответствовал его сану. Он скорее походил на его преосвященство, чем на его преподобие. Его сюртук покроем смахивал на сутану. По-настоящему, место ему было в Риме: природа наделила его всеми задатками придворного прелата, он как будто создан был для того, чтобы подавать облачение папе и шествовать за папскими носилками со всей папской свитой *in abitio paonazzo*[23]. Но, случайно родившись англичанином и получив теологическое воспитание, тяготевшее скорее к Ветхому, нежели к Новому Завету, он не осуществил столь славного призвания. Блестящие задатки помогли ему стать всего лишь приходским священником порта Сен-Пьер,

[23] Примечания: 23
В лиловой мантии *(итал.)*.

деканом острова Гернсей и наместником епископа Винчестерского. И, вне всякого сомнения, это создавало некий ореол вокруг его имени.

Этот ореол не мешал Жакмену Эроду быть в общем неплохим человеком.

Как теолог он пользовался уважением знатоков и слыл почти авторитетом в главной консистории архиепископа Кентерберийского — этой английской Сорбонне.

Он напускал на себя ученый вид, самонадеянно и многозначительно щурил глаза; у него были волосатые ноздри, выступающие вперед зубы, тонкая верхняя губа и мясистая нижняя; несколько дипломов, изрядный церковный доход и друзья баронеты; он снискал доверие епископа и всегда носил в кармане Библию.

Месс Летьери был так поглощен своими мыслями, что, когда вошли священники, он едва заметно нахмурил брови, только и всего.

Жакмен Зрод приблизился, поздоровался и высокомерно, но без хвастовства, напомнив в нескольких словах о своем недавнем повышении, сообщил, что явился, по традиции, «представить почетным гражданам города» и, в частности, мессу Летьери своего преемника, нового приходского священника в Сен-Сансоне, его преподобие

Джоэ Эбенезера Кодре, который отныне будет духовным пастырем месса Летьери.

Дерюшетта поднялась со стула.

Молодой священник, он же его преподобие Эбенезер, поклонился.

Месс Летьери взглянул на Эбенезера Кодре и процедил сквозь зубы: «Этот в матросы не годен».

Грас пододвинула сгулья. Их преподобия сели у стола.

Доктор Эрод разразился речью. До него дошли слухи о прискорбном событии. Дюранда потерпела крушение. И он, как пастырь, пришел с утешением и советом. Гибель Дюранды — несчастье, но в то же время и счастье. Вникнем: не обуревает ли нас гордыня в дни благоденствия нашего? Реки преуспеяния пагубны. Не подобает видеть в несчастии лишь дурную сторону. Пути господни неисповедимы. Пусть месс Летьери разорен. Так что же? Быть богатым — значит быть в опасности. У богатых неверные друзья. И бедность отгоняет их прочь. Человек остается один. Solus ens. Говорят, что Дюранда приносила тысячу фунтов стерлингов годового дохода. Чересчур много для мудреца. Избежим искушения, пренебрежем златом. Примем с благодарностью

и разорение наше и одиночество. Уединение благотворно. В нем человек обретает милость господню. Так Айя открыл горячие источники в пустыне, перегоняя табуны ослов отца своего Себеона. Да не возмутится сердце наше против непостижимой воли провидения. Многострадальный Иов впал в нищету, а потом разбогател больше прежнего. Кто знает, не вознаградится ли утрата Дюранды даже и благами мирскими? Вот, например, он сам, доктор Жакмен Эрод, вложил свой капитал в прекрасное коммерческое предприятие в Шеффильде; если у месса Летьери остались какие-нибудь сбережения и он захотел бы войти в это дело, то восстановил бы свое состояние. Речь идет о крупных поставках оружия царю для подавления восстания в Польше. Тут можно нажить все триста процентов.

Слово «царь» как будто пробудило Летьери. Он перебил доктора Эрода:

— Не нужно мне царя.

— Месс Летьери! — возразил высокочтимый Эрод. — Цари угодны Господу Богу, ибо сказано: «Воздайте кесарево кесарю». Царь — это кесарь.

Летьери, снова погрузившись в раздумье, пробормотал:

— Какой такой кесарь? Я про него не знаю.

Жакмен Эрод опять принялся увещевать. Он не настаивал на Шеффильде. Не желать кесаря — значит быть республиканцем. Высокочтимый отец допускал, что можно быть республиканцем. В таком случае пусть месс Летьери обратится к республике. В Соединенных Штатах месс Летьери еще быстрее восстановит свое богатство, чем в Англии. Чтобы удесятерить то, что у него сохранилось, ему стоит лишь приобрести акции крупнейшей компании, занимающейся разработкой техасских плантаций, на которых работает более двадцати тысяч негров.

— Не нужно мне рабства, — сказал Летьери.

— Рабство, — возразил высокочтимый Эрод, — установление священное. В Писании сказано: «Если господин ударит раба своего, то не понесет наказания, ибо заплатил за него».

Грас и Дус, стоя в дверях, с восторгом внимали словам его преподобия.

Жакмен Эрод продолжал свою речь. Как мы уже упоминали, он слыл в общем неплохим человеком, и, при всех своих кастовых или личных разногласиях с мессом Летьери, он, доктор Жакмен Эрод, искренне предлагал ему ту духовную и даже материальную помощь, которую был в силах оказать.

Если месс Летьери настолько разорился, что не может с выгодою для себя войти в какое-либо коммерческое предприятие, русское или американское, почему бы ему не сделаться чиновником и не поступить на приличную платную должность? Это благородное поприще, и высокочтимый отец готов похлопотать за месса Летьери. На Джерсее как раз пустует место депутата-виконта. Месс Летьери пользуется любовью и уважением, и его преподобие Эрод, декан Гернсея и наместник епископа, добьется для месса Летьери должности депутата-виконта Джерсея. Это очень важный пост: месс Летьери будет присутствовать как представитель ее королевского величества при разбирательствах тяжб, на прениях в суде и при исполнении приговоров.

Летьери пристально посмотрел на доктора Эрода.

— Я не любитель виселиц, — сказал он.

Доктор Эрод, до сих пор говоривший ровным, спокойным тоном, возвысил голос и заговорил строго:

— Месс Летьери! Смертная казнь — установление господне. Бог вложил в руки человека карающий меч. В Писании сказано: «Око за око, зуб за зуб».

Эбенезер незаметно придвинул свой стул к стулу Жакмена Эрода и сказал так, чтобы услышал только он один:

— То, что говорит этот человек, внушено ему.

— Кем внушено? Чем? — спросил так же тихо доктор Жакмен Эрод.

Эбенезер ответил чуть слышно:

— Совестью.

Эрод порылся в кармане, извлек пухлый томик в восемнадцатую долю листа в кожаном переплете с застежками, положил его на стол и громко сказал:

— Вот она — совесть!

То была Библия.

Потом доктор Эрод смягчился. Ему хотелось лишь одного: быть полезным мессу Летьери, которого он весьма уважает. Право и долг пастыря — давать советы, а месс Летьери волен поступать по-своему.

Но месс Летьери вновь погрузился в свои мрачные мысли и уже не слушал. Дерюшетта, сидевшая подле него, тоже задумалась и не поднимала глаз, внося в беседу, и без того малооживленную, некоторое стеснение, как всегда бывает, когда кто-нибудь из присутствующих не участвует в общем разговоре. Молчаливый сви-

детель почему-то тяготит нас. Впрочем, доктор Эрод, казалось, не чувствовал этого.

Летьери не отвечал, поэтому доктор Эрод пустился в рассуждения. Совет исходит от человека, а внушение — от Бога. В совете священника — внушение свыше. Следует руководствоваться советами, отвергать их опасно. Сохоф был одержим одиннадцатью бесами за то, что презрел увещания Нафанаила. Тибурий был поражен проказой за то, что выгнал из своего дома апостола Андрея. Вариисус, хоть и был волховом, ослеп, ибо насмехался над словами апостола Павла. Эльксай и его сестры Марта и Мартена и по сию пору мучаются в аду за то, что пренебрегли предостережением Валенциана, который доказывал им — и это было ясно как день, — что их Иисус Христос, ростом в тридцать восемь миль, был демоном. Оолибама, которую звали также Юдифью, слушалась советов. Рувим и Фениил внимали внушениям свыше, на что указывают даже имена их: Рувим означает «сын созерцания», Фениил — «лик господень».

Месс Летьери ударил кулаком по столу и воскликнул:

— Черт возьми, я сам виноват!

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Жак-

мен Эрод.

— Хочу сказать, что я сам виноват.

— Виноват? В чем же?

— В том, что заставлял Дюранду возвращаться по пятницам.

Жакмен Эрод шепнул на ухо Эбенезеру Кодре: «Суеверный человек!»

Он возвысил голос и заговорил наставительным тоном:

— Месс Летьери! Верить в пятницу — ребячество. Нельзя придавать значение бредням. Пятница — такой же день, как и всякий другой. Часто она бывает счастливым днем. Мелендес основал в пятницу город святого Августина; в пятницу же Генрих Седьмой дал поручение Джону Каботу; пассажиры «Мейфлауэра» прибыли в бухту Провидения в пятницу. Вашингтон родился в пятницу двадцать второго февраля тысяча семьсот тридцать второго года; в пятницу двенадцатого октября тысяча четыреста девяносто второго года Христофор Колумб открыл Америку.

Сказав это, доктор Жакмен Эрод поднялся.

Эбенезер, который пришел вместе с ним, поднялся тоже.

Грас и Дус, видя, что священники собираются уходить, настежь распахнули дверь.

Месс Летьери ничего не видел, ничего не слышал.

Жакмен Эрод шепнул Эбенезеру Кодре: «Он с нами даже не прощается. Это уже не горе, а просто одичанье. Пожалуй, он помешался».

Взяв со стола маленькую Библию, декан крепко держал ее в протянутых руках, как держат птицу, когда боятся, что она вот-вот улетит. Видя его позу, присутствующие насторожились. Грас и Дус вытянули шеи.

Он постарался придать своему голосу внушительность.

— Месс Летьери! Да не расстанемся мы с вами, не прочитав страницу из этой священной книги. Жизненные трудности разъяснены в книгах: безбожники находят в них Вергилиевы пророчества, верующие — библейские откровения. Первая попавшаяся книга, раскрытая наугад, дает совет; Библия, раскрытая наугад, предвещает. Особенно сие благотворно для павших духом. Священное Писание неизменно приносит утешенье скорбящим. Когда видишь павших духом, вопрошай святую книгу при них и с чистой душою читай то изречение, какое попалось, не выбирая его. То, что не может выбрать человек, выбирает Господь Бог. Господь знает, что нужно нам. Его

незримый перст указует на то нежданное для нас изречение, которое мы читаем. Какова бы ни была страница, из нее непременно исходит свет. Не будем искать иного, остановимся на этом. То слово свыше. Судьба наша таинственно открывается нам в Писании, к которому мы взываем с верою и благоговением. Послушаем и повинуемся слову сему. Месс Летьери! Вы скорбите — вот она книга-утешительница.

Жакмен Эрод нажал застежку, разъединил ногтем две страницы наугад, возложил руку на раскрытую книгу, сосредоточился, затем, с важным видом опустив глаза, начал читать вслух.

Вот что он прочел:

«Однажды Исаак шел по дороге, ведущей к колодцу, именуемому “Колодцем вездесущего и всевидящего”.

Ревекка, завидев Исаака, сказала: “Кто сей человек, что грядет ко мне?”

Тогда Исаак ввел ее в свой шатер и взял ее в жены, и любовь его к ней была велика».

Эбенезер и Дерюшетта взглянули друг на друга.

Часть вторая
Жильят-Лукавец

Книга первая
Риф
I. Место, куда нелегко добраться и откуда трудно выбраться

Лодка, накануне вечером замеченная со многих точек гернсейского побережья и в разное время, как можно догадаться, была ботиком Жильята. Он выбрал фарватер меж прибрежных скал; путь был опасный, но зато вел напрямик. Он заботился лишь о том, чтобы сократить дорогу. Когда случается кораблекрушение, время не ждет, море нетерпеливо, час промедления влечет непоправимые беды. Он спешил оказать помощь гибнувшей машине.

Покидая Гернсей, Жильят, казалось, старался не привлекать внимания людей. Его исчезновение походило на бегство. Он будто спешил скрыться. Он уклонился от восточного берега, словно не решаясь плыть мимо Сен-Сансона и порта Сен-Пьер, и бесшумно проскользнул, вернее, прокрался, вдоль противоположного, сравнительно безлюдного берега. В бурунах Жильят был вынужден грести, но он управлял веслом по всем

законам гидравлики, плавно загребая воду и не спеша отталкиваясь, — таким образом он плыл в ночи почти с предельной скоростью и почти беззвучно. Можно было подумать, что он замышлял какое-то темное дело.

В действительности, взявшись очертя голову за предприятие, по-видимому, несбыточное, рискуя жизнью, ибо все, казалось, было против него, он боялся встретить соперника.

На рассвете око неведомого, быть может, взирающее из беспредельности, могло бы увидеть среди моря, в самом опасном и самом пустынном месте, две точки, расстояние между которыми все уменьшалось, ибо одна из них приближалась к другой. Одна, почти затерянная среди необъятного волнующегося океана, была парусным суденышком; в суденышке сидел человек; то были Жильят и его лодка. Странные очертанья были у другой — неподвижной, огромной, черной, вздымавшейся над бурливыми водами. Между двумя высокими столбами, над водной пучиной, мостом, соединявшим их верхушки, повисла в пустоте какая-то перекладина. Эта перекладина, настолько бесформенная, что невозможно было понять ее назначение, казалось, представляла одно целое с двумя своими опорами. Все вместе

напоминало ворота. Но к чему ворота в открытом со всех сторон океане? Сооружение это скорее походило на гигантский дольмен, воздвигнутый среди шири морской по прихоти искусного зодчего, рукою, привыкшей соразмерять свои творения с бездной. Угрюмый силуэт четко вырисовывался на светлеющем небе.

На востоке разгоралась заря; горизонт побелел, и от этого море казалось еще чернее. А напротив, на другой стороне неба, заходила луна.

Столбы были Дуврскими скалами. Громоздкий обрубок, вдвинутый между ними наподобие верхнего бруса, соединяющего дверные косяки, была Дюранда.

Риф, державший свою добычу, словно выставлял ее напоказ, внушая ужас; часто в неодушевленных предметах чувствуется мрачное и враждебное высокомерие по отношению к человеку. Как будто скалы бросали вызов. Они словно выжидали.

Сколько заносчивой надменности было в этой картине: побежденный корабль и победительница-бездна! Обе скалы, еще лоснившиеся от влаги после вчерашней бури, походили на бойцов, взмокших от пота. Ветер улегся, мирно плескалось море; в иных местах, там, где волны плавно

взмахивали султанами пены, таились рифы, достигавшие уровня воды; с открытого моря долетал гул, похожий на пчелиное жужжание. Ничто не нарушало однообразия водной равнины, кроме угрюмых Дувров, двумя черными прямыми колоннами вставáвших из моря. Они по пояс обросли мохнатыми водорослями. Их крутые склоны словно отсвечивали, как воинские доспехи. Казалось, они готовы были вновь принять бой. Чувствовалось, что их основание вросло в подводные горы. От них веяло каким-то трагическим всемогуществом.

Обычно море нападает исподтишка. Оно любит оставаться в тени. В его бездонном мраке исчезает все. Его тайны редко обнаруживаются. Да, в бедствии есть что-то чудовищное, но в какой степени — никому не ведомо. Море действует и явно и тайно: оно скрытничает, оно не любит разглашать свои поступки. Оно совершит кораблекрушение и прикроет его; поглощая жертву, оно проявляет стыдливость. Волна лицемерна. Она убивает, укрывает награбленное и как ни в чем не бывало улыбается. Она ревет, потом тихо плещет.

Но тут не было ничего подобного. Дувры поднимали мертвую Дюранду над водой с тор-

жествующим видом. Как будто две чудовищные руки протянулись из бездны, показывая бурям труп судна. Так восхвалял бы себя убийца.

Ко всему присоединялся священный ужас предутреннего часа. Рассвет проникнут таинственным величием, в котором сливаются бледнеющие сны и пробуждающаяся мысль. От этого смутного мгновения веет чем-то призрачным. Оба Дувра, с Дюрандой вместо соединительной черты, составляли нечто вроде огромной заглавной буквы Н, возникающей на горизонте с какой-то сумрачной величавостью.

Жильят был в матросском платье — в шерстяной фуфайке, шерстяных чулках и подбитых гвоздями башмаках, в вязаной куртке, штанах из грубой ворсистой ткани, с карманами, и в красной шерстяной шапке, какую в ту пору носили моряки, называя ее «арестантским колпаком».

Он узнал риф и поплыл к нему.

Дюранда не затонула, наоборот, она повисла в воздухе.

Нельзя было и придумать ничего более трудного, чем ее спасенье.

Уже совсем рассвело, когда Жильят очутился в водах, омывающих риф.

Море, как мы упоминали, было почти спокой-

но. Только между скалами плескалась сжатая ими вода. Узок ли, широк ли проток в рифах, в нем всегда бурлит волна, вскипая пеной.

Жильят приблизился к Дуврам не без предосторожностей.

Он несколько раз бросал лот.

Ему предстояло разгрузить лодку.

Частые отлучки приучили его держать наготове все, что необходимо для отъезда. Он захватил с собой мешок сухарей, мешок ржаной муки, корзину с вяленой треской и копченым мясом, большой жбан с пресной водой, норвежский раскрашенный сундучок, в который уложил несколько плотных шерстяных рубашек, плащ с капюшоном, просмоленные гетры и овечью шкуру — ее он ночью набрасывал на себя поверх матросской куртки. Покидая «Дом за околицей», он впопыхах сунул все это в лодку, добавив каравай свежего хлеба. Он так торопился, что взял с собой из инструментов только кузнечный молот, топор и маленький колун, пилу и перехваченную узлами веревку с железным крюком на одном конце. Когда умеешь пользоваться такой веревкой-лестницей, упрямые скалы делаются сговорчивыми, и опытный моряк найдет пути на самые крутые обрывы. На острове Серк часто ви-

дишь, как верно служит такая веревка рыбакам Госленской гавани.

В лодке лежали сети, удочки и прочие рыболовные принадлежности. Жильят захватил их по привычке и, пожалуй, машинально: вряд ли пригодилась бы ему рыбачья снасть среди целого архипелага бурунов, где ему предстояло жить некоторое время, если б он дал ход своей затее.

Когда Жильят достиг утеса, был отлив — обстоятельство благоприятное. Волны, отхлынув, обнажили у подножия Малого Дувра несколько плоских и чуть скошенных каменных уступов, похожих на кронштейны. Эти уступы, местами узкие, местами широкие, ступенями поднимались через неровные промежутки вдоль отвесной стены монолита и заканчивались полоской карниза под самой Дюрандой, торчавшей между двумя утесами. Она была зажата в них, как в тисках.

На этих площадках удобно было высадиться и осмотреться. Здесь Жильят мог временно выгрузить запасы, привезенные в лодке. Но следовало поторапливаться, ибо эти уступы оставались над водой лишь несколько часов. В прилив их снова поглощали пенистые волны.

К этим-то плоским и покатым камням он направил и подвел лодку.

Мокрые и скользкие водоросли покрывали их толстым слоем, легко было поскользнуться.

Жильят снял башмаки, спрыгнул на водоросли и причалил лодку к выступу скалы.

Затем он постарался пробраться как можно дальше по узкому гранитному карнизу и, остановившись под килем Дюранды, начал ее рассматривать.

Дюранда была схвачена, подвешена и как бы вклинена между двумя скалами, футах в двадцати над водой. Только волны неистовой силы могли забросить ее сюда.

Бешеная сила их ударов ничуть не удивляет моряков. Достаточно привести такой пример: 25 января 1840 года в Сторском заливе, когда буря уже затихала, натиском последнего вала перебросило целый бриг через корпус корвета «Марна», застрявшего на мели, и вбило бушпритом вперед меж двух утесов.

Впрочем, в Дуврах осталась лишь половина Дюранды.

Ураган отнял пароход у волн, словно вырвал его из воды. Воздушный вихрь крутил судно, водяной вихрь удерживал, и вот оно, разрываемое руками бури, переломилось пополам, как тонкая планка. Корма с машиной и колесами, вскинутая над бур-

лящей пеной и подгоняемая разбушевавшимся циклоном в теснину между Дуврами, врезалась туда по мидель-бимс и застряла. Ветер нанес меткий удар: чтобы вбить такой клин в Дуврские скалы, ураган превратился в палицу. А носовую часть уволок шквал; он перекатывал ее по волнам, пока не расщепил о подводные камни.

Из продавленного трюма выбросило в море захлебнувшихся быков.

Огромный кусок борта носовой части еще уцелел и висел на тимберсах левого кожуха, удерживаемый расшатанными скрепами, которые легко было разрубить одним взмахом топора.

То тут, то там на отдаленных извилинах рифа виднелись балки, доски, лоскутья парусов, обрывки цепей, всевозможные обломки, мирно лежавшие на скалах.

Жильят внимательно рассматривал Дюранду. Киль потолком нависал над его головой.

Безбрежное море едва колыхалось, ясен был горизонт.

Солнце величественно всплывало из-за округлой голубой громады.

Время от времени с разбитого судна скатывалась капля воды и падала в море.

II. Законченность разрушения

Дуврские скалы различны по форме и высоте.

Остроконечный и согнутый Малый Дувр от основания до вершины весь в длинных и разветвляющихся жилах сравнительно рыхлой каменной породы кирпичного цвета, которая переслаивает гранит. Эти красноватые пласты испещрены трещинами. Одна из трещин повыше корпуса Дюранды была так расширена и отшлифована волнами, что превратилась в нишу, будто предназначенную для статуи. Очертания гранитных выступов Малого Дувра округлы и нежны, как у лидийского камня, но мягкие линии не скрадывают его суровости. Малый Дувр оканчивается острием наподобие рога. Большой Дувр отполирован, гладок, ровен, отвесен, словно вырезан по чертежу из куска черной слоновой кости. Ни углубления, ни выступа. Негостеприимно глядят его крутые склоны: даже каторжник не в силах воспользоваться им для побега, даже птица — свить там гнездо. На вершине его, как на утесе «Человек», виднеется площадка; только она неприступна.

На Малый Дувр можно взобраться, но там не

удержишься; на Большом можно расположиться, но туда не взберешься.

Бегло осмотрев риф, Жильят вернулся в лодку, выгрузил свои скромные пожитки на самый широкий из камней, выступавших из воды, связал вещи в тугой сверток, обернул его брезентом и, стянув петлей стропа, втиснул в расщелину скалы, куда не доходили волны, а затем, цепляясь ногами и руками, карабкаясь вверх с выступа на выступ, хватаясь за малейшие неровности, добрался по Малому Дувру до повисшей в воздухе Дюранды.

Он дотянулся до кожуха и спрыгнул на палубу.

Страшную картину являло собою разбитое судно и внутри.

Дюранда хранила следы ужасающего насилия. То было самоуправство бури, леденящее душу. Гроза на море ведет себя, как шайка пиратов. Кораблекрушение похоже на злодеяние. Туча, молния, дождь, ветры, волны, рифы — банда сообщников, внушающих ужас.

На искалеченной палубе, казалось, слышался яростный топот морских духов. На всем лежал отпечаток дикого разгула. Причудливо изогнутые железные части говорили о бешеных налетах ветра. Междупалубное пространство смахивало

на палату сумасшедшего, где все перебито.

И зверь так не терзает добычу, как море. Вода выпускает когти. Ветер грызет, волна пожирает: морские валы — челюсти. Они рвут на куски и дробят. Удар океана подобен удару львиной лапы.

Особенностью разгрома Дюранды были обстоятельность и кропотливость, с которыми он производился. То была ужасная работа живодера. Многое, казалось, было сделано нарочно. Так и хотелось сказать: какая жестокость! Обшивку судна сняли умело, доска за доской, циклон — мастер на такие дела. Кромсать и строгать — вот прихоть этого чудовища, этого разрушителя. У него повадки палача. Он словно предает пытке то, что губит. Можно подумать, что он вымещает злобу; он измывается, как дикарь. Уничтожая, он терзает. Он истязает тонущее судно, мстит, забавляется: в этом проявляется его мелочность.

Циклоны — редкое явление в наших широтах, и чем они неожиданнее, тем опаснее. Скала, попавшаяся им на пути, может винтом завертеть ураган. Не лишено вероятности, что шквал, взвившись спиралью над Дуврами и внезапно ударившись об утес, превратился в смерч; этим и объясняется, что пароход был заброшен так вы-

соко на скалы. Корабль для циклона, что камень для пращи.

Дюранда напоминала человека, разрубленного надвое; из раны, зиявшей в ее чреве, подобно внутренностям вывалились перепутанные обломки. Снасти, колеблемые ветром, подергивались; вздрагивая, покачивались цепи; обнаженные мышцы и нервы корабля бессильно повисли. То, что не было сломлено, было расчленено; куски обшивки подводной части с торчащими гвоздями напоминали скребницы; все разваливалось; ганшпуг стал просто куском железа, лот — куском свинца, юферс — куском дерева, гардель — клочком пакли, бухта троса — спутанным мотком, ликтрос — ниткой-наметкой; повсюду унылая бесцельность разрушения; все было сорвано, сдвинуто, расколото, изгрызано, покороблено, пробито, уничтожено; в этой страшной груде обломков утратилась взаимная связь; куда ни посмотришь — всюду дыры, распад, разрывы, во всем неопределенность, неустойчивость, присущие любому беспорядку, будь то столкновение людей, называемое битвой, будь то столкновение стихий, называемое хаосом. Все рушилось, все оползало: доски, филенки, куски железа, тросы, балки потоком устремились к огромной пробо-

ине в килевой части и, сгрудившись у самого ее края, при малейшем толчке могли низвергнуться в море. От прочного корпуса судна-победителя осталась только корма, повисшая между обоими Дуврами и готовая рухнуть; она была пробита во многих местах, и через широкие отверстия виднелась темная утроба корабля.

Снизу волны оплевывали эти жалкие останки.

III. Цела, но в опасности

Жильят не думал, что найдет только половину судна. В описании шкипера «Шильтиля», хотя и точном, не было и намека на то, что пароход переломился надвое. Вероятно, в ту минуту, когда это происходило под непроницаемой толщею пены, и раздался тот «дьявольский треск», который послышался шкиперу «Шильтиля». Его, несомненно, тогда уже далеко отнесло от Дюранды последним порывом шквала, и то, что он издали принял за огромный вал, было смерчем. Позднее, приблизившись для осмотра разбитого судна, он увидел лишь его кормовую часть, а место перелома, то место, где нос отделился от кормы, было скрыто в ущелье меж рифов.

В остальном все совпадало с рассказом шкипера

«Шильтиля». Корпус погиб, машина невредима.

Такие случаи нередки и при крушениях и при пожарах. Логика бедствий непостижима.

Сломанные мачты упали, но труба даже не погнулась; большая чугунная плита, служившая опорой для машины, уберегла ее от толчков и повреждений. Дощатая обшивка кожухов разъехалась, как планки жалюзи, но в просветах можно было различить оба неповрежденных колеса. Не хватало лишь нескольких лопастей.

Кроме машины устоял и большой кормовой шпиль. На нем сохранилась цепь, он прочно сидел в своей дубовой раме и мог еще послужить, лишь бы палуба не раскололась при натяжении кабаляра. Палубный настил прогибался почти повсюду. Он совсем расшатался.

Зато обломок корпуса, застрявший меж Дуврами, сидел прочно и, как мы упоминали, на вид был крепок.

Машина уцелела словно издевки ради, и это придавало катастрофе иронический оттенок. В мрачном своем лукавстве неведомое порою разражается язвительными насмешками. Машина была спасена и все же погибла. Океан сберег ее, чтобы на досуге разрушить. Игра кошки с мышью.

Ей суждена была долгая агония и постепенный распад. Ей суждено было стать игрушкой диких забав волны. Ей суждено было день ото дня уменьшаться и, наконец, как бы растаять. Что предпринять? Может ли эта тяжелая глыба из частей машины и из колес, массивная и в то же время хрупкая, собственной тяжестью приговоренная к неподвижности, оставленная в этой пустыне на волю разрушительных сил, отданная рифом на расправу ветру и волнам, избежать медленного уничтожения среди неумолимых стихий? Даже мысль об этом была безумием.

Дюранда стала пленницей Дуврских скал.

Как извлечь ее оттуда?

Как освободить?

Трудно устроить побег человеку, но какова задача — устроить побег машине!

IV. Первое знакомство с окрестностями

Жильят попал в круговорот спешных дел. Но самым неотложным было найти стоянку для ботика и кров для себя.

Дюранда осела больше на левый борт, чем на правый, поэтому ее правый колесный кожух поднимался выше левого.

Жильят взобрался на правый кожух. Оттуда он увидел подводные скалы, и, хотя их гряда то и дело сворачивала, убегая ломаной линией, Жильяту открывалась вся картина — весь Дуврский риф.

С его изучения он и начал.

Дувры, как уже было упомянуто, двумя башнями возвышались у входа в узкий пролив, тянувшийся между отвесными фасадами небольших гранитных утесов. В первозданных геологических формациях морского дна часто встречаются эти удивительные, будто вырубленные топором коридоры.

Извилистое ущелье не просыхало даже в часы отливов. Его всегда пересекал бурлящий поток. Резкие повороты потока, в зависимости от направления ветра, бывали благоприятны или неблагоприятны: то они словно приводили в замешательство прибой, вынуждая его затихнуть, то доводили до ожесточения. Последнее случалось чаще: препятствия раздражают море, и оно свирепеет; волны, неистовствуя, исходят пеной.

Ураган в Дуврской теснине тоже сдавлен и тоже полон злобы. У бури болезненный спазм мочеиспускания. Мощное ее дыхание остается мощным, вдобавок оно становится пронзительным. Оно и колет и сокрушает. Это и палица и

копье. Представьте себе вихрь-сквозняк.

Обе цепи скал, образуя нечто вроде морской улицы, спускались уступами от Дуврских утесов и, постепенно снижаясь, уходили на некотором расстоянии под воду. Были там еще одни ворота, но пониже и поуже Дуврских — восточный вход в ущелье. Очевидно, оба скалистых кряжа тянулись подводной улицей до утеса «Человек», который возвышался, точно квадратная цитадель, на противоположном конце рифа.

Впрочем, во время отлива, как раз в ту пору, когда Жильят осматривал местность, оба ряда мелей были отчетливо видны: они выступили из воды и тянулись непрерывной грядой.

Утес «Человек» с востока завершал колонной весь подводный массив, начинавшийся на западе аркой обоих Дувров.

С птичьего полета подводные камни рифа, с Дуврами на одном конце и утесом «Человек» на другом, напоминали извивающиеся четки.

В целом Дуврский риф — не что иное, как гребень горного кряжа, скрытого в океанских глубинах и вознесшего над водою два гранитных утеса, похожих на почти соприкасающиеся гигантские клинки. Таковы титанические порождения морских недр. Шквалы и прибой зазубрили

гребень. Виднелась только его верхушка: это и был риф. То, что скрывала вода, было, вероятно, огромно. Теснина, в которую буря забросила Дюранду, пролегала между исполинскими клинками этого кряжа.

Теснина извивалась, как молния, но почти на всем протяжении была одинаковой ширины. Так ее сотворил океан. Эта странная геометрическая точность — следствие непрерывного кипения вод, следствие работы волны.

Вдоль всего ущелья шли параллельно две скалистые стены, разделенные пролетом, почти равным по ширине главному шпангоуту Дюранды. Кожухи ее колес поместились меж Дувров благодаря углублению в Малом Дувре, согнутом и словно отпрянувшем от Большого. В любом другом месте ущелья их раздавило бы.

От двойного внутреннего фасада рифа веяло чем-то жутким. Когда исследуют водную пустыню, именуемую океаном, обнаруживаются морские тайны, до сих пор неизвестные. Там все представляется непостижимым и чудовищным. То, что Жильят уаидел в ущелье сверху, с разбитого корабля, вселяло ужас. Часто в гранитных горловинах океана причудливо навеки запечатлен прообраз крушения. В Дуврской теснине

он был страшен. Там и сям на крутых склонах красные пятна окисей горных пород выступали сгустками запекшейся крови, словно кровавый выпот подземной бойни. Что-то в этом рифе напоминало застенок. Шероховатый морской камень, окрашенный во все цвета плесенью или раствором металлических смесей, вкрапленных в гранит, был покрыт то зловещим пурпуром, то ядовитой зеленью, то алыми брызгами, наводя на мысль об истреблении и умерщвлении. Невольно представлялось, что это страшные стены камеры пыток. Тут все говорило о человекоубийстве; предсмертные судороги точно застыли в очертаниях отвесных скал. В иных местах чудились еще свежие следы резни, — к мокрой стене, казалось, нельзя даже прикоснуться пальцем, чтобы не выпачкаться в крови. Во все въелась кровавая ржавчина. У подножия двух параллельных рядов скал, то на уровне воды, то под водой, то на отмели, словно вынутые внутренности, раскиданы были чудовищные округлые валуны — одни багряно-красные, другие черные и лиловые; они похожи были на только что вырванные легкие или загнивающую печень. Словно здесь потрошили великанов. Длинные красные нити струйками крови снизу доверху бороздили гранит.

Такие картины нередко видишь в подводных пещерах.

V. О тайном сотрудничестве стихий

Путешественнику, для которого волей случая океанский риф станет временным пристанищем, далеко не безразлично его строение. Есть рифы-пирамиды, с единственной вершиной, встающей над водою; есть рифы-кольца, напоминающие огромные каменные венки; есть рифы-коридоры. Риф-коридор — самый опасный. И не только потому, что волна бьется и мечется между его стенами и грохочут в тесных проходах валы, а из-за необъяснимых атмосферических явлений, которые возникают здесь, вероятно, в связи с параллельным расположением двух скал в открытом море. Два прямых, как клинки, утеса являются настоящим прибором Вольта.

Риф-коридор тянется в определенном направлении. Это очень важно. Ведь это главным образом и влияет на воздух и воду. Риф-коридор оказывает на волны и ветер механическое воздействие благодаря своей форме и гальваническое — быть может, благодаря разной степени намагниченности вертикальных плоскостей

двух противостоящих и противодействующих друг другу масс.

Такие рифы притягивают к себе все силы стихий, рассеянные в урагане, и обладают необыкновенной способностью удваивать неистовство шторма.

Поэтому-то бури близ них отличаются особенной жестокостью.

Нужно иметь в виду, что ветер — явление сложное. Принято думать, что он нечто однородное; отнюдь нет. Ветер — сила не только динамическая, но и химическая, и не только химическая, но и магнетическая. В ней нечто необъяснимое. Ветер — столько же электричество, сколько и эфир. Есть ветры, совпадающие по времени с северным сиянием. Ветер на Игольной мели катит волны в сто футов высотой, что поразило Дюмон-Дюрвиля. «Корвет не знал, кому повиноваться», — рассказывал он. Во время шквалов, налетающих с юга, на море вздуваются болезненные опухоли, океан становится до того жутким, что дикари убегают, только бы его не видеть. Северные шквалы — иное: они колют ледяными иглами, захватывают дыхание, опрокидывают на снег сани эскимосов. Есть еще и ветры палящие; самум в Африке, он же тайфун в Китае и сами-

эль в Индии. Самум, Тайфун, Самиэль — будто перечисляешь демонов. От их дыхания плавятся вершины гор. А как-то ураган остекленил вулкан Толукку. Об этом знойном ветре-вихре чернильного цвета, который обрушивается на багровые тучи, говорится в Веддах: «Вот черный бог угоняет красных коров». Во всех этих явлениях чувствуется загадочное влияние электричества.

Ветер таит в себе тайну. Как и море. Оно так же сложно; под видимыми волнами оно скрывает другие, невидимые волны энергии. Море заключает в себе все что угодно. Из всех беспорядочных смесей океан — самая неделимая и самая необозримая.

Постарайтесь дать себе отчет в этом хаосе, таком необъятном, что он сливается с горизонтом. Океан — водоприемник земного шара, резервуар для его оплодотворения, тигель для превращения. Он собирает, потом расточает; копит, потом обсеменяет; пожирает, потом созидает. В него вливаются все сточные воды земли, и он хранит их, как сокровища. Он тверд в ледяном заторе, жидок в волне, газообразен в испарениях. Как материя — он масса; как сила — он нечто отвлеченное. Он уравнивает и сочетает явления природы. Он упрощает себя, сливаясь с бесконеч-

ностью. Он все перемешивает, взбаламучивает и так достигает прозрачности. Многообразие составляющих его элементов исчезает в его единстве. Их в нем столько, что он тождествен им. Он весь в единой своей капле. Он — само равновесие, ибо до краев полон бурь. Платон видел пляску сфер; в необъятном движении земли вокруг солнца океан с приливами и отливами подобен шесту, которым балансирует земной шар, чтобы сохранить равновесие, — это странно звучит, но соответствует действительности.

В чудесном явлении, называемом океаном, налицо и все другие чудеса. Море втягивается вихрем, как сифоном; гроза — тот же насос; молния исторгается водой, так же как воздухом; на кораблях ощущаются глухие толчки, потом из отделения, где лежат якорные цепи, доносится запах серы. Океан кипит. «Море попало в котел к дьяволу», — говаривал Рюитер. При иных бурях, знаменующих смену времени года и наступающее равновесие космических сил, корабли, обдаваемые пеной, словно излучают свет, по снастям пробегают фосфорические искры, усеивая такелаж, и матросы протягивают к ним руки, стараясь схватить на лету этих огненных птиц. После землетрясения в Лисабоне струя раскален-

ного воздуха из недр морских метнула на город вал в шестьдесят футов высотой. Волнение океана связано с колебанием земной коры.

Эти неисчерпаемые источники энергии — причина всевозможных катастроф. В конце 1864 года, в ста милях от берегов Малабара, исчез один из Мальдивских островов. Он пошел ко дну, как корабль. Рыбаки, отплывшие утром, вечером ничего не нашли на его месте: они едва различали под водой свои деревни, и на этот раз лодки были свидетелями, а дома — потерпевшими крушение в море.

В Европе, где природа как будто чувствует себя обязанной уважать цивилизацию, такие происшествия столь редки, что представляются маловероятными. Тем не менее Джерсей и Гернсей были когда-то частью Галлии. А в то время, когда пишутся эти строки, порывом ветра равноденствия на англо-шотландской границе снесен прибрежный утес «Первый из четырех», *First of the Four*.

Нигде эти непреодолимые силы не предстают в столь грозном сочетании, как в удивительном северном проливе, именуемом Люзе-Фьордом. Люзе-Фьорд считается опаснейшим из всех океанских рифов-коридоров. Это их законченный

образец. Норвежское море, близость сурового Ставангерского залива, пятьдесят девятый градус широты. Вода черная, тяжелая, в перемежающейся лихорадке бурь. И среди этой водной пустыни — длинная мрачная улица между скалами. Она никому не нужна. Никто не проходит по ней; углубиться в нее не отважится ни один корабль. Коридор в десять миль длиной меж двух стен в три тысячи футов высотой — вот что видишь, попав гуда. В ущелье те же извилины и повороты, как во всех океанских улицах, которые никогда не бывают прямыми, ибо проложены капризной волной. В Люзе-Фьорде поверхность вод почти всегда спокойна, небо ясно, но это страшное место. Откуда ветер? Не с высоты. Откуда гром? Не из поднебесья. Ветер возникает под водой, молния — в скалах. Вдруг всколыхнется вода. Безоблачно небо, а на высоте тысячи или полутора тысяч футов над водой, чаще на южном, чем на северном склоне крутого утеса, внезапно раздается громовой раскат, из утеса вылетает молния, она устремляется вперед и тут же снова уходит в стену, подобно тем игрушкам на резинке, которые прыгают в руке ребенка; молния то сокращается, то удлиняется; вот она метнулась в стену напротив, вот спряталась в скале, вот опять

появилась, и все начинается сызнова; она умножает свои головы и языки, щетинится стрелами, бьет куда попало, вновь появляется и зловеще меркнет. Птицы стаями улетают прочь. Нет ничего загадочнее этой канонады, доносящейся неведомо откуда. Скала идет войной на скалу. Рифы мечут друг в друга молниями. Эта битва не касается человека. То взаимная ненависть двух скал в морской бездне.

В Люзе-Фьорде ветер оборачивается водяными парами, скала играет роль тучи, а гром точно извергается кратером вулкана. Этот удивительный пролив — гальваническая батарея; элементами ее служат два ряда отвесных скал.

VI. Стойло для коня

Жильят хорошо разбирался в рифах и знал, что с Дуврами шутить нельзя. Прежде всего, как мы уже говорили, ему надо было поставить ботик в безопасное место.

Две гряды подводных камней, образовавших извилистую траншею позади Дуврских скал, местами соединялись с другими утесами, и, очевидно, в ущелье выходили закоулки и пещеры, связанные с главным проливом, как ветви со

стволом.

Нижнюю часть скал затянули водоросли, верхнюю — лишайник. Одинаковый уровень водорослей на всех скалах отмечал линию воды при полном приливе и высоту спокойного моря. Там, куда вода не доходила, скалы отливали золотом и серебром — так расцветили морской гранит пятна желтого и белого лишайника.

Кое-где конусообразные раковины покрывали скалы струпьями проказы. Казалось, на граните подсыхали язвы.

В иных местах, в выбоинах, где волнистым пластом лежал мелкий песок, занесенный сюда скорее ветром, чем прибоем, пучками рос синий чертополох.

На уступах, куда редко долетали брызги пены, виднелись норки морского ежа. Этот иглокожий моллюск, который катится живым шаром, переваливаясь на колючках своего панциря, насчитывающего более десяти тысяч частей, искусно прилаженных и спаянных, и ротовое отверстие которого неизвестно почему называется «фонарем Аристотеля», вгрызается в гранит пятью своими резцами, выдалбливает камень и селится в ямке. В этих каменных ячейках и находят его охотники за «плодами моря». Они

разрезают его на четыре части и съедают сырым, как устрицу. Некоторые обмакивают хлеб в полужидкую мякоть, поэтому он и называется «морским яйцом».

Дальние верхушки подводных камней, выступавшие из воды во время отлива, примыкали к подножию утеса «Человек», образуя маленькую бухту, почти со всех сторон окруженную скалами. Там-то, очевидно, и можно было найти якорную стоянку. Жильят внимательно осмотрел бухту. Она напоминала подкову и только одной стороной выходила в море, навстречу восточному ветру, самому благоприятному в этих местах. Вода здесь была взаперти и словно дремала. Стоянка казалась пригодной. Впрочем, у Жильята выбор был невелик.

Если он хотел воспользоваться отливом, надо было торопиться.

Погода по-прежнему стояла прекрасная, теплая. Капризное море было сейчас в хорошем настроении.

Жильят спустился вниз, обулся, отвязал чал, сел в лодку и пустился в море. Огибая риф, он шел на веслах.

Подплыв к утесу «Человек», он подробно обследовал вход в бухту.

Полоска, подернутая рябью, среди колеблющихся волн, — морщинка, заметная лишь моряку, — указывала, что тут есть проход.

Жильят всматривался с минуту в этот извив, в эту почти неуловимую черту на зыблющейся воде и, отплыв немного назад, в открытое море, чтобы удобнее было развернуться и направить лодку по узкому фарватеру, быстро, одним ударом весла, вогнал ее в маленькую бухту.

Он бросил лот.

Стоянка действительно оказалась превосходной.

Здесь ботик будет защищен почти от всех случайностей, которыми угрожает это время года.

Среди самых опасных рифов встречаются такие тихие уголки. Гавани эти можно сравнить с гостеприимными бедуинами: они честны и надежны.

Жильят подвел лодку почти вплотную к утесу «Человек», стараясь, однако, чтобы днище не задело гранитного подножия, и стал на оба якоря.

Затем, скрестив руки на груди, он начал держать сам с собой совет.

Ботик нашел приют; с этим вопросом покончено; но возникал другой: где приютиться самому?

На выбор было два убежища: полужилая каютка в самой лодке и площадка утеса «Человек»,

куда легко подняться.

Из этих убежищ можно было во время отлива, прыгая со скалы на скалу, добраться, почти не замочив ног, до дуврской теснины, где застряла Дюранда.

Но отлив продолжается недолго, и все остальное время водное пространство в двести сажен будет отделять Жильята либо от его убежища, либо от разбитого парохода. Пробираться вплавь среди рифов трудно, а при малейшем волнении — просто невозможно.

Приходилось отказаться и от ботика и от утеса «Человек».

Не найти было приюта и по соседству.

Верхушки небольших утесов два раза в день, во время прилива, уходили под воду.

Морская пена беспрерывно взлетала на верхушки больших утесов. Купанье не из приятных.

Оставалось разбитое судно.

Но можно ли там устроиться?

Жильят на это надеялся.

VII. Комната для путешественника

Через полчаса Жильят, вернувшись на Дюранду, обошел верхнюю палубу, за ней нижнюю,

а потом и трюм, и к первому поверхностному осмотру добавились новые наблюдения.

Он втащил на палубу, при помощи шпиля, припасы с ботика, сложенные в тюки. Шпиль был в исправности. А рычагов, чтобы вращать его, было под рукой сколько угодно. труда обломков предоставляла Жильяту богатый выбор.

Среди мусора он нашел зубило, вывалившееся, очевидно, из плотничьего ящика, — им он пополнил свой скромный набор инструментов.

Кроме того, в кармане у него был складной нож, а в нужде все пригодится.

Жильят целый день проработал на Дюранде, расчищая, разгружая и укрепляя ее.

Под вечер он пришел к следующему заключению.

Разбитое судно раскачивается на ветру. Весь остов вздрагивает при каждом шаге. Устойчива и надежна лишь та часть корпуса, что засела между скалами — как раз в ней и находится машина. В этом месте судно прочно упирается бимсами в гранит.

Поселиться на Дюранде было бы опрометчиво. Разбитый корабль не выдержит лишней тяжести: следует облегчить его, а уж ни в коем случае не увеличивать груз.

Эта развалина требует самого осторожного ухода, как больной при смерти. Довольно с нее и безжалостных порывав ветра.

Жаль, что придется здесь работать. Работы, которые необходимо произвести, вконец расшатают судно, пожалуй, даже ускорят разрушение.

Кроме того, если какая-нибудь беда стрясется ночью, когда Жильят спит, он пойдет ко дну вместе с Дюрандой. Ждать помощи неоткуда, гибель неминуема. Чтобы вызволить разбитый корабль, надо находиться где-то вне его.

Быть вне его, но рядом с ним — такова была задача.

Трудности все возрастали.

Где найти кров при таких условиях?

Жильят призадумался.

Оставались только оба Дувра. Но вряд ли они годились для жилья.

На верхней площадке Большого Дувра виднелся какой-то горб.

Высокие гранитные глыбы с площадкой наверху, наподобие Большого Дувра и утеса «Человек» — это горные пики со срезанной вершиной. Они во множестве встречаются и на суше и в океане. На иных, особенно в открытом море, есть засечки, как на деревьях, отмеченных для рубки.

По ним словно ударяли топором. И вправду, они обречены сносить опустошительные набеги урагана — этого морского дровосека.

Существуют и другие, еще более глубокие причины подобных разрушений. Вот почему на древних каменных глыбах столько ран. Некоторые из этих великанов обезглавлены.

Иногда отсеченная голова не падает и необъяснимым образом держится на искалеченной верхушке, — странность, встречающаяся не так уж редко. Чертов утес на Гернсее и Столовая скала в Анвейлерской долине — наиболее поразительные примеры этой странной геологической загадки.

Нечто подобное, очевидно, произошло и на Большом Дувре.

Если выступ, видневшийся на площадке, не был природным каменным возвышением, тогда, несомненно, он был обломком вершины.

Нет ли углубления в этом осколке гранита?

Забиться бы в норку — о большем Жильят и не мечтал.

Но как добраться до площадки? Как влезть по неприступной, отвесной и гладкой, точно голыш, стене, до половины затянутой липким покровом водорослей, такой скользкой, словно

ее намылили?

От палубы Дюранды до края площадки было по крайней мере футов тридцать.

Жильят вытащил из рабочего ящика веревку с узлами и кошкой, зацепил ее за пояс и стал карабкаться на Малый Дувр. Чем выше он взбирался, тем круче становился подъем. Он не догадался снять башмаки, и поэтому подниматься было еще неудобнее. Он с трудом достиг вершины. Там он выпрямился. Места хватало лишь для ног. Расположиться тут было мудрено. Может быть, столпник и удовлетворился бы этим; Жильят был требовательнее и хотел большего.

Малый Дувр склонялся к Большому, будто отвешивая ему поклон, — так казалось издали; промежуток фугов в двадцать между подножьями двух этих скал равнялся вверху восьми — десяти футам, не более.

С вершины, на которую взобрался Жильят, был лучше виден скалистый нарост, занимавший часть площадки Большого Дувра.

Площадка находилась по меньшей мере в трех саженях над его головой.

Между ним и площадкой лежала бездна.

Под ним убегала, теряясь в глубине, вогнутая стена Малого Дувра.

Жильят снял с пояса веревку, быстро, на глаз, определил расстояние и закинул кошку на площадку.

Кошка царапнула по скале и сорвалась. Веревка упала, вытянувшись под ногами Жильята, вдоль обрыва Малого Дувра.

Жильят снова забросил веревку, но еще выше, нацеливаясь в гранитный горб, где он разглядел расщелины и желобки.

Бросок был так ловок и меток, что кошка зацепилась.

Жильят дернул веревку.

Край скалы обломился, и веревка вновь закачалась в воздухе, задевая стену утеса.

Он в третий раз забросил веревку.

Кошка не сорвалась.

Жильят изо всех сил потянул за веревку. Она не поддавалась. Кошка впилась в скалу.

Она зацепилась за какую-то неровность, которую Жильят не мог рассмотреть.

Предстояло вручить свою жизнь неведомой опоре.

Жильят не колебался.

Ему было некогда. Приходилось выбирать наикратчайший путь.

Да и спуститься на палубу Дюранды, чтобы

обдумать другие меры, было почти невозможно. Если поскользнешься, непременно свалишься вниз. Тому, кто поднимется сюда, не спуститься обратно.

Движения Жильята, как у всякого хорошего матроса, были точны. Он никогда понапрасну не растрачивал сил. Он прилагал их, сообразуясь с целью. Поэтому он совершал геркулесовы чудеса, обладая самой обычной мускулатурой; бицепсы у него были, как у любого человека, но сердце было иное. Физическая сила сочеталась в нем с энергией — силой душевной.

Он затеял опасное дело.

Удастся ли ему, повиснув на веревке, преодолеть пространство между двумя Дуврами? Вот в чем вопрос.

Человек, готовый на подвиг во имя долга или любви, нередко сталкивается с подобными задачами, словно предложенными самой смертью.

«Решишься ли?» — шепчет могильный мрак.

Жильят снова потянул веревку, испытывая кошку; кошка держалась крепко.

Жильят обмотал левую руку шейным платком, затем, взяв веревку в кулак правой руки, сверху зажал его левой; потом он занес одну ногу вперед, другой быстро оттолкнулся от скалы, чтобы сила

толчка помешала закрутиться веревке, и прыгнул на крутой скат Большого Дувра с вершины Малого.

Толчок был резкий.

Жильят принял меры предосторожности, но все же веревка закрутилась, и он ударился плечом о скалу.

И тут же отлетел от нее.

Теперь он ушиб о гранит кулаки. Платок соскользнул. Руки были ободраны в кровь, — хорошо еще, что не переломаны.

Прыжок оглушил Жильята; с минуту он висел неподвижно.

Но он настолько владел собой, что справился с головокружением и веревку не выпустил.

Прошло некоторое время, пока он, раскачиваясь и подтягиваясь, старался поймать веревку ногами; все же он добился своего.

Он окончательно пришел в себя и, обхватив веревку ногами так же крепко, как руками, взглянул вниз.

Его не тревожило, что веревки не хватит: не раз приходилось ему спускаться по ней и не с такой высоты. А тут ее конец даже волочился по палубе Дюранды.

Удостоверившись, что на судно спуститься

можно, Жильят стал взбираться вверх.

Спустя несколько мгновений он был на площадке.

Ничья нога еще не ступала сюда, залетали лишь одни пернатые гости. Площадка была усеяна птичьим пометом. Она имела форму неправильной трапеции — в этом месте обломился верх огромной гранитной призмы, называемой Большим Дувром. В самом центре трапеции была выдолблена гранитная чаша. То была работа дождей.

Предположения Жильята оправдались. В южном углу трапеции виднелось нагромождение камней — вероятно, обломки рухнувшей вершины. Если дикий зверь взобрался бы на эту площадку, он мог бы укрыться между этими глыбами, напоминавшими исполинские булыжники. Они валялись беспорядочной грудой, поддерживая, подпирая друг друга; между ними чернели щели, как в куче крупного булыжника. Не найти было здесь ни пещеры, ни грота, но всюду виднелись отверстия, как в губке… Одна из этих нор могла приютить Жильята.

Ее выстилали трава и мох.

Жильят лежал бы там как в футляре.

У входа нора была высотой в два фута. В глубину она постепенно сужалась. Встречаются каменные

гробы такой формы. Эта спальня, прикрытая с юго-запада глыбами гранита, была защищена от ливней, но открыта для северного ветра.

Жильят нашел, что искал.

Обе задачи были разрешены: у лодки была гавань, у него — кров.

Недалеко было и до разбитой Дюранды; от этого его жилье выигрывало еще больше.

Железная кошка, провалившись между двумя обломками скалы, зацепилась прочно. Жильят укрепил ее, придавив большим камнем.

Он немедля воспользовался удобным сообщением с пароходом.

Отныне он был у себя дома.

Большой Дувр стал его пристанищем, Дюранда — мастерской.

Побывать там и вернуться, подняться и спуститься — было проще простого.

Он быстро соскользнул по веревке на палубу Дюранды.

Погода стояла отличная, для начала все шло хорошо. Жильят был доволен; ему захотелось есть.

Развязав корзину с провизией, он открыл складной нож, отрезал кусок копченой говядины, съел ломоть хлеба, отпил глоток пресной воды из жбана — поужинал великолепно.

Хорошо потрудиться и вдоволь поесть — двойная радость. Сытый желудок подобен удовлетворенной совести.

Когда Жильят покончил с ужином, было еще достаточно светло. Он воспользовался этим и стал разгружать разбитое судно, — мешкать было нельзя.

Оставшуюся часть дня он сортировал обломки. Он отложил и отнес в уцелевшее машинное отделение то, что могло пригодиться: дерево, железо, снасти, паруса. Все ненужное он бросил в море.

Груз, поднятый шпилем с лодки на палубу, хоть в нем и не было ничего лишнего, загромождал ее. В скале Малого Дувра Жильят обнаружил что-то вроде глубокой ниши, до которой мог дотянуться рукой. В скалах часто встречаются такие естественные стенные шкафы, правда, без дверок. Жильят нашел, что это надежное место для хранения имущества. Он задвинул поглубже оба ящика — с инструментами и с одеждой, оба мешка — со ржаной мукой и сухарями, а корзину с провизией поставил впереди, пожалуй, слишком близко к краю, но иного места не было.

Он предусмотрительно вынул из ящика с одеждой овчину, непромокаемый плащ с капюшоном и просмоленные гетры.

Чтобы веревку не трепал ветер, он привязал ее нижний конец к одному из шпангоутов Дюранды.

Борта Дюранды имели сильный завал, поэтому шпангоут был очень изогнут и держал конец веревки крепко, точно сжатый кулак.

Следовало подумать о верхнем конце веревки. Нижний был хорошо закреплен, но на вершине утеса веревка терлась о край площадки, и острое ребро скалы мало-помалу могло ее перерезать.

Жильят порылся в куче обломков и остатков снастей, отложенных про запас, и вытащил несколько лоскутьев парусины, а из обрывка старого каната вытянул несколько длинных каболок; все это он положил в карманы.

Моряк сообразил бы, что для предотвращения беды он собирается обмотать веревку кусками парусины, а также каболками в том месте, где она соприкасается с ребром скалы; работа эта называется «клетневанием».

Заготовив необходимую ветошь, Жильят надел просмоленные гетры; набросил поверх куртки плащ, накинул капюшон на шапку и завязал на шее овечью шкуру; облачившись во все свои доспехи, он схватился за веревку, прочно прикрепленную к Большому Дувру, и пошел на

приступ этой мрачной морской башни.

Он проворно добрался до площадки, несмотря на то, что руки у него были в ссадинах.

Меркли последние блики заката. Ночь спускалась над морем. Лишь верхушка Дувра была слегка освещена.

Жильят воспользовался гаснущим светом, чтобы заклетневать веревку. Он наложил на ее изгиб у края скалы повязку в несколько слоев парусины, тщательно обмотав каждый слой каболками. Получилось нечто похожее на наколенники, которые подвязывает актриса, готовясь к предсмертным мукам и мольбам в пятом акте трагедии.

Окончив клетневание, Жильят, сидевший на корточках, выпрямился.

Уже несколько минут, обматывая парусиной веревку, он смутно ощущал странное сотрясение воздуха.

Казалось, в вечерней тишине хлопает крыльями огромная летучая мышь.

Жильят поднял глаза.

Над его головой, в бесцветном и бездонном сумеречном небе, кружилось большое черное кольцо.

На картинах старинных мастеров видишь та-

кие кольца над головою святых. Только там они золотятся на темном фоне; здесь же оно чернело на светлом. Странное было зрелище. Будто ночь возложила венец на Большой Дувр.

Кольцо приближалось к Жильяту, потом удалялось; то становилось уже, то шире.

Это были чайки, рыболовы, фрегаты, бакланы, поморники — целая туча встревоженных морских птиц.

Очевидно, Большой Дувр был для них гостиницей, и они прилетели на ночлег. А Жильят занял одну из комнат. Новый постоялец внушал им беспокойство.

Человек в этом месте — вот чего они никогда не видели.

Некоторое время они продолжали растерянно кружиться.

Они словно ждали, что Жильят уйдет.

Жильят, задумавшись, рассеянно следил за ними взглядом.

В конце концов крылатый вихрь принял решенье: кольцо вдруг разомкнулось, стало спиралью, и туча бакланов, устремившись к другому концу рифа, опустилась на утес «Человек».

Там, казалось, они стали совещаться и что-то обсуждать. Жильят, вытянувшись в своем гра-

нитном футляре и подложив под голову камень вместо подушки, еще долго слышал каркающие голоса пернатых ораторов, державших речь поочередно.

Потом они умолкли, и все заснуло: птицы на своей скале, Жильят — на своей.

VIII. Importunaeque volucres[24]

Жильят спал хорошо. Правда, было холодно, и он не раз просыпался. Разумеется, он лег ногами в глубь норы, а головой к выходу, но даже не потрудился сбросить острые камни, которые устилали его ложе и мешали спокойному сну.

Порой он приоткрывал глаза.

Время от времени до него доносились отдаленные глухие взрывы. То начинавшийся прилив с грохотом пушечного выстрела врывался в пещеры Дуврского рифа.

Во всем, что окружало Жильята, было что-то сверхъестественное, как в видениях; его обступал призрачный мир. К тому же в ночи все становилось каким-то неправдоподобным, он словно попал в царство невозможного. Он думал: «Все

---

[24] Примечания: 24
Зловещие пернатые *(лат.).*

это мне снится».

И снова засыпал и вдруг переносился в «Дом за околицей», в «Приют неустрашимых», в Сен-Сансон; ему слышалось пенье Дерюшетты, и грезы становились действительностью. Во сне ему казалось, что он живет и бодрствует, а наяву — что он спит.

И в самом деле, теперь его жизнь была подобна сновидению.

Около полуночи в небе послышался отдаленный гул. Жильят смутно различил его сквозь сон. Вероятно, поднимался ветер.

Потом он проснулся от холода и раскрыл глаза чуть шире, чем прежде. В зените повисли большие облака; луна закатывалась, а вдогонку за ней бежала крупная звезда.

Мозг Жильята был затуманен сном, и дикий ночной пейзаж вставал перед ним в искаженных, преувеличенных пропорциях.

На рассвете он совсем промерз, но спал крепко.

Внезапно вспыхнула заря и прервала этот сон, который мог быть опасен. Его спальня находилась как раз против восходящего солнца.

Жильят зевнул, потянулся и вылез из своей норы.

Спросонок он ничего не понял.

Мало-помалу сознание действительности вернулось к нему, и он воскликнул. «Пора завтракать!»

Погода стояла тихая, небо было ясное и холодное, тучи ушли, ночной ветер чисто вымел горизонт, безмятежно всходило солнце. Наступал второй погожий день. Жильят почувствовал прилив бодрости.

Он сбросил плащ и гетры, закатал их в овчину, вывернув ее шерстью внутрь, завязал сверток бечевкой и засунул его поглубже в свое убежище на случай дождя.

Затем он оправил постель, то есть сбросил с нее камни.

Приведя в порядок свое ложе, он соскользнул по веревке на палубу Дюранды и быстрым шагом подошел к нише, куда накануне поставил корзину с провизией.

Корзины там не было. Она стояла слишком близко к краю, и ночной ветер унес ее и сбросил в море.

Это было предупреждение, стихии готовились к отпору.

Ветер поистине должен был обладать какой-то злобной настойчивостью, если отыскал корзину в этом месте.

Начало враждебных действий было положено. Жильят это понял.

Когда живешь в тесном соседстве с угрюмым морем, трудно отрешиться от убеждения, что ветер и скалы — одушевленные существа.

У Жильята не осталось ничего, кроме сухарей, ржаной муки и надежды на ракушки, которыми питался тот, кто, потерпев кораблекрушение, умер с голоду на утесе «Человек».

О рыбной ловле нечего было и думать: рыба не терпит толчков, она избегает бурунов; бесполезно ставить верши и закидывать самые крепкие сети, они только рвутся об острия рифа.

Жильят съел на завтрак несколько морских полипов; с трудом отделяя их от скалы, он чуть не сломал складной нож.

Доедая скудный завтрак, он услыхал непонятный шум на море. Он оглянулся.

Целый рой чаек и бакланов опустился на невысокую скалу; они хлопали крыльями, толкались, пищали, кричали, суетливо копошась на одном месте. Орда, наделенная клювами и когтями, что-то расхищала.

То была корзина Жильята.

Ветер сбросил ее на острый камень, и она развалилась. Слетелись птицы. Они уносили в клювах

растерзанные куски. Жильят издали разглядел копченое мясо и вяленую треску.

Теперь в борьбу с ним вступили птицы. Они тоже были против Жильята. Он отнял у них дом; они отняли у него пищу.

IX. Как заставить служить себе риф

Пролетела неделя.

Несмотря на дождливое время года, дожди не шли; это радовало Жильята.

Впрочем, то, что он предпринял, по крайней мере с виду, превосходило человеческие силы. Успех был до такой степени сомнителен, что попытка достигнуть его казалась безумием.

Когда берешься за дело, то обнаруживаешь, сколько с ним связано опасностей, сколько возникает преград. Стоит только начать, как убеждаешься, что нелегко будет его завершить. Всякий почин сопряжен с помехой. Первый же сделанный шаг неумолимо свидетельствует об этом. Трудности, встающие перед нами, подобны колючим терниям.

Жильяту сразу же пришлось столкнуться с препятствиями.

Чтобы выручить машину Дюранды, чуть не

погибшую при кораблекрушении, чтобы попытаться, с некоторой надеждой на успех, спасти ее в таком месте и в такое время года, пожалуй, потребовалась бы целая армия, а Жильят был один; требовался полный набор плотничьих и слесарных инструментов, а у Жильята были только пила, топор, зубило и молоток; требовалась удобная мастерская и удобное жилье, а у Жильята не было крыши над головой; требовалась пища и запасы, а у Жильята не было хлеба.

Если бы в первую неделю кто-нибудь увидел Жильята за работой на рифе, тот не понял бы, что он делает. Жильят словно забыл и думать о Дюранде и о Дуврских скалах. Его занимало лишь то, что уцелело на рифе; казалось, он был поглощен спасеньем обломков. В часы отлива он обирал скалы, присваивая все, чем волна поделилась с ними после кораблекрушения. Он переходил от утеса к утесу, подбирая то, что выбросило море: клочья парусов, концы тросов, куски железа, обломки, оставшиеся от крышек люков, доски продавленной обшивки, сломанные реи, там — балку, тут — цепь, здесь — блок.

Он осматривал каждое углубление в граните. К его великому разочарованию, ни одно не годилось для жилья, и он замерзал по ночам, лежа в

каменной норе на вершине Большого Дувра, и очень хотел найти жилье получше.

Два таких углубления были довольно просторны: там можно было стоять, а по естественному скалистому полу, хоть и неровному и покатому, — даже ходить. Ветру и дождю там было привольно, однако волны даже в самый высокий прилив туда не долетали. Обе расщелины находились по соседству с Малым Дувром, и до них можно было добраться в любое время. Жильят решил устроить в одной склад, а в другой кузницу.

Собрав реванты и нок-бензеля всюду, где ему удалось их подобрать, он связал ими свои находки: обломки — в большие пучки, обрывки парусины — в тюки. Затем принайтовил их друг к другу. Прилив, поднимаясь, мог унести свертки в море, и Жильят перетащил их через подводные камни в склад. Где-то во впадине скалы он нашел стень-вынтреп и с его помощью поднял из воды даже крупные деревянные части. Он вытащил из моря много оборванных цепей, разбросанных среди бурунов.

Жильят проявлял удивительную настойчивость в этом тяжком труде. Он добивался всего, чего хотел. Ничто не устоит против ожесточенного упорства муравья.

К концу недели бесформенные обломки, раскиданные бурей, были собраны в гранитной кладовой Жильята и приведены в порядок. Один угол занимали галсы, другой угол — шкоты; булини лежали отдельно от гарделей; ракслизы разложены по количеству пробитых в них отверстий; клетни сняты с рымов сломанных якорей и свернуты мотками; юферсы, которые не имеют шкивов, отделены от блоков; кофельнагели, вант-клотни, вантины, чиксы, ниралы, канифас-блоки, шкентеля, утки, раксы, стопоры, лисель-спирты, если буря не повредила их окончательно, занимали особые отделения; все деревянные части корпуса — люковые бимсы, стандерсы, пилерсы, эзельгофты, ставни, стойки, карленгсы — сложены отдельно; там, где это оказалось возможным, доски разбитой наружной обшивки, скреплявшиеся пазами, были соединены друг с другом; рифсезни не смешивались с сезнями кабаляра, ганапути — со швартовами, блоки талрепов — с блоками подъемных талей, куски пояса обшивки — с кусками планширя; особый угол был отведен под уцелевшие швицсарвени Дюранды, поддерживавшие стень-ванты и пугенс-ванты. Каждый обломок лежал на своем месте. Вещественные следы кораблекрушения

были разобраны и словно отмечены ярлычками. То был хаос, спрятанный в кладовую.

Изрядно продырявленный стаксель, укрепленный большими камнями, прикрывал все, что мог попортить дождь.

Как ни была искалечена носовая часть Дюранды, Жильяту все же удалось спасти оба крамбола с тремя шкивами.

Он разыскал бушприт, и ему стоило больших усилий размотать вулинштаги; они слиплись, потому что были, как водится, обтянуты при помощи шпиля и притом в сухую погоду. И все же Жильят распутал их, ибо толстый несмоленый трос мог ему пригодиться.

Он подобрал и маленький якорь, зацепившийся в расщелине подводного камня, — он обнаружил его там во время отлива.

В развороченной каюте Тангруйля он нашел кусок мела и тщательно припрятал его, на случай, если понадобится делать пометки.

Кожаное пожарное ведро и несколько кадок в довольно хорошем состоянии тоже могли пригодиться.

Остатки погруженного на Дюранду каменного угля он также перенес в свой склад.

За неделю все обломки были собраны, риф

очищен, Дюранда облегчена. На разбитом судне осталась только машина.

Кусок борта, уцелевший от носовой части, не отягощал остов парохода. Он спокойно висел, упираясь в выступ скалы. К тому же он был широк и объемист, его трудно было перетащить, да он и загромоздил бы весь склад. Эта часть борта походила на плот. Жильят не тронул ее с места.

Работа не отвлекала Жильята от тайной его мечты: он тщетно искал «куклу» Дюранды. Волна многое унесла безвозвратно, в том числе и ее. Взамен этой «куклы» Жильят отдал бы обе руки, не будь они ему так необходимы.

Возле склада и у самого входа в него лежали две кучи хлама — кучи железа, годного для перековки, и куча дерева, годного для топлива.

С рассветом Жильят бывал уже на ногах. Он не знал отдыха, кроме часов сна.

Бакланы, кружа над его головой, смотрели, как он трудится.

X. Кузница

Жильят покончил со складом и занялся устройством кузницы.

Вторая расщелина, выбранная Жильятом, пред-

ставляла собой что-то вроде довольно глубокого и узкого прохода. Он решил было там поселиться, но в этом коридоре беспрерывно дул упорный и неугомонный северо-восточный ветер, и Жильяту пришлось отказаться от своего намерения. Это подобие поддувального меха и навело его на мысль о кузнице. Раз пещера не может служить ему комнатой, пусть она будет мастерской. Взять в услужение само препятствие — важный шаг на пути к победе. Ветер был врагом Жильята, и Жильят решил сделать его своим подмастерьем.

Поговорку «с виду и туда и сюда, а на деле никуда» можно применить и к пещерам в скалах. Они многое сулят, но ничего не дают. Вот впадина. Она была бы отличной ванной, но в ней щель, через которую вытекает вода; вот комната, но без потолка; вот ложе, устланное мхом, но мокрое; вот кресло, но каменное.

Кузницу, которую предполагал оборудовать Жильят, начерно наметила сама природа; однако осуществить этот замысел до конца, превратить пещеру в мастерскую было делом очень сложным и очень трудным. Из трех-четырех глыб, выдолбленных в форме воронки и примыкавших к узкой трещине, случай устроил нечто вроде огромной бесформенной воздуходувки, намного

превосходившей мощностью большие старинные кузнечные мехи в четырнадцать футов длины, выдувавшие каждый раз по девяносто восемь тысяч кубических дюймов воздуха. Тут было нечто иное. Силы урагана не вычислить.

Этот-то избыток мощи и являлся помехой; нелегко управлять дыханием стихии.

В пещере было два недостатка; в ней дул сквозной ветер и струилась вода.

То были не морские волны, а неиссякающий ручеек; он не бежал потоком, а как будто просачивался.

Прибой, беспрерывно забрасывая пеной риф, иногда больше, чем на сто футов ввысь, в конце концов наполнил морской водой естественный резервуар, расположенный между скалами, поднимавшимися над пещерой. Резервуар переполнился, и позади него, на крутом откосе образовался крохотный водопад около дюйма шириной, падавший с высоты четырех-пяти саженей. Вносили свою долю сюда и дожди. Время от времени туча мимоходом разражалась ливнем над этим неистощимым и всегда переливающимся через край резервуаром. Вода в нем была солоновата, негодна для питья, но прозрачна. Брызги от водопада каплями сбегали с водорос-

лей, точно с распущенных волос.

Жильят решил воспользоваться водой, чтобы укротить ветер. При помощи воронки и двух-трех труб из наскоро обструганных и сколоченных досок Жильят, приладив к одной трубе кран и установив взамен нижнего резервуара широченную бочку, ухитрился, без противовеса и стойки, дополнив только свое сооружение диффузором вверху и отверстиями для воздуха вннзу, смастерить недостающий ему кузнечный мех, — недаром он был отчасти и кузнецом и механиком. Хотя сооружение это уступало нынешнему гидравлическому вентилятору, но все же было менее примитивно, чем старинный пиренейский воздуходувный снаряд.

У Жильята была ржаная мука, и он сделал клейстер; у него был несмоленый трос, и он нащипал пакли. Он воспользовался паклей, клеем и несколькими деревянными клиньями и заткнул все щели в каменной воронке, оставив только одну отдушину, которую удлинил куском фитильной трубки, найденной на Дюранде и служившей запальником для сигнального фальконета. Эта горизонтальная трубка доходила до широкой плиты, где Жильят устроил кузнечный горн. Трубку, в случае нужды, можно было заты-

кать пробкой, сделанной из веревочного жгута.

Затем Жильят набил горн углем и щепками, высек огнивом искру из скалы на пучок пакли и поджег щепу и уголь.

Он испробовал воздуходувку. Она действовала отлично.

Жильят ощутил гордость циклопа — властелина воздуха, воды и огня.

Властелин воздуха, он наделил ветер легкими, создал в граните дыхательный аппарат и превратил поддувало в кузнечный мех. Властелин воды, он превратил небольшой водопад в воздуходувную машину. Властелин огня, он высек пламя из скалы, залитой водой.

Сверху пещера была почти всюду открыта, поэтому дым свободно уходил вверх, застилая копотью выступ откоса. Скалы, которые, казалось, от века созданы были для пены морской, познакомились теперь с сажей.

Жильят превратил в наковальню большой валун твердозернистой породы, удобной по величине и по форме. Но работать молотом на такой наковальне было опасно, она могла расколоться. Один из краев глыбы, округлый и заостренный, в крайнем случае мог заменить конический носок, но не хватало носка пирамидального. То

была древняя каменная наковальня троглодитов. Поверхность ее, отполированная водой, была тверда, почти как сталь.

Жильят пожалел, что не захватил с собой наковальню. Не зная, что буря разломила Дюранду надвое, он надеялся найти на ней набор плотничьих инструментов и весь инвентарь, обычно хранящийся в носовом трюме судна. Но именно носовую-то часть и унесло в океан.

Оба углубления, отвоеванные Жильятом у рифа, находились рядом. Склад и кузница сообщались между собою.

По вечерам, закончив трудовой день, Жильят ужинал сухарем, размоченным в воде, морским ежом или морскими каштанами, ибо ничего другого нельзя было добыть среди скал, и, дрожа под стать своей веревочной лестнице, взбирался наверх, чтобы переночевать в каменной норе на Большом Дувре.

Какая-то отрешенность владела Жильятом, и ее углубляли сама действительность и тяжкий труд. Слишком суровая реальность ошеломляет. Жильят сам не верил себе, несмотря на кропотливую повседневную физическую работу, что попал сюда, что взялся за такое дело. Мышечная усталость всегда является той нитью, которая тянет

к земле, но необычность предприятия увлекала Жильята в мир каких-то возвышенных и туманных фантазий. Порою ему мерещилось, что он ударяет молотом по туче, а иногда чудилось, что его инструменты — оружие. Им владело странное чувство, что он не то отбивает невидимую атаку, не то предотвращает ее. Вить веревку, выдергивать из парусины каболку, подпирать доску доскою — означало готовить боевое оружие. Тысячи мелких забот, связанных со спасением обломков судна, стали походить в конце концов на предосторожности против обдуманного, почти незамаскированного и весьма недвусмысленного наступления. Жильят не умел словами выражать мысли, но отдавал себе в них отчет. Он все реже казался себе рабочим и все чаще воином.

Он уподобился укротителю и почти понимал это — так расширился неожиданно его умственный кругозор.

К тому же, куда бы он ни устремил взгляд, перед ним вставал исполинский призрак бесплодного труда. Человек приходит в смятение, видя работу могучих сил, рассеянных в непостижимом и беспредельном. Он стремится понять их цель. Вечное движение пространства, неутомимые воды, облака, точно спешащие куда-то, титани-

ческий, непонятный порыв, все эти судорожные усилия — загадка. Во имя чего безостановочно колеблются воды? Что сооружают шквалы? Что воздвигает прибой? Что создают волны, сталкиваясь, рыдая, рыча? К чему эта сумятица? Прилив и отлив таких вопросов извечен, как прилив и отлив моря. Жильят знал, что делал он сам, но волнение необозримых просторов смутно и неотвязно преследовало его своей непостижимостью. Помимо своей воли, неведомо для себя, Жильят испытал на себе воздействие природы, слился с нею, и, словно ослепленный, в каком-то исступлении соединил в воображении собственную работу с бесполезной работой моря. И как же не почувствовать, как не попытаться понять эту тайну грозной трудолюбивой волны, когда она перед тобою? Как не размышлять в пределах, доступных мысли, о колебании волн, об исступлении пенящихся гребней, о незаметном разрушении скал, о бессмысленном захлебывающемся крике ветров всех четырех стран света? Как страшит мысль это вечное начинание сначала, эта бездонная бочка — океан, эти Данаиды — облака, весь этот бесцельный труд!

Бесцельный? Нет. Но только тебе, о Неведомое, известна цель.

XI. Открытие

Люди подплывают к прибрежному рифу, но к рифу в открытом море — никогда. Там не на что надеяться, это не остров. Нет там ни пропитанья, ни плодовых деревьев, ни пастбищ, ни стад, ни родниковой воды. Это голый камень среди пустыни. Над водой крутые склоны утеса, под водой — острые выступы. Там ждет человека лишь гибель.

Рифы, именуемые на старом морском языке «отшельниками», как мы уже говорили, — места своеобразные. Море там наедине с собой. Оно делает, что хочет. Гости с земли никогда не тревожат его. Море страшится человека, не доверяет ему, скрывает от него свою сущность и дела свои. У рифа оно чувствует себя уверенно: туда человек не заглянет. Никто не прервет монолог волны. Море трудится над рифом, поправляет повреждения, оттачивает верхушки, заостряет их, подновляет риф, следит за ним. Оно сверлит скалу, размельчает мягкий камень, обнажает твердый, сдирает плоть, оставляя один остов, все обшарит, рассечет, пробуравит, продырявит, проложит каналы, свяжет тупики, испещрит

рифы ячейками, уподобив их гигантским губкам, выдолбит изнутри, покроет резьбой снаружи. В подводной горе, своем потаенном владении, оно строит для себя пещеры, святилища, чертоги; оно насаждает невиданную омерзительную и пышную растительность — плавучие травы, что кусают, и чудовищ, что пускают корни; все это страшное свое великолепие оно хранит под покровом вод. На рифе, стоящем особняком, никто не выслеживает море, не подглядывает за ним и не мешает ему; там оно на приволье раскрывает сокровенную тайну, непостижимую для человека. Там кишат его ужасные порождения. Там весь неведомый мир морской бездны.

Скалистые мысы, косы, стрелки, буруны, естественные волнорезы, подводные камни, — повторяем, — настоящие сооружения. Геологическая формация ничто по сравнению с формациями океанскими. Рифы — эти жилища волн, эти пирамиды и усыпальницы морской пены — относятся к неразгаданному зодчеству, названному однажды автором этой книги «искусством природы» и отличающемуся монументальностью стиля. Сама случайность здесь кажется замыслом. Сооружения эти многолики. В них сумбур колонии полипов, в них величавость собора, причудли-

вость пагоды, мощь горного кряжа, изящество драгоценной безделушки, ужас склепа. Все они в ячейках, как осиное гнездо, в берлогах, как лесная чаща, в подземных ходах, как кротовая нора, в одиночных камерах, как острог, в засадах, как ратное поле. Там есть ворота, но заваленные, есть колонны, но с отбитым верхом, есть башни, но покосившиеся, есть мосты, но разрушенные. Внутренние помещения в них строго распределены: вот эти только для птиц, те только для рыб. Из одного в другое пути нет. Их архитектурная форма меняется, искажается, то подтверждает закон равновесия, то отрицает его, распадается и вдруг застывает, начинает архивольтом, кончает архитравом; глыба громоздится на глыбу; каменщиком здесь Энкелад. Это выставка задач, поставленных перед собой неведомой механикой, и задач решенных. Нависшие своды грозят падением, но не падают. Непонятно, как держатся эти головокружительные постройки. Все вкривь и вкось, всюду выступы, пустоты, висячие арки; закон этого столпотворения непостижим. Неведомое, великий зодчий, не знает расчетов, но во всем у него удача; как попало накиданные скалы представляют собой поразительное сооружение; никакой логики, но могущество равновесия. В

этом нечто большее, чем прочность, в этом вечность. И в то же время все здесь — воплощение беспорядка. Смятение волн как будто передалось граниту. Риф — окаменевшая буря. Ничто так не смущает разум, как творения этой стихийной архитектуры, вечно рушащиеся и вечно непоколебимые. Тут всё друг друга поддерживает и всё друг другу противодействует. В этой борьбе линий возникает настоящее здание. Тут угадываешь сотрудничество врагов: океана и урагана.

В этой архитектуре есть свои мастерские произведения, они ужасают. Одно из них — Дуврский риф.

Его грозно и любовно воздвигало и совершенствовало море. Сердитая волна вылизывала его. Он отвратителен, коварен и угрюм; он весь изрыт подземельями.

Его пересекает целая сеть нор, напоминающая сосуды кровеносной системы, которые разветвляются на неизмеримых глубинах. Отверстия этих непроходимых штолен выступают на сушу при отливах. Туда можно проникнуть на свой страх и риск.

Жильят ради спасения машины и собственной жизни должен был исследовать каждый грот. Один был страшнее другого. Повсюду в

подводных трущобах, в преувеличенных размерах, свойственных океану, воспроизводились картины резни и бойни, запечатлевшиеся удивительным образом в теснине между двумя Дуврами. Кому не доводилось видеть на вековечных гранитных стенах морской пещеры ужасные фрески, написанные природой, тот не в силах себе их представить.

Жуткие гроты были вероломны; в них не следовало мешкать. Вода во время приливов заливала их до потолка.

В изобилии водились здесь мокрицы и мелкие морские животные.

Круглые валуны, завалив гроты, громоздились в глубине, под сводами. Попадались валуны, весившие больше тонны. Они были всевозможных размеров и цветов; иные казались окровавленными, иные, опутанные мохнатыми липкими водорослями, напоминали больших зеленых кротов, подрывающих скалу.

Одни пещеры неожиданно кончались сводчатой нишей. Другие служили артериями таинственных путей сообщения и черными расщелинами углублялись в скалу. То были переулки бездны. В расщелинах, что становились все у́же, не пройти было человеку. Свет зажженного

там соломенного факела тонул во мраке, сочащемся водою.

Как-то Жильят, увлекшись поисками, проник в такую расщелину. Возможность эту предоставил ему отлив. День выдался прекрасный, солнечный, тихий. Нечего было бояться моря, оно не грозило никакой неожиданностью, которая увеличила бы опасность.

Две причины, как мы только что сказали, толкали Жильята на разведку: для спасения машины нужно было разыскать пригодные обломки парохода, а для собственного пропитания — крабов и лангуст. Ракушек в Дуврах ему уже не хватало.

Расщелина была узка, и пройти по ней было почти невозможно. Жильят видел, что в конце ее мерцает свет. Он напряг все силы, подобрался, вытянулся и пролез, насколько удалось, вглубь.

Он попал, неведомо для себя, в недра той самой скалы, о выступ которой Клюбен разбил пароход. Жильят находился как раз под ее верхушкой. Скала, обрывистая и неприступная снаружи, внутри была вся источена. Там были галереи, водоемы, покои, как в усыпальнице египетского фараона. Подрывная работа здесь казалась сложнее, чем в других лабиринтах, — то были труды неутомимых вод, подкоп океана. Ответвления подводной

пещеры, вероятно, сообщались с необозримой морской ширью не одним выходом, — иные, должно быть, зияли на уровне волн, другие, в форме глубоких воронок, были невидимы. Неподалеку отсюда прыгнул в море Клюбен, о чем Жильят, конечно, не знал.

Он с трудом пробирался по этой крокодиловой лазейке, где крокодилов, впрочем, опасаться было нечего, извиваясь, карабкаясь, ударяясь лбом, нагибаясь, выпрямляясь, проваливаясь и снова нащупывая почву под ногами. Мало-помалу проход расширился, забрезжил слабый свет, и вдруг Жильят очутился в необыкновенном гроте.

XII. В подводном дворце

Свет блеснул вовремя.

Еще один миг, и Жильят упал бы в воду, быть может, в бездонную пучину. Воды в пещерах так холодны и так внезапно вызывают судороги, что порою и сильнейшим пловцам не выбраться оттуда.

К тому же подняться и вскарабкаться по крутым склонам, обступившим вас, невозможно.

Жильят сразу остановился. Расщелина, по которой он шел, заканчивалась узким и скользким

выступом на отвесной стене, напоминавшим балкон. Жильят прислонился к стене и осмотрелся.

Он был в огромном подземелье. Свод пещеры напоминал внутреннюю сторону необъятного черепа. Чудилось, что череп только что препарирован. Сеть влажных прожилок гранита на сводах пещеры напоминала разветвление волокон и зубчатые швы черепной коробки. Вместо потолка — камень; вместо пола — вода; морские волны, замурованные в четырех стенах грота, казались широкими качающимися плитами. Грот был замкнут со всех сторон. Ни отверстия, ни отдушины, ни единого пролома в стене, ни единой скважины в своде. Свет шел снизу, проникая сквозь воду. То было какое-то неведомое сумрачное сияние.

Зрачки Жильята расширились, пока он пробирался по темному коридору, и он ясно различал все в этой полутьме.

Он знал, — ему не раз доводилось бывать там, — пленмонские пещеры на Джерсее, Решетчатую впадину на Гернсее, Лабаз на острове Серк, названный так потому, что контрабандисты складывали там товары; но всем этим дивным гротам далеко было до подземных и подводных палат, в которые он сейчас проник.

В воде прямо перед ним вырисовывалось что-то вроде затонувшей арки. Естественная стрельчатая арка, выточенная волной, сверкала между двумя черными высокими колоннами. Через затопленный портик и пробивался в пещеру свет из открытого моря. Необычайное освещение, дарованное тому, что погребено в бездне!

Лучистое сияние широким веером разливалось под волнами, отражаясь на скалах. Ровные блики света, длинными четкими полосами выделявшиеся на темном фоне, то загораясь, то угасая на изломах гранита, напоминали стеклянные пластинки. Пещеру озарял свет, но свет непостижимый. В нем не было ничего земного. Вы словно вдруг перенеслись на иную планету. Освещение это было загадкой; казалось, что сияние цвета морской воды излучают зрачки сфинкса. Пещера представлялась огромной и сверкающей головой мертвеца, видимой изнутри: свод — череп, арка — рот; не хватало лишь глазниц. Рот, поглощавший и извергавший волны отлива и прилива, осклабленный прямо на юг, вбирал свет и изрыгал горечь. Иные разумные и злые существа подобны ему. Луч солнца, пронизывая портик, заслоненный стекловидной толщей морской воды, становился зеленым, словно луч Альдебарана.

Вода, насыщенная неярким светом, походила на расплавленный изумруд. Аквамариновый оттенок неописуемой нежности окрашивал все подземелье. Округлые выступы свода, словно изображавшие мозговые полушария, были в прихотливом узоре, похожем на сеть нервных волокон, и отсвечивали теплым отблеском хризопраза. Зыбь, пробегавшая по воде, отражалась на потолке и, то дробясь, то вновь соединяясь, без устали сплетала и расплетала золотистые петли, словно в таинственном танце. Во всем этом было что-то призрачное; разум вопрошал, что за добыча — а может быть, одно лишь предвкушение ее — так веселит эту великолепную сеть живого огня. С выпуклой резьбы свода, с шероховатых стен, проникнув сквозь гранит, свисали длинные и тонкие растения, вероятно, купавшие свои корни в водах, что покоились выше; с их стеблей жемчужинами скатывались капли воды. Жемчужины падали в пучину с тихим ласковым звоном. Необъяснимое чувство овладевало человеком в этом месте. Нельзя было вообразить ничего более чарующего, нельзя было увидеть ничего более зловещего.

То был потаенный чертог смерти, — смерти торжествующей.

XIII. Что там видишь и что угадываешь

Ослепительный мрак — вот определение этого необычайного места.

Здесь чувствовалось, как бьется сердце океана. Колебание его волн то вздымало, то опускало водную поверхность в гроте с равномерностью дыхания. Беззвучно поднималась и опадала эта огромная зеленая диафрагма: казалось, здесь дышит таинственное одушевленное существо.

Вода была на диво прозрачна; там и тут в глубине виднелись нисходящие ступеньки, карнизы скал, и все гуще и гуще становился их зеленый цвет. Темные провалы были, вероятно, бездонны.

Низкие своды, неясно очерченные по обеим сторонам подводного портика и полные мрака, указывали на маленькие боковые гроты, лежавшие ниже главной пещеры и доступные, вероятно, лишь в пору сильнейших отливов.

Над этими впадинами нависали своды, скошенные под тупым углом. Небольшие песчаные отмели шириной в несколько футов, созданные

набегами моря, углублялись в эти кривые закоулки и там терялись.

Кое-где морские травы длиной в туазу шевелились под водой, словно пряди волос, развевающиеся по ветру. Смутно виднелись густые чащи водорослей.

Вся стена пещеры сверху донизу, над водой и под водой, от свода до того места, где он уходил в невидимую глубь, была заткана той чудесной и столь редко доступной человеческому глазу флорой, которую старинные испанские мореходы называли *praderias del mar*[25]. Густой мох всех оттенков оливкового цвета, покрывая неровности гранита, делал их еще заметнее. С выступов ниспадали тонкие гофрированные ленты водорослей, которые служат рыбакам барометром. Едва ощутимое дыхание пещеры раскачивало эти блестящие ремни.

Под растениями прятались и в то же время выставляли себя напоказ редчайшие драгоценности из шкатулки океана: эбурны, крылатки, митры, шишаки, багрянки, трубороги, роговиды-башенки. Колпачки морских уточек, похожие на крохотные хижинки, лепились на скалах

---

[25] Примечания: 25
Морские луга *(исп.)*.

целыми селениями, по улицам которых прохаживались хитоны — эти водяные скарабеи. Валунам нелегко было попасть в грот, поэтому здесь укрывались раковины. Они, как настоящие вельможи в шитых нарядах и позументах, избегают встречи с грубой и невежливой чернью — голышами. Кое-где под водой излучали волшебный свет сверкающие груды раковин; там, мерцая, сливались и лазурь, и перламутр, и зеленоватое золото всех оттенков морской воды.

Немного выше линии прилива необыкновенное, прекрасное растение тянулось бордюром на стене пещеры, над шпалерами из водорослей, как бы продолжая и увенчивая их. Это ветвистое, пышное, вьющееся и почти черное растение казалось широкой темной каймой, усыпанной мелкими ярко-синими цветами. В воде цветы словно вспыхивали голубыми угольками. Над водой то были просто цветы, а в воде — сапфиры; и волна, поднимаясь и затопляя низ пещеры, увитый этими растениями, осыпала скалу самоцветами.

Каждый раз, как приливала волна, вздуваясь подобно легким, омытые водою цветы загорались; волна отливала — и цветы меркли: печальное сходство с судьбой человека. Вдох

— это жизнь, затем выдох — смерть.

Одним из чудес пещеры была сама скала. Скала эта то арка, то стена, то форштевень или пилястр — местами дикая и голая, местами самой тонкой чеканной работы, на какую только способна природа. Нечто высоко одухотворенное примешивалось к массивной аляповатости гранита. Что за художник бездна! Иная стена, словно нарочно вырезанная правильным четырехугольником и покрытая то здесь, то там округлыми наростами, казалась чуть стершимся барельефом; перед этим скульптурным эскизом можно было бы грезить о черновом наброске, приуготовленном Прометеем для Микеланджело. Чудилось: достаточно нескольких взмахов резца, и гений завершил бы то, что начал исполин. В иных местах скала была в золотых и серебряных узорчатых насечках, как сарацинский щит, или выложена черной эмалью, как флорентийский водоем. Здесь были и панно, напоминавшие коринфскую бронзу, и арабески, как на дверях мечети, и, словно начертанные ногтем, непонятные, фантастические письмена, как на рунических камнях. Ползучие растения с витыми веточками и усиками, переплетаясь на золоте лишайника, покрывали его филигранным узором. Пещера была разукрашена, как

мавританский дворец. Здесь, в величественной и хаотической архитектуре, созданной случаем, первобытность сочеталась с тончайшим искусством ювелира.

Морская плесень драпировала великолепным бархатом углы пещеры. Отвесные стены были в фестонах из крупноцветных лиан, которые держались чудом и так искусно украшали скалы, что, казалось, были одарены разумом. Стенница со вкусом и кстати раскидывала гроздья своих диковинных цветов. Пещера прельщала, чем могла. Необычайный, райский свет, струившийся из-под воды, эти морские сумерки, тень и одновременно неземное сияние смягчали все линии, придавая им призрачность и расплывчатость. Каждая волна была призмой. Все контуры под радужной водной зыбью окрашивались так, словно лучи преломлялись через слишком выпуклые оптические стекла; под водой колыхался весь солнечный спектр. В прозрачной, словно предрассветное небо, волне будто дробились полоски затонувшей радуги. А в иных уголках воду пронизывал лунный луч. Здесь смешалось воедино все земное великолепие, украшая это детище ночи и тьмы. Не было на свете ничего более волнующего и более загадочного, чем красота

этого подземелья. Тут всем правили магические чары. Волшебная растительность и безобразные каменные напластования, сочетаясь, создавали гармонию. Этот союз творений природы был счастливым браком. Ветки не цеплялись за гранит, а как будто слегка прикасались к нему. Дикий цветок с нежной лаской льнул к суровой скале. Массивным каменным столбам служили капителью и фризом хрупкие колеблющиеся гирлянды, — они напоминали пальчики фей, щекочущие ноги бегемотов. Утес поддерживал лозу, а лоза обнимала утес с какой-то хищной грацией.

Таинственное сочетание уродливых форм порождало какую-то царственную красоту. Произведения природы, не уступая в величии произведениям гения, заключают в себе нечто совершенное и действуют на нас с неотразимой силой. Они — неожиданность, властно подчиняющая себе наш разум; в них чувствуется замысел, недоступный человеческому пониманию, и всего сильней они захватывают, когда внезапно открывают изысканность ужасного.

Никому не ведомый грот, если можно так выразиться, принадлежал к потустороннему миру. Там было сосредоточено все самое необычайное,

что могло поразить человека. Склеп был залит каким-то апокалиптическим светом. Не верилось, что все это существует. Глазам представлялось нечто реальное, отмеченное печатью неправдоподобия. Все это можно было видеть, осязать, ощущать, но поверить в это было трудно.

Дневной ли свет лился через окно под морем? Вода ли зыбилась в темной этой купели? Может быть, облака поднебесья обернулись аркадами и портиками пещеры? Да и на камень ли ступала нога? Как знать, не распадутся ли эти плиты и не обратятся ли в дым? Что это за россыпь раковин, искрящихся, словно драгоценные камни? Далеко ли отсюда до жизни, до земли, до людей? Что за очарование таилось в этой тьме? Она вызывала невыразимый, почти священный трепет, которому словно вторило легкое, тревожное колыханье трав в глубине вод.

В конце этого подземелья, продолговатого по форме, под циклопической аркой изумительно правильного сечения, в еле заметной нише, подобной пещере в пещере, или скинии завета в святилище, за зеленоватой световой пеленой, спадающей, как завеса в храме, из воды выступал камень с квадратными гранями, похожий на алтарь. Его окружала вода. Казалось, с него

только что сошла богиня. Воображение невольно рисовало нагую небожительницу, в вечной задумчивости стоявшую в нише на алтаре и ускользнувшую при виде человека. Нельзя было не представить себе видения в этом волшебном гроте, сам собой возникал образ, вызванный мечтой; чистейший свет, струящийся по смутно белеющим плечам, чело, озаренное денницей, божественный овал лица, пленительная округлость груди, целомудренные руки, распущенные волосы в сиянии утренней зари, дивные бедра, неясно выступающие из священной мглы, тело нимфы, взгляд девственницы. Венера, выходящая из морской пены, Ева, выходящая из хаоса, — вот образ, который не мог не пригрезиться. Это место было немыслимо без видения. Прекрасная нагая женщина, земное воплощение звезды, вероятно, только что стояла на алтаре. От пьедестала веяло неизъяснимой негой, чудилось, что там высится живая белая фигура. Подземелье притихло в немом обожании, и мечта рисовала то Амфитриду, то Фетиду или Диану, согретую чувством любви, — творение совершенной красоты, сотканное из сияния и кротко взирающее на мрак. Она исчезла, но ее тело, подобное звезде, оставило за собой благоухающий отблеск, который озарял

пещеру. Ослепительно прекрасной прозрачной тени здесь больше не было; не было облика, созданного лишь для взора какого-то невидимого существа, но его присутствие чувствовалось: здесь еще все трепетало в упоении. Самой богини не было, но присутствие божества ощущалось.

Красота пещеры точно была сотворена для нее. Во имя этого кумира, феи жемчугов, властительницы ветров, этой пеннорожденной грации, только во имя ее, — по крайней мере так казалось, — подземелье было благоговейно скрыто в камне, и ничто никогда не могло дерзновенно нарушить таинственный полумрак и величавое безмолвие вокруг божественной тени.

Жильят, который был как бы ясновидцем природы, размышлял, охваченный неясным волнением.

Вдруг внизу, в чудесной прозрачности вод, походивших на расплавленные драгоценные камни, Жильят заметил нечто неописуемое. Что-то вроде длинного лоскута двигалось в колеблющихся волнах. Лоскут не плыл, а несся: у него была какая-то цель, он куда-то направлялся, он спешил. Этот обрывок напоминал шутовской колпак с длинными зубцами, — дряблые и плоские зубцы извивались в воде и, казалось, были

покрыты какой-то непромокаемой пылью. Он внушал и ужас и омерзение. Он казался чем-то фантастическим, не то живым существом, не то призраком. Он как будто стремился в самый темный конец подземелья и ушел в глубину. Водяная толща над ним потемнела. Зловещий силуэт промелькнул и исчез.

Книга вторая
Тяжкий труд
I. Находчивость того, кто во всем нуждается

Подземелье выпускало людей неохотно. Войти в него было нелегко, а выйти еще труднее. Однако Жильят выбрался наверх и больше туда не возвращался. Там он не нашел того, что искал, а времени для праздного любопытства у него не было.

Он тотчас пустил в ход кузницу. Ему недоставало инструментов, и он изготовил их сам.

Обломки судна заменили ему топливо, вода — двигатель, ветер — кузнечные мехи, каменная глыба — наковальню, инстинкт — уменье, а воля — силу.

Жильят горячо принялся за свою невеселую работу.

Погода, казалось, благоволила к нему. По-прежнему было сухо и почти ничто не напоминало о периоде равноденствия. Подошел март, но все было спокойно. Дни становились длиннее, синева небес, легкое колебание безграничной

водной шири, безмятежность полуденных часов — все как будто исключало дурной умысел. Море весело играло на солнпе. Сначала ласки, потом предательство. Морская бездна не скупится на подобные ласки. Когда имеешь дело с этой женщиной, не доверяй ее улыбке.

Ветер был слабый, тем лучше работало водяное поддувало, слишком сильный ветер служил бы скорее помехой, чем помощью.

Жильят привез с собой пилу; он сделал напилок; пилою он пилил дерево, напилком — металл. К ним он добавил две железные руки кузнеца — клещи и щипцы; клещи сжимают, щипцы управляют; одни действуют как руки, другие — как пальцы. Набор инструментов — это организм. Жильят постепенно раздобывал помощников и изготовлял свое вооружение. Из куска листового железа он сделал колпак над кузнечным горном.

Он разобрал и починил блоки, а это было одно из неотложнейших дел. Он привел в порядок коробки и шкивы сложных блоков. Отрубил расщепившиеся концы сломанных брусьев и зачистил их; для плотничьей работы у него был, как мы сказали, целый запас корабельных обломков, подобранных по форме, размерам и качеству: дуб лежал в одном месте, сосна — в другом, изо-

гнутые деревянные части, например, футоксы, отдельно от прямых — например, карленгсов. Все эти подпорки и рычаги могли сослужить ему службу в нужную минуту.

Когда задумываешь делать тали, нужно запастись и балками и блоками, но этого мало: нужна веревка. Жильят починил все кабельтовы и перлини. Он растянул разорванные паруса и умудрился вытащить из них превосходные пеньковые нитки, из которых свил трос; этим тросом он скреплял снасти конец с концом. Но трос быстро перегнивает, поэтому нужно было спешно пускать в дело веревки и канаты. Жильяту удалось изготовить только белый трос, так как смолы у него не было.

Починив канаты, он принялся за починку цепей.

На остром краю валуна-наковальни, который служил коническим носком, он выковывал грубые, но прочные звенья. Этими звеньями он соединял концы разорванных цепей и удлинял их.

Ковать одному, без помощи, очень неудобно. Однако Жильят справился с этим. Правда, он изготовлял на своей наковальне только легкие предметы: он поворачивал их щипцами, которые

держал в одной руке, и бил молотом, который держал в другой.

Он разрезал на куски круглые железные прутья капитанского мостика, потом заострил каждый кусок с одного конца, а на другом выковал широкую плоскую шляпку; получились большие гвозди около фута длиной. Такие гвозди, обычно применяемые при постройке мостов, хорошо вбиваются в скалы.

Зачем Жильят взялся за этот тяжкий труд? Увидим дальше.

Не раз ему приходилось оттачивать лезвие топора и зубья пилы. Для пилы он сделал трехгранный напилок.

Иногда он пользовался шпилем Дюранды. Крюк от цепи сломался. Жильят выковал новый.

При помощи клещей и щипцов, работая зубилом как отверткой, он приступил к разборке пароходных колес — и добился цели. Читатель помнит, что колеса были разборные, — в этом заключалась особенность их устройства. Кожухи, прикрывавшие их, послужили для упаковки: из досок кожухов он сколотил два ящика, куда и уложил, тщательно пронумеровав, части колес. Припрятанный кусок мела ему очень пригодился.

Жильят поставил ящики на палубу Дюранды в самом надежном месте.

Покончив с подготовительными работами, Жильят стал лицом к лицу с тем, что было всего труднее. Надо было решать вопрос о машине.

Разобрать колеса было можно; разобрать машину — нельзя.

Начать с того, что Жильят плохо знал механизм. Он мог нанести ему непоправимый вред, действуя наугад. Вдобавок, если б он даже решился разобрать машину, то для этой неосторожной попытки ему потребовались бы совсем не те инструменты, которые можно смастерить, располагая пещерой вместо кузницы, сквозняком вместо кузнечных мехов и валуном вместо наковальни. Пробуя разобрать машину, он мог ее сломать.

Здесь Жильят почувствовал, что подошел к неосуществимому.

Казалось, перед ним выросла стена — невозможное. Что же делать?

II. Каким образом Шекспир может встретиться с Эсхилом

У Жильята был свой замысел.

С тех времен, когда наука находилась в младенческом возрасте, задолго до Амонтона, открывшего первый закон трения, Лагира, открывшего второй, и Кулона, открывшего третий, с XVI века, когда простой плотник из Сальбри, без совета, без руководства, только с помощью сына-мальчугана и незатейливого оборудования, спустил вниз «большие куранты» церкви Шаритэ-на-Луаре, разрешив одновременно пять-шесть проблем статики и динамики, представлявших для него сложное препятствие и перепутанных между собою, как колеса сбившихся в кучу телег, — со времен этой из ряда вон выходящей и замечательной затеи, когда способом, простым на удивление, не оборвав ни единого латунного волоска, не повредив ни единого зубца, плотник перенес с верхнего яруса колокольни в нижний тяжеловесную, заключавшую время, клетку из железа и меди «величиной со сторожку», всю целиком, со всем механизмом: с цилиндрами, барабанами,

коробками, крючками, рычагами, циферблатом, горизонтальным маятником, спуском, с мотками цепей и цепочек, с каменными гирями, причем одна весила пятьсот фунтов, с приспособлением для боя, подбором колокольчиков и фигурками, которые отбивали молоточками часы, — со времен человека, сотворившего это чудо и преданного забвению, никто никогда и не пытался предпринять что-либо подобное замыслу Жильята.

Дело, которое он мечтал выполнить, было, пожалуй, еще труднее, иначе говоря, еще прекраснее.

Машина Дюранды по весу и тонкости работы была под стать курантам колокольни Шаритэ-на-Луаре, да и помех здесь было не меньше.

У средневекового плотника был помощник, его сын; у Жильята — никого.

Возле церкви собрался народ, туда пришли из Менга-на-Луаре, из Невера и даже из Орлеана. Люди могли подсобить плотнику из Сальбри или хоть приободрить его благожелательными возгласами; вокруг Жильята гудел только ветер, только волны обступали его толпой.

Ничто не сравнится с робостью несведущего человека, разве лишь его отвага. Когда неведение

пытается действовать, значит, у него есть какой-то компас. Этот компас — наитием постигаемая истина, порою более понятная для ума простого, чем для ума просвещенного.

Неведение подстрекает к дерзанию. Неведение — это мечтательность, а любознательная мечтательность — сила. Знание иной раз смущает и часто останавливает. Будь Васко да Гама ученым, он отступил бы перед мысом Бурь. Будь Христофор Колумб хорошим космографом, он никогда не открыл бы Америку.

Ученый Сосюр поднялся на Монблан вторым; первым поднялся пастух Бальма.

Примеры эти, — заметим мимоходом, — являются исключением, ничуть не умаляющим науку, ибо она остается правилом. Невежда может сделать открытие, но лишь ученый изобретает.

Лодка по-прежнему стояла на якоре в бухте у скалы «Человек», и море там ее не трогало. Жильят — читатель, вероятно, помнит это — все устроил так, чтобы легко было добираться до ботика. Он отправился в бухту и тщательно вымерил его ширину во многих местах, особенно у миделя. Потом он вернулся на Дюранду и измерил наибольшую ширину основания машины. Эта ширина, — разумеется без колес, — оказалась

на два фута меньше ширины ботика по миделю. Следовательно, машина могла свободно поместиться в лодке.

Но как ее туда опустить?

III. Мастерское творение Жильята приходит на помощь мастерскому творению Летьери

Если бы немного времени спустя у какого-нибудь рыбака хватило безрассудства заплыть в эти воды в такое время года, он был бы вознагражден, увидев необычайное зрелище среди Дувров.

Вот что предстало бы его глазам: четыре толстые дубовые балки, точно силой втиснутые через ровные промежутки между скал, — а это служило лучшей порукой прочности, — вели с одного Дувра на другой. Со стороны Малого Дувра их концы держались на выступах скалы, упираясь в нее; у Большого Дувра концы балок мощными ударами молота были крепко-накрепко вбиты в крутой склон каким-то силачом, стоявшим на той самой балке, которую он вколачивал. Балки эти были чуть длиннее расстояния между скалами; вот откуда крепость их упора и вот откуда их наклонное положение. С Большим Дувром

они соединялись под острым углом, с Малым — под тупым. Все они лежали чуть покато, но неодинаково, что являлось недостатком. Не будь этого, можно было бы сказать, что они положены как основа мостового настила. К этим четырем балкам были подвешены на шкентелях блоки с лопарями; странным и чересчур смелым в их расположении было то, что двухшкивные блоки находились на одном конце балок, а простые блоки — на другом. Это значительное и опасное отступление от правил требовалось, очевидно, для выполнения намеченного плана. Тали были крепки, блоки — прочны. К талям были подвязаны канаты, издали похожие на нити; массивный обломок крушения, Дюранда, казалось, висела на этих нитях под воздушным сооружением из блоков и балок.

Но она еще на них не повисла. Как раз против балок, внизу в палубе были пробиты восемь отверстий — четыре по правую и четыре по левую сторону машины, а под ними — еще восемь, в подводной части судна. Канаты, спускавшиеся вертикально от четырех талей, проходили сквозь палубу и, выйдя из подводной части корабля через отверстия правого борта, шли под килем и машиной, затем, снова проникнув в судно через

отверстия левого борта, опять шли вверх сквозь палубу и навивались на четыре блока, прикрепленных к балкам, где их подхватывало нечто вроде сейталей, собирая в пучок и соединяя с тросом, которым можно было управлять одной рукой. Крюк и юферс, через отверстие которого проходил и разматывался трос, завершали сооружение и в случае необходимости служили тормозом. Такое комбинированное устройство заставляло работать все четыре тали одновременно; это была настоящая узда для сил тяготения, руль, управляющий движением под рукой кормчего и позволяющий поддерживать равновесие во время работы. Удачное дополнение в виде сейталей упростило и улучшило подъемный механизм, придав ему сходство с современными талями Вестона и древним полиспастоном Витрувия. Жильят сам додумался до него, хоть он не слыхал ни о Витрувии, которого давно не было на свете, ни о Вестоне, который еще не родился. Длина канатов менялась в зависимости от неодинакового наклона балок и отчасти исправляла этот недостаток. Канатам нельзя было доверять, несмоленый трос мог лопнуть; надежнее были бы цепи, но они не скользили бы на талях.

Это сооружение, полное изъянов и все же

поразительное, было создано руками одного человека.

Впрочем, сократим объяснения. Само собою разумеется, что мы опустили немало подробностей, которые могли бы пояснить все это людям сведущим, но читателю неискушенному лишь затемнили бы картину.

Верх пароходной трубы приходился как раз между обеими средними балками.

Жильят, сам того не ведая, невольно совершил заимствование, воссоздав через три столетия механизм неведомого ему плотника из Сальбри — механизм примитивный, несовершенный и опасный для того, кто осмелился бы им управлять.

Заметим, что даже самые грубые изъяны не мешают механизму кое-как действовать. Пусть хромает, а все же движется. Обелиск на площади св. Петра в Риме был воздвигнут наперекор всем законам статики. Карета царя Петра была сделана так, что, казалось, должна была опрокидываться на каждом шагу, и все же она катилась. А сколько несуразного в машине Марли! Все в ней держалось чудом. И, однако, она доставляла воду Людовику XIV.

Что бы там ни было, а Жильят доверял своему

творению. Он был глубоко убежден в успехе и однажды, отправившись на свой ботик, даже ввинтил в оба его борта по два железных кольца в том же месте и на том же расстоянии друг от друга, что и четыре кольца на Дюранде, к которым прикреплялись четыре цепи пароходной трубы.

У Жильята, очевидно, был свой законченный и очень четкий план. Ему грозили всевозможные случайности, и он хотел принять все меры защиты.

Он делал вещи, казалось, бесполезные — признак того, что все тщательно обдумал заранее.

Его предварительные приготовления, как мы уже упоминали, сбили бы с толку наблюдателя, даже из знатоков.

Так, например, если бы на глазах свидетеля Жильят, подвергая опасности свою жизнь, с неслыханными усилиями вколотил восемь или десять огромных выкованных им самим гвоздей в подножие Дувров при входе в теснину рифа, то этому свидетелю, разумеется, нелегко было бы понять, к чему здесь гвозди, и он, вероятно, задал бы себе вопрос, зачем вообще нужен весь этот труд.

Если бы он увидел затем, как Жильят измеряет кусок борта носовой части, оставшийся, если

помнит читатель, на разбитом корабле, как, привязав крепкий перлинь к верхнему краю обломка и обрубив топором расшатанные деревянные крепления, удерживавшие этот кусок, тащит его из ущелья, пользуясь отливом, который подталкивает обломок снизу, пока Жильят тянет за верхний край, как, наконец, хоть и с большим трудом, он привязывает канатом эту махину из досок и бревен, более широкую, чем вход в ущелье, к гвоздям, вбитым в подножие Малого Дувра, то наш наблюдатель, вероятно, совсем уж ничего не понял бы, подумав, что если Жильяту для большей свободы действий нужно очистить проход между Дуврами от этой помехи, ему достаточно сбросить ее в море, и ее унесет волной.

Но у Жильята, надо полагать, были свои соображения.

Чтобы вбить гвозди в подножие Дувров, Жильят, пользуясь всеми щелями в граните, а если надо, и расширяя их, сперва загонял туда деревянные клинья, в которые потом вколачивал железные гвозди. Он сделал то же самое на обеих скалах в другом конце ущелья, с восточной стороны рифа: он вогнал деревянные колышки во все трещины, словно подготовляя место для новых железных шипов; но, по-видимому, это было

сделано на всякий случай, так как гвоздей он в них не вбил. Понятно, что, испытывая недостаток в материалах, он предусмотрительно расходовал их лишь по мере надобности и в минуты крайней нужды. Это увеличивало трудности.

Едва заканчивалась одна работа, как возникала другая. Жильят, не мешкая, переходил от дела к делу и смело готовился к гигантскому прыжку.

IV. Sub re[26]

Человек, совершивший все это, стал страшен.

В многообразном труде расходовались все силы Жильята; их нелегко было восстанавливать.

Тяжки были лишения, велика была усталость; он исхудал. Волосы и борода у него отросли. У Жильята осталась только одна крепкая рубаха. Он ходил босиком: один башмак унесло ветром, другой — морем. Осколками первобытной, небезопасной наковальни ему изранило руки и плечи — то была печать труда. Раны эти, — скорее ссадины, чем порезы, — были неглубоки, но их все время разъедали резкий ветер и соленая вода.

Его мучили жажда, голод, холод.

---

[26] Примечания: 26
За работой *(лат.).*

Жбан с пресной водой опустел. Часть ржаной муки пошла на клейстер, часть была съедена. Оставалось лишь немного сухарей.

Он грыз твердые сухари: не было воды, чтобы их размочить.

Мало-помалу, день ото дня, иссякали его силы.

Страшная скала высасывала из него жизнь.

Напиться воды было задачей; поесть было задачей; поспать было задачей.

Он ел, когда удавалось поймать морскую мокрицу или краба; пил, когда замечал морских птиц, опустившихся на вершину утеса. Он взбирался туда и находил ямку, а в ней немного пресной воды. Он пил после птицы, а иногда вместе с птицей, ибо чайки и бакланы привыкли к нему и при его появлении не улетали. Жильят не причинял им вреда, хотя и был голоден. Он, как помнит читатель, относился к ним с каким-то суеверным чувством. И птицы ничуть его не боялись; взъерошенные длинные волосы и большая борода изменили его облик, это их успокоило; они уже не видели в нем человека, они принимали его за зверя.

Отныне птицы и Жильят стали добрыми друзьями. В нужде они помогали друг другу. Пока у Жильята еще оставалась ржаная мука, он кро-

шил им лепешки, которые сам приготавливал, а теперь птицы указывали ему места, где была пресная вода.

Он питался сырыми моллюсками — они до некоторой степени утоляют жажду. А крабов он пек; кухонной утвари у него не было, поэтому он запекал их между двумя раскаленными на огне камнями, совсем как дикари с островов Фероэ.

Меж тем уже давал о себе знать период равноденствия: пошел дождь, и дождь враждебный. Не проливной, не обильный, а словно сыпавший длинными тонкими иглами, острыми, ледяными, колючими; они проникали сквозь одежду до кожи, до костей. Этот дождь почти не давал воды для питья, но промачивал насквозь.

Недостойный неба, он был скуп на помощь, щедр на бедствия. Он лил больше недели, денно и нощно. Этот дождь был злобной выходкой провидения.

Работа так изнуряла Жильята, что ночью, забравшись в гранитную нору, он сразу засыпал. Слетались большие морские комары и кусали его. Он пробуждался, весь покрытый волдырями.

У него был лихорадочный жар, и это поддерживало в нем энергию; но лихорадка — помощь, которая убивает. Повинуясь инстинкту, он жевал

лишайник и сосал листья ложечника, чахлого растеньица, пробивающегося из расщелин бесплодных скал. Впрочем, он мало обращал внимания на свою болезнь. Некогда было отвлекаться от дела и думать о себе. Машина Дюранды находилась в добром здоровье. Этого для него было достаточно.

Ежеминутно — этого требовала работа — он то пускался вплавь, то снова вылезал на сушу. Он входил в воду и выбирался из нее так же просто, как переходят из комнаты в комнату у себя в доме.

Его одежда теперь не просыхала. Она была пропитана неиссякавшей дождевой водой и непросыхавшей — морской. Жильят жил в воде.

К такой жизни можно привыкнуть. Бедняки ирландцы — старики, матери, дети, молодые девушки, одетые в рубище, — проводят всю зиму на улице под проливным дождем, под снегом, прижавшись друг к другу у стен лондонских домов; они живут и умирают в мокрой одежде.

Промокнуть до костей и в то же время мучиться жаждой, — Жильят переносил эту неслыханную пытку. Случалось, он сосал влажный рукав своей куртки.

Он разводил огонь и не мог согреться; огонь на

открытом воздухе не идет впрок; с одной стороны припекает, с другой леденит.

Жильят дрожал от холода, обливаясь потом.

Все сопротивлялось Жильяту в каком-то ожесточенном безмолвии. Он чувствовал себя во вражеском стане.

От неодушевленных предметов веет угрюмым *Non possumus*[27].

Их косность равносильна зловещему предостережению.

Безмерная неприязнь окружала Жильята. Он был в ожогах и трясся от озноба. Его палил огонь, леденила вода, изводила жажда, ветер рвал на нем одежду, голод терзал желудок. Жильят выносил натиск целого полчища сил, объединившихся против него. Неисчислимые препятствия, с виду безучастные, как все, что послушно року, но полные непонятного злобного единодушия, со всех сторон надвигались на Жильята. Он чувствовал, что они неумолимо преследуют его и что нет никакой возможности избавиться от них. То были словно живые существа. Жильят ощущал их угрюмое упорство и ненависть, стремление повергнуть его во прах. Он мог бежать, это зави-

---

[27] Примечания: 27
Не можем *(лат.)*.

село от него, но он оставался, и ему приходилось бороться с непостижимой враждебностью. Изгнать его не удалось, поэтому его точно вгоняли в землю. Но кто же? Неведомое. Оно его душило, теснило, выбивало почву из-под ног, не давало вздохнуть. Его истязало невидимое. Ежедневно таинственный винт, сжимавший эти тиски, делал еще один оборот.

Положение Жильята в такой тревожной обстановке походило на положение человека, который ведет дуэль с вероломным противником.

Темные силы, состоявшие в заговоре, обступили его, Он чувствовал, что они решили от него отделаться. Тан глетчер сбрасывает перекатный валун.

Заговорщики исподтишка изорвали на нем одежду, изранили его, довели до крайности, лишили сил и вывели из строя еще до начала битвы. И все же он работал не меньше и не давал себе передышки; работа подвигалась, а силы работника таяли. Можно было подумать, что дикая природа, страшась человеческой души, вознамерилась уничтожить человека. Жильят не сдавался, он выжидал. Бездна начала с того, что подорвала его здоровье. Что предпримет она дальше?

Двойной Дувр, этот гранитный дракон, устро-

ивший засаду в открытом море, допустил к себе Жильята. Он позволил ему поселиться здесь и работать. Прием походил на гостеприимство разинутой пасти.

Пустыня, водная ширь, пространство, где для человека столько запретов, суровое безмолвие природы, непреложность ее явлений, идущих своим чередом; отлив и прилив — великий общий закон, неумолимый и бесстрастный, риф — черная плеяда, где всякий острый выступ, являясь центром разбегающихся течений, подобен звезде в лучах водоворота; неведомый отпор, который дает равнодушная мертвая природа отваге существа одушевленного; стужа, тучи, море, ведущее осаду, — все это наступало на Жильята, медленно оцепляя его, точно замыкая круг; и отделяло от всего живого, как стены темницы, в которой заточен узник. Все против него, за него — ничто; он был одинок, заброшен, обессилен, истощен, забыт. Ничего у него не осталось, кроме пустой корзины от провизии да изломанных или зазубренных инструментов. Жажда и голод — днем, холод — ночью, раны и лохмотья, тряпье на гноящихся струпьях, изодранная одежда, израненное тело, изрезанные руки, окровавленные ноги, худоба, землисто-бледное лицо, но пламень

в глазах.

Это гордое пламя — проявляющая себя воля. Глаза человека созданы так, что в них видны достоинства их обладателя. Взгляд наш говорит о том, сколько человеческого заключено в нас. Мы заявляем о себе светом, горящим в нашем взоре. Ничтожная душонка только мигает, великая душа мечет молнии. Если ничто не блеснет меж ресниц, значит, нет мысли в мозгу, нет любви в сердце. Тот, кто любит, — желает, а тот, кто желает, — светит и пламенеет. Решимость зажигает взгляд огнем; и дивен тот огонь, которым полыхает костер, сжигающий робкие мысли.

Люди упорные возвышенны. Тот, кто наделен только храбростью, всего лишь порывист; кто наделен только доблестью, всего лишь горяч; кто наделен мужеством, всего лишь славен; и только тот велик, кто упорно добивается истины. Почти вся тайна великой души заключена в слове: *Perseverando*[28]. Настойчивость для мужества — то же, что колесо для рычага; это беспрерывное обновление точки опоры. Пусть на земле, пусть в небесах намеченная цель, добиться цели — вот в чем суть; в первом случае человек уподобляется

---

[28] Примечания: 28
Упорствуя *(исп.)*.

Колумбу, во втором — Христу. Крест — безумие; отсюда его ореол. Не спорить со своей совестью, не обезоруживать свою волю — значит принять страдания и прийти к торжеству. В сфере духовной падение не исключает взлета. Павшие могут вознестись. Посредственность готова отступить под любым благовидным предлогом, сильные духом — никогда. Они сомневаются в гибели, они убеждены в победе. Бесполезно приводить св. Стефану разумные доводы, чтобы он поостерегся и не дал побить себя камнями. Презрение к трезвой предусмотрительности и приводит к торжеству побежденных, имя которому мученичество.

Всеми своими силами Жильят, казалось, стремился к невозможному, успехи были невелики, давались нелегко, и он расходовал много сил для достижения малого; вот что возвышало его, вот что придавало ему какое-то трагическое величие.

Чтобы водрузить четыре балки над разбитым кораблем, чтобы вырубить и отделить ту часть судна, которую надо было спасти, чтобы прикрепить к этому обломку в обломке четыре тали с канатами, потребовалось столько приготовлений, столько труда, столько поисков вслепую, столько ночей на голом камне, столько дней

предельного напряжения сил! Это и было источником мучений для того, кто работал один. Роковая причина, неизбежное следствие. И на эти мучения Жильят не только согласился, он пожелал их. Страшась помощника, ибо помощник легко мог стать соперником, он и не искал его. Он взял на себя все: неслыханно трудное предприятие, риск, опасность, нескончаемую, все новую и новую работу; он готов был принять смерть, спасая то, что погибало, готов перенести голод, лихорадку, лишения, отчаяние. Удивительное проявление эгоизма!

Он словно находился под каким-то ужасным пневматическим колоколом. Он постепенно терял жизнеспособность. И почти не замечал этого.

Истощение физическое не истощает волю. Вера — сила, стоящая на втором месте; на первом стоит воля. Пресловутые горы, которыми движет вера, ничто по сравнению с тем, что совершает воля. Здоровье, утраченное Жильятом, восполнялось его стойкостью. Под натиском необузданной природы ослабевало тело, но крепли душевные силы.

Жильят больше не чувствовал усталости или, пожалуй, не признавал ее. Твердость души, не

поддающейся телесной слабости, — огромная сила.

Жильят видел, как успешно подвигается его работа, и ничего иного не замечал. Он был несчастен, но не сознавал этого. Цель, которой он почти достиг, заслоняла собой все остальное. Он переносил страдания с одной-единственной мыслью: вперед! Его творение кружило ему голову. Воля к победе подобна хмелю. Душевный подъем может опьянить.

Такое опьянение называется героизмом.

Жильят был как бы Иовом океана.

Но Иовом-воителем, Иовом-борцом, который смело противостоял невзгодам, Иовом-победителем и, если бы подобные слова не звучали слишком выспренне для бедного моряка, ловца крабов и лангуст, — Иовом-Прометеем.

V. Sub umbra[29]

Иногда по ночам Жильят открывал глаза и всматривался во тьму.

Он чувствовал странное волнение.

Взор, устремленный во мрак. Безотрадность;

---

[29] Примечания: 29
Во мраке *(лат.)*.

тревога.

Существует гнет темноты.

Непроницаемый черный купол; глубокая, бездонная мгла; свет во тьме, неведомый, побежденный, сумрачный; свет, превращенный в пыль. Быть может, то семя жизни? Быть может, пепел? Миллионы светильников, ничего не освещающих, раскаленные точки в беспредельности, не выдающие своей тайны, рассеянный прах огня, что кажется стаей искр, застывших на лету, стремительность вихря и неподвижность склепа, задача, разрешение которой — в разверстой бездне, загадка, то скрывающая, то показывающая лицо свое, бесконечность, затаившаяся во мгле, — такова ночь. Все это давит на человека.

Тут воедино слились все тайны: тайны вселенной и тайны рока; их не в силах постичь человеческий рассудок.

Гнет темноты по-разному действует на души людей. Человек перед лицом ночи познает свое несовершенство. Он видит мрак и чувствует себя немощным. Под черным небом он подобен слепцу. Наедине с ночью человек приходит в уныние, преклоняет колена, падает наземь, повергается ниц, забивается в нору или жаждет обрести крылья. Почти всегда он готов бежать от присутствия

безликого Неведомого. Для него оно непостижимо. Он дрожит, он сгибает спину, недоумевает, но порой его влечет туда.

Куда?

Туда.

Туда? А что это такое? И что там?

Очевидно, в человеке говорит любопытство, желание проникнуть в область запретного, ибо все мосты вокруг разрушены. Не найти врат в бесконечное. Но запретное — бездна, и она манит. Туда, где не ступит нога человеческая, проникнет взгляд; туда, где положен предел взгляду, может проникнуть мысль. Нет человека, который не дерзал бы на это, как бы слаб и ничтожен он ни был. Человек, в зависимости от своей натуры, или стремится постичь, или только созерцает ночь. Для одних она — препятствие, для других — простор. Мрачное зрелище. В нем кроется непостижимое.

Пусть ночь ясна, — она толща тьмы. Она чревата грозой, ибо она толща испарений. Безграничное и сопротивляется и поддается, замыкаясь для опыта, открываясь для догадки. Бездонная тьма еще чернее от бессчетных лучистых точек. Рубины, искры, звезды. Со всей очевидностью они существуют в Неведомом; они — страш-

ный вызов, брошенный человеку: достигнуть и коснуться светил. Это вехи творения в бесконечности, отмечающие расстояние там, где нет более расстояния; какое-то невозможное и тем не менее реальное мерило уровня глубин. Блестит микроскопическая точка, за ней другая и еще и еще точки; они едва различимы, и они огромны. Этот свет — пылающее горнило, то горнило — звезда, та звезда — солнце, то солнце — мир, тот мир — ничто. Всякое число — нуль перед бесконечностью.

Такие миры-ничто существуют… Убеждаясь в том, человек постигает различие между понятиями «ничто» и «небытие».

Недостижимое в соединении с необъяснимым — вот небо.

Созерцание неба порождает возвышенное чувство, душа воспаряет, просветленная глубоким изумлением.

Благоговейный трепет свойствен только человеку; животное не ведает его. Ум человеческий видит в священном ужасе и доказательство своего ничтожества и своей силы.

Мрак есть нечто единое; это приводит в содрогание. В то же время он сложен; это вселяет ужас. Его единство обрушивается на наш рассудок и

лишает воли к сопротивлению. Его сложность заставляет нас озираться, точно мы боимся внезапного нападения. Человек сдается, но держится настороже. Он перед лицом Всеобъемлющего — отсюда его покорность, он перед лицом Многообразного — отсюда его недоверчивость. В единстве мрака таится множественность. Таинственная множественность, видимая в материи, постигаемая в мысли. И все это безмолвствует, — еще одна причина быть начеку.

Ночь — автор настоящей книги уже говорил об этом — естественное и закономерное состояние того особого мира, частицу которого мы собой представляем. День, краткий во времени, как и в пространстве, подобен звезде.

Ночное чудо свершается во вселенной не без трения, а всякое трение в машине мирозданья калечит жизнь. Трение в машине мирозданья мы и называем Злом.

Во мраке мы ощущаем зло, это скрытое опровержение божественного порядка, это затаенное богохульство факта, непокорного идеалу. Зло во всем своем тысячеликом уродстве нарушает гармонию вселенной. Зло присутствует всюду как протест. Оно — ураган, преграждающий путь судну; оно — хаос, препятствующий расцвету миров.

Добро обладает единством, зло — вездесущностью. Зло нарушает течение жизни, а жизнь — это логика. Оно заставляет птицу глотать муху, а комету уничтожать планету. Зло — это помарка на мироздании.

От ночной темноты мутится рассудок. Тот, кто углубляется в нее, тонет и бьется в ней. Ничто так не утомляет, как исследование мрака. Это — изучение ускользающего.

Там нет опоры для разума. Только исходные пункты, а конечного нет. Только переплетение противоречивых выводов, всевозможные сомнения, возникающие одновременно; переплетение явлений, которые распадаются на части под воздействием непонятных сил; взаимопроникновение законов, непостижимое их смешение, заставляющее минералы существовать, растения — жить, мысль — иметь весомость, любовь — сиять, силу тяготения — любить; огромный фронт наступления всех вопросов, развертывающийся в бескрайней темноте; встреча, в которой возникает смутный образ неведомого; весь космос, представший в бесконечном туманном пространстве, явив себя не взору, а уму; невидимое, ставшее видением. Это и есть Тьма. Внизу, под сводом ее, — человек.

Он не знает частностей, но несет в количестве, соразмерном его разуму, чудовищную тяжесть целого. Халдейские пастухи, угнетаемые мыслью о тьме, занялись астрономией. Открытия сами собой истекают из пор мирозданья; это как бы непроизвольное просачивание науки доходит и до человека невежественного. Всякий отшельник под таинственным воздействием природы, часто даже не сознавая того, становится подлинным философом.

Тьма неделима. Она населена. В ней вечно пребывает неизменное, в ней пребывает и то, что подлежит изменению. В ней что-то движется, и это вселяет тревогу. Здесь священное созидание проходит все свои стадии. Все силы творчества, все силы предопределения и судьбы трудятся здесь сообща над великим делом. В недрах тьмы таится страшная, пугающая жизнь. Там необозримое перемещение светил, сонмы звезд, сонмы планет, пыльца Зодиака, *quid diuinum*[30] токов, испарений, поляризаций, тяготений; там влечение и отталкивание, могучий прилив и отлив враждующих космических сил, там невесомое свободно парит среди центров притяжения; ис-

---

[30] Примечания: 30
Божественное естество *(лат.).*

точники жизни в небесных телах, свет вне этих, тел, блуждающие атомы, зародыши, рассеянные повсюду, кривые линии оплодотворяющего полета, брачные союзы и битвы, неслыханное изобилие, фантастические расстояния, ошеломляющие круговороты, стремительный бег миров в бесконечность, чудеса, преследующие друг друга во мраке, механизм, пущенный в ход раз и навсегда, дуновение от пробегающих по своей орбите планет, ощутимое вращение колес. Ученый строит догадки, невежда склоняет голову и трепещет; все это существует и ускользает, неодолимое, недоступное, недосягаемое. Человек настолько убеждается в этом, что чувствует себя подавленным. Над ним нависает во мраке нечто непреложное. Но он ничего не может уловить. Он раздавлен тем, что неосязаемо.

Повсюду непонятное; непостижимого нет нигде.

Добавьте к этому страшный вопрос: не тождественно ли все это сущности Бога?

Человек погружен во мрак. Он смотрит. Слушает.

А тем временем темный шар земной все движется, все вертится; цветы ощущают это вечное движение: ночная красавица раскрывает лепест-

ки в одиннадцать часов вечера, а повилика в пять утра. Поразительная точность.

Но вот другие глубины: капля воды — целый мир, там кишат инфузории, там проявляет себя невероятная плодовитость микроскопических животных, неприметное встает во всем величии, та же необъятность, но бесконечно малого; одна диатомея производит тысячу триста миллионов диатомей в час.

Сколько загадок сразу!

Здесь то, что не поддается упрощению.

Человек принужден верить. Насильно уверовать — таково следствие. Но только верить — недостаточно для спокойствия. Вере свойственна какая-то странная потребность в форме. Вот причина происхождения религий. Самое угнетающее — это неопределенность веры.

Независимо от нашей мысли, независимо от воли, от внутреннего сопротивления, смотреть во тьму — значит не просто смотреть, а проникать умом.

Как быть с этими явлениями? Как существовать под их воздействием? Уничтожить их гнет невозможно. Какой мечтой приблизить прилежащие к нам загадочные миры? Сколько туманных, невнятных откровений сразу! Их так

много, что смысл каждого ускользает от нас. То неясный лепет истины, вещающей о себе! Мрак — это безмолвие, но оно красноречиво. В нем величественно являет себя равнодействующая сила — Бог. Бог — понятие неограниченное. Оно в самом человеке. Силлогизмы, споры, отрицания, системы, религии проходят мимо, не умаляя его. Понятие о нем дает вся безмерность тьмы. Но смятение остается. Тайна мироздания устрашает разум. О неслыханном единении сил говорит равновесие этой мглы. Вселенная висит в пространстве, и ничто не падает. В беспрерывных и необозримых перемещениях не бывает ни гибельных случайностей, ни опасных встреч. Человек участвует в этом поступательном движении, и сумму колебаний, которым он подвергается, он называет судьбой. Где начинается судьба? Где кончается природа? Есть ли разница между событием и временем года, между горем и дождем, между добродетелью и звездой? Разве час — не та же волна? Заведенный механизм продолжает свой бесстрастный ход, не отвечая человеку. В звездном небе предстают пред ним видения колес, маятников, противовесов. То вдохновенное созерцание, слившееся с вдохновенным размышлением. То сама действительность и сверх того

сама отвлеченность. За этим нет ничего. Человек чувствует себя в плену. Он попадает во власть мрака. Побег немыслим. Он — в зубчатых колесах механизма, он — неотделимая частица неизвестного целого, он чувствует, как неведомое в нем самом таинственно сливается с неведомым вне его. Это великое предвестие смерти. Какая мучительная тоска и вместе с тем какой восторг! Слиться с бесконечностью, прийти к своему бессмертию, и — кто знает? — быть может, к вечности, ощутить в волне этого чудесного потока жизни вселенной неистребимую сущность своего «я»! Смотреть на звезды и повторять: «Я — душа, подобная вам!» Смотреть во мрак и повторять: «Я — бездна, как ты!»

Эта безмерность и есть Ночь.

Все это тяготело над Жильятом и усиливало его одиночество.

Понимал ли он это? Нет.

Чувствовал ли он это? Да.

Жильят обладал великим мятущимся умом и великим нетронутым сердцем.

VI. Жильят ставит ботик в боевую позицию

Спасение машины, задуманное Жильятом, как мы уже говорили, было подлинной подготовкой к побегу, а ведь известно, сколько надо терпения, чтобы побег подготовить. Известно также, какая требуется для этого изобретательность. Изобретательность, граничащая с чудом, а терпение — со смертной мукой. Так, некто Томас, узник замка архангела Михаила, ухитрился спрятать полстены в свой соломенный тюфяк. Другой, узник Тюльской тюрьмы, в 1820 году срезал свинец с плоской крыши над галереей — местом прогулок арестантов. Каким ножом? — никто не знает. Он расплавил этот свинец. Где он добыл огонь? — неизвестно. Расплавленный свинец он вылил в форму. В какую форму? — это известно: сделанную из хлебного мякиша. Из свинца при помощи этой формы он смастерил ключ и умудрился открыть им замок, хотя до того он видел только замочную скважину. Такой же неслыханной ловкостью обладал и Жильят. Он мог бы подняться на обрыв Буарозэ и спуститься с него. Он был

Тренком разбитого судна и Латюдом машины.

Море, словно тюремщик, караулило его.

Как ни был неприятен и неуместен дождь, Жильят извлек пользу и из него. Он мало-помалу возобновил запас пресной воды; но его жажда была неутолима, и он опустошал жбан почти так же быстро, как наполнял его.

И вот настал день, — очевидно, последний день апреля или первый день мая, — когда все было готово.

Плита, на которой стояла машина, была словно в раме, между восемью канатами талей — четырьмя с одной стороны, четырьмя — с другой. Шестнадцать отверстий, через которые были пропущены канаты, на палубе и в подводной части соединялись желобами. Внутренняя обшивка судна была распилена пилой, деревянные части разрублены топором, железные перепилены напильником, обшивка подводной части судна удалена зубилом. Ту часть днища, на которой стояла машина, Жильят вырубил четырехугольником, чтобы спустить ее вместе с машиной как опору. Эти опасные качели держались только на одной цепи, ждавшей лишь прикосновения напильника. Когда завершаешь работу и цель так близка, быстрота — та же предосторожность.

Был отлив, самое подходящее время.

Жильят ухитрился снять коленчатый вал пароходных колес, концы которого могли помешать спуску. Ему удалось закрепить в вертикальном положении эту тяжелую часть в самой клетке машины.

Пришло время кончать. Жильят, как мы говорили, не чувствовал усталости, ибо не допускал ее, но зато ее чувствовали инструменты. Кузница понемногу выходила из строя. Каменная наковальня раскололась. Воздуходувка слушалась плохо: она приводилась в действие морской водой, поэтому все пазы покрывались отложениями соли, затруднявшими ее работу.

Жильят отправился в бухту «Человек», внимательно осмотрел ботик и удостоверился, что все цело и невредимо, включая четыре кольца, ввернутые в правый и левый борт; затем он поднял якорь и, взявшись за весла, пригнал лодку к Дуврам.

Для нее хватило бы места в промежутке между Дуврами. Там было достаточно глубоко и широко. Жильят с первого же дня заметил, что лодку можно подвести под самую Дюранду.

И все же этот маневр был необычайно труден, он требовал ювелирной точности. Вводить лодку

в теснину меж скал следовало тем более осторожно, что Жильяту для достижения цели пришлось идти задним ходом, рулем вперед. Важно было, чтобы мачта и такелаж лодки остались впереди Дюранды, против узкого входа в ущелье.

Такое сложное маневрирование оказалось нелегкой задачей даже для Жильята. Здесь уже недостаточно было только повернуть румпель, как в бухте у скалы «Человек», тут приходилось одновременно толкать, тянуть, грести и бросать лот. Жильят потратил на все это не менее четверти часа, но своего добился.

Спустя пятнадцать — двадцать минут лодка была установлена под Дюрандой. Она стояла как бы на шпринге. При помощи обоих якорей Жильят поставил ее фертоинг. Большой якорь был положен таким образом, что ботик мог выдержать самый сильный и опасный ветер, то есть западный. Потом, воспользовавшись ганшпугом и шпилем, Жильят спустил в лодку на приготовленных для этого стропах оба ящика с разобранными колесами. Ящики заменяли балласт.

Избавившись от них, Жильят привязал к крюку на цепи шпиля строп нок-талей, которые должны были регулировать и тормозить большие тали.

Сейчас для Жильята недостатки ботика оказались достоинствами: на нем не было палубы, и поэтому груз можно было опустить глубже и поставить прямо на дно; мачта была установлена в носовой части, пожалуй, чересчур близко к носу, поэтому грузить было удобнее, а так как она не касалась днища Дюранды, то ничто не должно было помешать Жильяту отчалить; ботик походил на деревянный башмак, а лодка такой формы всех устойчивее и надежнее в плавании.

Вдруг Жильят заметил, что море покрылось барашками. Он осмотрелся, чтобы узнать, откуда налетел ветер.

VII. В опасности

Дул небольшой бриз, но дул он с запада, — несносная и излюбленная привычка ветра в пору равноденствия.

В зависимости от ветра прилив в Дуврском рифе ведет себя по-разному. Волны врываются в теснину то с востока, то с запада, смотря по тому, откуда их гонит ветер. Если море надвигается с востока, оно спокойно и кротко, если с запада — оно полно ярости. Объясняется это тем, что восточный ветер, дующий с материка, не очень

силен, а западный, промчавшийся по Атлантическому океану, несет мощное дыхание безбрежных морских просторов. Даже чуть заметный ветерок с запада внушает тревогу. Он катит огромные валы из безграничного пространства, загоняя в теснину слишком много волн сразу.

Вода, ринувшаяся в узкий пролив, всегда страшна. Она подобна толпе; избыток чего бы то ни было подобен жидкости: когда то, что желает вместиться, превышает по количеству то, что может вместиться, в толпе неизбежна давка, а в проливе волнение. Пока властвует западный ветер, пусть даже самый легкий бриз, Дувры два раза в день подвергаются штурму. Прилив растет, вода напирает, скала противится, теснина впускает неохотно, волна, насильно вгоняемая в нее, вздымается, ревет, и разъяренный вал бьется о стены океанской улицы. Поэтому Дувры, чуть потянет ветром с запада, представляют собою необычайное зрелище: вокруг рифа на воде тишь и гладь, а внутри громы и молнии. В таком местном и ограниченном волнении нет ничего общего с бурей; это только мятеж волн, но он ужасен. А северные и южные ветры лишь разбиваются о стены рифа, и тогда только слегка играет волна в узком проливе. Небольшая подробность,

о которой нужно вспомнить: восточный вход в теснину примыкал к утесу «Человек»; опасные западные ворота были на противоположном конце рифа, как раз между двумя Дуврами.

У этих-то западных ворот и находился Жильят с потерпевшей крушение Дюрандой и ботиком, поставленным фертоинг.

Гибель казалась неизбежной. Для неминуемой катастрофы вполне было достаточно того слабого ветра, который подул в это время.

Пройдет несколько часов, и возрастающий прилив, взбухая, ринется в дуврскую теснину и возьмет ее с боя. Уже шумели первые волны. Вслед за бурлящим валом, посланцем Атлантического океана, будто собирались хлынуть сюда все его воды. Ни шквала, ни урагана; просто могучая волна, а в ней движущая сила; волна, отхлынувшая от берегов Америки и одним броском в две тысячи лье докатившаяся до Европы. Эта волна — исполинский рычаг океана — натолкнулась бы на разверстый зев рифа и, прижатая к Дуврам, к двум сторожевым башням, двум столбам ущелья, вздуваясь от прилива, вздуваясь от препятствия, отбрасываемая утесом, подхлестываемая ветром, насильно овладела бы рифом и, преодолев преграду, вся в водоворотах, с бешенством ско-

ванной стихии ворвалась бы в ущелье меж двух стен, натолкнулась бы там на лодку и Дюранду и разбила бы их в щепы.

Против такой случайности нужен был щит. И он был у Жильята.

Надо было помешать приливу сразу вторгнуться в ущелье, надо было отвести сокрушительный удар, позволяя в то же время волне нарастать, загородить риф, но не лишить к нему доступа, не противиться приливу, но и не поддаваться ему, предупредить напор воды у входа, ибо в этом-то и заключалась опасность, заменить вторжение впуском, укротить лютую свирепую волну, превратив ее неистовство в кротость. Надо было подменить раздражающее препятствие умиротворяющим.

Жильят, быстрый, как серна в горах или обезьяна в лесу, со свойственной ему ловкостью — а она сильнее силы, — пользуясь при головокружительных и опасных прыжках малейшим выступом, с веревкой в зубах и молотком в руке, то бросаясь в воду, то выскакивая из нее, плавая в бурунах, карабкаясь на скалу, отвязал перлинь, поддерживавший на весу уцелевший кусок борта Дюранды, плотно прилегавший к подножию Малого Дувра, сделал на концах перлиня нечто

вроде петель и, накинув их на огромные гвозди, вбитые заранее в гранит, привязал его к скале; потом, повернув на этих петлях дощатое сооружение, похожее на подъемный затвор шлюза, поставил его боком, как перо руля, наперерез потоку, который толкнул и прижал один его край к Большому Дувру, тогда как другой держался на веревочных петлях у Малого Дувра; затем он укрепил свое заграждение на Большом Дувре, как это сделал на Малом, воспользовавшись вертикальным рядом гвоздей, тоже заранее вбитых в гранит, и крепко-накрепко принайтовил огромный деревянный щит к обоим утесам у входа в ущелье, накрест затянув цепь на этой плотине, словно перевязь на латах. Не прошло и часа, как перед приливом выросла преграда, и узкая улица в скалах точно закрылась воротами.

Жильят, воспользовавшись прибоем, с ловкостью настоящего акробата воздвиг этот мощный заслон, эту тяжелую громаду из балок и досок, которая, лежа на воде, была бы плотом, а стоймя представляла собой стену. Фокус был проделан так быстро, что надвигающееся море, можно сказать, не успело опомниться.

Тут Жан Бар мог бы произнести те знаменитые слова, с которыми он обращался к морским

волнам всякий раз, когда ему удавалось увернуться от кораблекрушения: «С носом остался, англичанин!» Известно, что, когда Жан Бар хотел оскорбить океан, он называл его «англичанином».

Перегородив теснину, Жильят подумал о ботике. Он потравил канаты обоих якорей настолько, чтобы лодка могла подняться вместе с приливом; затем он проделал то, что в старину мореходы называли «завести шпринги». Жильят отнюдь не был застигнут врасплох, все было предусмотрено; знаток мог бы убедиться в этом по двум брамгордень-блокам, прикрепленным наподобие такель-блока к корме лодки; через них проходили два троса, концы которых были ввязаны в рымы обоих якорей.

Меж тем вода все прибывала; прилив рос, а в это время даже в тихую погоду удары волн достигают огромной силы. То, что предвидел Жильят, сбылось. Вода яростно бросалась на заграждение, упиралась в него, дыбилась и пробивалась низом. В открытом море было волнение, в теснине — зыбь, туда просачивались только струйки. Жильят придумал что-то вроде Кавдинского ущелья в море. Прилив был побежден.

VIII. Скорее осложнение, чем развязка

Опасная минута наступила.

Пора было спускать машину в лодку.

Несколько мгновений Жильят размышлял, обхватив лоб левой рукой и опираясь локтем о ладонь правой.

Потом взобрался на разрушенный пароход, одна часть которого, машина, должна была отделиться, а другая, корпус, — остаться на месте.

Он перерезал четыре стропа, прикреплявшие к правому и левому борту Дюранды четыре цепи трубы. Стропы были веревочные, нож справился с ними быстро.

Все четыре цепи, ничем не удерживаемые, свободно повисли вдоль трубы.

С Дюранды он быстро поднялся на свое сооружение, постучал ногой о балки, осмотрел тали, проверил блоки, ощупал канаты, потрогал подвязанные концы, удостоверился, что несмоленый трос не совсем промок, что все на месте, что все держится прочно, и, соскочив с балок на палубу, встал около шпиля на той части Дюранды, которую он оставлял на гибель. Тут-то и был его боевой пост.

Сосредоточенный, испытывая то волнение, которое помогает работе, он бросил последний взгляд на тали и, схватив напилок, стал перепиливать цепь, на которой все держалось.

В грохоте моря раздался скрежет напильника.

Цепь шпиля, привязанная к сей-талям, регулирующим движение, была прямо под рукой Жильята.

Вдруг послышался треск. Звено цепи, перепиленное больше чем наполовину, лопнуло; все сооружение закачалось. Жильят едва успел подхватить сей-тали.

Лопнувшая цепь ударилась о скалу, все восемь канатов натянулись, выпиленная и вырубленная часть днища отделилась от судна, чрево Дюранды разверзлось, и под килем показалась чугунная плита машины, повисшая на канатах.

Если бы Жильят вовремя не схватил конец сей-талей, все рухнуло бы. Но его могучая рука не дрогнула, и машина начала спускаться.

Когда Питер Бар, брат Жана Бара, силач, умная голова и пьяница, бедный дюнкерский рыбак, говоривший «ты» адмиралу Франции, спасал галеру «Ланжерон», терпевшую бедствие в Амблетезской бухте, он, для того чтобы вывести эту тяжелую плавучую громаду из бурунов и разбу-

шевавшихся волн, связал морским тростником большой парус, скатав его валиком, — он рассчитывал, что камыш переломится и это позволит ветру надуть парус. Он уповал на хрупкость тростника, так же как Жильят — на разрыв цепи; здесь такая же дерзкая смелость увенчалась таким же поразительным успехом.

Конец сей-талей, схваченный Жильятом, держался крепко и действовал отлично. Напоминаем, что он был предназначен для укрощения сил, сведенных в одну-единственную и работавших согласованно. В этих сей-талях было некоторое сходство с булинь-шпрюйтом; только, вместо того чтобы брасопить парус, они удерживали в равновесии машину.

Жильят стоял, положив руку на шпиль, и как бы следил за пульсом своего изобретения.

Оно проявило себя во всем блеске.

Обнаружилось удивительное согласие действующих сил.

Пока машина, отделившись от Дюранды, спускалась к лодке, лодка поднималась к машине. Обломок крушения и спасательное судно, помогая друг другу, шли навстречу один другому. Они сами искали друг друга и наполовину облегчали свой труд.

Прилив, бесшумно взбухая меж Дувров, поднимал лодку и приближал ее к Дюранде. Он был не только побежден, он был приручен. Океан стал частью механизма.

Нараставшие волны все выше поднимали лодку, плавно, потихоньку, почти бережно, как будто она была фарфоровая.

Жильят сочетал и соразмерял оба вида работы — работу воды и работу своего сооружения — и, застыв у шпиля, подобно грозной статуе, повелевающей сразу всеми движущими силами, приноравливал скорость спуска к скорости подъема прилива.

Тихо струилась вода, тали ровно работали. То было необычайное сотрудничество покоренных сил природы. Закон тяготения опускал машину — прилив в это время поднимал лодку. Притяжение небесных светил, то есть причина прилива, и притяжение земли, то есть причина тяжести тел, словно сговорились служить Жильяту. Они подчинялись без колебания и без промедления: под воздействием человеческой воли эти пассивные силы превращались в деятельных помощников. Работа подвигалась с каждой минутой, и расстояние между лодкой и машиной незаметно уменьшалось. Сближение происходило безмолв-

но, точно присутствие человека внушало ужас. Стихии был отдан приказ, и она его выполняла.

Почти в тот самый миг, когда вода перестала подниматься, перестали разматываться и канаты. Внезапно, но без толчка, тали остановились. Машина стояла в лодке, словно ее спустили туда руками, прямо, прочно, неподвижно. Плита равномерно опиралась о днище всеми четырьмя углами.

Дело было завершено.

Жильят растерянно огляделся.

Бедняга отнюдь не был баловнем жизни. Его точно подкосило огромное счастье. Он почувствовал слабость во всем теле; он, до сих пор не знавший душевного смятения, задрожал, увидев, что победа одержана.

Он смотрел на лодку, стоявшую под разбитой Дюрандой, и на машину в лодке. Ему словно не верилось, что он совершил это. Казалось, он не ожидал от себя такого подвига. Он собственными руками сотворил чудо и взирал на него с глубоким изумлением.

Но он скоро пришел в себя.

Встряхнувшись, будто человек, пробужденный от сна, Жильят схватил пилу, перерезал все восемь канатов, затем спрыгнул в лодку, нахо-

дившуюся благодаря приливу на каких-нибудь десять футов ниже Дюранды, взял бухту троса, приготовил четыре стропа, пропустил их через кольца, привинченные заранее, и закрепил на обоих бортах лодки четыре цепи пароходной грубы, еще час тому назад привязанные к борту Дюранды.

Укрепив грубу, Жильят освободил верхнюю часть машины. Ее обхватывал четырехугольный кусок палубной настилки Дюранды. Жильят оторвал его и избавил лодку от груза досок и балок, сбросив их на скалу. Облегчить лодку было необходимо.

Впрочем, ботик, как и следовало предвидеть, устойчиво держался под тяжестью машины. Он осел не глубже нормального уровня — до ватерлинии. Тяжелая машина Дюранды все же была легче груды камней и пушки, перевезенных когда-то ботиком с острова Эрм.

Итак, все было закончено. Оставалось только выбраться из теснины.

IX. Успех завоеван и тут же утрачен

Закончено было не все.

Само собой разумелось, что надо было открыть

ущелье, загороженное куском борта Дюранды, и тут же вывести лодку из рифа. В море дорога каждая минута. Дул легкий ветер, чуть приметная рябь пробегала по водной глади; прекрасный вечер обещал прекрасную ночь. Море было спокойно, но отлив уже давал себя чувствовать. Удобнее поры для отъезда нельзя было и желать. Отлив поможет выйти из Дувров, прилив — подойти к Гернсею. А к рассвету лодка доплывет до Сен-Сансона.

Но возникло неожиданное препятствие. Жильят не все предусмотрел.

Машину он освободил, а трубу нет.

Прилив, подняв ботик к разбитому судну, повисшему в воздухе, уменьшил опасность спуска и ускорил спасенье, но из-за того, что расстояние между ними сократилось, верхушка трубы застряла, словно в квадратной раме, в зияющем отверстии развороченного кузова Дюранды. Труба попала туда как в тюрьму.

Оказывая услугу, прилив исподтишка устроил подвох, словно море, вынужденное к повиновению, таило заднюю мысль.

Правда, то, что сделал прилив, мог изменить отлив.

Труба, вышиной больше трех саженей, входила

в корпус Дюранды на восемь футов; уровень воды должен был снизиться на двенадцать футов; опускаясь вместе с лодкой на спадающей воде, труба оказалась бы на четыре фута ниже Дюранды и могла бы освободиться.

Но сколько же времени понадобится для ее выхода на волю? Шесть часов.

Через шесть часов будет около полуночи. Как же в такой час уйти отсюда, каким фарватером проплыть среди всех подводных камней, непроходимых даже днем, и как глубокой ночью выбраться из засады рифов?

Поневоле приходилось ждать до утра. Из-за шести потерянных часов он терял по меньшей мере двенадцать.

Нечего было даже и думать о том, чтобы ускорить отплытие, заранее открыв вход в теснину рифа. Заграждение могло понадобиться во время следующего прилива.

Жильяту пришлось отдыхать.

Сидеть сложа руки — вот чего он еще ни разу не делал с тех пор, как попал на Дуврский риф.

Вынужденный отдых раздражал и почти возмущал его, как будто в том была его вина. Он говорил себе: «Что подумала бы обо мне Дерюшетта, если бы увидела, как я тут бездельничаю?»

Но передышка, пожалуй, была небесполезна.

Теперь Жильят мог воспользоваться лодкой и решил в ней переночевать.

Он отправился на Большой Дувр за овчиной, спустился оттуда, поужинал несколькими моллюсками и двумя-тремя морскими каштанами, жадно допил остаток пресной воды из почти пустого жбана, закутался в овечью шкуру, которая приятно согревала его, лег, как сторожевой пес, у самой машины и, надвинув шапку на глаза, заснул.

Спал он крепко. Так спится, когда все дела сделаны.

X. Море предупреждает

Среди ночи Жильят внезапно проснулся, словно от толчка развернувшейся пружины.

Он открыл глаза.

Дувры над его головой были освещены: на них как будто упало отражение яркого пламени. Вся черная стена рифа была словно в отблеске огня.

Где был источник этого огня?

В воде.

На море творилось что-то необычайное.

Казалось, вода была охвачена пожаром. Всюду,

куда только ни падал взгляд, море внутри и вокруг рифа пылало. То не было красное пламя: оно нисколько не походило на жаркое полыханье кратера и горнила. Ни потрескивания, ни тепла, ни багрянца, ни гула. Синеватые полосы на воде лежали складками савана. Широко разлившееся бледное сияние трепетало на водной поверхности. Но то был не пожар, а его призрак.

Словно бесцветное зарево нездешнего огня вспыхнуло в могильном склепе.

Вообразите воспламенившуюся тьму.

Ночь, расплывчато-мутная, беспредельная ночь, казалось, была топливом для этого холодного огня. Таким мог представляться свет лишь слепцу. Мрак был неотделимой частью фантастического освещения.

Морякам Ла-Манша известна эта неописуемая фосфоресценция моря, служащая предупреждением мореплавателям. Изумительнее всего она недалеко от Изиньи, у Большого В.

При таком свете предметы теряют реальность. Под призрачными его лучами все становится каким-то прозрачным. От скал остаются лишь очертания. Якорные канаты кажутся раскаленными добела железными полосами. Рыбачьи сети под водой — словно огненная вязь. Половина

весла — из черного дерева, другая же, что под водой, — из серебра. Капли, срываясь с весла в волну, осыпают море звездами. За лодкой тянется сверкающий след. Мокрая одежда на матросах светится, точно объятая пламенем. Опустишь руку в воду и вынимаешь ее в огненной перчатке; пламя это мертво, его и не чувствуешь. Вся рука по плечо будто горящая головня. Видишь, как под волной в пылающем потоке катятся какие-то морские твари. Пена искрится. Огненными языками, змеящимися молниями мелькают в бесцветной глубине рыбы.

Этот свет проник сквозь закрытые веки Жильята. Он-то и разбудил его.

Пробуждение было своевременным.

Отлив кончился; вновь поднимался прилив. Пока Жильят спал, труба машины освободилась, а теперь ее опять готовилась схватить зияющая пасть висевшего на ней судна.

Труба медленно возвращалась на старое место.

Ей достаточно было подняться на один фут, и она оказалась бы в чреве Дюранды.

Подъем на один фут для прилива — дело получаса. Труба, хоть над ней и нависла угроза, была пока еще на свободе; чтобы воспользоваться этим, в распоряжении Жильята оставалось всего

полчаса.

Он сразу вскочил.

Медлить было нельзя, но все же он простоял несколько минут в раздумье, смотря на фосфоресцирующую воду.

Жильят знал море до тонкости. Как бы оно на него ни сердилось и как бы иной раз плохо с ним ни обращалось. они издавна были сотоварищами. То таинственное, что зовется океаном, не могло замыслить ничего такого, чего не разгадал бы Жильят. Наблюдательность, мечтательность и одиночество сделали его ясновидцем погоды — тем, что по-английски называется *weather wise.*

Жильят подбежал к брам-гордень-блокам и потравил канат; затем схватил багор и, упираясь им в скалы, подтолкнул ботик, который больше не удерживался фертоинг, на несколько саженей дальше от Дюранды, к выходу из теснины, поближе к заграждению. Места для маневра было вволю, как говорят гернсейские матросы. Не прошло и десяти минут, как лодка уже была выведена из-под остова парохода. Нечего было бояться, что труба снова попадет в западню. Пусть теперь поднимается прилив.

Однако Жильят как будто и не думал собираться в путь.

Пристально вглядевшись в фосфоресцирующее море, он поднял якоря, но не для того, чтобы сняться с места, а чтобы снова поставить лодку фертоинг, и поставить очень прочно, — правда, возле самого выхода.

До сих пор он пользовался только двумя якорями ботика и не прибегал еще к маленькому якорю с Дюранды, найденному им, как известно, среди подводных камней. Пароходный якорь лежал наготове в лодке, вместе с целым запасом тросов, такель-блоков и с якорным канатом, прихваченным легко рвущимися стопорами, которые не дают якорю ползти. Жильят бросил и этот третий якорь, тщательно подвязав канат к тросу, один конец которого был взят за рым якоря, а другой соединялся с брашпилем ботика. Таким образом он поставил лодку на три якоря — в положение более надежное, чем на двух якорях фертоинг. Все это говорило о том, что Жильят весьма озабочен и что он удвоил предосторожности. Моряк угадал бы в этих действиях нечто подобное постановке на якоря на время непогоды, когда можно опасаться течения с подветренной стороны.

Фосфоресценция, за которой Жильят внимательно наблюдал, быть может, грозила бедой, но в то же время оказывала услугу. Не будь ее, он

все еще оставался бы пленником сна и жертвой ночи. Она разбудила его и светила ему.

Она озаряла риф тусклым светом. Но это освещение, вызвавшее такое беспокойство у Жильята, сослужило ему службу, обнаружив опасность и сделав возможным маневр судна. Теперь он мог поставить паруса, когда вздумается: лодка с машиной на борту была свободна.

Но Жильят, казалось, забыл о возвращении на Гернсей. Поставив ботик на три якоря, он принес из своего склада самую крепкую цепь, какая только у него была, и, прикрепив ее к гвоздям, вколоченным в оба Дувра, укрепил ею с внутренней стороны заслон из бортовой обшивки и брусьев, уже защищенный снаружи другой цепью, натянутой крестообразно. Он и не собирался открывать выход из ущелья, наоборот, — запер его крепко-накрепко.

Фосфоресцирующее море все еще светило ему, но слабее. Правда, уже занималось утро.

Вдруг Жильят насторожился.

XI. Имеющий уши да слышит

Ему послышались какие-то слабые, неясные звуки, долетавшие из бесконечных далей.

Морская пучина порою глухо рычит.

Он снова прислушался. Отдаленные раскаты возобновились. Жильят покачал головой, как человек, понимающий, в чем тут дело.

Через несколько минут он уже был на другом, восточном конце пролива, еще не загражденном, и мощными ударами молота вколачивал огромные гвозди в гранитные устои ворот ущелья, примыкавшие к утесу «Человек», как он это сделал между Дуврами.

Гнезда для гвоздей были подготовлены заранее: в расщелинах скал прочно сидели деревянные клинья, почти все из сердцевины дуба. С этой стороны риф выветрился и был усеян множеством трещин, поэтому Жильяту удалось вогнать туда еще больше гвоздей, чем в подножие обоих Дувров.

Фосфорическое свечение вдруг померкло, будто его задули сверху; на смену ему пришел предрассветный сумрак, светлевший с каждой минутой, с каждой секундой.

Вбив гвозди, Жильят притащил балки, затем веревки, затем цепи и, не поднимая глаз, ни на миг не отвлекаясь, стал укладывать балки горизонтально, перевязывая их канатом; он воздвиг поперек узкого входа сквозную плотину,

подобную тем волнорезам, которые признаны современной наукой.

Кому случалось видеть, например, в Рокене на Гернгее или в Бурдо во Франции, чего можно добиться при помощи свай, вбитых в скалы, тот поймет, насколько мощны эти простейшие приспособления. Сквозной волнорез представляет собою сочетание того, что во Франции именуется «струенаправляющей дамбой», с тем, что в Англии именуется просто «дамбой». Такие волнорезы как будто служат рогатками против бури. Когда борешься с морем, надо пользоваться тем, что сила эта может дробиться.

Тем временем взошло солнце, погода стояла ясная. Небо было чисто, море спокойно.

Жильят торопился. Он тоже был спокоен, но его поспешность говорила о внутренней тревоге.

Делая огромные прыжки, он перескакивал со скалы на скалу, от своей запруды к складу и от склада к запруде. Не переводя дух, тащил то футокс, то карленгс. Вот когда пригодились запасенные им корабельные обломки. Было ясно, что надвигались события, вероятность которых он предвидел.

Крепкий железный брус служил ему рычагом для переворачивания балок.

Работа шла так быстро, словно сооружение не созидалось, а росло само собой. Кто не видел, как на войне работает понтонер, тому не представить себе этой быстроты.

Восточный вход в теснину был у́же, чем западный, — его ширина равнялась всего лишь пяти или шести футам. Это облегчало задачу Жильята. Пространство, которое предстояло укрепить и заградить, оказалось невелико, поэтому само сооружение могло быть и менее сложным и более прочным. Достаточно было уложить балку горизонтально не вбивая вертикальных свай.

Укрепив первые перекладины волнореза, Жильят взобрался на них и прислушался.

Гул становился все отчетливее.

Жильят продолжал работу. Он подпер свое сооружение обоими крамболами Дюранды, которые присоединил к укреплению из балок при помощи фалов, пропущенных в три шкива блоков. Все это он связал цепями.

Сооружение походило на исполинский плетень с балками вместо перекладин и цепями вместо ивовых прутьев.

Казалось, запруда сплетена, а не выстроена.

Жильят увеличил число креплений и добавил гвоздей, где было нужно.

На разбитом судне нашлось много круглого железного лома, и Жильят сделал изрядный запас гвоздей.

Между делом он грыз сухари. Его мучила жажда, но пить было нечего, пресной воды не осталось. Накануне, за ужином, он допил всю воду из жбана.

Добавив к запруде еще четыре-пять балок, он снова взобрался на нее и стал прислушиваться.

Гул вдали прекратился. Все стихло.

Безмятежно и величаво расстилалось море; оно вполне заслуживало хвалебных сравнений, которыми награждают его благодушествующие обыватели; «точно зеркало», «спокойное, как озеро», «гладкое, будто маслом покрытое», «ласковое, как дитя», «кроткое, как ягненок». Синяя глубь неба гармонировала с зеленой глубью океана. Сапфир и изумруд могли любоваться друг другом. Они были безупречны. Ни облачка вверху, ни клочка пены внизу. Над всем этим великолепием торжественно всходило апрельское солнце. Лучшей погоды нельзя было и представить себе.

Далеко на горизонте протянулась в небе длинная черная нить; то были перелетные птицы. Они летели стремительно, направляясь к суше; их полет напоминал бегство.

Жильят снова принялся надстраивать волнорез.

Он поднял его высоко, как только мог и насколько позволяли это неровные стены утесов.

К полудню солнце, казалось, стало припекать сильнее, чем обычно. Полдень — решающее время дня. Жильят, стоя на крепкой решетчатой плотине, которую только что закончил, всматривался в даль.

Море было не просто спокойно: оно застыло. Не виднелось ни одного паруса. Небо по-прежнему было ясным, только из синего стало бледно-голубым, почти белым. Странной казалась эта белизна. На западе, над самым горизонтом, темнело пятнышко, не предвещавшее ничего хорошего. Пятно это не двигалось, но росло, оставаясь на месте. У подводных камней вода покрылась легкой рябью.

Жильят хорошо сделал, что построил волнорез.

Приближалась буря.

Бездна решила дать сражение.

Книга третья
Битва
I. Крайности соприкасаются, противоположности сходятся

Нет ничего опаснее запоздалых бурь поры равноденствия.

На океане наблюдается ужасное явление, которое можно назвать налетом ветров с открытого моря.

В любое время года, особенно при новолунии и полнолунии, в тот миг, когда этого совсем не ждешь, какое-то странное спокойствие внезапно овладевает океаном. Непостижимое, непрерывное движение стихает: море дремлет; оно чувствует истому; оно как будто решило передохнуть: можно подумать, что оно устало. Все судовые тряпицы, от рыбачьего флажка до военно-морских флагов, свисают вдоль мачт. Спят адмиральские, королевские, императорские флаги.

Вдруг все эти лоскуты начинают тихонько шевелиться.

Тут-то и надо примечать: если облачно, — нет

ли перистых облаков; если солнце садится, — не багрян ли закат; если наступила ночь и взошла луна, — нет ли вокруг нее светового кольца.

В такую минуту капитан судна или начальник эскадры, если ему удалось раздобыть стеклянный буремер, изобретатель которого неизвестен, рассматривает этот сосудик в микроскоп, и, увидев, что жидкость в нем похожа на растаявший сахар, принимает предосторожности против южного ветра, а если она распалась кристалликами, напоминая заросли папоротника или еловые ветки, спешит защититься от северного ветра. В такую минуту, сверившись с таинственными солнечными часами, высеченными римлянами или духами на одном из загадочных, столбом стоящих камней, называемых в Бретани менгирами, а в Ирландии круахами, бедный бретонский или ирландский рыбак спешит вытащить свое суденышко на берег.

А небо и море по-прежнему безмятежны. Утро наступает лучезарное, заря улыбается; это преисполняло священным ужасом поэтов и прорицателей древности, не дерзавших допустить мысль о лицемерии солнца. *Solem quis dicere*

falsum audeat?[31]

Мрачный призрак скрытой вероятности заслонен от человека роковой непроницаемостью природы. И всего опасней, всего вероломней личина, под которой скрывается бездна.

Говорят: притаилась, словно змея под камнем; следовало бы говорить: притаилась, словно буря под ясным небом.

Случается, что так протекает несколько часов, даже дней. Кормчие наводят подзорную трубу то туда, то сюда. Бывалые моряки хмурятся, сдерживая гнев ожидания.

Внезапно раздается снльный, но неясный шум. Какой-то загадочный рокот голосов слышится в воздухе.

Разглядеть ничего невозможно.

Бесстрастна морская ширь.

А шум все нарастает, ширится, приближается. Голоса становятся выразительнее.

За горизонтом кто-то есть.

Кто-то страшный. Ветер.

Ветер — то есть племя титанов, которых мы называем вихрями.

Это несметные исчадия тьмы.

---

[31] Примечания: 31

Кто дерзнет сказать, что солнце лживо? *(лат.)*

В Индии их называли марутами; в Иудее — керубимами; в Греции — аквилонами. То невидимые хищные птицы беспредельности. Слетающиеся к добыче бореи.

II. Ветры с открытого моря

Откуда они? Из неизмеримых просторов. Для их распростертых крыльев нужен диаметр бездны. Полет их требует бесконечно отступающих пределов пустыни. Атлантический океан, Тихий океан — необъятные голубые провалы в бесконечность — вот что им нравится. Они застилают небо тьмою. Они летают полчищами. Капитан Паж видел однажды, во время прилива, семь смерчей сразу. В море раздолье их свирепому нраву. Они замышляют бедствия. Работа их — тщетно и вечно вздувать волну. На что они способны — неизвестно, чего хотят — непонятно. Они сфинксы бездны, и Васко да Гама у них был Эдипом. Во мгле безграничного, вечно волнующегося пространства возникают их лики — тучи. Тот, кто заметит их синеватые очертания на морском горизонте, в рассеянном свете, чувствует присутствие беспощадной силы. Их словно беспокоит человеческий разум, и они

озлоблены против него. Разум непобедим, но и стихия неодолима. Что делать с ускользающей вездесущностью? Дуновение ветра — то палица, то вновь дуновение. Вихри сражаются, сокрушая, и защищаются, исчезая. Кто их встретит, не знает, как выпутаться из беды. Разнообразные приемы атаки, бесконечные отступления приводят в замешательство. Это и штурм и бегство, натиск и неуловимость. Как же с ними справиться? Нос корабля аргонавтов, выточенный из додонского дуба, — нос и в то же время кормчий, — увещевал их. Они грубо обошлись с этим божественным кормчим. Христофор Колумб, видя, что ветры готовы ринуться на «Пинту», поднимался на палубу и обращался к ним с первыми стихами Евангелия от Иоанна. Сюркуф осыпал их бранью. «Вся шайка тут!» — говорил он. Непир стрелял по ним из пушек. Они повелевают хаосом.

Они владыки хаоса. Что они делают с ним? Все что хотят. Логово ветров ужаснее львиного логова. Сколько трупов в бездонной глубине! Ветры безжалостно гонят темную громаду горько-соленых вод. Они ничего не слышат, их же всегда слышно. То, что они учиняют, похоже на преступление. Кто знает, кого они забрасывают белыми клочьями пены? Сколько кощунствен-

ной жестокости в кораблекрушениях! Какое надругательство над провидением. Порой кажется, что они оплевывают самого Бога. Они деспоты мест, не исследованных человеком. *Luoghi spaventosi*[32] — шептали венецианские мореходы.

Трепещущие пространства терпят их самоуправство. Что-то неописуемое творится в этих беспредельных пустынях. В темноте мерещатся всадники. В воздухе стоит шум, как в лесу. Ничего не видно, но слышится топот конницы. Полдень, и вдруг наступает ночь — это проносится торнадо; полночь, и вдруг наступает день — это вспыхивает северное сияние. Вихри мчатся за вихрями, вперед, назад, какая-то страшная пляска, словно стихии хлопают бичами. Набухшая туча раскалывается пополам, обломки падают в море. Тучи, пламенеющие пурпуром, светят, громыхают, потом зловеще меркнут; выпустив летучую молнию, они чернеют потухшим углем. Эти мешки с ливнями, прорываясь, сочатся влажным туманом. Здесь раскаленное горнило, брызжущее дождем; здесь волны, мечущие пламя. В белых отсветах моря под ливнем встают

---

[32] Примечания: 32
Ужасные места *(итал.).*

удивительные дали; там, в туманах, непрестанно меняя очертания, реют фантастические образы. Тучи изрыты чудовищными ямами. Кружатся клубы испарений, приплясывают волны, на них качаются опьяненные наяды; всюду, где только видит глаз, колышется мягкая, грузная морская толща; на всем свинцовый оттенок; вопли отчаяния вырываются из серой мглы.

В недосягаемых глубинах этой мглы дрожат огромные снопы мрака. Иногда на стихию находит пароксизм безумия. Шум превращается в грохот, волна встает стеной. До самого горизонта — смутное нагромождение валов, бесконечное колебание, беспрерывный гулкий рокот; временами раздается какой-то странный треск; можно подумать, что расчихались гидры. Тянет то холодом, то зноем. Дрожь, сотрясающая море, выдает его страх перед тем, что может случиться. Тревога. Смертельная тоска. Беспредельный ужас волн. И вдруг ураган хищным зверем на водопое припадает к океану, присасывается к нему; происходит нечто невероятное: вода устремляется в невидимую пасть, словно в кровососную банку, вздувается опухоль. Это смерч — Престер у древних: сталактит вверху, сталагмит внизу, двойной — вниз и вверх основаниями — крутящийся ко-

нус, острие стоит на острие, не теряя равновесия; поцелуй двух гор — горы взлетающей пены и горы спускающегося облака; жуткое совокупление волны и мрака. Смерч, как библейский столп, черен днем и светится в ночи. Перед смерчем смолкает гром, точно боится его.

В необъятном волнении водной пустыни — восходящая грозная гамма: шквал, вихрь, гроза, шторм, буря, ураган, смерч — семь струн лиры ветров, семь нот бездны. Небо — ширь, море — округлость; но пронесется дыхание ветра, и все пропадает, лишь беснуется вокруг хаос.

Таковы эти суровые места.

Ветры бегут, летят, спадают, затихают и вновь оживают, несутся, свистят, завывают, хохочут; неистовым, разнузданным, буйным ветрам привольно над сердитыми волнами. Дикие голоса спелись. Им гулко вторит небо. Ветры дуют в тучу, словно в медный рог, они трубят в трубу пространства, поют в бесконечности слитыми воедино голосами кларнетов, фанфар, тромбонов, горнов, валторн, словно исполинский духовой оркестр. Кто их слышит, внемлет Пану. Страшнее всего то, что для них это игра. Мрачно их безудержное веселье. В пустынных просторах они устраивают облавы на одинокие корабли. Без

передышки, днем и ночью, во всякое время года, у тропиков, у полюсов, бешено трубя в охотничий рог, в сумбуре туч и волн они затевают свою чудовищную истребительную охоту за судами. У них своры гончих. Они забавляются. Они велят волнам, своим псам, лаять на скалы. Они то собирают, то рассеивают тучи. Они месят, будто миллионами рук, необъятные податливые воды.

Вода податлива потому, что ее нельзя сжать. Она ускользает при давлении. Когда ее сдавливают с одной стороны, она бросается в другую. Так вода превращается в волну. Волна — воплощение ее свободы.

III. Объяснения шума, к которому прислушивался Жильят

Ветры совершают набеги на землю в период равноденствия. В это время чаша весов тропика и полюса колеблется, и на необъятном воздушном океане начинается прилив над одним полушарием и отлив — над другим. Есть и созвездия, знаменующие эти явления: Весы и Водолей.

То пора бурь.

Море ждет и хранит молчание.

Иногда у неба насупленный вид. Оно тускнеет

и задергивается непроницаемой завесой. Моряки с тревогой поглядывают на эту хмурую мглу.

Но еще больше страшит его благодушие. Лучезарное небо в период равноденствия — гроза, спрятавшая когти. В такие вот дни и вглядывались в горизонт женщины Амстердама, собравшись на Башне плакальщиц.

Если вешние и осенние бури запаздывают, значит, они собирают силы. Они копят богатства, чтобы потратить их на разрушение. Остерегайтесь недоимок моря. Анго говорил: «Море — исправный плательщик».

Когда ожидание слишком продолжительно, море выдает свое нетерпение всё возрастающим спокойствием. Но магнетическое напряжение проявляет себя в том, что можно было бы назвать воспламенением воды. Из волн бьет свет. Воздух насыщен электричеством, вода фосфоресцирует. Матросы чувствуют безмерную усталость. Минуты эти особенно опасны для броненосцев: их металлический корпус может вызвать ложные указания компаса, а это гибель. Так погиб трансатлантический пароход «Айова».

Даже людям бывалым море в такие мгновения кажется странным; можно сказать, что оно боится и в то же время жаждет циклона. Иные браки,

несмотря на властный зов природы, совершаются именно так. Львица в период течки бежит от льва. Море тоже объято любовным пылом. Поэтому оно и трепещет.

Готовится чудовищная свадьба.

Свадьба эта, подобно бракосочетаниям древних императоров, ознаменовывается казнями: зрелище бедствий — приправа к пиршеству.

Меж тем оттуда, с открытого моря, из недоступных далей, от свинцового горизонта водных пустынь, из недр беспредельного простора, несутся ветры.

Будьте на страже: равноденствие вступает в свои права.

Буря — это заговор. Древняя мифология угадывала неясные образы, слитые с великой всеобъемлющей природой. Эол сговаривается с Бореем. Стихия должна быть в согласии со стихией. Они распределяют между собою обязанности. Надо побуждать к действию волну, тучу, течение; ночь — их пособница, надо привлечь ее. Нужно сбивать стрелки компасов, гасить сигнальные огни, затемнять маяки, прятать звезды. Море должно участвовать в этом заговоре. Всякой буре предшествует шепот. За горизонтом ураганы вполголоса ведут предварительные переговоры.

Вот что слышится вдали, во тьме, над примолкшим от ужаса морем.

Такое жуткое перешептывание и услышал Жильят. Фосфоресценция была первым предостережением; вторым — этот шепот.

Если существует демон, имя которому Легион, то это, наверное, и есть ветер.

Ветер многообразен, а воздух един.

Отсюда следует, что всякая буря — смешение. Этого требует единство воздуха.

Бездна вовлекается в бурю. Океан содействует шквалу. Все его силы занимают место в строю и принимают участие в битве. Волна — это бездна, устремленная вверх. Ветер — это бездна, устремленная вниз. Иметь дело со штормом — значит иметь дело с небом и с морем.

Мессье, знаток морского дела, вдумчивый астроном в келье Клюни, говаривал: «Ветер отовсюду — повсюду». Он не признавал местных ветров даже в закрытых морях. Никаких средиземноморских ветров для него не существовало. Он уверял, что распознает ветер на лету. Он утверждал, что в такой-то день, в такой-то час фен с Констанцского озера, древний фавошш Лукреция, промчался и над Парижем; в такой-то день — бора с Адриатики; как-то раз проскочил круговой нотус, хоть и

считается, что он замкнут в кольце Цикладских островов. Мессье определял характер воздушных течений. Он не соглашался с тем, что вихревой ветер, который кружится между Мальтой и Тунисом, и вихревой ветер, который кружится между Корсикой и Балеарскими островами, не могут вырваться оттуда. Он не допускал, что есть ветры, подобные медведям, запертым в клетках. Он говорил: «Всякий дождь — от тропиков, а всякая молния — от полюсов». Ветер действительно насыщается электричеством в точках пересечения колуриев, отмечающих концы земной оси, и испарениями экваториальных вод; он приносит нам от равноденственной линии влагу, а от полюсов — электрическое напряжение.

Ветер — это вездесущность.

Однако отсюда не следует, что нет поясов ветра. Наличие постоянных течений доказано неопровержимо, и со временем воздухоплавание и воздушные корабли, которые мы из пристрастия к греческому языку называем аэроскафами, воспользуются главными путями ветра. Он прокладывает в воздухе каналы — эго не подлежит сомнению; существуют ветровые реки, ветровые потоки, ветровые ручьи; только русла воздушных рек разветвляются иначе, чем русла наземных;

здесь все наоборот; ручейки текут из речушек, речушки из рек, а не впадают в них, вот откуда вместо соединения рассеивание.

Это рассеивание и создает сплоченность ветров и единство атмосферы. Перемещенная молекула перемещает другую. Движение ветров происходит одновременно. К этим основным причинам их единства прибавьте рельеф земного шара, который, прорывая горными вершинами атмосферу, образует воздушные водовороты и вихри на пути ветров и вызывает встречные потоки. Область их распространения безгранична.

Ветер — колебание океана над океаном; нависший над водным океаном воздушный океан опирается на эту ускользающую массу и покачивается на этих качелях.

Неделимое не перегородить. Волну от волны не отделить стеною. На острова Ла-Манша накатывает вал с мыса Доброй Надежды. Всемирное мореплавание дает отпор одному-единственному чудовищу. Всякое море — та же гидра. Волны на нем — точно рыбья чешуя. Океан — это Кэто.

И на это единство обрушивается то, чему нет числа.

IV. Turba, turrna[33]

Для компаса существует тридцать два ветра, то есть тридцать два направления, но эти направления могут дробиться до бесконечности. Ветер, классифицируемый по направлениям, — несметность, а по родам — бесконечность.

Сам Гомер отказался бы их перечислить.

Полярное течение сталкивается с тропическим. Холод соединяется со зноем, толчок служит началом равновесия, и возникает ветровая волна: она вздувается, мечется, дробится, растекаясь в разные стороны бушующими потоками. Ветры, рассеиваясь по четырем странам света, с неистовой силой сотрясают воздух.

Тут все румбы: ветер с Гольфстрима, затягивающий туманами Ньюфаундленд; ветер из Перу — страны немого неба, где человек никогда не слыхивал грома; ветер из Новой Шотландии, где обитает Великий Пингвин, *Alca impennis*, с полосатым клювом; вихри с Ферро в морях Китая; ветер с Мозамбика, не щадящий челноков и джонок; ветер из Японии, насыщенный элек-

---

[33] Примечания: 33
Толпа, конница *(лат.)*.

тричеством, — о нем возвещают гонгом; ветер из Африки, гнездящийся меж горою Столовой и горою Дьявола, — он налетает оттуда, точно сорвавшись с цепи; экваториальный ветер, дующий поверх ветров пассатных и описывающий параболу, вершина которой всегда на западе; плутонический ветер, страшное, палящее дыхание, вырывающееся из кратеров; удивительный ветер, свойственный вулкану Ава, всегда порождающий на севере зеленовато-желтое облако; муссон с Явы, против которого возведены целые крепости, называемые «тюрьмами ураганов»; северный ветер с ответвлениями — англичане его называют *bush*, «кустарником»; внезапные дугообразные шквалы с Малаккского пролива, которые наблюдал Горсбург; юго-западный мощный ветер, что зовется памперо в Чили и ребохо — в Буэнос-Айресе, уносящий кондора в открытое море и тем спасающий его от дикаря, который подстерегает его, лежа на спине в яме под только что содранной бычьей шкурой и натягивая ногами большой лук; химический ветер, который, по мнению Лемери, образует в тучах громовые стрелы, гарматан кафров; полярная пурга, впряженная в торосы и движущая вечные льды; ветер с Бенгальского залива, долетающий

до Нижнего Новгорода и разрушающий деревянные ярмарочные балаганы, поставленные треугольником; ветер Кордильеров, — он вздымает огромные волны и клонит к земле верхушки деревьев-великанов; ветер с австралийских архипелагов, где добытчики меда разоряют ульи диких пчел, скрытые под листвою гигантских эвкалиптов; сирокко, мистраль, урикан, суховеи, ветры наводнения, дождевые, знойные; ветры, что забрасывают генуэзские улицы пылью бразильских равнин; ветры, что подчиняются суточному вращению земного шара вокруг его оси; ветры, что ему противятся, — они-то и заставили Эррера сказать: *Mai vienlo torna contra el sol*[34]*;* ветры, что мчатся парами в едином разрушительном порыве, — один переделывает то, что делает другой, и древние ветры, настигшие Христофора Колумба у берегов Верагуа, и те, что целых сорок дней, с 21 октября по 29 ноября 1520 года, угрожали жизни Магеллана, подходившего к Тихому океану, и те, что дули против Армады Филиппа II и сбили мачты на ее кораблях. И тьма других — всех не перечесть. Ветры, что несут жаб и саранчу и гонят их целыми тучами над

---

[34] Примечания: 34
Злой ветер дует против солнца *(исп.).*

океаном; и те, что действуют, как говорится, «наскоком», — их назначение топить суда, потерпевшие крушение; и те, что одним дуновением перемещают грузы на корабле, вынуждая его продолжать путь накренившись; ветры, образующие слоистые облака, и ветры, образующие облака кучевые; ленивые ветры-слепцы, отягченные дождем; ветры с градом; ветры, несущие миазмы лихорадки; и те, что, примчавшись, доводят до кипения грязевые и серные сопки Калабрии; и те, под которыми искрится шерсть африканских пантер, рыщущих в дебрях Железного мыса; и те, что несутся, стряхивая с туч грозную раздвоенную молнию, подобную жалу тригоноцефала; и те, что приносят с собою черные снега. Такова армия ветров.

Пока Жильят строил свой волнорез, Дуврский риф слышал отдаленный галоп этой конницы.

Мы только что сказали, что понятие «ветер» означает совокупность всех ветров.

Эта орда надвигалась.

С одной стороны — легион.

С другой — Жильят.

V. Жильят делает выбор

Темные силы удачно наметили минуту.

Случай, если он существует, ловок.

Пока ботик был заперт в бухте утеса «Человек», пока машина крепко сидела в разрушенной Дюранде, Жильят был непобедим. Ботик находился в безопасности, машина — под защитой; Дувры, державшие машину в плену, приговорили ее к медленному разрушению, но охраняли от всяких случайностей. Так или иначе Жильят вышел бы из затруднения. Гибнущая машина не грозила ему гибелью. Его бы спасла лодка.

Но выждать, чтоб лодку вывели с места стоянки, где она была неуязвима, разрешить ей проникнуть в Дуврское ущелье, набраться терпения, пока ее тоже не схватит риф, позволить Жильяту заняться спасением машины, спуском ее с Дюранды, не мешать сверхчеловеческой работе, благодаря которой машина оказалась в лодке, допустить удачу — вот где скрывалась западня. За всем этим вставал зловещий призрак бездны, полный мрачного коварства.

Теперь все — машина, лодка, Жильят — собрались в скалистом коридоре. Они составляли

одно целое. Разбить о риф лодку, пустить ко дну машину, утопить Жильята, — для этого нужен был один-единственный толчок, направленный в определенную точку. Со всем можно было покончить сразу, одновременно, не разбрасываясь; все могло быть снесено одним ударом.

Нельзя представить себе более опасного положения, чем то, в какое попал Жильят.

Казалось, тот самый сфинкс, что, по домыслам мечтателей, скрывается в недрах тьмы, поставил перед ним дилемму:

Оставайся или уезжай.

Уезжать было безрассудно, оставаться — страшно.

VI. Поединок

Жильят поднялся на Большой Дувр.

Его глазам открылось все море.

На западе творилось что-то невероятное. Там воздвигалась стена. Огромная облачная стена, из края в край преграждавшая пространство, медленно ползла от горизонта к зениту. Стена была прямая, отвесная, без единой трещины на всем протяжении, без единой зазубрины наверху, будто возведенная по наугольнику и выровнен-

ная по шнурку. Она была словно из гранита. На юге крутой обрыв тучи был совершенно перпендикулярен морю, а на севере гребень ее, чуть согнутый наподобие листа кровельного железа, переходил в длинный пологий склон. Стена тумана ширилась и росла, но карниз ее оставался параллельным линии горизонта, почти неразличимой в сумерках, наступивших так внезапно. Воздушная громада приближалась бесшумно. Ни изгиба, ни складки, ни выступа — ничто не меняло, ничто не волновало ее поверхность. В неподвижности наплывавшей тучи было что-то жуткое. Померкшее солнце освещало это апокалиптическое видение сквозь тлетворную дымку. Туча заволокла почти полнеба, она казалась откосом страшной бездны. Словно гора мрака выросла меж небом и землей.

Среди белого дня наступала ночь.

Воздух накалился, как от печи. Из этой таинственной толщи туч банным паром валил туман. Небо из синего стало белым, теперь из белого стало серым. Оно нависло огромной аспидной доской. А внизу, другой исполинской аспидной доской, лежало тусклое, свинцовое море. Ни дуновения, ни всплеска, ни шума. Куда ни взглянешь — пустынное море. Нигде ни паруса. Птицы

спрятались. Что-то предательское чувствовалось в самой бесконечности.

Незаметно нарастала и сгущалась тьма.

Движущаяся гора испарений, что приближалась к Дуврам, была одной из тех туч, которые можно назвать тучами-воительницами. Они полны вероломства. Сквозь темные скопища облаков чудились чьи-то косые взгляды.

Приближение этой громады наводило ужас.

Внимательно всмотревшись в тучу, Жильят пробормотал сквозь зубы: «Я хочу пить, и ты меня напоишь!»

Несколько мгновений он стоял неподвижно, не сводя глаз с тучи. Он как будто мерил взглядом бурю.

Потом он вытащил из кармана куртки свою шапку и надел на голову. Вынул из норы, которая так долго служила ему местом ночлега, свои пожитки, надел гетры и накинул на плечи непромокаемый плащ, как рыцарь, облекающийся в доспехи перед сражением. Напомним, что у него не было башмаков, но его босые ноги загрубели, ступая по скалам.

Закончив свое боевое снаряжение, он, взглянув на волнорез, поспешно схватил перетянутую узлами веревку, спустился с площадки Дувра и,

пробираясь по нижним уступам рифа, бросился к своему складу. Через несколько секунд он был уже за работой. Громадная безмолвная туча могла услышать удары его молота. Что же делал Жильят? Из оставшихся гвоздей, веревок и балок он воздвигал у восточного входа ущелья вторую решетчатую загородку, в десяти или двенадцати футах позади первой.

По-прежнему стояла глубокая тишина. В расщелинах скал не шевелилась ни одна былинка.

Вдруг солнце скрылось. Жильят поднял голову.

Надвигавшаяся туча заслонила солнце, оно как будто погасло, сменившись бледным и мутным отраженным светом.

Облачная стена стала иной. Она уже не была ровной. Она собралась в горизонтальные складки и, достигнув зенита, нависла над оставшейся полосой чистого неба. Теперь она шла этажами. Формация бури вырисовывалась в ней, как в геологическом разрезе. Там проступали пласты дождя и залежи града. Молнии не было, но всюду разливалось какое-то рассеянное ужасающее сияние, — представление об ужасе может быть связано с представлением о свете. Слышалось тяжелое дыхание грозы. Стояла трепетная тишина. Жильят, тоже притихший, смотрел, как

над его головой сходятся мглистые глыбы, как сгущаются клубы облаков. Над горизонтом висела, распростершись, пепельно-серая полоса тумана, а в зените — свинцовая; сизые лохмотья свешивались с облаков на завесу тумана. Фон этой картины — сама облачная стена — был тусклый, мутный, землистый, угрюмый, неописуемый. Узкое белесое облачко, явившееся неизвестно откуда, пересекло наискось, с севера на юг, высокую мрачную стену. Одним краем оно волочилось по морю. Там, где оно соприкасалось с мятущимися волнами, во тьме взвивался красный, огненный пар. Под длинным бесцветным облаком, совсем низко, сновали, сталкиваясь друг с другом, маленькие черные тучки, как будто не зная, куда им бежать. Громадная туча в глубине, разраставшаяся сразу во все стороны, усиливала мрак, продолжая свое зловещее наступление. На востоке, позади Жильята, оставался лишь один просвет ясного неба, который вот-вот должен был закрыться. Ветра не чувствовалось, но в воздухе вдруг словно пролетел размельченный, развеянный дымчатый пух, будто там, за стеной мрака, только что ощипали исполинскую птицу. Черный плотный свод навис над морем, соприкасаясь с ним на горизонте и сливаясь во мгле.

Что-то надвигалось, и это было ощутимо. Что-то огромное, тяжелое, злобное. Тьма сгущалась. Вдруг с невероятной силой грянул гром.

Тут и Жильята пробрала дрожь. Есть что-то фантастическое в громе. Эта грубая реальность, возникающая в призрачных краях, повергает в ужас. Как будто с грохотом упала мебель в жилище сказочных великанов.

Ни одна искра не сверкнула в небе при этом страшном ударе — то был как бы черный гром. Снова все затихло. Наступил перерыв, точно для выбора позиции. Потом медленно, одна за другой, вспыхнули страшные, бесформенные молнии. Немые молнии. Грома не было. При каждой вспышке все озарялось. Облачная стена теперь стала пещерой. В ней виднелись своды и арки. Там можно было различить чьи-то силуэты. Выступали какие-то чудовищные головы, вытянутые шеи, слоны с башнями на спинах; все это, промелькнув, исчезало.

Прямой, округлый и черный столб тумана, увенчанный шапкой белого пара, прикидывался дымящей трубой огромного затонувшего парохода, разводившего пары под водой. Колыхались облачные полотнища. Чудилось, это реют знамена. В самом зените, сквозь редеющую толщу

мглы, можно было различить недвижное ядро плотного тумана, непроницаемого для электрических искр, — отвратительный зародыш во чреве бури.

Жильят внезапно почувствовал, как порыв ветра взметнул его волосы. Несколько крупных капель дождя пауками расползлись вокруг него по скале. Затем раздался второй удар грома. Поднялся ветер.

Терпение тьмы лопнуло; первый удар грома всколыхнул море, второй удар раскроил облачную стену сверху донизу, образовалась пробоина, — оттуда хлынул ливень. Расщелина превратилась в раскрытую пасть, брызгавшую дождем и изрыгавшую бурю.

То была страшная минута.

Потом — ураган, вспышки молнии, залпы грома, вздыбленные до облаков волны, пена, треск, исступленные корчи, вопли, рычанье, пересвисты — все сразу. Сорвавшиеся с цепи чудовища.

Ветер грохотал и выл. Дождь не лился, он обрушивался.

Для несчастного, который очутился, подобно Жильяту, с нагруженной лодкой в ущелье меж скал среди открытого моря, более угрожающего мгновения быть не могло. Опасность прилива,

побежденного Жильятом, нельзя было сравнить с опасностью бури.

Жильят, вокруг которого разверзлась бездна, оказался в роковую минуту перед угрозой величайшего бедствия искусным стратегом. Он нашел опорную точку в расположении самого противника: он вступил в союз с Дуврским утесом, риф, его бывший враг, стал его секундантом в ужасном поединке. Жильят подчинил его себе. Гробницу Жильят превратил в крепость. Он создал бойницы в этом чудовищном морском лабиринте. Он был осажден, но за каменной стеной. Он как бы стал лицом к урагану, защитив рифом тыл. Он забаррикадировал теснину — улицу волн. Впрочем, это было единственное, что ему оставалось делать. Быть может, баррикады образумят океан, как и всякого деспота. Ботик был защищен с трех сторон. Стоя на трех якорях, словно стиснутый двумя внутренними стенами рифа, он с севера прикрывался Малым Дувром, а с юга — Большим, этими дикими громадами, привыкшими скорее устраивать кораблекрушения, нежели предотвращать их. На западе его охранял заслон из балок, принайтовленный и прибитый гвоздями к скалам; то было заграждение испытанное, победившее лютый натиск прилива, настоящие

крепостные ворота, боковыми столбами которых служили скалы — оба Дувра. Тут бояться было нечего. Опасность угрожала только с востока.

На востоке стоял лишь волнорез. Волнорез — это аппарат-распылитель. Его необходимо снабдить по крайней мере двумя решетками. Жильят успел построить только одну. Он возводил вторую в самый разгар грозы.

К счастью, дул северо-западный ветер. Порою море допускает оплошность. Этот ветер, древний норд-вест, не добился успеха, налетая на Дуврские скалы. Он штурмовал риф сбоку и не гнал волну ни к одному, ни к другому входу в ущелье; вместо того чтобы ворваться в эту океанскую улицу, он разбивался о гранитную стену. Буря повела атаку неправильно.

Но ветры постоянно меняют фронт, и следовало ожидать внезапного нападения. Если нападение начнется с востока до того, как будет достроена вторая решетка волнореза, грозная опасность неотвратима. Буря вторгнется в пролив между скалами, и тогда конец всему.

Ошеломляющий грохот нарастал. В бурю удар следует за ударом. В этом сила ее, но в этом и ее слабость. Она — воплощение бешенства, поэтому разум берет над ней верх, и человек защищает-

ся. Но как сокрушительна эта сила! Нет ничего беспощаднее. Ни отсрочки, ни перерыва, ни перемирия, ни передышки. В расточительности того, что неисчерпаемо, таится какая-то низость. Чувствуется, что здесь работают легкие самой бесконечности.

Словно весь необъятный бушующий простор ринулся на Дуврский риф. Раздавались бесчисленные голоса. Чьи это были вопли? В них слышался панический ужас древних времен. Порою казалось, что где-то переговариваются, как бы отдают приказание. И вдруг — гиканье, звуки охотничьих рожков, странный топот, раскатистый и величественный рев, называемый моряками «зовом океана». Бесконечные убегающие спирали ветра с диким свистом крутили воду, валы превращались в вертящиеся колеса, и их, точно гигантские диски, метали в скалы невидимые атлеты. Огромные гривы пены повисли на утесах. Сверху — потоки ливня, внизу — плевки моря. Затем рычанье усилилось. Ни шум толпы, ни звериный вой не могут дать представления о том смешанном грохоте, которым сопровождаются перемещения боевых сил океана. Туча палила из пушек, град осыпал картечью, валы шли на приступ. В иных местах все было недви-

жимо; в других ветер проносился со скоростью двадцати сажен в секунду. Куда ни падал взгляд, всюду море было белым; на десять миль вокруг бушевали взмыленные воды. Огненные ворота распахнулись. Тут и там облака, словно поджигая друг друга, клубились дымом над грудами багровых туч, похожих на раскаленные угли. Какие-то летающие фигуры сталкивались в небе и сливались, изменяя очертания. Неисчислимыми ручьями струилась вода. В небесах гремели залпы целых взводов. Посреди темного купола будто опрокинулась громадная корзина, и из нее вперемежку сыпались смерч, град, багровые огни, голубые искры, тьма, свет, молнии. Вот чем грозит влечение бездны к бездне!

Жильят, казалось, ни на что не обращал внимания. Он склонился над работой. Вырастало второе решетчатое заграждение. На каждый удар грома он отвечал ударом молота. Среди хаоса явственно различались эти мерные звуки. Голова Жильята была непокрыта: шквал унес его шапку.

Ему хотелось пить. Вероятно, у него был жар. Вокруг него в углублении скал разлились дождевые лужи. Время от времени он черпал горстью воду и пил. Затем, даже не взглянув на то, что творит буря, снова принимался за работу.

Минута могла решить все. Жильят знал, что его ждет, если он не успеет достроить волнорез. Стоит ли терять время, чтобы заглянуть в лицо приближающейся смерти?

Море бурлило вокруг него, как кипящий котел. Раздавался треск и гул. Порою молния сбегала вниз, точно по лестнице. Электрические разряды не утихали на остроконечных выступах скалы, видимо богатой прожилками диорита. Падали градины величиною с кулак. Жильяту приходилось встряхивать складки куртки. Даже в карманы набился град.

Шторм теперь налетал с запада, он ударял в плотину между Дуврами; но Жильят доверял плотине и был прав. Сделанная из большого куска носовой части борта Дюранды, она мягко отбрасывала удары волн; упругость — это противодействие; вычисления Стивенсона устанавливают, что против волны, которая сама по себе эластична, деревянное сооружение нужных размеров, сделанное на пазах и определенным способом укрепленное цепями, является препятствием более стойким, чем каменный волнорез. Дуврская плотина удовлетворяла этим требованиям; вдобавок она была так удачно поставлена, что волна, ударяя в нее, как молот, забивающий

гвоздь, еще плотнее и прочнее вгоняла ее в скалы; пришлось бы опрокинуть Дувры, чтобы ее разрушить. Действительно, шторму только и удалось, что оплевать пеной ботик поверх заграждения. С этой стороны, натыкаясь на плотину, буря разрешалась одними плевками. Жильят не обращал внимания на ее неистовство. Его ничуть не тревожила бессильная ярость врага, нападавшего с тыла.

Хлопья пены, летевшие отовсюду, напоминали клочья шерсти. Необозримые бушующие воды затопляли скалы, взбирались на них, проникали внутрь, просачивались сквозь сеть трещин в гранитных глыбах и выходили наружу через узкие щели, похожие на полуоткрытые рты, откуда, не иссякая, мирно били небольшие фонтаны. Серебристые струйки грациозно сбегали из этих отверстий в море.

Вспомогательная решетка восточного заграждения была почти готова. Осталось связать лишь несколько веревок и цепей, приближалась минута, когда и этот заслон в свою очередь вступит в борьбу.

Вдруг прояснилось, дождь прекратился, тучи раздвинулись, ветер переменился, в зените распахнулось что-то вроде большого мутного окна,

и молнии померкли; можно было подумать, что наступил конец. Но то было начало.

Юго-западный ветер сменился северо-восточным.

Гроза вместе с новым полчищем ураганов собиралась возобновить бой. Свирепый северный ветер готовился к атаке. На языке мореходов такое опасное возобновление бури называется «контршквалом». Южный ветер несет больше дождей, северный — больше молний.

Теперь наступление велось с востока и было направлено против уязвимого места.

На этот раз Жильят отвлекся от работы и стал наблюдать.

Он взобрался на выступ скалы, нависший над второй, почти оконченной загородкой. Если бы снесло первую решетку волнореза, то она вышибла бы вторую, пока еще не укрепленную, и обломки раздавили бы Жильята. Жильят был бы убит на месте, там, где стоял, и не увидел бы, как машина, лодка и весь его труд гибнут в бездонной пропасти моря. Такая развязка была вероятна. Жильят, полный непоколебимой решимости, мирился с нею, даже искал ее.

В этом крушении всех его надежд ему оставалось лишь одно — умереть, умереть первым,

потому что машину он считал живым существом. Он отвел левой рукой от глаз волосы, слипшиеся под дождем, стиснул свой верный молот, откинув голову, и, приняв угрожающую позу, стал ждать.

Долго ждать не пришлось.

Сигналом был раскат грома. Бледный просвет в зените закрылся, хлынул ливень, снова все заволокло тьмою, пламенел только один факел — молния. Начиналось зловещее наступление.

На востоке, за скалой «Человек», в непрерывных вспышках молний, поднялась исполинская волна. Она походила на огромный стеклянный свиток. Беспенная серо-зеленая громада перегораживала море. Она подбиралась к волнорезу. Приближаясь, она вздувалась; то был широкий вал мрака, катившийся по океану. Глухо рокотал гром.

Волна достигла скалы «Человек», раскололась надвое и устремилась дальше. Оба ее звена, снова соединившись, поднялись водяною горой, надвигаясь не параллельно, как раньше, а перпендикулярно волнорезу. То был вал, принявший форму бревна.

Этот таран ударил в волнорез. Удар сопровождался оглушительным ревом. Все исчезло в пене.

Тот, кто не видел снегоподобных лавин, кото-

рые бросает море, лавин, погребающих огромные скалы более ста футов вышиной, как, например, Большой Андерло на Гернсее и Щипец на Джерсее, — не может их себе и представить. А в Сент-Мари на Мадагаскаре они перелетают через мыс Тентенг.

На несколько мгновений все закрыла нахлынувшая волна. Ничего не было видно, кроме разъяренных вод, кроме чудовищного извержения пены, белым саваном кружившейся под ледяным могильным ветром; ничего не было слышно, кроме громовой разноголосицы бури, сопровождавшей истребительную работу моря.

Пена рассеялась. Жильят стоял на том же месте.

Плотина выдержала натиск. Ни одна цепь не лопнула, не выскочил ни один гвоздь. При испытании в ней обнаружились оба достоинства волнореза: она была упруга, как плетень, и прочна, как стена. Вал, ударив в нее, рассыпался брызгами.

Пенная струя, змеясь по ущелью, терялась под ботиком.

Человек, надевший намордник на океан, не думал об отдыхе.

К счастью, буря вдруг повернула в сторону. Вол-

ны вновь с яростью кинулись к неприступным стенам рифа. То была отсрочка. Жильят ею воспользовался, чтобы достроить заднюю решетку.

Весь день прошел в работе. Шторм с какой-то зловещей торжественностью неутомимо атаковал фланги рифа. Урна воды и урна огня, что стоят в тучах, не иссякали. Ветер устремлялся вниз, опять взмывал кверху, напоминая волнообразным полетом движение дракона.

Ночь подкралась во мраке, ее нельзя было заметить.

Впрочем, она не принесла с собой полной темноты. Грозы, то озаряя, то ослепляя молнией, перемежают свет и тьму. Вот белый день, вот черная ночь. Только мелькнут какие-то очертания, и снова все застилает густая мгла.

Фосфорическая полоса, алея, как полярная заря, полыхала языками призрачного огня за толщею облаков, широко разливая вокруг бледное сияние. Искрились широкие полотнища дождя.

Отблески этого пламени помогали Жильяту и руководили им. Раз он обернулся к молнии и промолвил: «А ну-ка подержи свечку!»

Ему удалось при мерцающем этом свете поднять заднюю решетку еще выше передней. Волнорез был почти готов. Когда Жильят за-

креплял канатом на его верхушке форштевень Дюранды, ветер подул ему прямо в лицо. Это заставило Жильята поднять голову. Ветер вновь сменился северо-восточным. Атака на восточные ворота теснины возобновилась. Жильят окинул взглядом открытое море. Волнорезу опять угрожал штурм; море готовило новый удар.

Тяжело обрушился первый вал, вслед за ним другой, и так, за валом вал, пятый, шестой, беспорядочно, почти одновременно; наконец последний, ужасающий.

Он словно вобрал в себя сокрушительную силу всех прежних волн и казался каким-то живым существом. Нетрудно было вообразить при виде прозрачного, вздутого тела волны очертания жабр и плавников. Она расплющилась и смялась на волнорезе. Звероподобный вал разбился и рассыпался брызгами, напоминая огромную гидру, распластанную на глыбе гранита и дерева. Умирая, он производил опустошения. Он точно цеплялся за скалы и кусал их. От могучего сотрясения риф колебался. Толчки сопровождались глухим свирепым рычанием. Пена казалась слюной Левиафана.

Когда пена рассеялась, стало видно повреждение. Последний набег нанес большой урон. На

этот раз волнорез пострадал. Длинная тяжелая балка, вырванная из решетки переднего волнореза, была закинута поверх заднего заслона на выступ скалы, выбранной Жильятом для временного боевого поста. К счастью, он туда больше не взбирался. Иначе его убило бы на месте.

Какая-то удивительная случайность, помешавшая балке отскочить, спасла Жильята от сильного толчка и удара рикошетом. Как увидит читатель, эта случайность оказалась ему полезной и дальше, уже в другом отношении.

В выступе скалы, у внутреннего склона теснины, зияла широкая щель, отверстие, словно прорубленное топором или пробитое клином. Балка, подброшенная в воздух волной, попала одним концом в эту щель. Щель расширилась.

Тогда Жильята осенила мысль — налечь на другой конец.

Балка, застрявшая в расщелине утеса и расширившая ее, торчала оттуда, как вытянутая рука. Она шла вдоль внутренней стены ущелья, причем ее свободный конец отступал на восемнадцать или двадцать дюймов от расщелины — расстояние, достаточное для попытки осуществить замысел.

Жильят уперся ногами, коленями и руками в

крутой склон и нажал спиной на огромный рычаг. Балка оказалась длинной, это увеличивало силу давления. Скала была уже расшатана. Однако Жильяту пришлось браться за дело четыре раза. Его волосы взмокли и от пота и от дождя. Четвертый толчок был бешеным. Скала зарычала, щель, переходившая в трещину, раскрылась, как пасть, и тяжелая махина рухнула в узкий проход между утесами с ужасающим шумом, который будто вторил раскатам грома.

Обломок скалы свалился, прямой, как палка, если можно так выразиться, и не раскололся.

Представьте себе низвергнувшийся всей своей массой менгир.

Балка-рычаг рухнула вслед за скалой; Жильят чуть не упал, ибо все сразу ринулось вниз.

В этом месте было неглубоко, дно усеивали валуны. Монолит, взвихрив пену, хлопьями обдавшую Жильята, лег между главными параллельно стоявшими скалами ущелья поперечной стеной, наподобие черты, соединившей их крутые склоны. Оба его края соприкасались с ними; обломок скалы был чересчур широк, и его выветрившаяся гранитная вершина сплющилась, плотно войдя меж обоих обрывов. Возле места падения образовался причудливый тупик, сохра-

нившийся и поныне. Вода почти всегда спокойна за этой каменной преградой.

Новый оплот был прочнее дощатого щита из борта Дюранды, установленного между обоими Дуврами.

Это заграждение появилось вовремя.

Море продолжало наносить удары. Волна всегда упорствует, натолкнувшись на препятствия. Первая, поврежденная, решетка начала разваливаться. Разрыв даже одного из креплений волнореза — бедствие. Расширение пробоины неизбежно, и нет возможности тут же заняться ее починкой. Волна унесла бы работника.

При вспышке молнии, осветившей риф, Жильят обнаружил, какой ущерб причинен волнорезу: разбросанные балки, раскачиваемые ветром концы веревок и концы цепей, дыра в центре сооружения. Вторая решетка была невредима.

Каменная глыба, с такой силой сброшенная Жильятом в теснину, позади волнореза, представляла собой надежнейшее заграждение, но обладала одним недостатком: она была чересчур низка. Волны не могли ее разрушить, но могли через нее переплеснуть.

Нечего было думать о том, чтобы сделать ее выше. На этот каменный заслон надо было нало-

жить гранитные плиты — все другое оказалось бы бесполезным. Но каким образом их отколоть, как перенести, как поднять, как взгромоздить одну на другую, как установить? Можно надстроить деревянный сруб, но не скалу.

Жильят не был Энкеладом.

Его тревожило, что гранитный перешеек недостаточно высок.

Этот изъян вскоре дал себя почувствовать. Шквалы не отступали от волнореза; они не просто злобствовали, они словно впились в него. Все сооружение покачивалось из стороны в сторону, на нем слышался какой-то топот.

Вдруг от расшатанного волнореза оторвался обломок карленгса; он перемахнул через вторую решетку и, пролетев над скалой, упавшей поперек ущелья, свалился в пролив, где его подхватила вода и помчала по извилинам теснины. Жильят потерял его из виду. Этот обрубок балки мог столкнуться с лодкой. К счастью, буря, бушевавшая снаружи, почти не отражалась на воде, загороженной со всех сторон внутри рифа. Там редко пробегала волна, поэтому удар не мог быть очень резким. Впрочем, Жильяту было не до повреждения ботика, если это даже и произошло; все опасности обступили его сразу, буря сосредо-

точилась на одной уязвимой точке, перед ним встало неотвратимое.

Спустилась непроглядная тьма, молнии погасли — зловещее единодушие; тучи и волны действовали заодно; послышался глухой удар.

За ударом раздался треск.

Жильят подался вперед. Решетка — передняя линия заграждения — была пробита. Видны были концы балок, вертевшихся в воде. Море воспользовалось первым волнорезом, чтобы при его помощи разнести второй.

Жильят испытал то, что испытал бы полководец, увидев поражение своего авангарда.

Второй ряд балок устоял. Тыловое сооружение было крепко-накрепко перевязано и подперто. Но сорванная решетка была увесиста и находилась во власти прибоя, который то отбрасывал ее, то подхватывал снова; оставшиеся веревочные крепления не давали ей развалиться, она была все такой же громоздкой, и качества, которые ей придал Жильят как средству защиты, служили во вред, ибо она оказалась превосходным орудием разрушения. Из щита она превратилась в палицу. К тому же всюду из пробоин торчали концы балок, и вся она словно ощетинилась шипами и зубьями. Нельзя было и придумать более сокру-

шительного, более грозного и подходящего для бури оружия.

Плотина стала метательным снарядом, а море — катапультой.

Удар обрушивался за ударом с какой-то ужасающей точностью. Жильят, погруженный в раздумье, стоял позади забаррикадированных им ворот ущелья, слушая, как стучится в них смерть.

Он с горечью думал о том, что, если бы не труба Дюранды, которая как назло застряла в разбитом кузове судна, он бы уже утром вернулся на Гернсей и спокойно стоял бы сейчас в гавани со своим ботиком и спасенной машиной.

Произошло то, чего он опасался. Буря ворвалась в ущелье, и оно огласилось каким-то хрипением. Перепутанные обломки растерзанных волнорезов завертелись, подобно смерчу, и вместе с валом, ринувшись на каменный барьер, стоявший, как гора среди потопа, остановились. То была чаща, бесформенный частокол из балок, пропускавший волны, но все еще распылявший их. Побежденный оплот умирал героически. Море разбило его вдребезги, а он дробил море. Даже опрокинутый, он все еще оказывал упорное сопротивление. Скала, образуя заслон, который был

препятствием неодолимым, поддерживала его. Ущелье, как мы уже упоминали, было очень узко в том месте; торжествующий шторм втолкнул всю массу перемешанных, искромсанных обломков волнореза в эту тесную горловину; самая сила его натиска, сбивая в кучу и нагромождая обломок на обломок, превратила руины в твердыню. Разрушенное стало несокрушимым. Вырвалось всего лишь несколько балок. Их расшвыряли волны. Одна пролетела в воздухе совсем рядом с Жильятом. Он почувствовал, как ему пахнуло ветром в лицо.

Но некоторые валы, те самые огромные валы, что в бурю налетают с неизменной равномерностью, перепрыгивали через развалины волнореза. Они низвергались в ущелье и, несмотря на его углы и повороты, все же волновали воду. Вода стала сердито дыбиться. Мрачные лобзанья, которыми волны осыпали утесы, становились все крепче.

Как теперь помешаешь поднявшейся зыби домчаться до лодки?

Немного потребовалось бы времени шторму, чтобы воды, замкнутые в теснине, забурлили; несколько порывов ветра — и лодка будет пробита, а машина пойдет ко дну.

Жильят, содрогаясь, размышлял об этом.

Но он не растерялся. Ничто не могло принудить к отступлению этого человека.

Теперь ураган попал в цель и с бешеной яростью устремился внутрь, меж двух стен ущелья.

Вдруг на недалеком расстоянии от Жильята, позади него, раскатился по ущелью треск, ужасней которого Жильят ничего не слышал.

Он раздался с той стороны, где стояла лодка.

Жильят бросился туда.

Из восточных ворот, где он стоял, ему не было видно лодки, потому что ущелье шло зигзагами. У последнего поворота он остановился и стал ждать молнии.

Молния вспыхнула и осветила всю картину.

На удар волны в восточную горловину ущелья ответил порыв ветра, ударивший в западную. Это грозило бедой.

Ботик как будто нисколько не пострадал; он по-прежнему стоял на трех якорях и не давал повода для беспокойства, зато остов Дюранды был в плачевном состоянии.

Эта развалина представляла собой мишень для бури. Она висела высоко в воздухе над водой, как бы подставляя себя под удары. Брешь, которую проделал в судне Жильят, когда извлекал ма-

шину, совсем расшатала корпус. Он перерубил килевой брус. У скелета был перешиблен позвоночник.

Большего и не понадобилось. Палубная настилка согнулась, как полураскрытая книга. Судно расщепилось. Тогда-то и раздался треск, который услышал Жильят сквозь вой урагана.

То, что он увидел, подойдя ближе, было, казалось, непоправимо.

Квадратное отверстие, сделанное им, превратилось в смертельную рану; ветер превратил этот надрез в надлом. Поперечная трещина разделила остов судна надвое. Та часть парохода, что была ближе к лодке, крепко засела в гранитных тисках скалы. Передняя часть, что была напротив Жильята, свисала. Любое место надлома до поры до времени уподобляется дверной петле. Вся эта махина колыхалась на разбитых сочленениях, как на шарнирах, и ветер раскачивал ее с угрожающим шумом.

К счастью, ботик уже не стоял под ней.

От этого раскачивания сотрясалась и вторая половина корпуса, пока еще крепко сидевшая меж Дуврами. От сотрясения до разрушения — один шаг. Под упорным натиском ветра поврежденная часть парохода могла сорваться и внезапно

увлечь за собой другую, почти соприкасавшуюся с лодкой, а тогда и лодка и машина погибли бы под обвалом.

Все это стояло перед глазами Жильята.

То была катастрофа.

Как предотвратить ее?

Жильят принадлежал к числу людей, способных привлечь к себе на помощь саму опасность. Несколько мгновений он сосредоточенно размышлял.

Потом отправился в свой арсенал за топором.

Молот потрудился добросовестно, очередь была за топором.

Жильят поднялся на остов парохода, ступил на устойчивую часть палубной настилки и, наклонясь над Дуврской тесниной, принялся подрубать треснувшие балки и все остатки креплений, на которых повис обломок корпуса.

Разъединить окончательно обе половины разрушенного судна, освободить сохранившуюся часть, бросить в море все, чем уже завладел ветер, отдать буре ее долю — в этом состояла его задача. Она была не столько трудна, сколько опасна. Свисавшая половина корпуса, увлекаемая вниз ветром и собственной тяжестью, соединялась со второй лишь в нескольких местах. Весь кор-

пус походил на складень, одна полуотворенная створка которого билась о другую. Связью служили только пять-шесть балок деревянного остова судна, согнутых, надломленных, но еще державшихся. Под порывами ветра они скрипели, места надломов становились все шире, и топору оставалось лишь помочь ветру. Непрочность этих связей облегчала работу, но одновременно делала ее опасной. Все могло сразу рухнуть под ногами Жильята.

Буря бесновалась. Сначала она была только страшной, теперь стала ужасной. Судороги моря передались и небу. До сих пор туча повелевала всем и делала, казалось, что хотела. Она всему давала толчок, она приводила в неистовство волны, но сама сохраняла какое-то зловещее спокойствие. Внизу было исступление, вверху — гнев. Небо — живое дыхание, океан — просто пена. Отсюда власть ветра. Ураган — это злой гений. Но, охмелев от внушаемого им ужаса, он пришел в замешательство и стал всего лишь вихрем. То было ослепление, порождающее тьму.

Порою бурей овладевает безумие; как будто небу бросается кровь в голову. Бездна не ведает, что творит. Мечет молнии как попало. Нет ничего страшнее. Это жуткие минуты. Волны в неистов-

стве били о рифы. Всякая буря держится своего таинственного направления, но в такие минуты она его теряет. Это худшая из сторон ее характера. Именно тогда ветер, по словам Томаса Фуллера, и превращается в «буйно помешанного». Именно тогда, в грозу, и происходит то беспрерывное расходование электричества, которое Пиддингтон называет «каскадом молний». Именно тогда, неизвестно по каким причинам, и возникает там, где туча всего чернее, голубоватый светлый круг, точно оконце, чтобы надзирать за всеобщим смятением; испанские моряки в древности его называли «глазом бури», *el ojo de tempestad*. Это мрачное око и взирало на Жильята.

Но Жильят и сам смотрел на тучу. Теперь он поднимал голову. После каждого взмаха топора он высокомерно выпрямлялся. Он был, — или так только казалось, — слишком близок к гибели, чтобы не проникнуться гордостью. Быть может, он отчаивался? Нет. Исступленному бешенству океана он противопоставлял не только отвагу, но и осторожность. Он ходил лишь по устойчивым доскам разбитой палубы парохода. Он и рисковал и берегся. Он тоже дошел до исступления. Силы его удесятерились. Его опьяняло собственное бесстрашие. Он был в каком-то самозабвении.

В ударах его топора звучал вызов. Ясность мысли возросла, — он, казалось, выиграл там, где проиграла буря. То был трагический поединок. Неистощимое, с одной стороны, неутомимое — с другой. Кто же кого одолеет? Страшные тучи рисовались в беспредельности головами горгон; было пущено в ход все, чем можно запугать; волны метали дождь, а тучи — пену; над морем склонялись духи ветра; вспыхивали багрянцем молнии и гасли; вслед за тем мрак становился чудовищным. Холодный ливень, не переставая, низвергался со всех сторон; кругом все бурлило; разлилась густая тьма; растерзанные кучевые облака пепельного цвета, отягченные градом, кружились, точно в припадке безумия; в воздухе стоял шум, будто в решете встряхивали сухой горох; встречные электрические искры, которые наблюдал Вольта, перебрасывались с тучи на тучу, играли в громовержущие игры; страшны были бесконечно долгие раскаты грома, молнии вспыхивали рядом с Жильятом. Он, казалось, удивлял бездну. Шагая с топором в руках взад и вперед по качающейся Дюранде, палуба которой дрожала под ним, он рубил, отесывал, пробивал, рассекал; молния освещала его бледное лицо, забрызганное пеной, разметавшиеся волосы, босые

ноги, лохмотья, весь его величественный облик среди разгула громов.

Со взбесившейся стихией может сразиться только ловкость. И ловкость Жильята восторжествовала. Он добивался того, чтобы разбитая часть судна обвалилась вся сразу. Для этого он подрубил надломленные балки, висевшие как на шарнирах, но подрубил не до конца, — теперь они держались на волоске. Вдруг он замер, забыв опустить топор. Задача была выполнена. Кусок судна оторвался весь целиком.

Половина остова Дюранды затонула между обоими Дуврами, прямо под Жильятом, который стоял на другой половине судна и, наклонившись, смотрел вниз. Обломок отвесно упал в воду и, обдав брызгами утесы, застрял в теснине, не коснувшись дна. Он выступал из воды, поднимаясь над волнами футов на двенадцать; палубный настил встал стеною между Дуврами, как и сброшенная ранее скала, что немного подальше лежала поперек ущелья, он позволял пене чуть пробиваться только по краям; то была пятая баррикада, возведенная Жильятом против наступающей бури на этой океанской улице.

Слепой ураган сам потрудился над новой баррикадой.

К счастью, промежуток между утесами был так тесен, что заграждение не достало дна. Это как бы делало его выше; кроме того, под ним могла пробиваться вода, что уменьшало силу волны. Если есть лазейка, незачем брать барьер. В этом отчасти секрет плавучих волнорезов.

Теперь, что бы ни придумала туча, бояться за ботик и за машину было нечего. Вокруг них уж не могла бурлить вода. Между заслоном, прикрывшим Дувры с запада, и новым заграждением, защищавшим их с востока, им не были страшны ни набеги моря, ни налеты ветра.

Катастрофу Жильят обратил в средство спасенья. Туча в конце концов помогла ему.

Завершив свое дело, он горстью зачерпнул дождевой воды из лужицы и, утолив жажду, сказал туче: «Эх ты, водолей-дуралей!»

То была язвительная шутка воинственного ума, утверждавшего непроходимую глупость яростных стихий, низведенных до положения слуг; Жильят ощущал ту извечную потребность поносить врага, которая восходит к временам гомеровских героев.

Жильят спустился в лодку и оглядел ее при свете молний. Помощь несчастному ботику пришла вовремя; его изрядно потрепало волнами, и он

уже начал прогибаться. При беглой проверке Жильят не нашел никаких повреждений. Между тем лодке, несомненно, пришлось выдержать сильнейшие толчки. Но волнение улеглось, и корпус выпрямился сам; якоря оказались надежными, а машину крепко держали четыре цепи.

Не успел Жильят окончить осмотр, как что-то белое промелькнуло мимо него и пропало во тьме. То была чайка.

Доброе предзнаменование во время шторма. Если прилетают птицы, значит, гроза уходит.

Другой хороший предвестник — усилившийся гром.

Чрезмерное неистовство бури истощает ее силы. Моряки знают, что последнее испытание жестоко, но длится недолго. Фейерверк молний предвещает конец.

Дождь внезапно прекратился. Только гром еще угрюмо рокотал в тучах. Шум грозы стих, как стихает шум от упавшей на землю доски. Гроза как бы надломилась. Рассыпалась необозримая громада облаков. Тьму разрезала надвое полоска чистого неба. Жильят изумился — был ясный день.

Буря продолжалась больше двадцати часов.

Ветер принес ее, он же и унес. Мрак таял, рас-

сеивался и уходил к горизонту. Беспорядочно клубились разорванные, убегающие туманы; по всей передовой линии туч, от края до края, шло отступление; слышался протяжный, замирающий гул, упало несколько последних капель дождя; в отзвуках грома унеслась тьма, точно сонмище грозовых колесниц.

Вдруг засинело все небо.

Только тут Жильят почувствовал, как он устал. Сон хищной птицей слетает на утомленного человека. У Жильята подкосились ноги, он упал в лодку, не выбирая места, и тут же заснул. Несколько часов проспал он мертвым сном, ни разу не пошевелившись, и его нельзя было отличить от балок и брусьев, среди которых он лежал.

Книга четвертая
Тайники рифа
I. Не один Жильят голоден

Проснувшись, Жильят почувствовал голод.

Буря умчалась. Но волнение в открытом море еще не совсем улеглось, отплыть сейчас было невозможно. К тому же день клонился к вечеру. Чтобы пристать к Гернсею до полуночи, да еще с перегруженной лодкой, надо было отправиться в путь утром.

Хоть голод и подгонял Жильята, он прежде всего разделся, — это был единственный способ согреться.

Он промок до нитки во время грозы, но дождевая вода смыла морскую воду, и его платье теперь могло быстрее просохнуть.

Жильят остался в одних штанах, засучив их до колен.

На выступах скал он разостлал рубашку, куртку, плащ, овечью шкуру, гетры и придавил их камнями.

Затем вспомнил, что надо поесть.

Вооружившись ножом, который он всегда

заботливо оттачивал и держал в исправности, Жильят отделил от скалы несколько горных улиток, которые относятся к тому же виду, что и венерки Средиземного моря. Известно, что их едят сырыми. Но после такого длительного и тяжкого труда это была скудная пища. Сухарей у него не осталось. Зато в питьевой воде недостатка не было. Ее хватило бы не только для утоления жажды, но для целого наводнения.

Жильят воспользовался отливом и стал бродить среди скал, отыскивая лангуст. Море обнажило много отмелей, и это сулило удачную охоту.

Но он и не подумал о том, что теперь уже ничего не может испечь. Если бы он не торопился и дошел до своего склада, то увидал бы, что все размыто и разрушено ливнем, дрова и угли залиты водой, а в запасенной им пеньке, заменявшей трут, нет ни одного сухого волоконца. Разжечь огонь было нельзя.

Вдобавок и воздуходувка испортилась; навес над кузнечным горном сорвался; буря ограбила его мастерскую. С уцелевшими инструментами Жильят в крайнем случае еще мог бы работать как плотник, но не как кузнец. Впрочем, сейчас Жильят и не вспомнил о своей мастерской.

Мучительный голод настойчиво напоминал о

себе, и Жильят, ни о чем другом не помышляя, пустился на поиски обеда. Он блуждал не в самом ущелье, а возле него, по краям подводных скал. Как раз в этом месте Дюранда два с половиной месяца назад наскочила на риф.

Для охоты, предпринятой Жильятом, наружная сторона рифа была удобнее внутренней. При отливе крабы обычно выходят из воды, чтобы подышать. Они не прочь погреться на солнце. Эти безобразные существа любят зной. Их появление из воды среди дня производит странное впечатление, их скопище возмущает. Когда видишь, как неуклюже, боком, медленно взбираются они с бугорка на бугорок, по нижним уступам скал, словно по ступенькам лестницы, нельзя не подумать о том, что и в океане водятся гады.

Уже два месяца Жильят питался этими гадами.

Однако морские раки и лангусты в тот день попрятались. Буря разогнала этих отшельников по их тайникам, и они еще не очнулись. Жильят держал нож наготове и, время от времени поддевая ракушку среди водорослей, съедал ее на ходу.

Он был неподалеку от того места, где погиб сьер Клюбен.

Жильят совсем было решил удовольствоваться морскими ежами и каштанами, как вдруг у его

ног раздалось бульканье. Крупный краб, испуганный его приближением, кинулся в воду. Краб не успел погрузиться глубоко, поэтому Жильят не потерял его из виду.

Жильят бросился за ним вдогонку вдоль подножия рифа. Краб убегал.

Вдруг он исчез.

Он, вероятно, забился в какую-нибудь щель под скалой, Жильят ухватился рукой за выступ скалы и, нагнувшись, заглянул под гранитный навес.

Там действительно была расщелина. В ней-то, вероятно, и укрылся краб.

То была не простая впадина, а нечто вроде портика.

Вода заходила под портик, но там было неглубоко. Виднелось дно, усыпанное валунами. Валуны были серо-зеленые, обвитые водорослями, а это свидетельствовало о том, что их постоянно покрывала вода. Сверху они походили на зеленоволосые детские головки.

Жильят взял в зубы нож, спустился, цепляясь руками и ногами за гранит, с выступа скалы и прыгнул в воду. Она доходила ему почти до плеч.

Он шагнул под портик. Он очутился в каком-то каменном коридоре с гладко отполированными

стенами, под древним стрельчатым сводом. Краба нигде не было видно. Жильят нащупал под ногами дно и двинулся вперед, в сгущавшуюся тьму. Он перестал что-либо различать перед собой.

Шагов через пятнадцать свод на его головой кончился.

Он вышел из узкого прохода. Стало просторнее и поэтому светлее; кроме того, его зрачки в темноте расширились, и он видел довольно отчетливо. Вдруг он остановился в изумлении.

Он вновь попал в ту необычайную пещеру, где был месяц назад.

Только на этот раз он попал в нее со стороны моря.

Он прошел через ту самую арку, которая была тогда затоплена. Порою, во время самых больших отливов, она становилась доступной.

Его глаза привыкли к темноте. Он видел все яснее и яснее. Он был ошеломлен. Перед ним предстал тот самый чудесный чертог тьмы, своды, колонны, то ли кровавые, то ли пурпурные блики, растения в самоцветах, а в глубине подводный склеп, похожий на святилище, и камень, похожий на алтарь.

Он плохо отдавал себе отчет во всех подробно-

стях, но в памяти его сохранилась общая картина, и он вновь увидел ее.

Напротив, довольно высоко, в стене, он увидел ту расщелину, по которой пробрался сюда в первый раз; с того места, где он теперь стоял, она казалась недосягаемой.

Он вновь увидел возле стрельчатой арки низкие и темные гроты, замеченные им тогда издали и подобные маленьким пещерам в большой. Теперь он очутился рядом с ними. Ближний грот целиком вышел из воды, в него легко было проникнуть.

И уж совсем близко от себя, на расстоянии вытянутой руки, он приметил в гранитной стене, чуть повыше уровня воды, продольную трещину. Там-то, вероятно, и притаился краб. Жильят засунул туда руку, как можно глубже, и стал шарить в этой темной норе.

Вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за руку.

Невыразимый ужас овладел им.

Что-то тонкое, шершавое, плоское, ледяное, липкое и живое обвивалось во мраке вокруг его обнаженной руки, оно подбиралось к его груди, оно сжимало ремнем, впивалось буравом. В один миг словно какая-то спираль скрутила кисть

и локоть и коснулась плеча. Холодное острие скользнуло ему под мышку.

Жильят рванулся было назад, но едва мог пошевельнуться. Он был словно пригвожден. Свободной левой рукой он схватил нож, который держал в зубах, и уперся ею в скалу, изо всех сил пытаясь вырвать правую руку. Но он только чуть сдвинул живую повязку, которая стянула его еще туже. Она была гибка, как кожа, крепка, как сталь, холодна, как ночь.

Еще один ремень, узкий и заостренный, показался из щели, точно язык, высунувшийся из пасти. Этот омерзительный язык лизнул обнаженный торс Жильята и, вдруг вытянувшись и став невероятно длинным и тонким, прилип к его коже и обвил все тело.

В ту же секунду неслыханная, ни с чем не сравнимая боль стала сводить напряженные мускулы Жильята. Он чувствовал, как вдавились в его кожу какие-то отвратительные круглые бугорки. Ему казалось, что бесчисленные рты, прильнувшие к его телу, стараются высосать из него кровь.

Из скалы вынырнул, извиваясь, третий ремень, ощупал Жильята и, хлестнув его по бокам, застыл.

Смертельный страх, достигший предела, бывает нем. Жильят ни разу не вскрикнул. Было довольно светло, и он мог рассмотреть омерзительные, приклеившиеся к нему ленты. Четвертая тесьма, взвившись стрелою, обернулась вокруг него и стянула ему живот.

Ни оторвать, ни обрезать липкие ремни, приставшие во множестве точек к телу, было немыслимо. Каждая из точек стала очагом чудовищной, невероятной боли. Такое ощущение должен испытывать человек, пожираемый сразу множеством крошечных ртов.

Взметнулся из трещины пятый ремень. Он лег поверх остальных и сдавил Жильяту диафрагму. Эти тиски увеличивали его муку; Жильят едва дышал.

Заостренные на концах ремни расширялись к основанию, как клинок шпаги к рукоятке. Все пять, очевидно, сходились к единому центру. Они двигались и ползали по Жильяту. Он чувствовал, как перемещались, вдавливаясь в тело, невидимые бугорки, показавшиеся ему ртами.

Вдруг из щели появился большой круглый и плоский ком слизи. Это и был центр. Пять ремней соединялись с ним, как спицы колеса со ступицей; по другую сторону этого отвратительного

диска можно было различить еще три щупальца, оставшихся в углублении скалы. Из кома слизи глядели два глаза.

Глаза видели Жильята.

Жильят понял, что перед ним спрут.

II. Чудовище

Чтобы поверить в существование спрута, надо его увидеть. Сравнения осьминога с гидрами античных мифов вызывают улыбку.

Порою невольно приходишь к такой мысли; неуловимое, реющее в наших сновидениях, сталкивается в области возможного с магнитами, которые притягивают его, и тогда оно обретает очертания, — вот эти сгустки сна и становятся живыми существами.

Неведомому дано совершать чудеса, и оно пользуется этим, чтобы создать чудовищ. Орфей, Гомер и Гесиод могли сотворить лишь химеру; Бог сотворил спрута.

Если Богу угодно, он может даже гнусное довести до совершенства.

Вопрос о причине такого его желания повергает в ужас мыслителя, верующего в Бога.

Если допустить идеалы во всех областях — и

если цель — создать идеал ужасающего, то спрут — образцовое творение. Кит исполин — спрут невелик; у гиппопотама броня — спрут обнажен; кобра издает свист — спрут нем; у носорога есть рог, у спрута рога нет; у скорпиона жало, у спрута жала нет; у тарантула челюсти, у спрута челюстей нет; у ревуна цепкий хвост, у спрута хвоста нет; у акулы острые плавники, у спрута плавников нет; у вампира когтистые крылья, у спрута крыльев нет; у ежа иглы, у спрута игл нет; у меч-рыбы меч, у спрута меча нет; у ската электрический разряд, у спрута электрического разряда нет; у жабы отравляющая слюна, у спрута отравляющей слюны нет; у змеи яд, у спрута яда нет; у льва когти, у спрута когтей нет; у ягнятника клюв, у спрута клюва нет; у крокодила зубастая пасть, у спрута зубов нет.

У спрута нет ни мускулов, ни угрожающего рева, ни панциря, ни рога, ни жала, ни клешней, ни цепкого или разящего хвоста, ни острых плавников, ни когтистых крыльев, ни игл, ни мечевидного носа, ни электрического тока, ни отравляющей слюны, ни яда, ни костистых лап, ни клюва, ни зубов. Спрут вооружен страшнее всех в животном мире.

Что же такое спрут? Кровососная банка.

В рифах, среди океана, там, где воды его то прячут, то выставляют напоказ свои сокровища, во впадинах никем не посещаемых скал, в неведомых пещерах, полных разнообразной растительности, ракообразных животных и раковин, под глубинными порталами моря, пловцу, которого привлекла бы красота этих мест и который отважился бы заглянуть туда, угрожает неожиданная встреча. Если это случится с вами, не любопытствуйте, бегите прочь. Туда входишь восхищенный, выходишь потрясенный ужасом.

Вот с чем вы всегда можете встретиться в скалах открытого моря.

Сероватый предмет колышется в воде, весь он с руку толщиной, а длиной с пол-локтя; не то тряпка, не то закрытый зонт без ручки. Этот лоскут понемногу приближается к вам. Но вот он развернулся, восемь лучей внезапно разошлись вокруг двуглазого диска; лучи эти живут; они извиваются, сверкают: это что-то вроде колеса четырех или пяти футов в диаметре. Чудовищная звезда! Она бросается на вас.

Спрут гарпуном поражает человека.

Эта тварь прилипает к добыче, опутывает ее и связывает длинными ремнями. Снизу она желтоватого цвета, сверху — землистого; ничем не

передать ее неописуемый пыльный оттенок. Это существо, живущее в воде, как будто сделано из пепла. Оно — паук по форме и хамелеон по окраске. От злобы оно синеет. И все оно мягкое; это страшно.

Его петли душат; прикосновение парализует.

Оно похоже на скорбут или гангрену. Оно — болезнь, принявшая форму чудовища.

Спрута не оторвать. Он плотно прирастает к жертве. Каким образом? При помощи пустоты. Восемь щупалец, широких в основании, постепенно утончаются, оканчиваясь иглами. Под каждым идут параллельно два ряда постепенно уменьшающихся отростков, крупных у головы, мелких на концах. Каждый ряд состоит из двадцати пяти отростков; на щупальце их пятьдесят; на всем животном четыреста. Отростки эти и являются присосками.

Присоски — это хрящи цилиндрической формы, бесцветные, покрытые роговидной оболочкой. У крупных особей они достигают величины пятифранковой монеты в диаметре, постепенно уменьшаясь до размера чечевичного зерна. Спрут то выпускает, то втягивает полые трубки — присоски. Иногда они впиваются в добычу глубже чем на дюйм.

Кровососный аппарат обладает тонкой восприимчивостью клавиатуры. Он выступает наружу, потом прячется. Он подчиняется малейшему намерению спрута. Самая изощренная чувствительность далека от чувствительности присосков, способных молниеносно сокращаться в зависимости от внутренних побуждений животного или внешних условий. Этот дракон мимоза.

То самое чудовище, которое моряки называют спрутом, а наука головоногим, легенда называет морским дивом. Английские матросы называют *его devil-fish,* рыба-дьявол. Они называют его также *blood-sucker,* кровосос. Жители Ла-Манша называют его слизнем.

Он очень редко попадается близ Гернсея, очень мал близ Джерсея, очень велик и довольно часто встречается близ острова Серк.

На одном рисунке в сочинениях Бюффона, изданных Соннини, изображен осьминог, обхвативший своими щупальцами фрегат. Дени Монфор полагает, что спрут северных широт действительно в силах потопить корабль. Бори Сен-Венсан отрицает это, утверждая, однако, что в наших морях он нападает на человека. Поезжайте на Серк, там вам покажут возле Брек-У пещеру

в скале, где несколько лет назад спрут схватил и, затянув под воду, утопил ловца омаров. Перон и Ламарк совершили ошибку, усомнясь в том, что спрут может плавать, раз у него нет плавников. Автор этих строк собственными глазами видел на острове Серк, как спрут в гроте, называемом Лабазом, вплавь преследовал купающегося. Когда спрут был убит, его измерили, — оказалось, что у него четыре английских фута в поперечнике, присосков у него насчитали четыреста. Издыхающее животное судорожно вытолкнуло их из себя.

По мнению Дени Монфора, одного из тех наблюдателей, чья богатая интуиция заставляет их опускаться либо возвышаться до занятий магией, осьминог обладает чуть ли не человеческими страстями; осьминог умеет ненавидеть. В самом деле, быть идеально омерзительным — значит, быть одержимым ненавистью.

Уродство отстаивает себя перед необходимостью своего уничтожения, и это его озлобляет.

Спрут, плавая, как будто находится в чехле. Он плывет, собравшись складками. Вообразите зашитый рукав и внутри него — кулак. Кулак, он же голова спрута, отталкивает воду и продвигается вперед еле заметным волнообразным движением. Оба его выпуклых глаза, хоть и велики, мало

заметны, ибо они цвета воды.

На охоте или в засаде спрут маскируется; он уменьшается, сжимается, сокращается до предела. Он сливается с полутьмой. С виду он — изгиб на волне. Его примешь за все что угодно, но только не за живое существо.

Спрут — это лицемер. На него не обращаешь внимания: он обнаруживает себя внезапно.

Комок слизи, обладающий волей, — что может быть страшнее! Капля клея, замешанного на ненависти.

В прекраснейшей лазури прозрачных вод возникает эта омерзительная, прожорливая морская звезда. Заметить ее приближение нельзя, и это ужасно. Увидеть ее означает стать ее жертвой.

Однако ночью, особенно в период спаривания, спрут фосфоресцирует. Даже эту чудовищную тварь посещает любовь. Она жаждет супружества. Она прихорашивается, она лучится светом, и с верхушки скалы видишь, как внизу, в глубокой тьме, она расцветает бледным сиянием, словно призрачное солнце.

Спрут не только плавает, он и ходит. Он отчасти рыба, что не мешает ему быть отчасти и пресмыкающимся. Он ползает по морскому дну, а для ходьбы ему служат все восемь лап. Он тащится,

как гусеница-землемер.

У него нет костей, у него нет крови, у него нет плоти. Он дряблый. Он полый. Он всего лишь оболочка. Можно вывернуть его восемь щупалец наизнанку, как пальцы перчатки.

У него одно отверстие, в центре лучевидных лап. Что это — анальное отверстие или зев? И то и другое. Оно имеет оба назначения. Вход и есть выход.

Он холоден на ощупь.

Моллюск Средиземного моря отвратителен. Прикосновение этого живого студня, облепляющего пловцов, омерзительно, в нем вязнут руки, в него нарываются ногти, его раздираешь, но его не убить, его отрываешь, но от него не освободиться, это что-то текучее и цепкое, скользящее между пальцами; ничто так не поражает, как внезапное появление спрута, этой Медузы о восьми змеях.

Нет тисков, равных по силе объятиям осьминога.

На вас нападает воздушный насос. Вы имеете дело с пустотой, вооруженной щупальцами. Ни вонзающихся когтей, ни вонзающихся клыков, одно лишь невыразимое ощущение надсекаемой кожи. Укус страшен, но не так страшен, как высасывание. Коготь — пустяк по сравнению с

присоском. Коготь зверя вонзается в ваше тело; присосок гада вас втягивает в себя. Ваши мускулы вздуваются, сухожилья скручиваются, кожа лопается под мерзкими присосками; кровь брызжет и смешивается с отвратительной лимфой моллюска. Множеством гнусных ртов приникает к вам эта тварь; гидра срастается с человеком; человек сливается с гидрой. Вы — одно целое с нею. Вы — пленник этого воплощенного кошмара. Тигр может сожрать вас, осьминог — страшно подумать! — высасывает вас. Он тянет вас к себе, вбирает, и вы, связанный, склеенный этой живой слизью, беспомощный, чувствуете, как медленно переливаетесь в страшный мешок, каким является это чудовище.

Ужасно быть съеденным заживо, но есть нечто еще более страшное — быть заживо выпитым.

Наука, по своей крайней осмотрительности, даже стоя перед лицом фактов, сперва отвергает возможность существования этих необыкновенных животных, но затем решается их изучить: она анатомирует их, классифицирует, вносит в списки, налепляет этикетки; она добывает образцы и прячет их под стекло в музеях, распределяет по рубрикам номенклатуры; она именует их моллюсками, беспозвоночными, лучеобразны-

ми; устанавливает их место среди им подобных — несколько выше кальмара, несколько ниже сепии; в этих гадах соленых вод она выискивает сходство с гадами пресноводными, с водяными пауками; она подразделяет их на крупные, средние и мелкие виды; она признает скорее мелкие виды, чем крупные, что, впрочем, является ее обыкновением во всех областях, ибо она охотно отдает предпочтение микроскопу перед телескопом; она рассматривает их строение и называет головоногими, пересчитывает их щупальца и называет осьминогами. После этого она оставляет их в покое. Когда с ними прощается наука, берется за дело философия.

Философия, в свою очередь, изучает эти существа. Она заходит не так далеко, как наука, но в чем-то идет дальше ее. Она не препарирует, она размышляет. Там, где орудовал скальпель, она применяет гипотезу. Она ищет конечную цель. Мыслитель глубоко страдает. Творения эти заставляют его усомниться в самом их творце. Они — гнусная неожиданность. Они вносят разлад в душу созерцателя. Он теряется, удостоверившись в их существовании. Они — задуманные и осуществленные формы зла. Мироздание возводит хулу на себя. Как быть с этим? Кого обвинять?

Возможное — страшное плодоносное лоно. Тайна воплощается в чудовищ. Сгустки мрака исторгаются целым, имя которого космос; они разрываются, разъединяются, вращаются, плывут, уплотняются, впитывая окружающую тьму, подвергаются неведомым поляризациям, оживают, обретают невероятные формы, созданные из мглы, и невероятные души, созданные из миазмов, и вступают жуткими призраками в мир живых творений. Это — как бы мрак, преобразившийся в животных. Зачем? Вот он, извечный вопрос.

Животные эти — быть может, чудовища, быть может, видения. Они неоспоримы, но они невероятны. Их существование — факт; не существовать — было бы их законным правом. Они амфибии смерти. Неправдоподобно само их существование. Они соприкасаются с границами мира людей и живут в преддверье мира химер. Вы отрицаете вампира — налицо спрут. Их множество, и очевидность этого приводит вас в замешательство. Оптимизм, при всей своей правоте, почти утрачивает перед ними стойкость. Они — видимый предел кругов тьмы. Они обозначают переход нашей действительности в иную. Кажется, что за ними тянутся сонмы ужасных существ, которые

смутно мерещатся спящему сквозь отдушину ночи.

Это продолжение жизни чудовищ, возникших в мире невидимого и переселившихся затем в мир возможного, прозревалось суровым вдохновением магов и философов, вероятно, даже подмечалось их внимательным оком. Отсюда мысль о преисподней. Демон, этот тигр невидимого мира, хищник, охотящийся за душами, был возвещен роду человеческому двумя духовидцами: имя одного — Иоанн, другого — Данте.

Если правда, что круги тьмы теряются в пространстве, если за одним кольцом следует другое, если это нарастание мрака идет в бесконечной прогрессии, если цепь эта, которую мы сами решили подвергнуть сомнению, существует, то спрут у одного ее предела доказывает, что есть сатана у другого.

Воплощение злобы на одном конце доказывает, что есть источник злобы на другом конце.

Всякая зловредная тварь, как и всякий извращенный ум, — своего рода сфинкс.

Ужасный сфинкс, предлагающий ужасную загадку. Загадку зла.

Вот это совершенство зла и заставляло иной раз мудрецов склоняться к вере в двойное божество,

в страшного двуликого бога манихеян.

На шелковой китайской ткани, украденной во время последней войны из дворца китайского императора, изображена акула, пожирающая крокодила, который пожирает орла, орел пожирает ласточку, а та пожирает гусеницу.

Все в природе на наших глазах пожирает и само пожирается. Одна жертва поедает другую.

Тем не менее ученые, — а они еще и философы и, следовательно, благожелательны ко всему сущему, — нашли этому объяснение или уверовали, что нашли. Некоторые пришли к удивительному выводу, и среди них женевец Бонне, человек загадочного и точного ума, которого противопоставляли Бюффону, как позже Жоффруа Сент-Илера противопоставляли Кювье. Вот какое было объяснение: если всюду есть смерть, то всюду должно быть и погребение. Прожорливые хищники — это могильщики.

Все существа поглощают друг друга. Падаль — это пища. Ужасная чистка земного шара! Человек как животное плотоядное — тоже могильщик. Жизнь наша питается смертью. Таков устрашающий закон. Мы сами — гробницы.

В нашем сумрачном мире этот роковой порядок вещей порождает чудовищ. Вы спрашиваете:

зачем? Мы уже сказали.

Но разве это объяснение? Разве это ответ на вопрос? Почему же нет иного порядка? И вновь возникает тот же вопрос.

Будем жить, пусть будет так.

Но постараемся, чтобы смерть была для нас движением вперед. Устремимся умом к мирам не столь мрачным.

Будем послушны мысли, которая ведет нас туда.

Ибо нам никогда нельзя забывать о том, что самого лучшего достигают лишь идя от лучшего к лучшему.

III. Еще одна форма битвы в бездне

Таково было существо, в чьей власти уже несколько мгновений находился Жильят.

Чудовище жило в подводном гроте. То был злой гений тех потаенных мест. Подобие какого-то мрачного духа вод.

Средоточием этого сказочного великолепия был ужас.

Месяцем раньше, в тот день, когда Жильят впервые проник в грот, черное пятно, очертания которого он мельком заметил в зыби зачарован-

ных вод, и было спрутом.

Здесь осьминог был у себя дома.

Когда Жильят, войдя в эту же пещеру вторично в погоне за крабом, обнаружил трещину, куда, как он предполагал, забился краб, там сидел, подстерегая добычу, спрут.

Можно ли представить себе эту засаду?

Птица не дерзнула бы вывести птенцов, яйцо не дерзнуло бы раскрыться, цветок не дерзнул бы расцвести, материнская грудь не дерзнула бы выкормить дитя, сердце не дерзнуло бы полюбить, ум не дерзнул бы воспарить при мысли о том зловещем терпении, с которым устраивает засаду бездна.

Жильят сунул руку в трещину; спрут схватил его и не выпускал.

Человек был мухой в лапах этого паука.

Жильят стоял по пояс в воде, судорожно упираясь ногами в округлые скользкие валуны, правая рука была связана и пленена витками плоских щупалец спрута, туловище почти исчезало под складками и переплетениями страшной повязки.

Три щупальца спрута приросли к скале, остальные пять — к Жильяту. Так, вцепившись с одной стороны в гранит, с другой — в человека, они

приковывали Жильята к скале. В тело Жильята впивалось двести пятьдесят присосков. Какое ужасное чувство смертельной тоски и отвращения! Быть стиснутым в исполинском кулаке и ощущать, как гибкие пальцы, около метра длиною, сплошь покрытые с внутренней стороны живыми пузырьками, роются в вашем теле!

Мы уже говорили, что от спрута не вырваться. При малейшей попытке будешь связан еще крепче. Он еще плотнее обхватит тебя. Его усилия возрастают соразмерно твоим. Чем сильнее рывок, тем крепче обруч.

Жильят мог рассчитывать лишь на одно: на свой нож.

Только левая его рука была свободна, но он, как известно, владел ею отлично. Можно было бы сказать, что у него две правые руки.

Как раз в левой руке он и держал раскрытый нож.

Щупалец спрута не разрезать, их кожу ничто не берет, она скользит под лезвием; к тому же их петли прилегают так плотно, что стоит лишь чуть надрезать эти ремни, и будет поранено ваше тело.

Осьминог страшен; однако есть прием, который помогает справиться с ним. Рыбакам с острова

Серк этот прием известен; тот, кому случалось видеть их внезапные, молниеносные движения в море, это знает. Почти так же делают и дельфины: набрасываясь на каракатицу, они очень ловко откусывают ей голову. Вот откуда обезглавленные кальмары, каракатицы, осьминоги в открытом море.

И действительно, у осьминога уязвима лишь голова.

Жильят это знал.

Он еще не встречал такого большого спрута. И сразу же стал жертвой хищника крупного вида. Другой бы на месте Жильята растерялся.

В борьбе со спрутом, как и с быком, есть секунда, которую необходимо уловить. Это тот миг, когда бык сгибает шею, это тот миг, когда спрут приближает голову: один краткий миг. Кто упустит его, погиб.

Все то, о чем мы сейчас рассказали, длилось всего лишь несколько минут. Но Жильят ощущал, как все крепче и крепче присасываются к его телу двести пятьдесят кровососных банок.

Спрут вероломен. Он старается сразу ошеломить жертву. Схватив ее, он выжидает.

Жильят держал нож наготове. Все сильнее впивались присоски.

Он смотрел на спрута, а спрут смотрел на него.

Вдруг животное оторвало от скалы шестое щупальце и, занеся его над Жильятом, попыталось обхватить его левую руку.

И тут же спрут быстро приблизил к нему голову. Секунда, и его рот-клоака коснется груди Жильята. Тело Жильята обескровлено, руки связаны, он погиб.

Но Жильят был настороже. Подстерегаемый подстерегал сам.

Он увернулся от щупальца, и в тот миг, когда спрут готов был впиться ему в грудь, кулак, вооруженный ножом, обрушился на чудовище.

Два судорожных встречных движения — движение спрута и движение Жильята. Нечто подобное схватке двух молний.

Жильят вонзил нож в этот плоский ком слизи, повернул лезвие, мгновенно очертил им оба глаза — так свивается бич при ударе — и вырвал голову, как вырывают зуб.

Все было кончено.

Спрут отвалился от Жильята.

Он упал, словно тряпка. Как только всасывающий насос был разрушен, пустоты не стало. Четыреста присосков вдруг отпустили скалу и человека. Лоскут пошел ко дну.

Жильят, с трудом переводя дыхание, смотрел ему вслед и на валунах у своих ног увидел две бесформенные студенистые кучки; по одну сторону — голову, по другую — все остальное. Мы говорим «остальное», ибо назвать это туловищем невозможно.

Все же, опасаясь предсмертных судорог спрута, Жильят отступил подальше от щупалец.

Но осьминог был мертв.

Жильят сложил нож.

IV. Ничто не скроется, ничто не пропадет

Спрута он убил вовремя. Сам он уже еле дышал, его правая рука и туловище посинели; на них вздулось не меньше двухсот волдырей; из некоторых сочилась кровь. Против таких опухолей лучшее средство — соленая вода. Жильят окунулся, растирая себя ладонями. От растирания волдыри опадали.

Пятясь назад и заходя все дальше в воду, он незаметно приблизился к маленькому гроту, который приметил еще раньше около трещины, где его схватил спрут.

Этот грот, не залитый водой, прорезал высокую

стену пещеры. В нем скопилось столько валунов, что дно приподнялось выше обычного уровня прилива. Нагнувшись, можно было войти под низкий, но довольно широкий полукруглый свод. Зеленоватый свет, проникавший из подводной пещеры, слабо озарял грот.

Случилось так, что, торопливо растирая свою вспухшую кожу, Жильят машинально поднял глаза.

Его взгляд остановился на гроте.

Жильят вздрогнул.

Ему показалось, что из глубокой и темной норы на него смотрит чье-то смеющееся лицо.

Жильяту было неведомо слово «галлюцинация», но само явление было знакомо. Таинственные встречи с неправдоподобным, которые мы, чтобы выйти из затруднения, называем галлюцинациями, нередки в природе. Обман ли это чувств, или действительность, но видения бывают. Кто сталкивается с ними, тот видит их. Жильят, как мы говорили, был мечтателем. Иной раз, воспаряя в мечтах, он доходил до галлюцинаций, подобно пророку. Человеку опасно мечтать в уединении.

Ему вспомнились призраки, которые ночной порой не раз повергали его в глубокое изумле-

ние.

Грот по виду напоминал печь для обжигания извести. То была невысокая ниша, полукруглая, как ручка корзины; ее отвесные стены уходили, понижаясь, в конце подземелья — в каменный мешок, где настил из валунов соединялся с гранитным сводом.

Он вошел внутрь и, наклонив голову, двинулся навстречу тому, что притаилось в глубине.

Действительно, там кто-то улыбался.

То был череп.

Там был не только череп, но и скелет.

Человеческий скелет покоился в этом склепе.

В подобных случаях смелый духом ищет объяснения тому, что видит.

Жильят осмотрелся.

Вокруг было множество крабов.

Они не шевелились. Такой вид являл бы собой вымерший муравейник. Крабы лежали неподвижно. Не крабы, а их пустые панцири.

Они были разбросаны кучками по настилу из валунов и казались какими-то безобразными созвездиями.

Жильят, глядя вперед, ступал, не замечая их.

В конце подземелья, куда попал Жильят, они лежали еще более толстым слоем. Безжизненно

топорщились их усики, лапки и челюсти. Раскрытые клешни стояли торчком и уже не сжимались. Не двигались костяные щитки под шершавой скорлупой, иные были перевернуты, и виднелась сероватая внутренняя стенка пустого панциря. Это скопище напоминало беспорядочные толпы осаждающих, и все здесь перепуталось, как в густом кустарнике.

Под этой грудой и лежал скелет.

Из-под целой горы усиков, клешней и щитков виднелся череп с зубчатыми швами, позвонки, бедренные и берцовые кости, длинные узловатые пальцы с ногтями. Грудную клетку заполняли крабы. Там некогда билось чье-то сердце. Морской плесенью были выстланы глазные впадины. Морские улитки заполнили слизью носовые отверстия. В этом каменном мешке не было ни водорослей, ни трав, ни дуновения воздуха. Все словно застыло. Лишь скалились в усмешке зубы.

Смутную тревогу вселяет в нас порою улыбка, когда ее пытается изобразить череп.

Волшебный чертог бездны, выложенный и разукрашенный морскими самоцветами, разоблачил себя и открыл свою тайну. То было логовище, в нем жил спрут; то была могила, в ней

покоился человек.

Призрачны, безжизненны были очертания скелета и мертвых крабов, но в неверном отраженном свете подземных вод эти окаменелые останки словно шевелились. Отвратительное сборище крабов будто заканчивало пиршество. Черепки, казалось, глодали череп. Нет ничего поразительнее мертвых гадов на мертвой добыче. Мрачное продолжение смерти.

Перед глазами Жильята была кладовая спрута.

В зловещем видении воочию предстал во всей глубине страшный закон жизни. Крабы пожрали человека, спрут пожрал крабов.

Вблизи скелета не было даже следов одежды. Человек, видимо, был схвачен голым.

Внимательно всматриваясь в скелет, Жильят принялся сбрасывать с него крабов. Кто же этот человек?

Труп его был тщательно препарирован, словно в анатомическом театре, — все мягкие ткани удалены: ни одного оставшегося мускула, ни одной недостающей кости. Будь Жильят знатоком дела, он бы отметил это. Обнаженная надкостница была гладка, бела и как будто отполирована. Если бы не зеленые пятна нитчатки, можно было бы подумать, что это слоновая кость. Хрящевые

перегородки, тщательно отточенные, были целы. Могила создает эти зловещие образцы ювелирной работы.

Труп был как бы погребен под мертвыми крабами; Жильят откопал его.

Вдруг он быстро нагнулся.

Он заметил темную полосу вокруг позвоночника.

То был кожаный пояс, очевидно крепко застегнутый человеком при жизни.

Кожа заплесневела. Пряжка заржавела.

Жильят потянул к себе пояс. Позвонки не поддавались, пришлось их сломать. Пояс превосходно сохранился. На нем уже стала нарастать кора из раковин.

Жильят ощупал его и почувствовал внутри какой-то твердый четырехугольный предмет. Нечего было и думать о том, чтобы отстегнуть пряжку. Он рассек кожу ножом.

В поясе лежала маленькая железная коробка и золотые монеты. Жильят насчитал двадцать гиней.

Железная коробочка оказалась старинной матросской табакеркой с пружинным замком. Она совсем заржавела и не открывалась. Пружина, позеленевшая от окиси, не действовала.

Нож еще раз пришел на выручку Жильяту. Один нажим просунутого под крышку острия, и она отскочила.

Коробка открылась.

Внутри были бумаги.

Дно коробочки устилала маленькая пачка очень тонких, вчетверо сложенных листков. Они слегка отсырели, но нисколько не были повреждены. Плотно закрывавшаяся крышка предохранила их от порчи. Жильят развернул их.

Это были три банковых билета по тысяче фунтов стерлингов каждый, что вместе составляло семьдесят пять тысяч франков.

Жильят снова свернул их, положил в коробочку — там же поместились и двадцать гиней — и крепко-накрепко защелкнул крышку.

Он стал рассматривать пояс.

Кожа, когда-то лакированная снаружи, с изнанки была не выделана. На буром фоне черной жирной краской было выведено несколько букв. Жильят разобрал эти буквы и прочел: Сьер Клюбен.

V. Между шестью дюймами и двумя футами хватит места для смерти

Жильят вложил коробочку в пояс, а пояс спрятал в карман штанов.

Скелет, вместе с лежавшим неподалеку мертвым спрутом, он оставил крабам.

Пока Жильят был занят борьбой со спрутом и исследованием скелета, вновь набежавший прилив затопил ход, ведущий в пещеру. Жильят мот выбраться оттуда, лишь нырнув под арку. Ему это удалось легко; он знал путь к выходу и был мастером подобной акробатики в море.

Нетрудно догадаться о драме, разыгравшейся два с половиной месяца назад. Одно чудовище было схвачено другим. Клюбен стал жертвой спрута.

Здесь, в этой холодной мгле, произошел, если можно так выразиться, поединок двух лицемерий. В глубокой бездне столкнулись два существа, созданные из выжидания и мрака, и одно — бездушная тварь — казнило смертью другое — человеческую душу. Грозное правосудие!

Крабы питаются падалью, спрут питается кра-

бами. Спрут хватает плывущее животное, выдру, собаку, а если удастся, человека и, выпив их кровь, бросает мертвое тело на дно. Крабы — это морские жуки-могильщики. Падаль прельщает их, и они тут как тут: крабы пожирают труп, спрут пожирает крабов; мертвая плоть исчезает в крабе, краб исчезает в спруте. Мы уже указывали на этот закон.

Клюбен стал приманкой для крабов.

Спрут завладел им и потопил; крабы пожрали труп. Случайно волна загнала его в пещеру, в самый конец подземелья, где Жильят и нашел скелет.

Выйдя оттуда, Жильят стал шарить по скалам в поисках морских ежей и улиток, крабы вызывали у него отвращение. Ему казалось, что он ел бы человеческое мясо.

Впрочем, он думал лишь о том, как бы получше подкрепиться перед отплытием. Теперь уже ничто его не задерживало. За сильными бурями всегда наступает хорошая погода, продолжающаяся иной раз несколько дней. Никакой опасностью море больше не грозило. Жильят решил отплыть завтра же. Начался прилив, и важно было сохранить нетронутым заграждение между Дуврами на ночь, но на рассвете Жильят

рассчитывал сбросить заграждение, вывести лодку из Дувров и пойти на парусах к Сен-Сансону. Легкий ветерок, дувший с юго-востока, был для него попутным.

Майская луна была в первой своей четверти, дни стояли длинные.

Когда Жильят, набродившись в скалах и кое-как утолив голод, вернулся в Дуврское ущелье, где его ждал ботик, солнце уже зашло, к вечерним сумеркам примешивался бледный свет луны, который можно было бы назвать светом лунного серпа. Прилив достиг высшей точки и начинал спадать. На трубе машины, возвышавшейся над лодкой, белел под луной слой морской соли, нанесенный брызгами волн во время бури.

Это напомнило Жильяту, что в шторм лодку заливало дождевой и морской водой и что, если он намерен завтра отплыть, воду необходимо выкачать.

Отправляясь на охоту за крабами, он заметил, что воды в лодке было около шести дюймов. Он легко мог обойтись черпаком, чтобы вылить се.

Войдя в ботик, Жильят в ужасе отпрянул. Вода поднялась до двух футов.

Это грозило бедой: лодка дала течь.

Пока Жильята не было, она постепенно на-

полнялась. Двадцать дюймов воды вдобавок к машине были для нее непосильным грузом. Еще немного, и она затонула бы. Приди Жильят часом позже, он увидел бы только торчащие из воды мачту и трубу.

Нельзя было терять ни минуты на размышления. Он стал отыскивать место течи, чтобы заделать ее, а уж потом опорожнить ботик или хотя бы облегчить его. Насосы с Дюранды затерялись во время крушения; Жильяту пришлось удовольствоваться черпаком ботика.

Прежде всего надо найти место течи. Это самое главное.

Жильят принялся за работу немедля, даже не дав себе времени одеться, дрожа от волнения. Он уже не чувствовал ни голода, ни холода.

Вода в лодке все прибывала. К счастью, совсем не было ветра. Но даже мелкая зыбь могла потопить ее.

Луна скрылась.

Жильят, согнувшись, долго ощупью искал место повреждения; вода заливала его выше пояса. Наконец он обнаружил дыру.

Во время шторма, в ту опасную минуту, когда ботик начал давать прогиб, задняя часть его крепкого киля задела за дно, и лодка довольно сильно

ударилась о скалу. Один из выступов Малого Дувра пробил правый борт.

К несчастью, пробоина была сделана, можно сказать, просто предательски, возле стыка двух футоксов, что и помешало Жильяту, ошеломленному шквалом, при беглом осмотре в темноте, в разгар бури, заметить беду.

Размеры пробоины внушали тревогу, однако, хотя сейчас она и была под водой, а все же находилась выше нормальной ватерлинии судна, и это обнадеживало Жильята.

В тот миг, когда был пробит борт, а волны яростно метались в проливе, ватерлиния непрестанно менялась, и вода проникла через отверстие в ботик. Под этим грузом лодка осела на несколько дюймов, и вес просочившейся воды удерживал пробоину под водой, даже когда волны улеглись. Отсюда неминуемая опасность. Уровень воды в лодке поднялся с шести до двадцати дюймов. Но если удастся заткнуть течь, можно будет вычерпать воду, а как только лодка опорожнится, пробоина покажется из воды, и тогда легко или по крайней мере возможно будет заняться починкой. Набор плотничьих инструментов Жильята был, как мы уже говорили, почти в исправности.

Но сколько до этого придется пережить со-

мнений! Сколько опасностей! Сколько роковых случайностей! Жильят слышал, как неумолимо бьет в борт вода, проникая в пролом. Малейший толчок, и все пойдет ко дну! Какое несчастье! Не поздно ли он спохватился?

Жильят осыпал себя горькими упреками. Он обязан был сразу же заметить, что судно получило повреждение. Шесть дюймов воды в ботике должны были предупредить его. Какая глупость отнести эти шесть дюймов за счет дождя и волн! Он укорял себя за то, что спал и ел, за то, что изнемог от усталости; он готов был обвинить себя даже в том, что была буря и ночь. Все случилось по его вине.

Суровые слова, которые он говорил себе, не замедляли его работы и не мешали обдумывать дальнейшие действия.

Пробоина найдена — это первый шаг; закрыть ее — второй. Больше ничего сейчас нельзя сделать. Плотничью работу под водой не производят.

Благоприятным обстоятельством являлось то, что лодка была пробита в промежутке между двумя цепями на правом борту, укреплявшими трубу машины. К этим цепям можно было подвязать край пластыря.

А вода все прибывала. Ее уровень превышал два фута.

Она была Жильяту выше колен.

VI. De profundis ad altum[35]

В запасных вещах на ботике нашелся довольно большой просмоленный брезент с длинными стропками по четырем углам.

Жильят взял брезент и, принайтовив его двумя стропками к двум кольцам цепей от груб со стороны пробоины, перебросил через борт. Брезент, расстелившись скатертью между Малым Дувром и лодкой, погрузился в волны. Напором воды, рвавшейся в лодку, его прижало к поврежденному борту. Чем сильнее нажимала вода, тем плотнее приставал брезент к лодке. Сама волна прилепила его к пробоине. Рана ботика была перевязана.

Полотнище просмоленной парусины закрыло доступ набегавшим волнам. В лодку больше не просачивалось ни капли воды.

Пробоина была закрыта, но не заделана.

То была только отсрочка.

---

[35] Примечания: 35

Из бездны в бездну *(лат.)*.

Жильят взял черпак и стал выливать воду из лодки. Давно пора было облегчить ее. Работая, он немного согрелся, но устал смертельно. Он был вынужден признать, что вряд ли доведет дело до конца и что ему не удастся вычерпать всю воду. Жильят почти не ел и не пил и испытывал унизительное чувство слабости.

Он измерял успех своей работы по тому, как понижался уровень воды, покрывавшей его колени. Она убывала медленно.

Кроме того, приток воды прекратился лишь на время. Зло было замаскировано, но не устранено. Брезент, вдавливаемый водой в пробоину, выпирал внутри лодки пузырем. Казалось, под парусиной спрятан кулак, пытающийся ее проткнуть. Крепкая просмоленная ткань сопротивлялась, но продолжала вздуваться и натягиваться; не было уверенности, что она устоит, в любую секунду пузырь мог лопнуть. Вторжение воды возобновилось бы.

В подобных случаях — экипажи судов, попавших в беду, хорошо это знают — единственное средство — шпиговка. Берут любые подвернувшиеся под руку тряпки, все, что на морском языке называется «старой парусиной», и засовывают их в пробоину, выталкивая вздувшийся опухолью

брезент.

Никакой клетневины у Жильята не было. Лоскутья и пакля, которые он собрал в своем складе, были уже пущены в дело или унесены бурей.

Впрочем, он нашел бы кое-какие остатки, пошарив в скалах. Ботик он облегчил настолько, что мог отлучиться на четверть часа; но как идти на поиски без огня? Стояла непроглядная тьма. Луна скрылась, — ничего, кроме черного, усеянного звездами неба. У Жильята не было ни сухого обрывка троса, чтобы сделать фитиль, ни сала на свечку, ни огня, чтобы ее зажечь, ни фонаря, чтобы предохранить ее от ветра. Ничего нельзя было разглядеть — ни в самом ботике, ни в ущелье. Слышался плеск воды вокруг поврежденной лодки, но пробоины нельзя было различить; только на ощупь Жильят убеждался, что натяжение брезента все увеличивается. В такой темноте невозможно было разыскать спасительные обрывки парусины и троса, разбросанные по камням. Как подобрать тряпье, когда и не разглядеть его? Жильят с грустью всматривался в темноту. Столько звезд, и хоть бы одна свеча!

Когда воды в лодке стало меньше, давление снаружи усилилось. Пузырь из брезента вздувался все больше и больше, совсем как нарыв, готовый

прорваться. Положение улучшилось лишь на время, а теперь оно вновь стало угрожающим.

Необходимо было заткнуть пробоину, и притом немедленно.

Но у Жильята осталась только одежда.

Как помнит читатель, он расстелил ее для просушки на выступах Малого Дувра.

Он принес ее и положил на борт лодки.

Взяв просмоленный плащ, он опустился на колени в воду и засунул его в пробоину, выталкивая наружу брезент и тем самым выжимая из пузыря воду. К плащу он добавил овчину, за ней последовала шерстяная рубаха, за рубахой — куртка. Все вошло туда.

На нем остались лишь матросские штаны, он снял их и тоже заложил в пробоину; пробка стала больше и прочнее. Итак, она была готова и казалась достаточно надежной.

Она выступила наружу из пролома вместе с облепившим ее брезентом. Вода, стремясь ворваться, давила на это препятствие, распластывала над пробоиной, что было весьма кстати, и тем укрепляла его. Это было нечто вроде давящей повязки.

Жильят вытолкнул изнутри только середину пузыря; вокруг пробоины и пробки остался

круглый парусиновый валик, прилегавший к ним особенно плотно, потому что его удерживали неровные края пролома. Пробоина была закрыта.

Но как все это ненадежно! Острые зазубрины, придерживавшие брезент, могут его прорвать, и через дыры хлынет вода. В темноте Жильят даже не заметил бы этого. Вряд ли пластырь продержится до утра. Теперь Жильята беспокоило иное, и тревога его все росла: он чувствовал, как иссякают его силы.

Он опять принялся выливать воду, но ослабевшие руки с трудом поднимали полный черпак. Жильят был раздет и дрожал от холода.

Он чувствовал приближение рокового конца.

Вдруг его осенила мысль, внушившая ему слабую надежду. Быть может, в открытом море появился парус? Рыбак, случайно заплывший в воды Дуврского рифа, мог бы прийти ему на выручку. Наступила минута, когда помощник стал просто необходим. Человек и фонарь — и все было бы спасено. Вдвоем легко вылить воду из лодки, а как только лодка освободится от жидкого балласта, она приподнимется до своей ватерлинии, пробоина выйдет из воды, починка станет делом выполнимым; пластырь будет немедленно

заменен доской из обшивки Дюранды, и, сняв временную перевязку, можно будет окончательно заделать пробоину. Иначе придется ждать до утра, ждать всю ночь! Опасное промедление, которое может стать гибельным. Жильят был в лихорадочном возбуждении. Если бы случайно показались огни какого-нибудь корабля, Жильят мог бы с вершины Большого Дувра подать ему сигнал. Погода стояла тихая, безветренная, море дремало; резкие движения человека на фоне звездного неба были бы замечены. Ни капитан судна, ни шкипер, плывя ночью близ Дуврских скал, не отводят от них подзорной трубы; делается это из предосторожности.

Жильят надеялся, что его увидят.

Он влез на разрушенный пароход, схватился за веревку и взобрался на Большой Дувр.

Ни одного паруса на горизонте, ни одного сигнального огня. Необозримое пустынное море.

Никакой надежды на помощь, никакой надежды выстоять в этом единоборстве.

Жильят почувствовал себя обезоруженным, чего до сих пор не испытывал ни разу.

Теперь он был во власти злого рока. Скоро он сам, и лодка, и машина Дюранды, несмотря на весь его труд, на все удачи, на все его мужество,

станут добычей бездны. Больше не осталось никаких средств борьбы; у него опустились руки. Как помешать начаться приливу, подняться воде, продолжаться ночи? Пластырь на пробоине — вот единственная точка опоры. Жильят выбился из сил; он и разделся донага, чтобы соорудить и закончить его; ни укрепить, ни улучшить его он уже не мог; все как было, так и останется; к несчастью, всем его усилиям положен конец. Сейчас море по своему усмотрению распоряжается повязкой, наспех наложенной на пробоину. Как поведет себя эта неодушевленная преграда? Теперь борется она, а не Жильят. Все зависит от этого тряпья, разум тут бессилен. Вздуется волна, и этого довольно, чтобы пролом открылся снова. Сильнее или слабее напор — в этом все дело.

Все должна решить слепая борьба двух механических величин. Отныне Жильят не мог ни помочь союзнику, ни остановить врага. Он стал лишь наблюдателем собственной жизни или собственной смерти. Место Жильята, который был воплощением предвидения, в самый страшный час заступили тупые силы противодействия.

Все ужасы и испытания, через которые прошел Жильят, были ничто в сравнении с этим.

Приплыв на Дуврский риф, он увидел, что окру-

жен, взят в тиски пустыней. Пустыня не только осаждала его, она на него наступала. Тысячи угроз сразу нависли над ним. Тут был ветер, готовый подуть; тут было море, готовое рычать. Невозможно заткнуть этот зев — ветер; невозможно обломать зубы этой пасти — морю. И, однако, он боролся; он, человек, сражался один на один с океаном; он схватился врукопашную с бурей.

Он подавлял в себе и другие тревоги, он справлялся и с другими напастями. Он сопротивлялся всем бедам, выпавшим на его долю. Ему пришлось строить без инструментов, таскать тяжести без помощника, решать задачи без знаний, есть и пить без запасов провизии, спать без постели и без крова.

На рифе, в этом трагическом застенке, его поочередно подвергали пыткам свирепые подручные природы — матери, когда ей угодно, и палача, когда ей вздумается.

Он победил одиночество, победил голод, победил жажду, победил холод, победил недомогание, победил усталость, победил сон. Ему преграждали путь сплотившиеся против него препятствия. После лишений — стихия; после прилива — шторм; после бури — спрут; после чудовищ — привидение.

Мрачная ирония конца. Недаром из темной пещеры того рифа, который Жильят рассчитывал покинуть победителем, смеясь глядел на него мертвый Клюбен.

Призрак издевался и был прав. Жильят видел свою гибель, видел, что сам он мертв, как Клюбен.

Стужа, голод, изнеможение, разборка поврежденного судна, спуск машины, бури равноденствия, ветер, гроза, спрут — все это ничто перед пробоиной. Можно было найти защиту от всего, и Жильят находил ее: против холода — огонь, против голода — ракушки на скалах, против жажды — дождь, против трудностей спасения машины — мастерство и мужество, против прилива и бури — волнорез, против спрута — нож. Против течи в лодке — ничего.

То был зловещий прощальный привет урагана. Последняя схватка, предательская вылазка, исподтишка подготовленное нападение побежденного на победителя. Убегающая буря пустила в него стрелу. Отступая, она оборачивалась к врагу и продолжала разить. То был удар из-за угла, нанесенный бездной.

Человек поборол бурю; но как бороться с просачивающейся водой?

Если пробка не выдержит, если пробоина откроется, ничто не поможет: лодка пойдет ко дну. Повязка соскользнет с кровоточащей раны. А стоит ботику с таким грузом, как машина, очутиться на дне, поднять его будет невозможно. Два месяца благородных титанических усилий потрачены даром. Сызнова начинать немыслимо. У Жильята не было больше ни кузницы, ни строительного материала. Быть может, с рассветом он увидит, как все плоды его трудов медленно и безвозвратно погрузятся в бездну.

Как страшно чувствовать под собой темную пучину!

Бездна тянула его к себе.

Море поглотит лодку, и ему останется одно: умереть, как тот, кто, потерпев кораблекрушение, умер от голода и холода на скале «Человек».

Два долгих месяца духи и ангелы незримого мира, витавшие здесь, видели два вражеских стана: в одном — беспредельные пространства, волны, ветры, молнии, силы стихии, в другом — человек; в одном — море, в другом — душа; в одном — бесконечность, в другом — атом.

И сражение произошло.

Но, быть может, эта чудесная победа напрасна.

Неслыханный героизм вылился в беспомощ-

ность, закончился отчаянием ужасный бой, принятый человеком, битва между Ничем и Всем, Илиада, воплощенная в едином герое.

Жильят в смятении смотрел вдаль.

На нем не было даже одежды. Нагой стоял он перед беспредельностью.

И вот, подавленный неведомой громадой, не зная больше, чего от него хотят, перед лицом неумолимой тьмы, в грохоте океана, волн, прибоя, клокочущих валов, шквалов, под туманами, на ветру, во власти беспредельной рассеянной силы, под таинственной небесной твердью — царством крыльев, светил и умерших миров, перед волей, которая, быть может, правит безмерной мощью стихий, видя вокруг себя и под собой океан, а над головой созвездия и бездонное небо, Жильят отказался от борьбы, опустился на скалу, лег навзничь, лицом к звездам, и, побежденный, сложив руки перед грозной глубиной, крикнул в бесконечность: «Пощади!»

Поверженный на землю беспредельностью, он взывал к ней.

Он был один на скале, ночью, посреди моря, изнемогающий, словно пораженный громом, нагой, как гладиатор на арене цирка; только вместо цирка перед ним была бездна, вместо

хищных зверей — мрак, вместо глаз толпы — око неведомого, вместо весталок — звезды, вместо цезаря — бог.

Ему казалось, будто он растворяется в холоде, в безнадежности, в мольбе, во мраке, и глаза его сомкнулись.

VII. Неведомое слышит

Протекло несколько часов.

Взошло ослепительное солнце.

Его первый луч скользнул по неподвижной человеческой фигуре на вершине Большого Дувра. То был Жильят.

Он по-прежнему лежал на скале.

Окоченевшее и застывшее нагое тело уже не дрожало. Сомкнутые веки были мертвенно бледны. И трудно было бы сказать, живой это человек или труп.

Казалось, солнце разглядывало его.

Быть может, обнаженный человек и не был мертв, но смерть стояла рядом, одно дуновенье холодного ветра могло пресечь его жизнь.

И ветер подул, но теплый, живительный; то было ласковое веянье мая.

А солнце поднималось в глубокой синеве неба;

его косые лучи загорелись пурпуром. Свет стал теплым. И это тепло окутало Жильята.

Он не шевелился. Если он и дышал, то дыханье его было таким слабым, что лишь едва затуманило бы зеркало.

Солнце всходило все выше, лучи его все отвесней падали на Жильята. Ветер, вначале только теплый, теперь обдавал зноем.

Окаменевшее нагое тело по-прежнему было недвижно, но кожа чуть порозовела.

Солнце, приближаясь к зениту, бросило прямой луч на площадку Дувра. С высоты щедро пролился свет; он стал еще ярче, отразившись в зеркальной глади моря; согрелась скала и отогрела человека.

Из груди Жильята вырвался вздох.

Он был жив.

Солнце продолжало нежить его в своих жгучих объятиях. Ветер, теперь уже летний, южный ветер, веял на Жильята теплым дыханьем.

Жильят пошевелился.

Невыразимо было спокойствие моря. Оно казалось кормилицей, тихонько убаюкивающей ребенка. Волны словно укачивали риф.

Морские птицы, знавшие Жильята, тревожно летали над ним. В их тревоге не было и следа прежнего слепого страха перед ним. Трогатель-

ное, почти братское беспокойство чувствовалось в ней. Слышались их негромкие крики. Птицы будто звали его. Чайка, видимо, привыкшая к Жильяту, опустилась возле него, совсем как ручная. Она словно что-то говорила ему. Но он, казалось, ничего не слышал. Она вспорхнула ему на плечо и осторожно клюнула в губы.

Жильят открыл глаза.

Довольные и вместе с тем испуганные, птицы улетели.

Жильят вскочил, потянулся, как пробужденный лев, и, подбежав к краю площадки, заглянул вниз, в ущелье между Дуврами.

Лодка стояла на месте невредимая. Пластырь выдержал: значит, море обошлось с ним не слишком сурово.

Все было спасено.

Жильят уже не чувствовал усталости. Силы его восстановились. Обморок оказался глубоким сном.

Он вычерпал воду из лодки и когда облегчил ее таким образом, место повреждения поднялось выше ватерлинии; затем он оделся, напился, поел и почувствовал прилив бодрости.

Оказалось, что пробоина, когда он рассмотрел ее при свете, требовала больше работы, чем он

предполагал. Это было довольно серьезное повреждение. Жильят потратил почти весь день на починку ботика.

Утром, на заре, разобрав заграждение и открыв выход из теснины, одетый в лохмотья, победившие волну, затянутый в пояс Клюбена с семьюдесятью пятью тысячами франков, Жильят, стоя возле спасенной машины на починенной лодке, подгоняемой попутным ветром по прекрасному, спокойному морю, покинул Дуврский риф.

Он взял курс на Гернсей.

Если бы на скалах в это время очутился какой-нибудь человек, то он услышал бы, как, отплывая от рифа, Жильят вполголоса затянул песенку Славный Данди.

Часть третья
Дерюшетта

Книга первая
Ночь и луна
I. Портовый колокол

Теперь Сен-Сансон почти город; сорок лет назад он был почти деревней.

Когда наступала весна и вечера становились короче, люди не засиживались допоздна и отходили ко сну, чуть стемнеет. Сен-Сансон был старинным приходом, сохранившим обычай давать сигнал «тушения огня», и там рано задували свечи. Жители ложились спать и вставали вместе с солнцем. Старые нормандские деревни переняли порядки курятников.

Добавим, что жители Сен-Сансона, не считая нескольких богатых горожан, в большинстве случаев — каменоломы и плотники. В порту Сен-Сансона чинят суда; здесь целый день ломают камень или обтесывают бревна; тут стучит молоток, там — топор. Беспрерывно обрабатывается дубовый лес и гранит. К вечеру люди падают от усталости и засыпают, как убитые. Крепок сон после тяжелой работы.

Как-то вечером, в начале мая, месс Летьери,

поглядев на месяц, плывший между деревьями, и прислушавшись к шагам Дерюшетты, которая гуляла одна по саду, объятому вечерней прохладой, вернулся в свою комнату, выходившую окнами на порт, и лег спать. Дус и Грас уже уснули. Все в доме спало, кроме Дерюшетты. Все спало и в Сен-Сансоне. Двери и ставни были всюду заперты. На улице ни одного прохожего. Редкие огоньки, напоминавшие мигающие глаза, готовые закрыться, кое-где окрашивали в красный цвет оконца под крышами, возвещая о том, что и слуги укладываются спать. Уже давно пробило девять часов на древней романской колокольне, увитой плющом и делившей с церковью Ссн-Брелад, что на Джерсее, честь носить одну и ту же примечательную дату из четырех единиц 1111, означающую *тысяча сто одиннадцатый год.*

Популярность месса Летьери зависела от успеха его предприятия. Успех сменился неудачей, и вокруг образовалась пустота. Надо думать, что несчастье — прилипчивая болезнь, что неудачники поражены чумой, так быстро попадают они в карантин. Сынки состоятельных родителей стали избегать Дерюшетту. Разобщенность «Приюта неустрашимых» с городом теперь была так велика, что в доме даже не знали о крупном

событии, взбудоражившем в этот день весь Сен-Сансон. Приходский священник, его преподобие Эбенезер Кодре, стал богачом. Недавно в Лондоне скончался его дядя, почтенный декан Сент-Асафа. Известие привез сегодня почтовый шлюп «Кашмир», прибывший из Англии в порт Сен-Пьер; его мачта виднелась на рейде. «Кашмир» должен был отправиться обратно в Саутгемптон завтра в полдень и, как говорили, увезти священника, срочно вызванного в Англию, чтобы присутствовать при официальном вскрытии духовного завещания и для прочих неотложных дел, связанных с получением большого наследства. Весь день Сен-Сансон гудел от пересудов: «Кашмир», его преподобие Кодре, его покойный дядюшка, богатство, отъезд молодого священника, несомненное его повышение в будущем — все это было предметом бесконечных толков. Один лишь «Приют неустрашимых», до которого так и не дошло известие, хранил безмолвие.

Месс Летьери бросился на свою подвесную койку, не раздеваясь. После катастрофы с Дюрандой улечься на койке было его единственной отрадой. Растянуться на своем одре — средство, к которому прибегают все узники, а месс Летьери стал узником собственного горя. Он ложился, и это было

для него отдохновением, передышкой, отрешением от дум. Спал ли он? Нет. Бодрствовал? Нет. Два с половиной месяца месс Летьери жил, как лунатик. Он еще не пришел в себя. Он находился в том сложном, неопределенном состоянии, которое знакомо людям, перенесшим тяжелый удар. Его раздумье не было мыслью, сон не был отдыхом. Днем он точно и не просыпался, ночью словно и не засыпал. Днем он был на ногах, ночью лежал — только и всего. Улегшись на свою койку, он ненадолго забывался, — он называл это сном; над ним витали и в нем самом словно гнездились химеры; ночной туман, полный неясных образов, обволакивал его мозг: император Наполеон диктовал ему свои мемуары, появлялось несколько Дерюшетт, какие-то странные птицы сидели на деревьях, улицы Лон-ле-Сонье превращались в змей. Кошмары были отсрочкой, данной отчаянием. Старик проводил ночи в бреду, а дни в дремоте.

Иногда он оставался все послеобеденное время в своей комнате, которая, как уже упоминалось, выходила окнами на гавань; опершись локтями на подоконник, понурив голову, сжимая лоб руками, он сидел неподвижно, повернувшись спиной ко всему миру и устремив взгляд на зна-

комое железное кольцо, ввинченное в стену дома в нескольких футах от окошка, — к нему некогда пришвартовывалась Дюранда. Он смотрел на ржавчину, начинавшую покрывать кольцо.

Жизнь месса Летьери превратилась в бессмысленное прозябание.

Это удел даже самых мужественных людей, если они лишились идеи, одушевлявшей их. Это следствие бесцельного существования. Наша жизнь — путешествие, идея — путеводитель. Нет путеводителя, и все останавливается. Цель утрачена, и сил как не бывало. Судьба обладает неведомой неограниченной властью. Она касается своим жезлом даже нашего внутреннего «я». Отчаяние — это опустошенность души. Только великий человек может устоять перед ним. И то не всегда.

Месс Летьери постоянно размышлял, если только размышлять означает погружаться в глубь какой-то мрачной пропасти. Порой у него вырывались скорбные слова: «Одно остается: подать туда, в небеса, прошение о чистой отставке».

Отметим противоречие в его характере, сложном, как море, чьим творением, так сказать, и был Летьери. Он никогда не молился.

В беспомощности есть своя сила. Слепой перед

лицом природы, слепой перед лицом судьбы, человек в самом бессилии своем нашел точку опоры — молитву.

Человек ищет помощи у страха, просит о поддержке собственную робость; душевное смятение — это совет преклонить колени.

Молитва — могучая сила души, сила непостижимая. Молитва обращается к великодушию мрака; молитва взывает к тайне, сама подобная тайне, и мнится, что перед неотступной, неустанной мольбой не может устоять Неведомое.

Проблеск надежды — это утешение.

Но Летьери не молился.

Когда он жил счастливо, Бог существовал для него, можно сказать, во плоти; Летьери беседовал с Ним, давал Ему честное слово, чуть ли не обменивался с Ним время от времени рукопожатием. Но в несчастье — такое явление отнюдь не редкость — Бог скрылся от Летьери. Это случается с теми, кто придумывает себе милосердного Бога, похожего на доброго старичка.

Теперь Летьери, в своем душевном состоянии, четко различал лишь одно: улыбку Дерюшетты. Вне ее, этой улыбки, все было тьмой.

С некоторых пор, конечно из-за потери Дюранды, по-своему отозвавшейся и на Дерюшетте,

очаровательная улыбка появлялась все реже. Дерюшетта была очень грустной. Исчезла ее детская шаловливость и резвость птички. Когда на рассвете раздавался пушечный выстрел, Дерюшетта больше не приветствовала восходящее солнце реверансом и словами: «Бум! Вы уже здесь? Милости просим!» Иногда у нее был такой серьезный вид, что жаль было смотреть на это нежное создание. Хоть Дерюшетта и старалась улыбаться мессу Летьери, старалась развлечь его, но ее веселость тускнела с каждым днем и словно покрывалась пылью, как крылышко бабочки, в тельце которой вонзили булавку. Прибавим, что опечаленная ли печалью дяди, — ибо существует горе отраженное, — или по каким-нибудь другим причинам, Дерюшетта стала очень богомольной. Во времена прежнего приходского священника, Жакмена Эрода, как известно, она бывала в церкви не больше четырех раз в год. Теперь она сделалась ее ревностной посетительницей. Она не пропускала ни одной службы ни по воскресеньям, ни по четвергам. Набожные прихожане с удовлетворением замечали в ней перемену: это большое счастье, когда девушка бежит от мужчин-искусителей и обращается к Богу.

Тогда бедным родителям по крайней мере нече-

го опасаться за дочерей.

Каждый вечер, если позволяла погода, Дерюшетта гуляла часок-другой в саду «Приюта неустрашимых». Она всегда бродила там одна и была почти так же задумчива, как месс Летьери. Дерюшетта ложилась спать позже всех. Это не мешало Грас и Дус подсматривать за ней; они повиновались прирожденному влечению, свойственному слугам: соглядатайство рассеивает скуку подневольной работы.

От месса Летьери, сознание которого было как бы затуманено, ускользнули эти небольшие перемены в привычках Дерюшетты. К тому же он не был рожден для роли дуэньи. Он даже не замечал, с какой аккуратностью Дерюшетта посещает церковные службы. Его предубеждение против церкви и духовенства было таким упорным, что вряд ли его порадовало бы ее усердие.

Это не значит, что душевное его состояние не могло измениться. Горе — это туча, и оно меняет свою форму.

Мы уже говорили, что иной раз и сильные души бывают оглушены внезапным несчастьем, но все же не до конца. Человек мужественный, подобно Летьери, через некоторое время приходит в себя. У отчаяния свои восходящие ступени.

Сначала человек подавлен, затем удручен, потом его охватывает уныние, а оно ведет к меланхолии. Меланхолия — это сумерки. Там страданье растворяется в отрадной грусти.

Меланхолия — это счастье в печали.

Однако такие элегические переходы были несвойственны Летьери: особенности его натуры и характер его несчастья не допускали этих оттенков чувства. И в ту пору, когда мы вновь возвратились к нему, первый приступ отчаяния стал как будто ослабевать; он по-прежнему грустил, но в последние дни казался не таким безучастным; он был все так же молчалив, но не угрюм; к нему до какой-то степени вернулась способность воспринимать факты и события: он начинал испытывать действие того удивительного явления, которое можно было бы назвать возвратом к действительности.

Так, днем, сидя в нижней зале, он не вслушивался в разговоры, но уже слышал их. Однажды утром Грас прибежала к Дерюшетте и с торжествующим видом сообщила, что месс Летьери сорвал бандероль с газеты.

Даже неполное восприятие действительности — само по себе очень хороший признак. Это — выздоровление. Большое несчастье оглушает.

И такое неполное восприятие спасает человека. Сначала подобное улучшение представляется ухудшением. Прежде забытье смягчало скорбь; глаза человека застилал туман; человек почти ничего не чувствовал; теперь же он видит ясно, ничто от него не ускользает, все причиняет боль. Рана открывается. Всякий пустяк обостряет муку. Все вновь оживает в памяти. А вспомнить все — значит скорбеть обо всем. В этом возврате к действительности есть привкус горечи. Человеку как будто стало лучше, но и тяжелее. Вот что испытывал Летьери. Он отдавал себе отчет в своих страданиях.

Неожиданное событие вернуло его к жизни.

Расскажем, что это было за событие.

Как-то после полудня, 15 или 20 апреля, в двери нижней залы «Приюта неустрашимых» постучались два раза, — так обычно стучался почтальон. Дус открыла. В самом деле, принесли письмо.

Письмо пришло с моря. Оно было адресовано мессу Летьери. На почтовом штемпеле стояло «Лисабон».

Дус отнесла письмо мессу Летьери, тот сидел запершись у себя в комнате. Он взял письмо и, даже не взглянув на него, машинально положил на стол.

Письмо провалялось нераспечатанным почти целую неделю.

Случ илось так, что однажды утром Дус спросила у месса Летьери:

— Сударь! Не смахнуть ли пыль с письма?

Летьери как будто проснулся.

— Да, надо бы, — сказал он.

И распечатал письмо.

Он прочел следующее:

«В море, 10 сего марта.

Мессу Летьери, в Сен-Сансон.

Известие, которое я вам сообщу, доставит вам удовольствие.

Я плыву на “Тамолипасе”, нахожусь на пути к Невозвращению. В экипаже судна есть матрос Айе Тостевен с Гернсея, который вернется домой и кое о чем вам расскажет. Нам встретился корабль “Эрнан Кортес”, который идет в Лисабон; пользуюсь случаем и пересылаю вам это письмо.

Вы будете удивлены. Я человек честный.

Такой же честный, как сьер Клюбен.

Надо думать, вы уже знаете, что произо-

шло; однако будет, пожалуй, не лишним, если и я сообщу вам об этом.

Дело вот в чем.

Я вам вернул ваши капиталы.

Я сделал у вас не совсем приличным способом заем на сумму в пятьдесят тысяч франков. Перед отъездом из Сен-Мало я вручил вашему доверенному, сьеру Клюбену, три банковых билета по тысяче фунтов каждый, что составляет семьдесят пять тысяч франков. Полагаю, вы сочтете эту сумму вполне достаточным возмещением.

Сьер Клюбен горячо отстаивал ваши интересы и получил ваши деньги. Мне показалось, что он чересчур усердствовал. Вот почему я и предупреждаю вас.

Ваш прежний доверенный

Рантен

P.S. У сьера Клюбена был револьвер, поэтому я не взял расписки».

Дотроньтесь до электрического ската или до заряженной лейденской банки, и вы ощутите то, что почувствовал Летьери, читая это письмо.

В конверте, на который он сначала не обратил внимания, в листке бумаги, сложенном вчетверо, заключалось нечто потрясающее.

Он узнал почерк, он узнал подпись. А содержания письма он сначала совсем не понял.

Потрясение было настолько сильным, что оно, так сказать, водворило его ум на место.

Рантен вручил Клюбену семьдесят пять тысяч франков! Этот необычайный, загадочный факт оказался полезной встряской: он принудил мозг Летьери работать. Строить предположения — здоровое занятие для мысли. У Летьери пробудилась способность рассуждать и делать логические выводы.

С некоторых пор общественное мнение Гернсея стало судить и рядить о Клюбене, об этом честном человеке, который столько лет пользовался общим уважением. Люди расспрашивали о нем друг друга, начинали сомневаться, бились об заклад. Странный свет проливался на его личность. Облик Клюбена начинал проясняться, точнее говоря — окрашиваться в черное.

В Сен-Мало было начато судебное следствие по поводу исчезновения берегового сторожа номер 619. Проницательное правосудие свернуло на ложный путь — это нередко случается.

Следователи исходили из предположения, что Зуэла сманил сторожа и увез его на «Тамолипасе» в Чили. Хитроумная гипотеза повлекла за собой немало заблуждений. По близорукости правосудие даже не заметило Рантена. Но попутно оно нечаянно напало на другие следы. Темное дело осложнилось. Выяснили, что к загадке примешан Клюбен. Было установлено, что отплытие «Тамолипаса» совпало с гибелью Дюранды; быть может, здесь таилась и прямая связь. В кабачке у Динанских ворот, где, как полагал Клюбен, он никому не был известен, его, однако, узнали. Кабатчик показал: «Клюбен купил бутылку коньяку». Для кого? Оружейник с улицы Сен-Венсан показал: «Клюбен купил револьвер». Для чего? Содержатель «Гостиницы Жана» показал: «У Клюбена бывали необъяснимые отлучки». Капитан Жертре-Габуро показал: «Клюбен непременно хотел отплыть, хотя его и предупреждали, да он сам знал, что туман застигнет его в пути». Экипаж Дюранды показал: «Товара на пароходе почти не было, и погрузка была произведена небрежно». Это становится понятным, если капитан задумал погубить пароход. Пассажир гернсеец показал: «Клюбен думал, что потерпел крушение на скалах Гануа». Тортвальцы показали: «Клюбен

прибыл в Тортваль за несколько дней до гибели Дюранды и направился к Пленмону, расположенному неподалеку от Гануа. Он нес саквояж. Туда он пошел с саквояжем, а вернулся с пустыми руками». Мальчишки, разорители гнезд, дали свои показания; их рассказ, пожалуй, мог иметь отношение к исчезнувшему Клюбену, при условии, если напугавшие их призраки были просто контрабандистами. Наконец, дал показания и сам пленмонский заколдованный дом; люди, решившие докопаться до истины, проникли в дом — и что же там нашли? Саквояж Клюбена. Тортвальская полиция вскрыла его. В нем обнаружили запас провизии, подзорную трубу, хронометр, мужское платье и белье с метками Клюбена. В толках жителей Сен-Мало и Гернсея все это объединилось и в конце концов предстало как злой умысел шкипера против судовладельца. Сопоставлялось все, что было в этой истории неясным: странное невнимание к дружеским советам, решение плыть, несмотря на предполагаемый туман, подозрительная небрежность при погрузке, бутылка коньяку, пьяный рулевой, подмена капитаном рулевого, более чем неловкий поворот руля. Подвиг Клюбена, оставшегося на пароходе, потерпевшем крушение, превращался

в мошенническую уловку. Впрочем, Клюбен был сам обманут рифом. Если допустить злой умысел, то станет понятно, почему он выбрал именно утесы Гануа — оттуда легко доплыть до берега: понятно посещение заколдованного дома — там можно дождаться удобной минуты для побега. Саквояж, приготовленный на случай надобности, был вещественным тому доказательством. Но что за нить связывала это происшествие с другим, с исчезновением берегового сторожа, так и не удалось уловить. Чувствовалось, что он имел какое-то отношение к этому делу и больше ничего. И все же сторож номер 619, видимо, сыграл роль жертвы в какой-то трагедии. Может быть. Клюбен и не выступал в ней, но, несомненно, прятался за кулисами.

Не все, впрочем, объяснялось злым умыслом. Так, револьвер остался без употребления. Он, очевидно, был предназначен для чего-то другого.

Чутье у народа тонкое и верное. Общественный инстинкт превосходно восстанавливает истину по обрывкам и крупицам сведений. Однако факты, говорившие о возможности злого умысла, внушали серьезное сомнение.

Все как будто было установлено, выяснено, но не хватало главного.

Кто погубит пароход из прихоти? Кто подвергнет себя всем опасным случайностям побега — поплывет навстречу туману, выбросится на риф, пустится вплавь до страшного убежища — без выгоды для себя? Но какую выгоду искал Клюбен?

Действия его были явны, причины же их скрыты.

У многих это вызвало сомнение. Там, где нет побудительной причины, казалось, нет и действия.

Тут был существенный пробел.

Теперь его восполнило письмо Рантена.

Письмо открыло причину поступков Клюбена. Этой причиной была кража семидесяти пяти тысяч франков.

Рантен выступил в роли бога из античной трагедии. Он спустился с облака с горящим факелом в руке.

Его письмо пролило свет на дело.

Оно все разъясняло и вдобавок оповещало о свидетеле гернсейце Айе Тостевене.

Оно же самым определенным образом указывало на назначение револьвера.

Без сомнения, Рантену все было доподлинно известно. Его письмо давало точное представление о происшедшем.

Не осталось никаких обстоятельств, оправдывавших злодейский поступок Клюбена. Он задумал крушение парохода; доказательством служил саквояж с запасом провизии, припрятанной им в доме привидений. И если даже допустить, что крушение было случайным и Клюбен в этом неповинен, то в последнюю минуту, решившись пожертвовать собой и остаться на гибнущем судне, не обязан ли он был отдать спасающимся в лодке пассажирам семьдесят пять тысяч франков для передачи Летьери? Истина открылась. Но что же произошло с Клюбеном? По всей вероятности, он стал жертвой собственной оплошности. Он, конечно, погиб на Дуврском рифе.

Все эти предположения, возникавшие в голове Летьери и соответствовавшие, как видит читатель, действительности, несколько дней занимали его мысли. Письмо Рантена оказало ему услугу, заставив думать. Сначала он был поражен неожиданностью, затем сделал над собою усилие и стал размышлять. А потом еще более тяжкое усилие — и он стал наводить справки. Ему пришлось беседовать с людьми и даже искать этой возможности. Через неделю к нему до некоторой степени вернулся здравый смысл, его

рассуждения вновь обрели последовательность, он почти поправился. Он преодолел свое душевное смятение.

Если допустить, что месс Летьери питал надежду когда-нибудь получить свои деньги, то письмо Рантена навсегда развеяло ее.

Письмо добавило к катастрофе Дюранды новую беду — потерю семидесяти пяти тысяч франков. Оно снова сделало его хозяином исчезнувших денег лишь для того, чтобы он сильнее почувствовал их утрату. Это письмо заставило Летьери понять весь ужас его разорения.

Вот источник его новой, невообразимо острой боли. Впервые за два с половиной месяца пришли тревожные мысли о доме, о том, что ждет впереди и что надобно изменить в прежнем укладе жизни. Мелкие заботы, которые колют множеством шипов, пожалуй, хуже отчаяния. Переносить несчастье в будничных его проявлениях, оспаривать шаг за шагом у совершившегося факта захваченную им территорию — невыносимо. Можно устоять перед лавиной несчастья, но не перед поднявшейся при этом пылью. Горе во всей своей совокупности подавляет, а частности терзают. Катастрофа сначала сразила вас, а потом стала издеваться над вами.

Унижение усиливает удар. Это второе поражение вдобавок к первому, и поражение постыдное. Человек спускается еще ступенькой ниже в небытие. После савана — лохмотья.

Нет печальнее дум, чем думы о постепенном упадке.

Вы разорены — что может быть проще? Молниеносный удар, жестокость судьбы, непоправимая катастрофа. Пусть так. Надо смириться. Всему конец. Человек разорен. Ничего не поделаешь, он мертв. Да вовсе нет. Он жив. На другой же день он замечает это. По каким признакам? По булавочным уколам. Такой-то, проходя мимо, не поклонился; посыпались дождем счета из лавок; вон один из недругов посмеивается. Может быть, он смеется над последним каламбуром Арналя, однако этот каламбур не казался бы ему таким остроумным, если бы вы не разорились. Даже в равнодушном взгляде, брошенном на вас, вы читаете мысль о своем ничтожестве; люди, которых вы приглашали к обеду, теперь говорят, что три блюда за вашим столом были расточительством; ваши недостатки бьют всем в глаза; неблагодарные, которым больше нечего ожидать от вас, принимают высокомерный вид; глупцы, оказывается, предвидели то, что с вами случилось;

злые вас чернят; вас жалеют те, кто несчастнее вас. А ко всему этому — сотни раздражающих мелочей, они вызывают уже не слезы, а отвращение. Вы пили вино, теперь пьете сидр. Две служанки? Хватит с вас и одной. Придется вторую рассчитать и на оставшуюся взвалить всю работу. Слишком много цветов в саду, лучше посадить картофель. Фрукты посылались друзьям, придется их продавать на рынке. О бедных нечего и думать, когда сам стал бедняком. А наряды — вот мучительный вопрос! Что за пытка отказывать женщине в какой-нибудь ленточке! Ту, что дарит вас красотой, лишить украшений! Уподобиться скупцу! Она может сказать вам: «Как, вы убрали цветы из моего сада, а теперь убираете их с моей шляпы?» Увы! Из-за вас она одевается в старые, полинявшие платья! За семейным столом царит безмолвие. Вам кажется, что все против вас. Лица любимых озабоченны. Вот что такое постепенный упадок. Каждый день смерти подобен. Пасть — это еще не так страшно, это значит мгновенно сгореть в раскаленном горниле. Опускаться все ниже — это значит сгорать на медленном огне.

Крушение — это Ватерлоо; постепенное уничтожение — остров Св. Елены. Рок, воплощенный в Веллингтоне, хранит еще некоторые черты до-

стоинства, но как он гадок, когда превращается в Гудсона Лоу! Такой жребий унизителен. Человек, принудивший к миру в Кампоформио, ссорится из-за пары шелковых чулок. Унижение Наполеона унижает Англию.

Через эти две фазы — Ватерлоо и остров Св. Елены, уменьшенные соответственно масштабу жизни буржуа, — проходит всякий разорившийся человек.

В тот вечер, о котором мы говорили, — один из первых майских вечеров, — Летьери, не мешая Дерюшетте бродить по саду при лунном сиянии, лег спать в еще более мрачном расположении духа, чем всегда.

Все эти назойливые и досадные мелочи, сопутствующие разорению, все эти жалкие заботы, сначала только докучные, а потом повергающие в уныние, приходили ему на ум. Несносное нагромождение житейских пустяков. Месс Летьери чувствовал, что положение его непоправимо. Что делать? Куда деваться? На какие жертвы обречь Дерюшетту? Кого рассчитать — Дус или Грас? Не продать ли «Приют неустрашимых»? Не покинуть ли остров? Стать ничтожеством там, где ты был всемогущ, — унижение поистине невыносимое.

И подумать только, что всему конец! Вспоминать рейсы, соединявшие Францию с архипелагом, вторники — дни отправления парохода, пятницы — дни возвращения, толпу на набережной, огромные грузы, крупные дела, процветанье, прямой превосходный путь сообщения, машину, послушную воле человека, мощный котел, дым из трубы, всю эту исчезнувшую быль! Пароход — усовершенствованный компас; компас указывает прямой путь, пар ему следует. Один указывает, другой исполняет. Где-то она, его Дюранда, великолепная и божественная Дюранда, покорительница моря, королева, сделавшая его королем? Быть в своем краю олицетворением идеи, прогресса, преобразователем — и отказаться, отступиться от всего, исчезнуть, стать посмешищем! Превратиться в пустой мешок, в котором прежде кое-что было. Стать воплощением прошлого, после того как был воплощением будущего! Дожить до высокомерной жалости глупцов! Видеть торжество рутины, косности, дедовских обычаев, себялюбия, невежества! Видеть, как возобновилась бестолковая суета допотопных парусников, как они ковыляют взад и вперед по волнам Ла-Манша! Видеть эту молодящуюся рухлядь! Потерять все в жизни! Быть

светочем и померкнуть! А как хороша была на воде величавая труба, этот чудесный цилиндр, этот столб с капителью из дыма, эта колонна, более величественная, чем Вандомская, которая служит пьедесталом только для одного человека, тогда как первая служит прогрессу! Она усмиряла океан. Она вселяла чувство уверенности посреди открытого моря! Ее видели все — и на маленьком острове, и в маленьком порту, и в маленьком Сен-Сансоне. Да, все ее видели! Увы! Ее видели, но уже не увидят вовек.

Скорбные думы неотступно терзали старика Летьери, Порою мысль точно разражается рыданьями. Быть может, никогда еще с такою горечью не вспоминал он о своей потере. Но за острым приступом горя наступает отупение. Устав от бремени печали, Летьери задремал.

Часа два он лежал с закрытыми глазами; им владело лихорадочное возбуждение, он почти не спал и о многом передумал. За таким внешним оцепенением скрывается тайная изнуряющая работа мозга. Среди ночи, немного раньше, а может быть, и позже полуночи, он стряхнул с себя дремоту. Он очнулся, открыл глаза, и прямо перед ним, в окне, возникло поразительное видение.

За окном что-то чернело. Что-то сверхъесте-

ственное. Пароходная труба!

Месс Летьери сразу поднялся и сел на своем ложе. Подвесная койка закачалась, будто в бурю на судне. Он всмотрелся. В окно заглядывало привидение. Порт, словно вставленный в рамку, был залит лунным светом, и на светлом фоне неба вырисовывался чудесный силуэт, прямой, округлый и черный.

Да, это была пароходная труба.

Летьери стремительно соскочил с койки, подбежал к окошку, поднял раму, перевесился через подоконник и узнал ее.

Перед ним была труба Дюранды.

Она стояла на прежнем месте.

Четыре цепи, прикрепленные к бортам судна, поддерживали трубу, а под ней можно было различить очертания какой-то темной массы.

Летьери попятился и тяжело опустился на койку, спиной к окну.

Обернувшись, он снова увидел тот же призрак.

Он кинулся к двери и через минуту уже был на набережной с зажженным фонарем в руках.

К старому кольцу причала Дюранды была привязана лодка, в которой, ближе к корме, прямо перед окном «Приюта неустрашимых» громоздилась какая-то глыба; над ней высилась прямая

труба. Нос лодки стоял вровень с набережной, чуть выступая за угол каменной стены.

В лодке никого не оказалось.

Только одна такая лодка и была на Гернсее, все знали ее приметы. То был голландский ботик.

Летьери прыгнул в лодку и подбежал к темной глыбе, которая виднелась за мачтой. То была машина.

Она тут, вся как есть, цела и невредима, и прочно сидит на чугунной плите. Перегородки в котле не тронуты, коленчатый вал стоймя привязан к котлу, нагнетательный насос на своем месте; все налицо.

Летьери внимательно оглядел машину.

Фонарь и луна, помогая друг другу, светили ему.

Летьери произвел смотр всему механизму.

Он увидел два ящика, стоявшие в стороне, и перевел взгляд на вал.

Он вошел в каюту. Она была пуста.

Он возвратился к машине и ощупал ее. Опустился на колени и засунул голову в котел, чтобы посмотреть внутрь.

Он поставил в топку фонарь; огонь сразу осветил весь механизм и создал дивную иллюзию: казалось, машина разводит пары.

Летьери разразился хохотом и, выпрямившись, не отводя от машины глаз, закричал, протягивая руки к трубе: «Помогите!»

Портовый колокол висел на пристани, в нескольких шагах от него. Летьери подбежал к колоколу и, ухватив цепь, принялся звонить изо всех сил.

II. Снова портовый колокол

А случилось вот что. После благополучного плаванья, хоть и несколько затянувшегося из-за того, что ботик был перегружен, Жильят возвратился в Сен-Сансон. Было около десяти часов вечера.

Жильят хорошо рассчитал время. Прилив нарастал. Вода поднялась, светила луна; можно было войти в гавань.

Маленький порт спал. На якоре стояло несколько судов с убранными парусами, без сигнальных фонарей. Подальше, на стапельной площадке, виднелись суда, поднятые из воды для починки. Над обшивкой, прорубленной местами, торчали согнутые концы обнаженного набора корабля, и эти большие корпуса без мачт напоминали мертвых жуков, перевернутых на спину лапками вверх.

Пройдя узкий вход в гавань, Жильят внимательно оглядел порт и набережную. Света нигде не было; не было его и в «Приюте неустрашимых». Не видно было и прохожих; только какой-то человек не то вошел в церковный дом, не то оттуда вышел. Да и кто мог сказать с уверенностью, что это человек, — ночь всегда затушевывает все, что в ней вырисовывается, а лунный свет всему придает обманчивые очертания. Различить что-либо мешали темнота и дальность расстояния. Церковный дом тогда был расположен на другой стороне порта, в том месте, где теперь построили верфь.

Жильят бесшумно пристал к «Приюту неустрашимых» и пришвартовал ботик к кольцу Дюранды под окном месса Летьери.

Затем он перескочил через борт на берег.

Оставив лодку у набережной, Жильят обогнул дом, прошел одним, потом другим переулком, даже не взглянув на боковую тропинку, ведущую к «Дому за околицей», и через несколько минут очутился в том уголке у садовой ограды, где в июне цвела розовым цветом мальва. где росли плющ, остролист и крапива. Отсюда в летнюю пору, сидя на камне, за кустом колючей ежевики, он столько раз, столько часов смотрел поверх стены,

такой низкой, что хотелось перешагнуть через нее, на сад «Приюта неустрашимых», а сквозь ветви деревьев — на два окна заветной комнаты. Он нашел свой камень, свой куст, ту же низкую стену, тот же темный уголок и, как дикий зверь, вернувшийся к себе в логово, не прошел, а проскользнул в него и забился поглубже. Усевшись там, он как будто застыл. Он смотрел. Он снова видел сад, аллеи, купы деревьев, клумбы, цветы, дом и два окна. Луна освещала его мечту. Как ужасно, что человек вынужден дышать! Жильят всеми силами старался сдержать дыхание.

Ему почудилось, что перед ним предстал рай. Он боялся, как бы этот рай не вознесся на небеса. Было просто невероятно, чтобы все это существовало в действительности, а если и существовало, то неминуемо должно было исчезнуть, — так всегда бывает с божественными виденьями. Одно дуновение — и все рассеется. Жильят трепетал при мысли об этом.

В саду, на краю аллеи, совсем близко, стояла зеленая деревянная скамья. Об этой скамье мы уже упоминали.

Жильят смотрел на заветные окна. Он думал о том, что там, в этой комнате, над кем-то веют сны. За стеной спят. Он хотел бы не быть

здесь. Но в то же время ему легче было умереть, чем уйти. Он грезил о дыхании, вздымающем чью-то грудь. Она — этот мираж, эта белизна, облаченная в светлую дымку, это наваждение, владеющее его рассудком, — была там! Он думал о существе, спящем так близко, недосягаемом и таком дорогом его душе, охваченной восторгом; он думал о несказанно прекрасной женщине, над которой также витают призрачные образы; о желанном создании, далеком, неуловимом, которое сомкнуло веки, положив руку под голову; о таинственных снах идеального существа, о грезах своей грезы. Он не смел думать о большем и все же думал; в мечтах он дерзнул преступить границы дозволенного; его волновал женственный облик ангела, ночной час придавал смелость его робким взглядам, брошенным украдкой; он корил себя за то, что совершает кощунство, но невольно, точно по принуждению, наперекор себе, охваченный трепетом, вглядывался в невидимое. Дрожа и почти страдая, он рисовал в воображении накидку, упавшую на ковер, платье на стуле, отстегнутый пояс, косынку. Он видел свисающие до пола тесемки корсета, чулки, подвязки. Его душа реяла среди звезд.

Звезды созданы для человеческого сердца: и для

сердца такого бедняка, как Жильят, и для сердца миллионера. Когда человек любит страстно, ему присуще глубокое, восторженное изумление. И тем сильнее это чувство, чем проще и суровее натура.

Нелюдимость углубляет мечтательность.

Восхищение — это полнота чувства, которое может переплеснуть через край, как вино, переполнившее чашу. Видеть эти заветные окна было выше сил Жильята.

Вдруг перед ним появилась она сама.

Меж ветвей кустарника, покрытого густой весенней листвой, с неизъяснимой плавностью небесного видения возникла чья-то фигура, чье-то платье, чье-то божественное лицо, — словно чистый свет, светлее лунного.

Жильят чувствовал, что теряет сознание, — то была Дерюшетта.

Дерюшетта приблизилась. Остановилась. Сделала несколько шагов в сторону, снова остановилась, потом вновь подошла и села на деревянную скамью. Луна скрылась за деревьями, среди побледневших звезд плыли облака, море перешептывалось с ночной темнотой, город спал, с горизонта надвигался туман, от всего веяло глубокой печалью. Дерюшетта склонила

голову, ее задумчивый, сосредоточенный взгляд был устремлен куда-то в пустоту; она сидела, повернувшись в профиль, ее голова была почти не прикрыта, развязавшийся чепчик открывал изящный затылок с нежными завитками волос; она машинально навивала на палец ленту от чепца, в полумраке рисовались ее руки, дивные, как у статуи; платье ее было того оттенка, который ночь претворяет в белый цвет; чуть трепетала листва деревьев, словно проникнутых очарованием, исходившим от нее; виднелся кончик ее ножки; опущенные ресницы слегка вздрагивали, точно от сдерживаемых слез или неотступной мысли, которую она старалась отогнать; ее руки в пленительной беспомощности как будто искали опоры, во всей ее позе было что-то воздушное; она казалась скорее отблеском, чем светом, скорее грацией, чем богиней; платье ее ниспадало восхитительными складками; прелестное личико выражало целомудренное размышление. Она сидела так близко, что Жильяту стало страшно. Он слышал ее дыхание.

Из чащи деревьев доносились соловьиные трели. Легкий шелест ветра в ветвях врывался в невыразимое молчание ночи. В сумерках чудилось, что прекрасная и недоступная Дерюшетта

соткана из лунных лучей и нежных ароматов; все бесконечное, рассеянное повсюду очарование таинственно влеклось к ней, сосредоточивалось в ней и расцветало ею. Она была девственной душой ночи.

Серебристая мгла, воплощенная в Дерюшетте, подавляла Жильята. Он потерял голову. То, что он испытывал, нельзя передать словами; чувства всегда новы, слова же избиты, потому и нельзя выразить чувство словами. Порой человек изнемогает от восхищения. Видеть Дерюшетту, видеть наяву, видеть ее платье, видеть ее чепчик, видеть ленту, которую она навивает на свои пальцы! Да разве мыслимо вообразить что-нибудь подобное? Быть возле нее — возможно ли это? Слышать ее дыханье! Значит, она дышит? Тогда и звезды дышат. Жильята охватила дрожь. Не было на свете человека более несчастного и более влюбленного, чем он. Жильят не знал, что делать. Он видел ее, и это сводило его с ума, повергало во прах. Неужели то была она, а здесь он сам? Его ослепленная восторгом, сосредоточенная мысль была прикована к этому существу, как взор скупца — к драгоценному камню. Он не сводил глаз с ее затылка, ее волос. Он даже не говорил себе, что все это теперь принадлежит ему, что скоро,

может быть даже завтра, он будет иметь право снять этот чепчик и развязать эти ленты. Подумать об этом, — нет, ни на миг не зародился бы в нем такой дерзновенный помысел. Коснуться мыслью — почти то же, что коснуться рукой. Любовь для Жильята была как мед для медведя; она была изысканной, пленительной мечтой. Мысли у него мутились. Он не понимал, что с ним. Пел соловей. Жильят чувствовал, что умирает.

Подняться, перешагнуть через ограду, приблизиться и сказать: «Дерюшетта, это — я», не приходило ему в голову. А если бы даже и пришло, он убежал бы. Только одна мысль, если ее можно назвать мыслью, и возникала в его мозгу: что Дерюшетта здесь, что ему больше ничего не нужно и что это начало вечности.

Какой-то шорох вспугнул обоих: Дерюшетта очнулась от задумчивости, Жильят — от экстаза.

Кто-то шел по саду. Деревья заслоняли идущего. Шаги были мужские.

Дерюшетта подняла глаза.

Шаги приближались, затем стихли. Человек остановился. Он, очевидно, был рядом. Дорожку, на которой стояла скамья, обрамляли деревья. Неизвестный, должно быть, остановился на середине дорожки, в нескольких шагах от скамьи.

По воле случая, густые ветви деревьев не скрывали его от Дерюшетты, но скрывали от Жильята.

На дорожку, освещенную луной, легла тень, протянувшись до самой скамьи.

Жильят видел эту тень. Он взглянул на Дерюшетту.

Она была очень бледна. На ее полуоткрытых устах, казалось, замер крик изумления. Она приподнялась и вновь опустилась на скамью; чувствовалось, что она хочет бежать, но окована какими-то чарами. Ее изумление было восторгом, полным боязни. Лучезарная улыбка тронула ее губы, глаза блестели от слез. Ее словно преобразило чье-то присутствие. Казалось, тот, кто предстал перед ней, был неземным существом. В ее взоре мерцал отблеск небесного видения.

Существо, бывшее для Жильята лишь тенью, заговорило. Голос, раздавшийся из-за деревьев, был нежнее женского, однако он принадлежал мужчине. Жильят услышал такие слова:

— Мадемуазель! Каждое воскресенье и четверг я вижу вас; мне сказали, что раньше вы не ходили в церковь так часто. Простите меня, это заметили другие. Я никогда не говорил с вами, это было моим долгом; сегодня я говорю с вами — это тоже

мой долг. Прежде всего я должен уведомить вас: «Кашмир» отплывает завтра. Вот почему я и пришел сюда. Вы гуляете по вечерам в саду. С моей стороны было бы нехорошо разузнавать о ваших привычках, если бы не одно мое намерение. Мадемуазель! Вы бедны, а я отныне богат. Угодно ли вам, чтобы я стал вашим мужем?

Дерюшетта, умоляюще сложив руки, безмолвно посмотрела на того, кто говорил с ней; взгляд ее был неподвижен, она дрожала с головы до ног.

Голос продолжал:

— Я люблю вас. Бог не для того создал сердце человеческое, чтобы оно молчало. Бог обещает вечность, значит, Он хочет, чтобы человек жил в браке. Для меня существует на земле лишь одна женщина: это вы. Мои мысли о вас — молитва. Бог — моя вера, вы — моя надежда. Крылья мои — у вас. Вы — моя жизнь, а теперь — и мое небо.

— Сударь! — промолвила Дерюшетта. — Нет никого в моем доме, кто мог бы ответить вам на это.

Голос зазвучал вновь:

— Я создал дивную грезу. Господь не запрещает грезить. Вы кажетесь мне сиянием. Я вас люблю страстно. Святая невинность — это вы. Я знаю, в этот час все спят, но иного времени я выбрать

не мог. Помните строки из Библии, которые нам прочитали? Бытие, глава двадцать пятая. С тех пор я о них всегда думаю. Я часто их перечитываю. Его преподобие Эрод сказал мне: «Вам нужна богатая жена». Я ему ответил: «Нет, мне нужна жена бедная». Мадемуазель! Я с вами говорю, не приближаясь к вам. Я даже отойду еще дальше, если вам не угодно, чтобы тень моя касалась ваших ног. Вы моя повелительница. Вы подойдете ко мне, если пожелаете. Я люблю и жду. Вы — живое воплощение божьей благодати.

— Сударь! — пролепетала Дерюшетта. — Я не знала, что меня замечали по воскресеньям и четвергам…

Голос продолжал:

— Нельзя бороться против того, что ниспослано небесами. Закон всех законов — любовь. Брак — это Ханаан. Вы — красота обетованная. О благодатная, преклоняюсь пред тобой!

— Я не думала, что поступала хуже тех, кто исправно посещал церковную службу… — проговорила Дерюшетта.

Снова раздался голос:

— Господь своей волей сотворил цветы, зарю, весну, и ему угодно, чтобы люди любили. Вы так прекрасны в священном сумраке ночи! Этот

сад возделан вами, и от цветов этих веет вашим дыханием. Мадемуазель! Душа соединяется с душой неведомо для них. Это не ваша вина. Вы молились в церкви — только и всего; я был там — только и всего. Я чувствовал лишь, как велика моя любовь к вам. Иногда мой взгляд останавливался на вас. Это было нехорошо, но что я мог поделать? Все это произошло, пока я смотрел на вас. Я не мог противиться этому. Существуют таинственные желания, бороться с ними выше наших сил. Величайший из храмов — сердце. Иметь вашу душу в доме своем — вот рай земной, на который я уповаю. Подарите же мне этот рай. Пока я был беден, я молчал. Я знаю, сколько вам лет. Вам двадцать один год. Мне двадцать шесть. Завтра я уезжаю; если вы мне откажете, я больше сюда не вернусь. Будьте моей нареченной, вы согласны? Мои глаза уже не раз, помимо моей воли, задавали этот вопрос вашим глазам. Я люблю вас, ответьте мне. Я поговорю с вашим дядей, как только он примет меня, но сначала я обращаюсь к вам. Ведь о Ревекке нужно спросить у самой Ревекки. Но, может быть, вы не любите меня.

Дерюшетта опустила голову и прошептала:

— О, я обожаю его!

Это было сказано так тихо, что услышал только

Жильят.

Она замерла с поникшей головой, словно скрывая в тени лицо; она скрывала в тени и мысли.

Все смолкло. Ни один листок не шелохнулся. Был тот строгий и мирный час, когда сон неодушевленных предметов соединяется со сном живых существ и ночь будто прислушивается к биению сердца самой природы. В это безмолвие врывался гармоническим созвучием, дополнявшим тишину, неумолчный шум моря.

Вновь послышался голос:

— Сударыня!

Дерюшетта вздрогнула.

— Я жду.

— Чего вы ждете?

— Вашего ответа.

— Бог услышал его, — произнесла Дерюшетта.

Тогда голос сделался почти звенящим, и вместе с тем он стал еще нежнее. Из кущи деревьев, как из неопалимой купины послышались слова:

— Ты моя невеста. Встань и приди ко мне. Пусть будет эта звездная синяя глубина свидетелем согласия твоей души принять мою душу, пусть первый наш поцелуй вознесет нас на небеса.

Дерюшетта поднялась и замерла на миг, устремив взгляд вперед, вероятно навстречу другому

взгляду. Потом, высоко держа голову и опустив руки, точно не чувствуя под ногами твердой опоры, она неверным шагом прошла к деревьям и скрылась.

Спустя мгновенье вместо одной тени на песке появились две, они слились, и Жильят увидел у своих ног крепкое объятие теней.

Время течет в нас, как струйка песка в песочных часах. И мы не ощущаем его, особенно в важнейшие минуты нашей жизни. Сколько длилось это таинственное мгновенье, когда отрешилась от всего и чета, которая не знала о свидетеле и не видела его, и свидетель, который не видел эту чету, но знал, что она по другую сторону ограды? Трудно сказать. Вдруг послышался отдаленный шум, кто-то крикнул: «Помогите!» Вслед за тем зазвонил портовый колокол. Но те, кто был в божественном упоении счастья, по всей вероятности, не слышали ничего.

Колокол все звонил. Если бы кто-нибудь вздумал поискать Жильята в закоулке у стены, то уже не нашел бы его там.

Книга вторая
Деспотизм благодарности
I. И радость и горе

Месс Летьери неистово звонил в колокол. Вдруг он остановился. Из-за угла на набережную вышел человек. То был Жильят.

Месс Летьери подбежал к нему, или, вернее, бросился на него, схватил его руку своими ручищами и с минуту молча глядел ему в глаза; это молчание говорило о бурном приливе чувств, не находящих себе выхода.

Потом, тормоша Жильята, притягивая к себе, сжимая в объятиях, он стремительно втащил его в нижнюю залу «Приюта неустрашимых», толкнув ногой дверь, — она так и осталась полуоткрытой, — сел, вернее, рухнул, на стул возле большого стола, освещенного луной, в лучах которой смутно белело лицо Жильята, и крикнул, не то смеясь, не то рыдая:

— Ах, сынок! Вот он какой, парень с волынкой! Вот он какой, Жильят! Ведь я понял, кто это сделал! Твой ведь ботик, черт побери! Ну рассказывай же. Ты, значит, отправился туда?

Сто лет назад тебя сожгли бы за такие дела! Тут настоящее колдовство. Все цело до последнего винтика! Я уже все разглядел, все осмотрел, все ощупал. Наверное, в тех двух ящиках спрятаны колеса. Наконец-то ты явился! Я сейчас и в каюту к тебе лазил. В колокол звонил. Искал тебя. Я думал: «Куда это он делся? Уж я ему задам!» И диковинные же вещи творятся на белом свете! Этот зверюга является с Дуврского рифа и возвращает мне жизнь. Разрази меня гром, ты ангел! Да, да, да, это моя машина. Никто и не поверит. Увидят ее и скажут: «Да не может быть!» И ведь все на месте. Все на месте! Ни один змеевик не пропал. Ни один золотник не пропал. Водоприемная труба даже не сдвинулась. Просто глазам не верится, что нет никаких поломок. Теперь тут только всего и дела, что смазать ее маслом. Но как же ты все это сумел? И подумать только, Дюранда опять завертит колесами! Коленчатый вал так ловко вынут, словно тут ювелир потрудился. Дай мне честное слово, что я не спятил.

Он встал, выпрямился, перевел дыхание и продолжал:

— Побожись, что я в своем уме! Все теперь перевернулось! Дай-ка я себя ущипну — уж не сплю ли я? Ты мое дитя, ты мой мальчик, ты сам

милосердный господь! Ах, сын мой! Ты, значит, отправился за моей негодяйкой машиной! Да еще в открытое море! К злодеям Дуврам в лапы! Каких только чудес на своем веку я не видывал, но таких не довелось. Видел я парижан — сущих чертей. Но плюнь мне в глаза, если им по плечу такие дела! Это ведь еще почище, чем взять Бастилию. Я видел, как гаучо обрабатывают землю в пампасах: у них вместо сохи согнутый сук, вместо бороны — связка терновых веток, которую они тащат на кожаных постромках, а когда они собирают урожай, каждое хлебное зерно — величиной с лесной орех. Но ведь это чепуха по сравнению с тем, что ты проделал. По правде сказать, ты сотворил чудо! Ну и бестия! Да обними же меня. Ведь тебе будет обязан счастьем весь край. Уж и пойдет теперь брюзжать Сен-Сансон! Сейчас же примусь за постройку новой посудины. Да как же это шатун не поломался! Милостивые государи мои, он отправился в Дувры. Я повторяю — в Дувры! И махнул туда совсем один. Дувры! Вот уж вредные камни, хуже не найти! Кстати, знаешь, тебе, верно, говорили? — ведь все было подстроено нарочно. Теперь это доказано. Клюбен посадил на риф Дюранду, чтобы прикарманить денежки, которые должен был мне передать. Он напоил

допьяна Тангруйля. История длинная, расскажу как-нибудь на досуге об этом разбое. А я-то, старый осел, доверял Клюбену. Но он сам попался, злодей, — ведь оттуда не выберешься. Есть еще Бог на небесах, черт возьми! Слушай, Жильят, давай сейчас же заново построим Дюранду, и живо. Куй железо, пока горячо. Удлиним ее на двадцать футов. Теперь пароходы делаются длинные. Лесу куплю в Данциге и Бремене. Раз машина у меня цела, кредит откроется. Доверие вернется.

Месс Летьери остановился, возвел глаза вверх, точно созерцая небо сквозь потолок, и пробормотал:

— Кое-кто есть там, что ни говори!

Затем, приложив палец ко лбу, — это означало, что у него возникла какая-то мысль, — он сказал:

— Все-таки, чтобы снова поставить дело на широкую ногу, надо хоть немного денег чистоганом. Как бы это меня вызволило! Эх, мне бы теперь мои три банковых билета — те семьдесят пять тысяч франков, которые вернул разбойник Рантен, а разбойник Клюбен украл!

Жильят молча пошарил в кармане, что-то вынул и положил на стол перед Летьери. То был кожаный пояс. Жильят расстегнул его и расправил. С изнанки на ремне при лунном свете

можно было разобрать слово «Клюбен»; затем он извлек из кармашка в поясе коробочку, а из нее три сложенных листочка бумаги, развернул их и протянул мессу Летьери.

Месс Летьери внимательно осмотрел все три листка. Было достаточно светло, он ясно различил цифру — 1000 и слово — «тысяча». Он схватил все три билета, разложил на столе один подле другого, посмотрел на них, посмотрел на Жильята, на миг словно остолбенел от изумления, а потом, вслед за недавним взрывом чувств, началось настоящее извержение вулкана.

— Еще и это! Да ты колдун! Мои банковые билеты! Все три, каждый по тысяче! Мои семьдесят пять тысяч франков! Значит, ты спускался в самый ад. Пояс Клюбена! Черт возьми! Я прочитал это гнусное имя. Ну и Жильят! Машину привез и деньги в придачу! Есть о чем напечатать в газетах. Я куплю самого лучшего лесу. Догадываюсь! Ты нашел скелет. Клюбен, верно, сгнил в какой-нибудь яме. Сосну мы возьмем в Данциге, а дуб в Бремене, сделаем добротную обшивку, изнутри поставим дуб, а снаружи– сосну. Когда-то строили корабли много хуже, а служили они дольше, потому что строевой лес выдерживался — судов-то сооружали куда меньше. Пожалуй,

нам лучше сделать корпус из вяза. Вяз хорош для подводных частей; ему не годится то сохнуть, то мокнуть — от этого он портится; вязу надо всегда быть в воде, он ею питается. Какую Дюранду мы сработаем! Красавица будет. Мне теперь никто не указ. Я больше не нуждаюсь в кредите. Мы сами с деньгами. Ох и Жильят! Где найти еще такого! Меня свалили, положили на обе лопатки, я был мертв, а он снова меня поставил на ноги! Я-то хорош, и не думал о нем вовсе! Совсем из головы выскочило. Теперь я все припоминаю. Бедный малый! Ах да, кстати, ведь ты женишься на Дерюшетте.

Жильят прислонился к стене, словно у него подкосились ноги, и очень тихо, но очень внятно сказал:

— Нет.

Месс Летьери подскочил:

— Как так «нет»?

— Я не люблю ее, — ответил Жильят.

Месс Летьери подошел к окну, отворил его, снова закрыл, вернулся к столу, взял три банковых билета, сложил, придавил сверху железной коробочкой, почесал затылок, схватил пояс Клюбена и с яростью швырнул его на пол, крикнул:

— Тут что-то не так!

Заложив руки в карманы, он продолжал:

— Не любишь Дерюшетту? Значит, ты для меня наигрывал на волынке?

Жильят стоял, по-прежнему прислонясь к стене, и все больше бледнел, точно наступал его смертный час. Чем бледнее становилось лицо Жильята, тем больше наливалось кровью лицо Летьери.

— Видали болвана? Он не любит Дерюшетту! Ну так постарайся полюбить, потому что она выйдет замуж только за тебя. Что за дурацкие сказки ты мне рассказываешь! Так я тебе и поверил! Болен ты, что ли? В таком случае иди к врачу, а глупостей не болтай. Быть не может, чтобы вы уже успели повздорить и поссориться. Правда, влюбленные такие дурни! Погоди-ка, может, у тебя причина есть для этого? Если есть, выкладывай. Люди ни с того ни с сего не глупеют. Впрочем, у меня вата в ушах, я, может, недослышал, ну-ка, повтори, что ты сказал.

— Я сказал «нет», — повторил Жильят.

— Ты сказал «нет»? Вот скотина! Еще упирается! Непросто все это, сразу видно. Ты сказал «нет»! Вздор несусветный! Таких сумасшедших, как ты, холодной водой обливают! Ага, ты не любишь Дерюшетту! Значит, все это ты вытворял

из любви к старичку! Значит, ради прекрасных глаз папаши ты отправился в Дувры, мучился от холода и жара, пропадал от голода и жажды, ел слизняков, отдыхал в спальне из туманов, дождей и ветров и свершил этакое чудо — спас машину только ради того, чтобы преподнести ее мне, точь-в-точь как преподносят приглянувшейся красотке удравшего у нее из клетки чижика! А буря, что бушевала три дня назад? Ты, видно, впрямь вообразил, что я ничего не смыслю. Должно быть, здорово тебя потрепало тогда! Значит, ты, с умильной улыбкой вспоминая мою старую рожу, строгал, рубил, ворочал, сверлил, тащил, пилил, подпиливал, строил, выдумывал, ломал себе голову и один-одинешенек сотворил больше чудес, чем все святые взятые вместе. Эх ты, дурачина! Ты мне, кстати, до тошноты надоедал своей волынкой. В Бретани она называется пузырем. И все тянул одну и ту же песню, дубина этакая! Ага, ты не любишь Дерюшетту! Никак не пойму, что с тобой. Теперь я припоминаю все как есть. Тогда я сидел вон там, в урлу, а Дерюшетта сказала: «Я пойду за него замуж». И она выйдет за тебя замуж! Ага, ты ее не любишь! Сколько ни думаю, ничего не пойму. Или ты рехнулся, или я. Ну что ж ты молчишь, как пень? Пойми ты, это ведь

сущее безобразие — сделать все, что ты сделал, а под конец заявить: «Я не люблю Дерюшетту»! Ведь людям оказывают услугу не для того, чтобы они бесились от злости! Ну так знай: если ты не женишься на ней, она будет сидеть в девках. И, кроме того, ты мне самому нужен. Ты будешь лоцманом Дюранды. Не вздумал ли ты, что я от тебя отступлюсь? Ни-ни, никаких отговорок, душа моя, я тебя не выпущу. Попался. И слушать ничего не желаю. Где сыщешь такого моряка, как ты? Ты мой. Да выжму ли я из тебя хоть слово?

Между тем звон колокола всполошил весь дом и всех соседей. Дус и Г рас вскочили с постелей и вошли в нижнюю залу молча и с растерянным видом. В руках у Грас была зажженная свеча. Городские обыватели, моряки и крестьяне, сбежавшиеся из соседних домов, столпились на набережной и, остолбенев от изумления, рассматривали трубу Дюранды, стоявшую в лодке. Некоторые, услышав голос месса Летьери, доносившийся из нижней залы «Приюта неустрашимых», безмолвно пробрались туда через полуотворенную дверь. Между двумя кумушками протиснулся сьер Ландуа, который всюду пролезал, чтобы не упустить любопытного зрелища.

Великая радость жаждет свидетелей. Радость любит толпу; она словно воспаряет, отталкиваясь от этой пусть не слитной, но единой опоры. Месс Летьери вдруг заметил, что вокруг него собрался народ. Он радушно приветствовал всех:

— А, добро пожаловать! Очень рад. Знаете новость? Он побывал там и привез это. Доброго здоровья, сьер Ландуа! Не успел я проснуться, как увидел трубу. Она торчала под моим окном. В этой штуке все цело, до единого гвоздика. Вот на гравюрах изображают Наполеона. А, по-моему, Дувры потруднее Аустерлица. Мы только-только поднялись с постелей, добрые люди. А пока мы почивали, к нам явилась Дюранда. Когда мы надеваем ночные колпаки и гасим свечи, иные-прочие совершают геройские дела. Все мы, куча трусов и лежебок, только и знаем, что носимся со своим ревматизмом. К счастью, есть на свете и отчаянные головы. Эти удальцы смело идут туда, куда надо идти, и делают то, что надо делать. Молодец из «Дома за околицей» вернулся с Дуврского рифа. Он выудил Дюранду со дна морского, да вдобавок и деньги из кармана Клюбена, а это яма поглубже. Да как же это тебе удалось? Ведь вся чертовщина была против тебя — и ветер и прилив, и прилив и ветер. Недаром

говорят, что ты колдун. Тот, кто это болтает, не так уж глуп. Дюранда вернулась! Как буря ни бесновалась, а он утащил судно у нее из-под носа. Друзья! Оповещаю вас, что кораблекрушений больше не существует. Я осмотрел механизм. Машина будто новая, целехонька, подумайте только! Золотники ходят, как по маслу, словно их только вчера смастерили. Вы ведь знаете, что воду из котла спускают по трубке, вставленной в другую, которая подводит воду, — это чтобы тепло не пропадало зря, — так вот, даже обе трубки на месте. Вся машина! Колеса тоже! Нет, ты женишься на ней!

— На ком? На машине? — спросил Ландуа.

— Нет, на моей дочурке. Да и на машине. На обеих. Он станет, так сказать, вдвойне моим зятем. Он будет капитаном судна. С богом, капитан Жильят! Уж он Дюрандой будет доволен. Опять станем ворочать делами, начнем торговать, плавать, грузить быков, баранов! Я не променяю Сен-Сансон на Лондон. И вот вам виновник всего. Чудеса, да и только, честное слово! В субботу обо всем прочтете в газете папаши Можера. Жильят-Лукавец и вправду лукав. А это что такое? Золотые монеты?

Летьери только теперь заметил под полуот-

крытой крышкой коробочки, положенной на банковые билеты, блеск золота. Он взял ее, открыл, вытряхнул на ладонь все, что в ней было, и положил на стол горсть гиней.

— Это для бедных. Сьер Ландуа! Передайте от меня деньги коннетаблю Сен-Сансона. Вам известно содержание письма Рантена? Письмо я вам показывал, а вот они — банковые билеты. Есть на что сделать закупку дуба и сосны и заплатить плотникам. Помните, что за погода была три дня назад? Какой ветрище, какой ливень! Небо будто палило из пушек. Вот чем угостил Жильят! Дуврский риф. Это не помешало ему снять машину со скал, словно часы со стены. Благодаря ему я снова человек. Шаланда папаши Летьери возобновляет рейсы, милостивые государи и государыни! Ореховая скорлупа на двух колесах и с носогрейкой, — я всегда был помешан на этом изобретении. Всегда говорил себе: уж я-то им обзаведусь. Эта мысль появилась у меня давно: она засела мне в башку еще в Париже, когда я сидел в кафе на углу улиц Христины и Дофина и читал в газете насчет парохода. Можете не сомневаться, Жильяту ничего бы не стоило сунуть себе в жилетный карман машину из Марли и отправиться с ней на прогулку. Ведь этот молодец — точно

кованое железо, закаленная сталь, алмаз, просоленный моряк, кузнец, редкостный парень! Куда до него принцу Гогенлоэ! Ну и умник Жильят, нам с ним не равняться! Мы с вами кто такие? Морские волки. А он морской лев, вот он кто! Ура Жильяту! Не знаю, что именно он там делал, но работал, как черт, — это уж наверняка. Как же мне после этого не выдать за него Дерюшетту?

Уже несколько минут Дерюшетта была в зале. Она не проронила ни слова, она вошла неслышно, проскользнула, словно тень. Она села на стул позади Летьери, почти никем не замеченная, а он, выпрямившись, говорил весело, без умолку, громовым голосом, бурно жестикулируя. Немного погодя появился еще один безмолвный посетитель. То был человек в черном сюртуке и в белом галстуке, со шляпой в руке. Он остановился в полуоткрытых дверях. Толпа постепенно росла. Зажженных свечей стало больше. Их свет сбоку озарял человека в черном сюртуке; прекрасный юный профиль ослепительной белизны вырисовывался на темном фоне отчетливо, как на медали; юноша прислонился к косяку двери, сжимая рукою лоб; он и не знал, сколько грации в каждом его движении, как подчеркивала высокий лоб его маленькая рука. У уголков его су-

дорожно сжатых губ застыли скорбные складки. Он смотрел на Летьери и слушал его с глубоким вниманием. Присутствующие, узнав его преподобие Эбенезера Кодре, приходского священника, посторонились, чтобы пропустить его вперед, но он остался у порога. Поза его выражала колебание, а взгляд — решительность. Иногда его глаза встречались с глазами Дерюшетты. Жильят — то ли случайно, то ли нарочно — стоял в тени, и его почти не было видно.

Сначала месс Летьери не заметил Эбенезера, зато заметил Дерюшетту. Он подошел к ней, поцеловал ее в лоб со всем жаром, какой только можно вложить в отеческий поцелуй, и, протянув руку к неосвещенному углу, где стоял Жильят, сказал:

— Дерюшетта! Ты снова богата, и вот твой муж.

Дерюшетта подняла голову и растерянно посмотрела в темноту.

Месс Летьери продолжал:

— Свадьбу сыграем немедля, завтра же, если удастся получить разрешение; впрочем, формальности у нас не бог знает какие, декан делает, что хочет, он повенчает, прежде чем успеешь опомниться, — ведь это тебе не Франция, где требуются церковные оглашения, оповещения,

особые сроки и прочая ерунда, — и ты будешь гордиться тем, что стала женой честного человека. А какой он моряк, и говорить нечего, я это сразу увидел, когда он привез с Эрма маленькую пушку. Теперь он привез с Дувров свое и мое богатство и богатство всего края; настанет день, и об этом человеке заговорят все. Ты сказала: «Я буду его женой», — и ты будешь ею, и у вас пойдут дети, и я стану дедом. Тебе выпало счастье, ты станешь супругой дельного молодца, работяги, человека полезного, удивительного человека, который стоит сотни других, который спасает чужие изобретения. Это настоящий благодетель рода человеческого! И ты по крайней мере не выйдешь замуж, как зазнайки из здешних богатых домов, за какого-нибудь вояку или за священника, за людей, которые убивают или лгут. Да что же ты забрался в угол, Жильят? Тебя и не видать. Дус, Грас, все сюда! Свет, свет! Осветите-ка моего зятя, да так, чтобы виден был, как среди бела дня. Дети мои! Я вас обручаю. Дерюшетта! Вот твой муж и мой зять, Жильят из «Дома за околицей», добрый малый, всем матросам матрос. И другого зятя у меня не будет, и другого мужа у тебя не будет, еще раз даю честное слово перед Господом Богом. А, и вы тут, ваше преподобие? Вот вы и повенчаете

моих детей.

Взгляд месса Летьери остановился на Эбенезере Кодре.

Дус и Грас исполнили приказ хозяина. Две свечи, поставленные на стол, осветили Жильята с головы до ног.

— До чего же он хорош! — крикнул Летьери.

Жильят был ужасен.

Таким он вышел утром из Дувров — в отрепьях, с продранными локтями, обросший бородой, с всклокоченными волосами, красными, воспаленными глазами, исцарапанным лицом, окровавленными руками, босой. Волдыри, оставшиеся после схватки со спрутом, еще виднелись на его волосатых руках.

Летьери разглядывал его:

— Вот каков у меня зятек! Здорово же он сражался с морем: весь в лохмотьях! Ну и плечи! А что за лапы! До чего же ты хорош!

Грас подбежала к Дерюшетте, чтобы поддержать ее. Дерюшетта потеряла сознание.

II. Сундучок

С рассветом весь Сен-Сансон был на ногах; сюда уже стекались и жители порта Сен-Пьер.

Воскрешенье из мертвых Дюранды произвело на острове не меньше шума, чем на юге Франции чудеса Салеты. На набережной толпился народ: люди сбежались поглядеть на трубу, высившуюся над лодкой. Каждый хотел рассмотреть ее получше и хотя бы прикоснуться к машине, но торжествующий Летьери, еще раз, уже при дневном свете, осмотрев машину, поставил в лодку двух матросов и велел им никого близко не подпускать. А между тем труба являла собой предмет, достойный созерцания. Все были поражены. Имя Жильята не сходило с уст. Люди толковали о нем и соглашались, что прозвище «Лукавец» к нему подходит; все хвалебные речи оканчивались фразой: «Не очень-то приятно терпеть на острове людей, способных на подобные дела».

С улицы видно было, что месс Летьери сидит за столом перед окошком и пишет, поглядывая то на бумагу, то на машину. Он так углубился в свое занятие, что лишь раз сделал перерыв, позвав Дус и спросив ее, как чувствует себя Дерюшетта. Дус ответила:

— Барышня встала и вышла.

— Очень хорошо, пусть подышит свежим воздухом, — сказал месс Летьери. — Ей стало дурно ночью от духоты. Слишком много народу наби-

лось в комнату, а окна были закупорены. К тому же такая неожиданность, такая радость. Да, муженек ей попался завидный!

И он снова принялся писать. Он уже подписал и запечатал два письма, адресованные к самым известным хозяевам верфей в Бремене. Теперь он запечатывал третье.

Шум колес, донесшийся с набережной, заставил его повернуть голову. Он выглянул в окно и увидел, как на повороте дорожки, ведущей к «Дому за околицей», показался мальчик с тачкой. Он направлялся в сторону порта Сен-Пьер. На тачке лежал обитый желтой кожей сундучок в узорах из медных и оловянных гвоздиков.

Месс Летьери крикнул мальчику:

— Ты куда, мальчуган?

Мальчик остановился и ответил:

— На «Кашмир».

— Зачем?

— Отвезти сундучок.

— Захвати тогда и мои письма.

Месс Летьери, выдвинув ящик стола, вытащил обрывок бечевки, связал крест-накрест все три только что написанных письма и бросил пакет мальчику, — тот поймал его на лету обеими руками.

— Скажи капитану «Кашмира», что письма от меня и что я прошу его о них позаботиться. Я посылаю их в Германию, в Бремен, через Лондон.

— Мне не придется разговаривать с капитаном, месс Летьери.

— Почему?

— Потому что «Кашмира» нет у набережной.

— Как так?

— Он на рейде.

— А, правильно. На море волнение.

— С корабля пошлют лодку; я могу только со старшиной на шлюпке поговорить.

— Вот и передай ему письма.

— Хорошо, месс Летьери.

— Когда отплывает «Кашмир»?

— В двенадцать.

— В полдень поднимается прилив. Придется идти против волны.

— Зато ветер попутный.

— Видишь это, мальчуган? — спросил месс Летьери, указав пальцем на трубу машины. — Наплевать ей на ветер и прилив.

Мальчик сунул письма в карман и покатил тачку, продолжая свой путь к городу. Месс Летьери позвал:

— Дус, Грас!

Грас приотворила дверь:

— Что вам угодно, месс?

— Войди и подожди.

Месс Летьери взял листок бумаги и стал писать. Если бы Грас, стоявшая за спиной Летьери, пока он писал, была любопытна, то, вытянув шею, она прочла бы через его плечо следующее:

> «Я пишу в Бремен насчет леса. Целый день буду возиться с плотниками, которые придут договариваться о работе. Постройка корабля пойдет у нас быстро. А ты ступай к декану за разрешением. Я хотел бы сыграть свадьбу как можно скорее, самое лучшее – сегодня. Я занят Дюрандой, ты займись Дерюшеттой».

Поставив число и подписавшись: «Летьери», старик сложил записку вчетверо и, даже не запечатывая, протянул Грас:

— Отнесешь Жильяту.

— В «Дом за околицей»?

— Да.

Книга третья
Отплытие «Кашмира»
I. У маленького залива, возле самой церкви

Когда в Сен-Сансоне много народа, значит, в порту Сен-Пьер безлюдье. Любопытное происшествие в какой-нибудь части острова подобно всасывающему насосу. Новости в захолустье быстро облетают все уголки; пойти взглянуть на трубу Дюранды под окнами дома месса Летьери — вот о чем с самого раннего утра только и думал каждый гернсеец. Все другие события померкли. Толков о смерти декана Сент-Асафа как не бывало; совсем забыли о его преподобии Эбенезере Кодре, о его неожиданном богатстве, о его отъезде на «Кашмире». Злобой дня стала машина Дюранды, вывезенная из Дувров. Никто этому не верил. Даже крушение парохода казалось необычайным, а спасение машины просто сверхъестественным. Чтобы убедиться в этом, надо было увидеть ее воочию. Все другие дела были отложены. Горожане со своими семьями, — начиная с «соседа» и кончая «мессом», — мужчины,

женщины, джентльмены, матери с детьми и дети с куклами шли длинными вереницами из порта Сен-Пьер по всем окрестным дорогам к «Приюту неустрашимых» «посмотреть диковинку». На дверях многих лавок в Сен-Пьере висели замки; в торговых рядах замерла жизнь: ни сбыта, ни коммерческих сделок; все внимание сосредоточилось на Дюранде; ни у одного купца не было «почина», только ювелир, к великому своему удивлению, продал золотое обручальное кольцо какому-то человеку, который «видно, очень торопился и спросил, где живет декан». Открытые лавки превратились в место сборищ, где громогласно обсуждалось чудесное спасение машины. Ни одного прохожего в Иврезе, ныне неизвестно почему именуемом Кэмбриджским парком; ни души на Гай-стрит, которая тогда звалась Главной улицей, ни на Смит-стрит, которая тогда звалась Кузнечной улицей; никого в Верхнем городе, даже площадь совсем опустела. Можно было подумать, что наступило воскресенье. Военный парад, устроенный в Анкресе в честь какой-нибудь королевской особы, посетившей город, не мог бы так обезлюдить порт Сен-Пьер. Вся эта суматоха по поводу такого ничтожества, как Жильят, заставляла людей почтенных и бла-

говоспитанных пожимать плечами.

Церковь в порту Сен-Пьер, с тройным щипцом, с боковыми приделами и высоким шпилем, стоит на берегу, в глубине гавани, почти на самой пристани. Она приветствует приезжающих и дает благословение отъезжающим. Церковь эта — будто заглавная буква в длинной линии городских построек, обращенных к океану.

Эта приходская церковь порта Сен-Пьер, и она возглавляет в то же время все церкви острова. Ею ведает наместник епископа, духовное лицо с неограниченными полномочиями.

Сама гавань в наши дни — очень живописный и обширный порт, но в те времена, да и всего лишь десять лет тому назад, она во многом уступала сенсансонской гавани. Ее окружали две толстые циклопические стены, которые тянулись полукругом слева и справа от берега, и там, где они почти соединялись, возвышался небольшой белый маяк. Под ним был узкий проход для судов, — и поныне сохранилось двойное звено от цепи, запиравшей порт в Средние века. Представьте себе разомкнутую клешню омара — такова была гавань порта Сен-Пьер. Эти клещи отнимали от водной пустыни клочок моря, принуждая его вести себя спокойно. Но когда ветер

дул с востока, у входа шумели огромные валы, в гавани поднималась сильная зыбь, и было благоразумнее в нее не входить. Так и сделал в тот день «Кашмир». Он бросил якорь на рейде.

Когда ветер дул с востока, корабли охотно шли на это и, кстати, избавлялись от уплаты портовых сборов. Лодочники, имевшие разрешение от городских властей, — лихое племя моряков, которое стало ненужным новому порту, — сажали в лодки пассажиров с пристани или других уголков побережья и доставляли их с багажом, зачастую при очень бурном море, но всегда благополучно, на корабли, готовые к отплытию. Восточный боковой ветер благоприятен для переезда в Англию, — он вызывает бортовую качку, а не килевую.

Когда корабль, готовый отплыть, стоял в самом порту, то отъезжающие там и садились; когда же он стоял на рейде, то к якорной стоянке добирались с ближайшего места на побережье. В каждой бухте можно было нанять «вольного» лодочника.

Одним из таких мест и был небольшой заливчик. Находилась эта маленькая бухта рядом с Сен-Сансоном, но в такой глуши, что город, казалось, был где-то далеко. Скалы форта Георгия

скрывали эту тихую гавань, оттого-то она и была такой уединенной. Туда вело много тропинок; самая короткая бежала по краю берега, — у нее было то преимущество, что она приводила к городу и церкви за пять минут, и то неудобство, что дважды в день ее заливало волнами. Другие дорожки круто поднимались вверх, углубляясь в извилистые проходы между скалами. Даже при дневном свете заливчик оставался в полутьме. Со всех сторон над ним нависали каменные глыбы. Заросли колючего кустарника роняли легкую тень на кручи скал, на бьющие у их подножия волны. Не было на свете ничего безмятежнее этой маленькой бухты при тихой погоде, и ничего беспокойнее — в бурю. Ветви там всегда купались в пене. Весной было полно цветов, гнезд, ароматов, птиц, мотыльков и пчел. Благодаря проведенным недавно строительным работам таких диких уголков теперь уже не найти; их заменили превосходные прямые линии, кирпичные постройки, набережные и сады; там поусердствовали землекопы; хороший вкус учинил расправу над причудливым рельефом гор и капризными очертаниями утесов.

II. Отчаяние перед лицом отчаяния

Было около десяти часов утра, «четверть перед десятью», как говорят на Гернсее.

Стечение народа в Сен-Сансоне, судя по всему, увеличивалось. Жители, подстрекаемые любопытством, устремились к северной части острова, и маленький залив на юге стал еще пустыннее.

Однако там можно было заметить лодку с гребцом. В лодке лежал саквояж. Лодочник, казалось, поджидал кого-то.

На рейде виднелся «Кашмир», стоявший на якоре. Он отправлялся только в полдень, поэтому еще не начинал готовиться к отплытию.

Если бы какой-нибудь прохожий поднимался по одной из ступенчатых тропинок скалистого берега, то, прислушавшись, уловил бы тихие голоса, а если бы свесился со скалистого выступа, то увидел бы неподалеку от лодки, в уголке между утесами, за густыми ветвями, куда не мог проникнуть взгляд лодочника, две фигуры, мужчину и женщину — Эбенезера и Дерюшетту.

Уголки на морском берегу, заросшие зеленью и привлекающие купальщиц, не всегда так пустынны, как кажется. Иногда там и выследят и

подслушают вас. За теми, кто старается найти укромное и защищенное от взглядов местечко, нетрудно пробраться сквозь чащу кустарника по бесчисленным перепутанным тропинкам. Гранитные глыбы и деревья, скрывающие тайную встречу, скрывают и свидетеля.

Дерюшетта и Эбенезер стояли, держась за руки, глядя друг другу в глаза. Говорила Дерюшетта. Эбенезер молчал. Глаза его были полны слез.

Скорбь и страсть запечатлелись на строгом лице Эбенезера. И еще выражало оно горестную покорность судьбе, — покорность, враждебную вере, хотя и проистекающую из нее. На это спокойное, ясное чело легла мрачная тень. Тот, кто до сих пор размышлял лишь о догматах религии, задумался теперь о судьбе, — опасное для священника раздумье. Оно разрушает веру. Ничто так не смущает, как вынужденное смирение перед неизвестным. Человек — мученик обстоятельств. Жизнь — вечный поток; мы ей покоряемся. Нам неведомо, где поджидает нас изменчивый и вероломный случай. Приходят катастрофы, благоденствие, потом уходят, как неожиданный персонаж в пьесе. У них свои законы, своя орбита, своя сила тяготения, не подвластные воле человека. Добродетель не ведет к счастью,

преступление не ведет к несчастью; у совести одна логика, у судьбы — другая; они ни в чем не совпадают. Ничего нельзя предвидеть. Мы живем в суете изо дня в день. Совесть прямая линия, жизнь — вихрь. Он то низвергает внезапно на голову человека мрачный хаос, то простирает над ним голубые небеса. Судьба не знает искусства постепенного перехода. Иногда ее колесо вращается так быстро, что человек едва успевает заметить промежуток между сменяющими друг друга событиями и связь вчерашнего с сегодняшним. Эбенезер был верующий, но со склонностью к рассуждению; священник, но подверженный страстям. Религии, проповедующие безбрачие, знают, что делают. Нет ничего гибельней для священника, чем любовь к женщине. Печальные мысли омрачали душу Эбенезера.

Он слишком долго смотрел на Дерюшетту.

Они боготворили друг друга.

В глазах Эбенезера светилось немое обожание и отчаяние.

Дерюшетта говорила:

— Вы не уедете. Я не перенесу этого. Знаете, я думала, что могу расстаться с вами, но нет, не могу. Нельзя сделать то, чего не можешь. Зачем вы вчера пришли? Не надо было приходить, если

вы решили уехать. Я никогда не разговаривала с вами. Я любила вас, но не догадывалась об этом. Правда, в тот день, когда господин Эрод читал историю Ревекки и когда ваши глаза встретились с моими, я почувствовала, что мои щеки пылают, и подумала: «О, как, должно быть, покраснела Ревекка!» Если бы еще позавчера мне сказали: «Вы любите приходского священника», — я бы рассмеялась. Вот что ужаснее всего в моей любви. Здесь словно было какое-то предательство. Я не остерегалась ее. Ходила в церковь, видела вас, думала, что у всех так принято. И я не упрекаю вас, вы не добивались моей любви, вы не стремились к ней; вы смотрели на меня; в том, что вы смотрите на людей, нет вашей вины, но я стала обожать вас. А мне это и в голову не приходило. Когда вы брали Библию, она будто превращалась в факел; когда это делали другие, Библия была просто книгой. Иногда ваш взгляд останавливался на мне. Вы говорили об архангелах, а мне казалось, что архангел — это вы. Что бы вы ни сказали, я со всем соглашалась. До вас я не знала, верую ли в Бога. Узнав вас, я стала верующей. Я говорила Дус: «Одень меня поскорей, а то я опоздаю к обедне». И бежала в церковь. Вот что значит полюбить! А я этого не знала. Говорила

себе: «Какой я делаюсь богомольной!» И только ваши слова открыли мне, что ходила я в церковь не ради Господа Бога. И правда, я ходила туда ради вас. Вы так прекрасны, вы говорите так хорошо! А когда вы воздевали руки к небу, мне казалось, что в ваших белых руках мое сердце. Я была безумна, сама того не ведая. Хотите, я скажу, в чем ваша вина? Зачем вы пришли вчера в мой сад, зачем говорили со мной? Если бы не вы, я бы ничего и не узнала. Расставшись с вами, я, может быть, и грустила бы, а теперь я умру. Теперь, когда я знаю, что люблю вас, вы не должны уезжать! О чем вы задумались? Вы, кажется, не слушаете меня.

Эбенезер спросил:

— Ведь вы помните, о чем я говорил вчера?

— Увы!

— Что я могу еще добавить?

Они помолчали.

— Мне остается одно: уехать! — воскликнул Эбенезер.

— А мне — умереть. О, если бы не было моря, а только небо! Мне кажется, все бы устроилось тогда, мы бы уехали вместе. Напрасно вы со мной говорили. Ах, зачем вы это сделали? Раз так, не уезжайте. Что со мной станется? Уверяю вас, я умру. Вы будете радоваться жизни, а я сойду в

могилу. Ах, мое сердце разбито! Я так несчастна! А ведь у дяди не такое злое сердце.

Первый раз в жизни Дерюшетта назвала Летьери дядей. До сих пор она всегда называла его отцом.

Эбенезер отступил на шаг и подал знак лодочнику. Раздался стук багра, ударившегося о берег, покрытый галькой, и шаги человека в лодке.

— Нет, нет! — закричала Дерюшетта.

Эбенезер приблизился к ней.

— Так надо, Дерюшетта.

— Нет, никогда! Ради машины? Это невозможно! Вы видели вчера это чудовище? Не оставляйте меня. Вы умны, вы найдете выход. Зачем же вы звали меня сюда утром, раз решили уехать? Ведь я вам не сделала зла. Вам не за что на меня сердиться. Вы вправду собираетесь отплыть на этом корабле? Я не хочу. Вы меня не покинете. Не для того перед человеком раскрывают небеса, чтобы тут же закрыть их. Говорю вам, вы останетесь. К тому же «Кашмир» уйдет еще нескоро. О, я люблю тебя!

Прильнув к нему, Дерюшетта обняла его за шею, крепко сплетя пальцы, словно удерживая его и в то же время с мольбой простирая руки к небу.

Он разомкнул нежное кольцо объятий, поддавшееся не сразу.

Дерюшетта опустилась на выступ скалы, обвитой плющом, отбросив бессознательным движением рукав до локтя и обнажив прелестную руку; глаза ее были неподвижны, свет, озарявший их, потускнел и померк. Лодка приближалась.

Эбенезер ласково, обеими руками приподнял голову Дерюшетты; девушка походила на вдову, а юноша на старика. Он касался волос Дерюшетты с благоговейной осторожностью, несколько мгновений его взгляд покоился на ней, потом он поцеловал ее в лоб — казалось, от такого поцелуя должна засиять звезда — и голосом, дрожащим от смертельной муки, точно душа его разрывалась, в отчаянии произнес:

— Прощай!

Дерюшетта зарыдала.

В этот миг они услышали спокойный, ровный голос:

— Почему вы не поженитесь?

Эбенезер обернулся. Дерюшетта подняла глаза.

Перед ними стоял Жильят.

Он прошел сюда окольной тропинкой.

Жильят ничем не напоминал человека, которого они видели накануне. Он был причесан,

побрит, в башмаках, в белой матросской рубашке с широким отложным воротником, в новом матросском костюме. На мизинце блестело золотое кольцо. Он казался невозмутимо спокойным. Сквозь загар проступала мертвенная бледность.

Лицо его походило на бронзовую маску скорби.

Они растерянно смотрели на него. Хоть он и был неузнаваем, но Дерюшетта его узнала. И все же его слова были так далеки от мыслей, поглощавших сейчас Эбенезера и Дерюшетту, что скользнули мимо их сознания.

Жильят повторил вопрос:

— Почему вы прощаетесь? Обвенчайтесь. Вы уедете вместе.

Дерюшетта затрепетала. По ее телу пробежала дрожь.

Жильят продолжал:

— Мадемуазель Дерюшетте двадцать один год. Она располагает собой. Ее дядя — только дядя. Вы любите друг друга…

Дерюшетта мягко прервала его:

— Как вы очутились здесь?

— Обвенчайтесь, — повторил Жильят.

Дерюшетта стала вникать в смысл его слов. Она шепнула:

— Бедный дядя…

— Он отказал бы в своем согласии на брак, но он согласится, когда вы обвенчаетесь. Ведь вы уедете, а когда вы вернетесь, он простит. И потом, — добавил с горечью Жильят, — он думает сейчас только о постройке парохода. Это займет его на время вашего отсутствия. В утешение у него останется Дюранда.

— Я бы не хотела, — прошептала Дерюшетта с замешательством, в котором уже сквозила радость, — оставлять людей в печали.

— Она развеется быстро, — заметил Жильят.

У Эбенезера и Дерюшетты сознание было словно помрачено. Теперь они приходили в себя. Успокаиваясь, они начали постигать смысл слов Жильята. Не все еще им было ясно, но разве могли они устоять? Со спасителем не спорят. Возражения замирают на устах человека, когда перед ним раскрываются двери в рай. Дерюшетта стояла, чуть касаясь плеча Эбенезера, и все в ней говорило о том, что она готова согласиться с Жильятом. А загадочное появление этого человека и его вмешательство, сперва поразившие Дерюшетту, были вопросом не таким уж важным. Этот человек сказал им: «Обвенчайтесь». Вот что было главное. Всю ответственность он брал на себя. Дерюшетта смутно чувствовала, что именно

Жильят имел на это право. То, что он говорил о мессе Летьери, было верно. Эбенезер прошептал в раздумье:

— Дядя — это не отец.

Такая неожиданная и счастливая развязка искушала его. Быть может, угрызения совести и тревожили священника, но они таяли в бедном влюбленном сердце.

Жильят заговорил отрывисто, строго; в голосе его чувствовалось лихорадочное возбуждение.

— Торопитесь. «Кашмир» отходит через два часа. Время еще есть, но оно дорого. Пойдемте.

Эбенезер всматривался в него.

Вдруг он воскликнул:

— Я вас узнал. Ведь вы спасли мне жизнь!

— Не думаю, — ответил Жильят.

— Там, на рифе.

— Я не знаю этого места.

— В день моего приезда.

— Не будем терять времени, — сказал Жильят.

— И, если я не ошибаюсь, вы тот, кого я видел вчера вечером.

— Может быть.

— Как вас зовут?

— Лодочник, подождите нас! — вместо ответа крикнул Жильят. — Мы скоро вернемся. Мадему-

азель! Вы спросили, как я попал сюда. Да очень просто, я шел следом за вами. Вам двадцать один год. Если ты совершеннолетний и зависишь от себя, то в наших краях обвенчаешься за четверть часа. Пойдемте берегом, по тропинке. Пройти еще можно, прилив начнется только в полдень. Но не раздумывайте. Идите за мной.

Эбенезер и Дерюшетта, казалось, безмолвно держали совет. Они неподвижно стояли друг против друга; они были точно одурманены. Людей, случается, охватывает странная нерешительность на краю пропасти, называемой счастьем. Им все было понятно, и в то же время они ничего не понимали.

— Его зовут Жильят, — шепнула Дерюшетта Эбенезеру.

— Чего же вы ждете? Я сказал: ступайте за мной, — продолжал Жильят почти повелительно.

— Куда? — спросил Эбенезер.

— Туда.

И Жильят указал на колокольню, видневшуюся вдали.

Они пошли за ним.

Жильят шел впереди. Он шел твердым шагом. А они ступали как-то неуверенно.

Все отчетливее вырисовывалась колокольня, все радостнее становились прекрасные чистые лица Эбенезера и Дерюшетты, готовые расцвести улыбкой. Церковь словно издали озаряла их. Ввалившиеся глаза Жильята были полны мрака.

Он казался призраком, ведущим две души в рай.

Эбенезер и Дерюшетта не совсем ясно отдавали себе отчет в том, что должно произойти. Вмешательство этого человека было соломинкой, за которую цепляется утопающий. Они шли вслед за ним с покорностью людей отчаявшихся, послушных воле первого встречного. Перед лицом смерти человек готов воспользоваться любой случайностью. Дерюшетта, более неопытная, была доверчивее. Эбенезер размышлял: Дерюшетта совершеннолетняя; формальности протестантского брака очень просты, особенно в краях с патриархальным укладом жизни, где приходский священник обладает почти неограниченной властью; но согласится ли все же декан обвенчать их, даже не справившись, согласен ли дядя? Вот в чем вопрос. Впрочем, можно попытаться. Во всяком случае, это отсрочка.

Но кто же этот человек? Если он действительно тот, кого месс Летьери накануне объявил

своим зятем, то как объяснить его поступок? Препятствие нежданно обратилось в провидение. Эбенезер доверился Жильяту, но то было безмолвное и быстрое согласие человека, чувствующего, что только в этом его спасение.

Тропинка была неровная, местами мокрая и крутая. Эбенезер, поглощенный своими мыслями, не обращал внимания на брызги воды и глыбы валунов. Жильят иногда оборачивался и говорил Эбенезеру: «Осторожнее, здесь камни! Дайте ей руку».

III. Предусмотрительность того, кто жертвует собой

Пробило половину одиннадцатого, когда они вошли в церковь.

Благодаря раннему часу, а также безлюдью в городе, церковь в этот день пустовала.

Однако в глубине, у стола, заменяющего в англиканской церкви алтарь, было три человека: декан, причетник и регистратор. Декан, его преподобие Жакмен Эрод, сидел; причетник и регистратор стояли.

На аналое лежала раскрытая Библия.

Рядом, на столе, была раскрыта другая книга

— метрических записей; внимательный глаз мог рассмотреть, что на одной странице чернила еще не просохли. Рядом виднелась чернильница с пером.

Увидев его преподобие Эбенезера Кодре, высокочтимый Жакмен Эрод встал и обратился к нему:

— Я вас жду. Все готово.

И правда, декан был в облачении.

Эбенезер взглянул на Жильята.

Его преподобие добавил:

— Я к вашим услугам, коллега.

И поклонился.

Ошибки здесь быть не могло. Судя по направлению взгляда, поклон предназначался только для Эбенезера, служителя церкви и джентльмена. Поклон не относился ни к Дерюшетте, стоявшей рядом с Эбенезером, ни к Жильяту, стоявшему позади. Во взгляде декана точно были скобки, вмещавшие лишь Эбенезера. Соблюдение таких оттенков входит в свод правил, которые охраняют порядок и поддерживают устои общества.

Декан продолжал любезно, но с некоторой надменностью:

— Коллега! Вдвойне поздравляю вас. Ваш дядя умер, и вы женитесь; первое событие делает

вас богатым, второе — счастливым. Кроме того, теперь благодаря пароходу, который будет восстановлен, мадемуазель Летьери тоже богата, что я одобряю. Мадемуазель Летьери родилась в этом приходе, я проверил дату ее рождения по метрической записи. Мадемуазель Летьери совершеннолетняя и может сама распоряжаться собой. Кроме того, ее дядя, заменяющий ей отца, согласен. Вы желаете обвенчаться тотчас же, по случаю вашего отъезда; я понимаю это, но при венчании приходского священника я хотел бы, разумеется, большей торжественности. Тем не менее я сокращу обряд, чтобы угодить вам. Ведь суть его заключается в немногих кратких словах. Акт о браке уже записан в метрической книге, остается внести имена. Закон и обычай дозволяют совершить бракосочетание сразу после записи имен. Полагающееся заявление сделано надлежащим образом. Я беру на себя ответственность за то, что несколько отступаю от правил, ибо просьбу о разрешении нужно было занести в книги предварительно — за неделю, но я исхожу из неотложной необходимости вашего отъезда. Хорошо. Я обвенчаю вас. Мой причетник будет свидетель супруга; что касается свидетеля супруги…

Декан обернулся к Жильяту.

Жильят кивнул головой.

— Этого достаточно, — сказал декан.

Эбенезер стоял неподвижно. Дерюшетта, объятая восторгом, словно превратилась в статую.

Декан повел речь дальше:

— Но все же есть одно препятствие.

Дерюшетта вздрогнула.

Декан продолжал:

— Посланный от месса Летьери, здесь присутствующий, испросил для вас разрешение и подписал заявление о браке в метрической книге, — большим пальцем левой руки высокочтимый Жакмен Эрод указал на Жильята, что освобождало декана от необходимости произнести его имя. — Посланный от месса Летьери сказал мне сегодня утром, что месс Летьери, который очень занят и потому не может явиться лично, желает, чтобы венчание произошло немедленно. Но этого желанья, выраженного на словах, отнюдь не достаточно. Давая разрешение, я и так отступаю от некоторых правил, поэтому я не могу сразу перейти к венчанию, не справившись о согласии месса Летьери. Мне надо видеть хотя бы его подпись. Как бы ни было велико мое желание, я не могу удовольствоваться тем, что

мне передали устно. Необходима хоть строчка, написанная его рукой.

— За этим дело не станет, — сказал Жильят и подал достопочтенному декану листок бумаги.

Декан взял его, пробежал глазами и, видимо, пропустив несколько строк, не относящихся к делу, прочел вслух:

«…ступай к декану за разрешением. Я хотел бы сыграть свадьбу как можно скорее, самое лучшее — сегодня».

Жакмен Эрод положил бумагу на стол и добавил:

— Подписано Летьери. Было бы почтительнее обратиться прямо ко мне. Но дело идет о моем коллеге, и я не требую большего.

Эбенезер снова взглянул на Жильята. Существует безмолвное понимание душ. Он чувствовал какой-то обман, но у него не было сил раскрыть его; быть может, ему не хотелось думать об этом. Покоряясь тайному героизму души, о котором он догадывался, или просто в опьянении нежданного счастья, Эбенезер промолчал.

Декан взял перо и заполнил с помощью регистратора пробелы на странице в книге записей, затем выпрямился и жестом пригласил Эбенезера и Дерюшетту подойти к столу.

Обряд начался.

То была странная минута.

Эбенезер и Дерюшетта стояли рядом перед священнослужителем. Они испытывали чувство, знакомое тому, кто видел сон о собственном венчании.

Жильят стоял поодаль, в тени колонны.

Дерюшетта проснулась утром в отчаянии и, думая о гробе и саване, оделась в белое. Эта мрачная мысль оказала ей услугу в минуты венчания. Белое платье мгновенно превращает девушку в невесту. Могила — тоже своего рода обрученье.

Дерюшетта как будто излучала сияние. Никогда она не была так хороша, как сейчас. Недостаток Дерюшетты, пожалуй, заключался в том, что хотя она была прехорошенькой, но не была красавицей. Ее красота грешила — если это грех — излишком миловидности. В часы душевного покоя, то есть в неведении страсти и скорби, она была мила, не больше. Мы указывали на эту особенность ее внешности. Сейчас произошло преображение очаровательной девушки в идеал девственной чистоты. Любовь и страдания возвеличили Дерюшетту, и она, — да простят нам такое выражение, — повысилась в ангельском чине. Она была так же непорочна, но в ней по-

явилось больше достоинства, и свежесть ее стала еще благоуханнее. То была маргаритка, превратившаяся в лилию.

Ее щеки были влажны от недавних слез. В уголке ее улыбающегося рта дрожала слезинка. Едва заметные следы пролитых слез — сладостное и таинственное украшение счастья.

Декан, стоя перед алтарем, положил палец на раскрытую Библию и громко вопросил:

— Не противится ли кто-либо сему браку?

Никто не отвечал.

— Аминь, — произнес декан.

Эбенезер и Дерюшетта сделали шаг к его преподобию Жакмену Эроду.

Декан продолжал:

— Джоэ-Эбенезер Кодре! Желаешь ли ты взять в жены эту женщину?

— Да, — ответил Эбенезер.

— Дюранда-Дерюшетта Летьери! — продолжал декан. — Желаешь ли ты взять в мужья этого человека?

Дерюшетта, изнемогая от избытка счастья, подобно лампаде, угасающей от избытка масла, чуть слышно прошептала:

— Да.

Следуя обряду англиканского бракосочетания,

священник, оглянувшись, обратился в темную пустоту церкви с торжественным вопросом:

— Кто отдает эту женщину этому мужчине?

— Я, — ответил Жильят.

Наступило молчание. Эбенезер и Дерюшетта, утопавшие в блаженстве, вдруг почувствовали, как у них тоскливо сжалось сердце.

Декан вложил правую руку Дерюшетты в правую руку Эбенезера, и Эбенезер сказал Дерюшетте:

— Дерюшетта! Я беру тебя в жены, и, будешь ли ты лучше или хуже, богаче или беднее, в здравии или в недуге, я буду любить тебя до самой смерти, и я даю тебе в том клятву.

Священник вложил правую руку Эбенезера в правую руку Дерюшетты, и Дерюшетта сказала Эбенезеру:

— Эбенезер! Я беру тебя в мужья, и, будешь ли ты лучше или хуже, богаче или беднее, в здравии или в недуге, я буду помогать тебе и повиноваться до самой смерти, и даю тебе в том клятву,

— А где же обручальное кольцо? — спросил декан.

То было непредвиденное обстоятельство. У Эбенезера, застигнутого врасплох событиями, кольца не оказалось.

Жильят снял с мизинца и протянул декану золотой перстень, — по всей вероятности, то самое обручальное кольцо, которое куплено было у ювелира в торговых рядах.

Декан положил кольцо на Библию, затем вручил его Эбенезеру.

Эбенезер взял дрожащую левую руку Дерюшетты, надел кольцо на ее безымянный палец и произнес:

— Этим кольцом я сочетаюсь с тобою.

— Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, — возгласил декан.

— Да будет так, — произнес причетник.

Декан возвысил голос:

— Вы сочетались браком.

— Да будет так, — произнес причетник.

— Помолимся, — сказал декан.

Эбенезер и Дерюшетта повернулись к аналою и опустились на колени.

Жильят, стоя, наклонил голову.

Они преклоняли колени перед Богом, он склонялся перед судьбой.

IV. «Твоей жене, когда ты женишься»

Выходя из церкви, они увидели, что «Кашмир» готовится к отплытию.

— Вы не опоздали, — заметил Жильят.

Они снова пошли по тропинке к маленькому заливу.

Теперь впереди шли новобрачные, Жильят шел позади.

Эбенезер и Дерюшетта напоминали лунатиков. Они были далеки от действительности, но сейчас как-то уже по-иному. Они не сознавали, где они, что с ними происходит; они куда-то торопились, а куда — не знали, они забыли обо всем на свете. Они только чувствовали, что принадлежат друг другу, и были не способны связать и двух мыслей. Человек не может плыть, когда его увлекает стремнина, как не может думать, когда его объемлет восторг. Из недр мрака они внезапно попали в Ниагару радости. Их точно перенесли в рай. Они не произносили ни слова, тем красноречивее говорили их души. Дерюшетта крепко сжимала руку Эбенезера.

Шаги Жильята, раздававшиеся позади, напоминали им порой о нем. Они были глубоко

взволнованы, но хранили безмолвие; избыток чувств повергает в оцепенение. Это было восхитительно, но это подавляло. Они были женаты. Все остальное они откладывали «на после», они еще увидятся с Жильятом. Он поступил хорошо, вот и все. В глубине души они горячо и бессознательно благодарили его. Дерюшетта думала о том, что должна в чем-то разобраться, но позже. А пока они принимали его помощь. Они отдавали себя во власть этого решительного, стремительного в действиях человека, воля которого создала их счастье. Обращаться к нему с вопросами, говорить было невозможно. Слишком много впечатлений нахлынуло на них сразу. Их самозабвение было простительно.

События иногда подобны граду. Они обрушиваются на вас нежданно. Вы оглушены ими. Случайности, врывающиеся в обычную, спокойную жизнь, делают все происходящее непонятным для тех, кто осчастливлен или обездолен ими. Человек не разбирается в том, что с ним приключилось. Он сражен, сам того не ведая; он увенчан, сам того не понимая. Так было с Дерюшеттой, которая за несколько часов пережила много потрясений: сначала головокружительный восторг — Эбенезер в саду; затем кошмар — чудовище,

объявленное ее мужем; потом отчаяние — ангел, расправляющий крылья и готовый улететь; теперь радость, неслыханная радость, таящая в себе необъяснимое, — чудовище соединяет ее, Дерюшетту, с ангелом; смертная мука завершается браком; этот Жильят — вчера гибель, сегодня спасение. Она ни в чем не отдавала себе отчета. Очевидно, с самого утра Жильят только и хлопотал о том, чтобы обвенчать их; он все приготовил: он заменил Летьери, повидался с деканом, получил его согласие, подписал полагающееся заявление, иначе бракосочетание не могло бы совершиться. Но Дерюшетта не понимала этого; впрочем, если бы даже она и поняла, все равно не понять ей было, отчего все случилось.

Закрыть глаза, мысленно благодарить, позабыв и землю и жизнь, позволить этому доброму гению вознести себя на небо — вот все, что оставалось делать. Объяснение было бы слишком долгим, а просто поблагодарить — этого было бы мало. Дерюшетта молчала в блаженном дурмане счастья.

У них сохранилась какая-то доля рассудка: они шли, держась тропинки. Морская губка и под водой местами не теряет белизны. Сознание не вполне покинуло их: они еще отличали море от земли и «Кашмир» от другого судна.

Через несколько минут они подошли к заливчику.

Эбенезер первый вошел в лодку. Дерюшетта уже собралась последовать за ним, но вдруг почувствовала, что кто-то легонько удерживает ее за рукав. То был Жильят.

— Сударыня! — сказал он. — Вы ведь не собирались уезжать. Я подумал, что вам, вероятно, понадобятся платья и белье. На «Кашмире» вы найдете сундучок, а в нем все необходимое. Мне он достался от моей матери. Он предназначался для женщины, на которой я женюсь. Разрешите подарить его вам.

Дерюшетта словно пробудилась от своих грез. Она обернулась к Жильяту. Тихим, едва слышным голосом Жильят продолжал:

— Вот что… я не хочу вас задерживать, сударыня, но, видите ли, мне надо объяснить вам. В тот день, когда случилось несчастье, вы были в нижней зале и сказали одно слово. Разумеется, вы не помните, это понятно. Нельзя же человеку помнить все, что он говорит. Месс Летьери тогда сильно горевал. Это верно, пароход был хороший и приносил большую пользу. На море случилась беда, весь народ в наших краях взволновался. Такие вещи само собой забываются. В конце

концов это было всего лишь судно, погибшее в скалах. Нельзя же все время думать о несчастном случае. Мне только одно хотелось вам сказать: я услышал, что никто не пойдет туда, поэтому пошел я. Люди говорили: «Это невозможно», но вовсе не это оказалось невозможным. Благодарю вас, что вы задержались на минутку и слушаете меня. Понимаете ли, сударыня, я ведь отправился туда, не думая, что это может вас оскорбить. Да, кроме того, все это произошло так давно. Я знаю, вы спешите. Было бы время, поговорили бы, припомнилось бы кое-что, но это ни к чему. Началось все с того дня, когда выпал снег. И потом, однажды я проходил мимо, и мне показалось, что вы улыбнулись. Вот этим все и объясняется. А вчера я не успел сходить домой переодеться, я только вернулся с моря и был в лохмотьях, я напугал вас, вам стало дурно. Я виноват перед вами, нельзя показываться людям в таком виде. Не сердитесь, прошу вас. Вот почти все, о чем мне хотелось сказать вам. Вы уезжаете. Погода будет хорошая. Ветер дует с востока. Прощайте, сударыня. Я правильно сделал, что немножко поговорил с вами, не правда ли? Ведь это последняя минута.

— Я все думаю о вашем сундучке, — ответила Дерюшетта. — А почему бы вам не подарить его

своей жене, когда вы женитесь?

— Я, вероятно, никогда не женюсь, — сказал Жильят.

— Жаль, потому что вы добрый. Благодарю вас.

И Дерюшетта улыбнулась. Жильят ответил улыбкой.

Потом он помог ей войти в лодку.

Не прошло и четверти часа, как лодка с Эбенезером и Дерюшеттой причалила к «Кашмиру», стоявшему на рейде.

V. Великая могила

Жильят пошел берегом, быстро миновал порт Сен-Пьер, затем направился к Сен-Сансону вдоль моря, скрываясь от прохожих, избегая дорог, запруженных по его же милости народом.

Еще с давних пор, как известно, лишь он один умел обойти весь край вдоль и поперек, не попадаясь никому на глаза. Он знал каждую тропинку, он выбирал забытые и извилистые пути; у него были повадки пугливого, никем не любимого существа; он всегда избегал людей. Еще ребенком, не видя приветливости в лицах окружающих, он чуждался их; позже нелюдимость стала чертой его характера.

Он обогнул площадь, затем солеварню. Иногда он оборачивался и глядел назад, на рейд, — «Кашмир» уже поднял паруса. Ветра почти не было. Жильят опередил корабль. Он шагал вдоль прибрежных утесов у самой воды, низко опустив голову. Начинался прилив.

Один раз он остановился и, обернувшись спиной к морю, несколько минут всматривался в дубовую рощицу позади скал, заслонявших Валльскую дорогу. То были дубы возле участка под названием «Нижние дома». Там, под этими деревьями, пальчик Дерюшетты когда-то начертал на снегу его имя: «Жильят». Как давно стаял этот снег!

Жильят пошел дальше.

День был прекрасный, в ту весну еще не выдавалось такого ясного дня. Утро дышало каким-то свадебным ликованьем. Май щедро расточал свои богатства: казалось, единственная цель всего сущего — праздновать и наслаждаться счастьем. Сквозь лесной гул и шум селений, сквозь шепот волны и ветра пробивалось нежное воркование. Первые бабочки опускались на первые розы. Все было свежо в природе — трава, мох, листья, ароматы, лучи. Казалось, солнце впервые появилось в небе. Валуны словно были только что

вымыты. Проникновенную мелодию пели ветви деревьев голосами птенцов, вылупившихся накануне. Вероятно, еще лежала в гнезде скорлупа, пробитая их маленькими клювами. Трепещущая листва шелестела от неумелых взмахов крылышек. Птенцы пели свою первую песенку, вылетали в первый полет. Наперебой щебетали удоды, синички, дятлы, щеглята, снегири, воробышки. В чаще живописно пестрели сирень, ландыши, волчьи ягоды, глициния. Необычайно красивая водяная чечевица, растущая на Гернсее, изумрудным покрывалом застилала болота. В них купались трясогузки и стрижи, эти мастера лепить изящные гнездышки. Во всех просветах меж листвой синело небо. Несколько влюбленных облачков гонялись друг за другом по лазури с грацией нимф. Казалось, весь воздух звенел от поцелуев, которыми обменивались невидимые уста. Старые стены с букетами дикого левкоя были словно новобрачные. Слива стояла в цвету, ракитник стоял в цвету: ослепительно белыми и ярко-желтыми шатрами сверкали они сквозь сплетавшиеся ветви дерев. Весна сыпала золото и серебро в необъятную сквозную корзину лесов. Зеленела молодая поросль. Слышались веселые приветственные возгласы. Гостеприимное лето

раскрывало двери навстречу птицам из дальних стран. То была пора прилета ласточек. Еще не распустились бело-розовые кисти боярышника, их опередили золотые кисти дикого дрока, обрамлявшего крутые откосы дорог. Привлекательное и прекрасное жили в добром соседстве; пышность дополнялась изяществом; огромное не стесняло ничтожного; каждая нотка в концерте звучала; великолепие бесконечно малого занимало свое место в роскошной красоте вселенной; все выступало четко, как в прозрачной воде. Божественное изобилие и таинственное набухание бутонов говорили о стихийной и священной работе животворных соков. Блестящее блестело ярче, любящее любило сильнее. Каждый цветок казался песнью, каждый звук лучом. Все ширился, разливаясь повсюду, великий гимн, исполненный гармонии. То, что начинало распускаться, поощряло то, что лишь начинало всходить. Смятение, которое шло из недр земли и изливалось с небес, невольно трогало сердца, подвластные скрытому и рассеянному всюду воздействию обновляющейся природы. Цветок невнятно лепетал о будущих плодах; все девственное предавалось мечтам; воспроизведение существ, предначертанное необъятной душой

неведомого, начиналось с лучезарного сияния природы. Всюду обручения. Свадьбы на каждом шагу. Жизнь вступала в брачный союз с бесконечностью. Вокруг свет, тепло, красота. За плетнями во дворах бегали смеющиеся дети. Кое-где они играли в «котел». Яблони, персиковые деревья, вишни, груши украшали плодовые сады пышными белыми или розовыми кронами. В траве мелькали подснежники, барвинок, тысячелистник, маргаритки, нарциссы, гиацинты, фиалки, вероника. Голубоватый огуречник, желтый ирис разрастались вперемежку с очаровательными розовыми звездочками, что всегда зацветают все вместе и поэтому зовутся «подружками». Золотистые насекомые сновали между камнями. Очиток в цвету покрывал багрянцем соломенные крыши. Труженицы ульев вылетали на волю. Пчела взялась за работу. Воздух полнился рокотом моря и гуденьем мошкары. Природа, опьяненная маем, исходила негой.

Когда Жильят дошел до Сен-Сансона, вода еще не прилила в глубь гавани, и он мог неприметно для всех пробраться посуху, позади судов, вытащенных на берег для починки. Плоские камни, уложенные в ряд на небольшом расстоянии друг от друга, облегчали ему путь.

Жильята никто не заметил. Народ толпился на другой стороне гавани, около входа в бухту, близ «Приюта неустрашимых». Его имя перелетало из уст в уста. О нем говорилось так много, что на него самого даже не обратили внимания. Жильят прошел мимо, как бы растворившись в том шуме, виновником которого был сам.

Он увидел издали ботик на том же месте, где его причалил, трубу машины между четырех цепей, плотников, занятых работой, неясные силуэты людей, ходивших взад и вперед, и до него донесся бодрый, громовой голос месса Летьери, отдававшего приказания.

Он свернул в переулок.

Позади «Приюта неустрашимых» было безлюдно, ибо все из любопытства сбежались на набережную. Жильят пошел по тропинке вдоль низкой садовой ограды. Дойдя до уголка, где росла дикая мальва, он остановился; он снова увидел камень, где столько раз сидел; увидел деревянную скамью Дерюшетты. Он взглянул на дорожку, на землю, где еще недавно обнимались две, теперь уже исчезнувшие, тени.

Он продолжал идти. Поднялся на холм замка Валль, спустился и зашагал к «Дому за околицей».

Бухта Умэ-Паради была пустынна.

Дом оставался таким, каким Жильят покинул его утром, собравшись в порт Сен-Пьер.

Окно было открыто. Виднелась стена, волынка, висевшая на гвозде.

На столе лежала маленькая Библия, подаренная Жильяту в знак благодарности неизвестным, который оказался Эбенезером.

Ключ торчал в дверной скважине. Жильят подошел, запер дверь, дважды повернув ключ, положил его в карман и ушел.

Направился он не в глубь острова, а к морю.

Он пересек свой сад наискось самым коротким путем, не щадя грядок, однако стараясь не помять брюссельской капусты, которую посадил потому, что ее любила Дерюшетта.

Потом перелез через ограду и спустился к бурунам.

Он шел, держась длинной и узкой линии рифов, соединявших «Дом за околицей» с Бычьим рогом — огромным гранитным обелиском, поднимавшимся посреди моря. Именно там и находилось кресло Гильд-Хольм-Ур.

Жильят шагал с камня на камень, как гигант по горным вершинам. Расхаживать по гребням подводных камней — то же, что ступать по конь-

ку крыши.

Какая-то рыбачка с сачком в руке, бродившая неподалеку босиком по лужам, крикнула ему, пробираясь к берегу:

— Будьте осторожны, вода прибывает!

Он продолжал свой путь.

У самого Рога — скалы, которая замыкала риф и была наивысшей точкой со стороны моря, — Жильят остановился. Здесь кончался берег. То был отвесный обрыв небольшого мыса.

Он осмотрелся.

В открытом море покачивалось на якорях несколько баркасов, вышедших на лов рыбы. Порою их борта отливали серебром под лучами солнца — то вытаскивали из воды сети. «Кашмир» еще не доплыл до Сен-Сансона; на нем поставили большой марсель. Он был между Эрмом и Жет-У.

Жильят обогнул скалу. Он оказался под самым креслом Гильд-Хольм-Ур, у подножья той крутой лестницы, с которой месяца три назад он помог Эбенезеру спуститься. Он поднялся наверх.

Почти все ступени были уже покрыты водой. Лишь две-три оставались сухими. Он быстро взобрался по ним.

Ступени вели к креслу Гильд-Хольм-Ур. Он подошел к нему, огляделся, закрыл ладонью глаза,

потом медленно провел ею по лбу, — казалось, этим жестом он стирал прошлое. Затем сел в гранитную нишу; за его спиной был утес, а у ног — океан.

В это время «Кашмир» миновал массивную круглую башню, которая выступала из воды и охранялась сержантом и пушкой, — она отмечала на рейде половину пути от Эрма до порта Сен-Пьер.

Над головой Жильята, в расщелинах, чуть колыхались стебли горных цветов. Голубело необозримое море. Дул восточный ветер, поэтому у острова Серк не было прибоя, — с Гернсея видна лишь западная сторона островка. Издали дымкой обозначался берег Франции и желтела длинная полоса песков Картре. Порой мимо Жильята пролетала белая бабочка. Бабочки любят порхать над морем.

Ветер был слабый. Синева неба и моря точно застыла. Лишь на воде змеились гладкие ленты темной и светлой лазури, указывавшие на скрытые извилины мелей.

«Кашмир», чуть подгоняемый ветром, поставил марса-лисели, чтобы воспользоваться бризом. Он окутался парусами. Но шел он в полветра, поэтому лисели вынуждали его держаться у самого

берега Гернсея. Он миновал веху Сен-Сансона. Вот он поравнялся с холмом Валль. Сейчас он обогнет мыс «Околицы».

Жильят смотрел на приближавшийся корабль.

Воздух и вода словно дремали. Прилив рос, но не поднимаясь валом, а плавно вздуваясь. Уровень воды повышался равномерно. Отдаленный шум волн, доносившийся из открытого моря, был похож на тихое дыхание ребенка.

Из гавани Сен-Сансона слышались глухие, короткие удары — то были удары молотков. По всей вероятности, плотники устанавливали тали и платформу, чтобы выгрузить машину из лодки. Гранитная толща стены, к которой прислонился Жильят, заглушала эти звуки, и он почти не различал их.

«Кашмир» приближался медленно, словно привидение.

Жильят ждал.

Внезапно раздался легкий плеск. Жильяту стало холодно, он взглянул вниз. Вода касалась его ног.

Он опустил глаза и снова поднял их.

«Кашмир» был совсем близко.

Высокий склон, в котором дожди выдолбили кресло Гильд-Хольм-Ур, был так крут, а вода во-

круг него так глубока, что в тихую погоду корабли могли безопасно плыть по фарватеру в нескольких кабельтовых от утеса.

«Кашмир» был рядом. Он появился сразу, он точно поднялся из океана. Казалось, он рос над водой, подобно все удлинявшейся тени. Такелаж корабля рисовался в небе черными линиями, а вокруг чуть колыхалось ослепительное море. Высокие паруса, на миг заслонив солнце, стали почти алыми и удивительно прозрачными. Невнятно рокотал прилив. Беззвучно скользил по воде величественный силуэт корабля. Вся палуба была видна как на ладони.

«Кашмир» почти коснулся скалы.

За рулем стоял рулевой, юнга взбирался по вантам, пассажиры, опершись на борт, созерцали безоблачное небо, капитан курил. Но не это видел Жильят.

Был на палубе уголок, залитый солнцем. Туда-то и устремился его взгляд. Там, в золотом сиянии, он видел Эбенезера и Дерюшетту. Как две птички, греющиеся в лучах полуденного солнца, они сидели, грациозно прижавшись друг к другу, на скамейке под небольшим тентом из просмоленной парусины. Хорошо оборудованные корабли предоставляют такие скамьи пассажи-

рам, и, если это английское судно, на них можно прочесть: «Только для дам». Дерюшетта склонила головку на плечо Эбенезера, Эбенезер обнимал Дерюшетту за талию; они держались за руки, их пальцы переплелись. В ангельских чертах этих двух тонких лиц, дышавших чистотой, было легко уловимое различие. Одно казалось более девственным, другое более одухотворенным. Их целомудренное объятие было так выразительно! В нем сквозили и страсть и стыдливость. Скамья стала уже альковом и почти гнездом. И в то же время ее окружал ореол; светлый ореол любви, уносящийся в облака.

Все было объято божественной тишиной.

Сосредоточенный взор Эбенезера светился благодарностью, губы Дерюшетты беззвучно шевелились; среди этой чудесной тишины, в тот короткий миг, когда корабль проскользнул в нескольких саженях от кресла Гильд-Хольм-Ур, ветерок, дувший с берега, донес до Жильята мягкий милый голос Дерюшетты:

— Посмотри, мне кажется, там на скале — человек.

Видение скрылось.

«Кашмир» прошел мимо мыса «Околицы» и пропал в глубоких провалах меж волн. Не

прошло и четверти часа, как его мачты и паруса превратились в какой-то белый обелиск, таявший на горизонте. Вода доходила до колен Жильяту.

Он глядел вслед судну.

Ветер в открытом море стал свежее. Жильят видел, как на «Кашмире» поставили нижние лисели и кливеры, чтобы воспользоваться растущим напором ветра. Корабль уже вышел из гернсейских вод. Неотступно глядел на него Жильят.

Вода доходила ему до пояса.

Прилив поднимался. Время шло.

Чайки и бакланы тревожно кружили над ним. Казалось, они хотели предостеречь его. Быть может, в этих птичьих стаях была и чайка с Дувров, узнавшая Жильята.

Прошел час.

Ветер с открытого моря не чувствовался на рейде, но «Кашмир» становился все меньше. По всей вероятности, он шел полным ходом. Он почти уже достиг скал Каскэ.

У подножья кресла Гильд-Хольм-Ур море не вскипало пеной, не ударяло волной в гранитную стену. Вода поднималась спокойно. Она почти достигла плеч Жильята.

Прошел еще час.

«Кашмир» уже покинул воды Ориньи. На миг его заслонила скала Ортах. Он скрылся за скалой и снова выплыл из-за нее, как луна после затменья. Парусник бежал на север. Он вышел в открытое море. Теперь он превратился в точку, сверкавшую под солнечными лучами.

С отрывистыми криками летали птицы вокруг Жильята.

Над водой виднелась только его голова.

Море поднималось со зловещей кротостью.

Жильят, не двигаясь, смотрел на исчезавший «Кашмир».

Был почти полный прилив. Спускался вечер. На рейде, позади Жильята, рыболовные суда возвращались домой.

Глаза Жильята, устремленные вдаль, вслед кораблю, были неподвижны.

В этих неподвижных глазах не осталось ничего земного. В скорбном и спокойном взоре таилось что-то невыразимое: он был полон того бесстрастия, которое порождает несбывшаяся мечта; то была мрачная покорность иному уделу. Таким взглядом провожают падающую звезду. И взгляд этот, по-прежнему прикованный лишь к одной точке на всей водной шири, все темнел, подобно меркнущему небу. Как утес Гильд-Хольм-Ур в

необозримом море, тонул глубокий взор Жильята в бесконечном покое смерти.

«Кашмир» теперь стал маленьким пятнышком, едва заметным в дымке тумана. Надо было знать, где он, чтобы различить его.

Мало-помалу это расплывчатое пятнышко побледнело.

Потом сделалось еще меньше.

Потом пропало.

Когда корабль исчез на горизонте, голова скрылась под водой. Осталось только море.

1866 г.